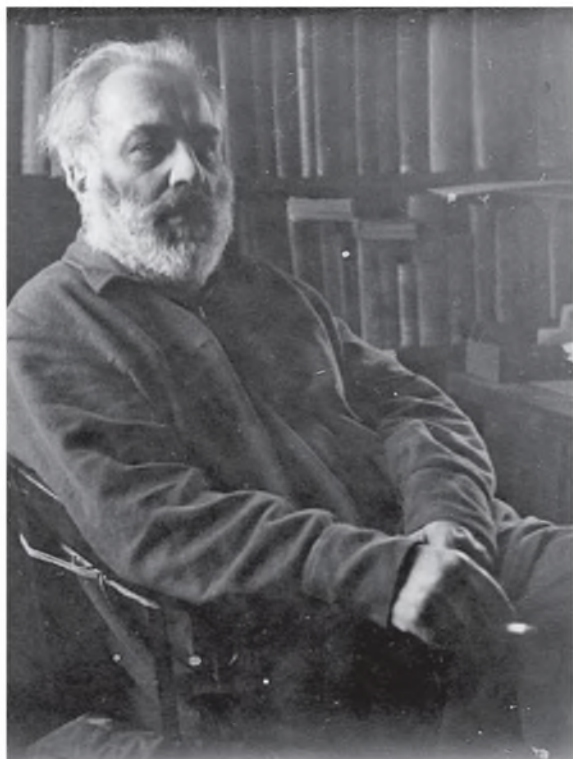


ГЕОРГИЙ
ШЕНГЕЛИ

Стихотворения
и поэмы

Георгий Шенгели
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ
Том второй



Г Е О Р Г И Й
Ш Е Н Г Е Л И

С т и х о т в о р е н и я
и п о э м ы

Т о м в т о р о й



ВОДОЛЕЙ
Москва
2017

ББК 84(2Рос=Рус)6
УДК 821.161.1
Ш47

Составление, подготовка текста и комментарии *В. А. Резвого*
Биографический очерк *В. Э. Молодякова*

Издательство искренне благодарит
Юрия Лукача, Игоря Стародубцева и Ярослава Старцева
за поддержку настоящего издания

ISBN 978-5-91763-353-4
ISBN 978-5-91763-355-8 (Том II)

- © В.А. Резвый, составление, подготовка текста, комментарии, 2017
- © В.Э. Молодяков, биографический очерк, 2017
- © Д.В. Логинов, оформление, 2017
- © Издательство «Водолей», оформление, 2017

ПОЭМЫ

ПОРУЧИК МЕРТВЕЦОВ

Четыре бьет. Чиновный люд (теперь
Одетый столь пестро и неказисто,
Что формуляры стонут от желанья
Стать гневными скрижалями прорух)
Спешит домой. Но, как и встарь, писцы
Бегут великолепной мелкой рысью,
Столоначальники трясут шажком
С приличною припрыжкой, генерал же –
Почти стоит: столь тяжелы чины.
10 Но вот прошли. И опустела площадь,
И солнце вновь бульжники считает,
И по стенам горячий ветер хлещет,
У блудной курицы вздувая хвост.

Пять пробило. Расхлябанная дверь
Адмиралтейства испустила визги,
И невысокий вышел офицер.
Расправил он кирпичное плечо,
Кирпичным ликом кувырнулся в небо
И сладко дух известки потянул:
20 Покинута сургучная Валгалла.

Он пал в бою; давно: пятнадцать лет;
Как древний викинг, пал в сраженьи – с миром.
Он был поэт; как некие канцоны
Он вызубрил Регламент и Устав,
И Муза Государственных Службы
Его на броненосец привела,
Его морской болезни обрекла,
На каждой вахте усыпляла нежно, –
И адмирал Онагренок однажды
30 Себе в больную печень пробурчал:
«Нет, плох наш Мертвецов; нет, керосину
Не выдумать ему; и у него
К тому же и фамилия такая:
Кладбищенская...» И велел отчислить.

Исполнено. Его из мичманов
В поручики переименовали,
Зачислили в адмиралтейство, – и:
Пятнадцать лет, как десять дней, мелькнуло.
Так пал в бою поручик Мертвецов,
40 Так он попал в сургучную Валгаллу;
На службе там он целый день дремал,
Как некогда на вахте, а ночами
Его глушил бессновиденный сон.
Да, лишь один за все пятнадцать лет
Ему в насмешку подлый сон приснился:
Сидит он нагишом в степи и видит:
Вдали идут покойники, в порядке
И по ранжиру, тоже нагишом;
И каждый тащит курицу под мышкой,
50 Ощипанную, гнусную на вид;
Подходят чередой к нему, слагают
У ног его всю эту падаль, тихо,
Таинственно и ласково шепча:
«Учителю, учителю...» И в страхе
Проснулся униженным поручик.

Курятины с тех пор не ел он вовсе;
Боялся спать один, а спать вдвоем
Боялся тоже: вдруг она задушит?
Боялся видеть зубы: не смеются ль;
60 Что брюки сзади лопнули – боялся
И потому приносенял свой зад
Эгидою – обтёрханным портфелем...

Вот вышел он, как много тысяч раз
И раньше выходил. Взглянул пугливо
В конец проулка, где синело море,
Стремительно раскачивая лодки, –
И отвернулся, чувствуя, как жар
От ног тошнотно подымался к горлу.
Пошел домой. Сглotal холодный суп
70 И погрузился в «Тайны Венценосцев».

Потом – стоял: среди комнаты стоял.
Потом пошел гулять, – но тут обида
Нежданная ошпарила его:
Три вывески на перекрестке рдели;
«Я. Малкин» пламенело на одной;
Другая «И. Я. Малкин» возглашала;
«А. Я. Бакши», смеясь, орала третья;
И этой нарочитой срамотою
80 Был до мозолей уязвлен поручик:
«А я Бакши»... А ты, мол, Мертвецов,
Покойничек, кладбищенское имя...
И, каблуком по штукатурке брякнув,
Поручик пулей ринулся домой,
Сжав зубы, и портфель нещадно скомкав,
И поминая предков и потомков.
И поздней ночью он сидел, склонясь
Над новою тетрадью, и старался
Начать «Воспоминая моряка», –
Но начертал: «И вообще мне скушно».

90 Но *там* не очень скучно было; там:
На Свалках, на Нахаловке, на Глинке,
В каменоломнях – в эту ночь сошлись
Забродчики, фронтовики, гамзеи –
В пятнадцатикопеечных брелях,
В клеенчатых фуражках, в бескозырках;
Там стрекотал фальцет пропагандиста,
Там голос рыбака норд-остом рывкал;
Винтовки лязгали, и ржавым звоном
Отряхивался пулемет; там голод
100 Не лодочками простирали ладони,
А свертывал их в кулаки, венчая
Шипом кастета...

С севера текли
Сермяжные фаланги, и матрос,
С двумя серьгами, пьяный и кудрявый,
Захлебываясь «Яблочком», сияя
«Авророю» на двухаршинной ленте,
Уже купал свой пыльный броневик

110 В водах Салгира. И ему навстречу
Взбухал и зрел Везувий потаенный...

Уже два дня весь городок давился
Икотой слухов; кокаин в цене
Поднялся очень; протоиерей
Постыдно окарнал волосы седые
И рясу снял; а многоумный Пуло,
Магнат и столп, уж погрузил багаж
На пароход, дрожавший под парами,
И плакал в Думе, что: «каменоломни –
120 Гнездо для мирных жителей»... Патрули
Слонялись офицерские... Наутро
Гудело всё. Гудел толпою порт;
Гудки ревели на заводе; выла
Сирена канонерки на проливе;
И с треском отлетали в вышину
Лазуревые радио...

Поручик

С утра засел в своем адмиралтействе,
Пеньку пытался нюхать и заклепки
Рассматривать, – но суета вокруг
130 То зайчиками по стенам вилась,
То голосами гулками и бегом
По лестницам и комнатам плясала,
То адмиралом в кабинет влетала,
То сыпалась из портсигара на пол
Тугими папиросками. Поручик
Почуял вдруг, что – некогда ему,
Что суматоха тарахтит по нем,
Как... мерзлая земля... по крышке... гроба...
И, полон торопливой скуки, вдруг
140 Помчался к адмиралу Мертвецов:
В чем дело? Что случилось? Почему
Пятнадцать лет, пятнадцать тысяч лет
Стоит адмиралтейство нерушимо,
А нынче кто-то, где-то, почему-то,
Откуда-то... Стук, суета, тревога...
Но адмирала не было. У входа

Сидели вестовые, развалясь,
И ни один не встал. Застыл поручик:
Так вот оно что!.. «Встать! Ослепли?» Встали...
150 «Я научу вас!» И помчался дальше.
Но звуковые волны побыстрее
Поручичьего бега. И услышал
Себе вослед он: «Много вас найдется,
Учителей». Всё понял Мертвецов.

Вдруг бич стальной хлестнул по городку.
Как сотни однотонных ксилофонов,
Зазвякали граниты, и асфальты
Затукали. И вдруг – раз, и другой,
И третий небо лопнуло с надсадой, –
160 И время отвердело. Мертвецов
В свой кабинет влетел; впервые в жизни
Швырнул портфель, образчики пеньки
В чернильницу припрятал и, потя,
Извлек наган из тесной кобуры.
Сбежались офицеры к адмиралу;
«Что делать?» Ждали. Вдруг пропел гнусаво,
Как будто «эн» произнося французский,
Безносый телефон и в хрящ ушной
Короткий выплюнул приказ: прибыть
170 В штаб коменданта. – Вышли. Город лыс.
Сияют камни, ставни и решетки,
Испуганным сияет потом лик
Последнего пробеглого. И в небе
Всё тот же барабанщик заводной
Частит, неведомо где, беглой дробью.
А в штабе – дым. Там – жгут бумаги; там
Машинки размножают повеленье
Не выходить на улицу, – и крабом
Десятиногим бегают вдоль клавиш
180 Подсиненные руки машинисток.
Там – пьют; там жабы красные томатов
В содружестве с селедкой исчезают
В горячих ртах; там проволокой ржавой
И радужной дреколье обвивают;

Там – бомбы раздают; там поднимают
На крышу гочкисы. И телефоны
Без остановки энкают.

Поручик

Под черепаший щит броневика
Залез – и ринулся по переулкам.
190 Два дня метался в поисках врага,
Заставами весь город рассекая.
Но враг бесплотен, враг неуловим,
Всегда он там и никогда не здесь;
Он раздражается, без толку, вдруг,
Назойливейшей трескотней, он может
Осесть воззваниями на заборах,
Он может ощутиться под ребром
Хорошеньким осколком; если только
200 Не ограждать пустынных улиц стражей,
Не сыпать в ночь завесой огневою,
Не выезжать всё в новые кварталы
Броневиками, – расплодится он
И станет вездесущим. Скука, скука!..

Враг отходил. Цеплялся за кладбище,
За загородный сад, за мол, за бойни,
В каменоломни всасываясь. Реже
Кряхтели пушки. Смело засвистали
Средь заводских окраин шомпола.
А Мертвецов икал от злобы: где же,
210 Где же они? И третьим утром, рано,
Вдруг налетел своим броневиком
На залп. Ответ. Ответ. Замолкли. Ладно!
И, разбивая двери и шкафы,
Через четыре теплых перепрыгнув,
Он выволок из-под железной крыши
Остывший пулемет, и связку лент
Расстрелянных, и щуплого мальчонка.
«Фамилья?» – «Малкин». – «Малкин? Хорошо!» –
И вывели, и петлю закрутили.
220 «Не надо мыла: за ноги повесим». –
И шесть часов дрожало деревцо,

И кровь сбегала из ноздрей по векам,
По лбу, на землю.

В сумерки опять
Подъехал Мертвецов. «Готов?» – «Еще бы».
«Ну ладно». – И увидели солдаты,
Как вдруг поручик побежал во двор,
И курицу взволнованную вынес,
И, в небо смехом разевая рот,
Внимая иступленному клохтанью,
230 Ей ощипал грудь, спину и крыла
И тоже за ноги повесил – только
На шее у насмешника: «Субботний
Ему обед». –

И возвратился в штаб,
Свою избывши скуку и надменно
Расстегнутыми брюками зевая,
Как офицер – насмешек не страшась.

1919–1921

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ

Новый год

*

Звон полновесный, отлитый из золота,
Ровно в двенадцать провеял вдоль залы.
Полные пены и колкого холода,
Сдвинулись и зазвенели бокалы.

Встал император. Глазами увялыми
Скучно качнулся по люстрам и сводам;
Над верноподданейшими бокалами
Вяло прошло: «Господа, с новым годом».

10 Звезды и ленты, седины и прелести,
Золотом и серебром отливая,
Тосту навстречу, в приветственном шелесте
Мерно шатнулись от края до края.

«Боже, царя храни...»

*

20 Старый рабочий
В ночь уходил,
Уходил во тьму.
Рдели сквозь ночь ему
Вольные очи
Новых,
Безвестных еще годин.

Шел один, и другой, и десятый, и сотый
На собранье, на сходку, во тьму, в пустыри, –
И впускали с полночною тенью ворота
Молчаливых людей, пионеров зари.
И, уйдя в воротник, неразборчивый кто-то
Замечал номера, обходя фонари.

*

30 В черной рясе
Поп Гапон.
В нервном плясе
Вьется он.
Клик кликуши
Плещет в уши,
Ловит души
Лживый стон.

40 Черноглазый
Поп Гапон,
Весь заразой
Заряжен,
У трибуны
Вьет буруны...
А драгуны
Длят свой сон.

50 Он прервется –
Этот сон,
Развернется
Лязг и звон:
Вбрызнет скоро
В песню хора
Треск затвора
Поп Гапон!

*

Корабли, корабли, корабли,
Раскидавшись на мили и мили,
Берега малярийной земли
Третий месяц тоской обводили.

И горячие горла машин
Под бронеею пузырились ржавой,

И лазурью враждебных пучин
Захлебнулся орел двоеглавый.

60 Чтоб тоске двоеглавой помочь,
 Возле башен, под локоном дымным,
 Налилась новогодняя ночь
 Золотым императорским гимном.

Но, разливу оркестра в ответ,
Пели волны, муссоном гонимы:
«Рубежей меж пучинами нет;
Мы – такие ж, как волны Цусимы».

70 И армада идет и идет
 Напрямик, напролом, напролет,
 Сквозь обманное марево вод
 Из Четвертого в Пятый год.
 Идет...

*

80 Крутой сквозняк с Хинганских гор
 Под утро просвистал в простор
 Сквозь гаоляновые тропы,
 Ударил в мерзлые окопы,
 Задохся падалью из ям
 И разбесился по полям.
 В привычном и досадном страхе
 Проснулись мятые папахи,
 Глядя назад, где в глине стен
 Стыл и мерещился Мукден,
 Глядя вперед, где в сопках ржавых
 Врагов, надменных и лукавых,
 Заворошился черный рой,
 Где в бедной фанзе, под горой,
 Над картою сидел упрямо
 Как циркуль медленный Ойяма,
 Рассчитывая, как парад,
 Февральский фланговый охват.

90 А по хронометру считая
 Путь солнца от границ Китая
 До парков Царского Села
 (Чтоб ровно к полночи пришла,
 Царя под новый год утеша,
 Всеподданнейшая депеша
 О неизбежности побед),
 Командующий, на рассвет
 Взглянув брюзгливо и устало,
 Окликнул адъютанта вяло –
100 И телеграмма побежала,
 На полустанке обогнав
 Груженный трупами состав.
 А в блиндаже, среди сугробов,
 Лежал поручик Гололобов,
 В предсмертной посинев тоске,
 Пятная раной на виске
 Комок подушки в сальном блеске, –
 И рыцари ночной «железки»
 Встречали гробовой покой
110 Своей икотой спиртовой...

*

Вновь император, стряхнув цепенение,
Мутно промямлил в шампанскую хмарь:
«Вот, Куропаткин идет в наступление»,
И загремело: «Ура, государь!»

ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ

*

Надеялись и умилялись,
Готовились и умывались,
И поторапливали жен,
Чтобы идти толпой покорной
На заостренный ночью черной
120 В казармах гвардии рожон!

- Шли бесконечным добрым роем,
С попом Гапоном впереди,
С простым, с доверчивым покоем
В исхолодавшей груди.
Шли с облегчением, с упованием,
Что – вот: настало! наконец!..
Туда, где ржавым изваянием
Красно кровавился дворец,
Где серою шеренгой встали
130 Серошинельные полки,
Где иглами граненой стали
Легко встопорщились штыки...
- И напряглась предожданьем,
Легла тревогой тишина,
И медным горловым рыданьем
Рожок пролился.
- Как стена
- Вдруг рухнула крошащим гулом:
Залп, залп, залп, залп, лязг, крик, стон, вой
Прошли беспамятным разгулом
140 По оскользевшей мостовой.
Глаза раскрыты. Губы сжаты.
Сердца пробиты и распяты.
«Проклятый! – пенится. – Проклятый!»
Треск прокатился вновь и стих.
Драгуны ринулись на них,
Рванули, грянули, прорвались,
Оборотились, вновь помчались.
Конец! И в каменной тиши
Пургой свистали палаши.
- 150 День домутнел. И в ночь злодейства
Светить стыдились фонари,
И Невский бредил до зари
Прожектором с Адмиралтейства...

ЧЕТВЕРТОЕ ФЕВРАЛЯ

*

С утра хрустящий яблочный морозец
Посмеивался меж крестов и крыш,
И снега шоколадная халва
Рассыпчато скрипела под калошей.
До масляной недалеко. В Охотном –
Бруски мороженой наваги, бревна
160 Распиленного навкось балыка,
В жестянках голубых сурьмяный блеск
Зернистой дроби, паюсный шагрень,
В кленовых бочках клюквовые бусы,
Нефрит моченых яблок, хризопраз
Ядреных огурцов под эстрагоном,
И – грудой – восковые поросята
С развратной ранкой в горле сквозь жирок.
Тугие молодцы – в огромных чуйках,
В передниках – снуют и зазывают,
170 Клянутся, крестятся трехпалой лапой,
Отвешивают, отрубают, сыплют,
Как десять лет, как двести лет назад.

Работает столицы тучной чрево!..

Серебряными спицами блистая,
Стеклом и черным лаком отливая,
На рысаках за временем гонясь,
Карета мчится. «Глянь: великий князь».

На облучке водяночной громадой
Пружинит вожжи кучер толстозадый
180 С лицом долгобородым, как бунчук;
На самокатах сыщики вокруг;
И на «ура», расплзшееся вдруг,
Через стекло, презрительным показом,
Мелькнула власть – недобрым синим глазом...

Дремотен Кремль под горностаиной шапкой,
Надвинутой на башни и на главы,
Под заячьим тулупом, что налег
На ядерный чугунок, на бронзу пушек;
В Сенате адвокатское журчанье;
190 В монастыре просвирник тесто месит
Для просфор исключительных; в архивах
Бумажный шелест и сургучный шепот;
Ленивые молебствия в соборах...
Как десять лет, как двести лет назад!

Влетает на караковых карета,
И человек в дубленом полушубке –
Наперерез, и вздергивает руки,
Как бы с мольбой, и разом рушит наземь
Огонь и гром!
Звонят протяжно стекла,
200 Подпрыгивают кандалы в суде,
Садятся кляксы на бумагу, галки
Взвываются с крестов, с дворцов, с деревьев,
И в кислом житном дыме бьются кони;
Щепа, кровь... мозг разбрызган и курится
В морозном воздухе.
«Хватай! Держи!»

Со скрученными на спине руками,
Весь окровавленный, летит Каляев,
В объятьях сыщиков, на санках, сквозь
Полубезумную Москву, крича:
210 «Долой самодержавие!»
Княгиня,
Без шляпки, мчится в Кремль.
На месте взрыва
Растаял снег, но кровяным ледком
Уже оцепенило мостовую,
Клок сапога и лаковые щепки...
Смеялась, зубоскалила Москва:
«Впервые князь мозгами пораскинул!»

МУКДЕН

*

220 В Харбине электричество блещет,
И в курильнях пузырится опий,
И китайская музыка плещет, –
На циновке не то, что в окопе!

На циновке лазурному бреду
Уступает безумье Мукдена:
Ничего, что презрели победу,
Хорошо, что не видели плена!

На циновке в курильне зловонной
Водкой рисовой колется ужин,
И хрипит офицер исступленный,
Сладострастием в сердце контужен!

230 Их всё больше. Фарфоровым глазом
Цепенеют. Зрачки – точно яма.
Погибать, оскверняться – так разом:
На Мукден наступает Ойяма!

*

Как будто – ничего. Голубизной огромной
День раздувается, и ветер неумный
Звенит о гаолян,
Но «зайчик» прыгает, зеркальный и блестящий,
Сигналом вкрадчивым гнетущий и грозящий
Средь ледяных полян.

240 А ночью зыблется меж ветряных созвездий
Крыла прожекторов, как знаменья возмездий;
Змеится дым шимоз;
По карте генерал неверным пальцем водит,
А распложенный враг подходит и подходит
Сквозь грохот и мороз.

И расседается тугим огнем и мясом
Фугас взрываемый за взорванным фугасом,
Прокладывая путь,
И за позицией другая отмирает –
Как бы гангрена их грызет и пожирает,
250 Просачиваясь в грудь.

*

И равнодушные драконы
У древних княжеских могил
Видали, как бредут колонны
Безумные в безумный тыл,
Туда, где склады полыхают,
Муку́ и му́ку пепеля,
Где раненых не принимают
Раздутые госпиталя.

*

И командующий, как во сне,
260 Приказал свершившееся отступленье...
Начинается по всей стране
Государственное головокруженье.

ЦУСИМА

*

Чутко спят в орудиях снаряды,
Комендоры спят, не раздеваясь.
Ночь и день холодные бинокли
По туманным горизонтам бродят.
Море пусто, как морская карта,
Но порою из-за горизонта
Вдруг дымок взвивается летучий
270 И опять истаивает в небе.

Кто-то вьется подле, не отводит
Узких глаз от флота, – но напрасно
Мчатся на разведку миноносцы:
Пусто море там, за горизонтом.
Море пусто, как морская карта;
Сердце пусто, как игра в макао;
Старший флагман в невралгии стонет,
Младший умер от разрыва сердца.
И в каютах, кочегарках, трюмах
280 Всё отрывистой ведутся речи,
И с фуражек ленты ниспадают
Черным крепом, траурной повязкой.
И уже немало в лазаретах
Вынуто горячечных рубашек,
Но полуночное бормотанье
У здоровых, у больных – всё то же...

*

Панихида над флагманом ноет,
Душно тает пред образом воск;
Мысль о гибели роет и роет,
290 Будто крот, помутившийся мозг.

И когда закрестились, и строго
Прозвучало рыданье валторн, –
Боевой и предсмертной тревогой
Разразился серебряный горн.

И покинуто важное тело.
«По местам!» И увидели все,
Как восходят средь кипени белой
Броненосцы в надменной красе.

300 «Показались! Японцы! Японцы!
Сзади, спереди! Полон пролив!»
Хризантемой взошедшего солнца
Брызнул первый бризантный разрыв.

*

Винты ударили в крутую воду,
Усы валов взметнулись у форштевней,
Чугунным дымом захлебнулись трубы,
И, задрожав до килей, корабли
Чудовищной дугою развернулись.
«Огонь!» «Огонь!» И сразу – агония:
Чрезмерно увлажнен пироксилин,
310 И двадцатипудовые снаряды
Ложатся в воду. Неделет! Опять!
А там, вдали, кильватерной колонной,
Недосягаемы и невредимы,
Играя пестрой переменной флагов,
Смыкаются подковой корабли.

*

И с их неуязвимой грани
В согласный громовой черед
Ложатся огненные длани
На беззащитный русский флот.
320 И в яростных чалмах пожара
Вдруг заметались, – всё равно, –
Ища последнего удара,
«Суворов» и «Бородино»...
Со дней Чесмы и Трафальгара
Эскадры так не шли на дно!

*

В черной воде закипает след
Прямолинейных тупых торпед;
Вскинут сигнал и с мачтой сбит;
Душным дышит дымом лиддит,
330 И сквозь взметненную водную пыль
Вверх выворачивается киль.

*

А на других броня – вся в клочьях;
Крен, течь, заклинены рули.
Спасти одна лишь может ночь их, –
И ночи молят корабли.
Как бы серпами трубы сжаты;
Нет хода; стиснуты в кулак;
Сердца пробиты и распяты;
«Проклятый! – пенится. – Проклятый!»
340 С востока наползает мрак,
И минным бешенством атак
Встречает ночь остатки флота.
А на «Светлане» для чего-то
Плач гимна снова шлет в простор,
Ополоумев, дирижер...

*

А наутро всё море испятнано кольцами масла,
А наутро всё море покрыто буйками голов,
И простая заря погорела, поблекла, погасла,
И качает волна небывалый холодный улов.
350 И спокойно подходят к бортам крейсеров миноноски;
Хризантемное знамя, – на мачту проворно вползай!
И надменной усмешкою лик передернулся плоский,
И в лицо побежденным хлестнуло, как плюха: «Банзай!»

БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

*

Застыло лето медным зноем,
Зарницей синей напряглось,
И задышала даль пред боем,
Окровавлённая насквозь.

360 Дворец – испуганное ухо,
Распяленное, как струна,
И отовсюду, глухо-глухо,
Грозой вздыхает глубина.
Кто различит в подземном гуле
Строй марсельезы, посвист пули,
Железный гомон заводской,
Шептанье сыщика в охранке
И овдовелый плач крестьянки
Над исповедницей-рекой?
370 Дворца испуганное ухо
Вниманьем жадным напряглось, –
И под землю, глухо-глухо,
Пласты соскальзывают вкось!

*

Стоит утюгом броненосец
У Тендровской мертвой косы,
На мертвой воде – и не знает,
Что грозные зреют часы.

Лишь ночью прозрачный прожектор
Тревожным взмывает крылом,
И трогает звезды, и молит
О мирном и милом былом.

380 Но тишь в офицерских каютах,
Крахмальный, уютенный сон, –
Как будто взбешенное время
Не мчит экипаж под уклон.

Как будто в аду кочегарок,
В стальной тесноте батарей
Не выплавлен гнев и не вкован
В сердца безответных людей.

Как будто в крюйт-камере узкой
Неловкий удар каблука

Дать искру не может – и взрывом
Корабль развернуть в облака.

Как будто столетняя сила
Не рухнет, гудя и треща,
Подмытая страшным приливом
Протухшего за ночь борща!

*

Одно лицо пылало. Восемьсот
Бледнело, как припадок. Верещал
Просверленный сквозь спазму злости голос,
А восемьсот молчало, как снаряд.
400 «Что?! Бунт?! За борт прекрасный борщ? Мерзавцы!
Кто будет жрать – направо, марш! А прочих –
Повешу, как свиней!»

Один, другой,
Десятый, сотый двинулись направо.
Вот вся команда под хлыстом угрозы
Готова уступить. Но офицер,
Уже безумный, с пенящимся ртом,
Удерживает остальных: «Ни с места!
Я вас отправлю борщ хлебать на дно!
Эй, боцман! Вызвать караул! Подать
410 Сюда брезент! Закрывать их! Расстрелять!»
Минута виснет бредом.

Вдруг матрос,
Захлебываясь, выкликает: «Братцы!
Да что же это? Братцы!»

Пистолет
В руках у офицера ухмыльнулся
И плюнул смертью...

И громовый вопль
Ответом был на выстрел: «Бей драконов!»

И через час, пылая красным флагом,
Корабль, сильнейший в Черноморском флоте,
Валил в Одессу мятежом плавучим,

420 Чтобы поднять всё побережье, чтобы
Дать руку всем, кто загнан в подземелье,
Чтобы потом, во всех портах земли,
Размножиться бессмертной легендой!

ОКТАБРЬ

*

Холод и мрак. Топлива нет.
Электричества нет и нет газет.
Вчера на юг не ушли поезда.
Сегодня они не идут никуда.
Уже телеграмму послать нельзя.
Весь день заводы гудят, грозя.
430 Погасли окна последних аптек.
Глядите: с револьвером пробежал человек!..

Вся Россия, стиснув зубы, ушла.
Ушел почтальон от пустого стола,
Ушел истопник, и ушел кочегар,
И в котлах заводских загустел нагар,
И остыла вода в паровозных котлах,
И оборвана проволока на столбах,
И вокруг Петербурга мглой разлита
Пустота, пустота, пустота...
440 А по звонким проспектам гремят казаки.
Оттого и гудят заводские гудки,
Оттого и проносит бешеный бег
С черным браунингом человек!

*

Браунинг плоский и жесткий
Черною сталью мерцает.
На черные перекрестки
Человек выбегает.

450 Там на коньках мохнатых
Серый патруль маячит.
«Бей драконов проклятых!
Ничего, что matka поплачет!

Плакали наши матки.
Стой, не вертись! Эх!
Поиграй с пулею в прятки!»
Треск. Стон. Смех.

*

460 В гостиной лаковый и бронзовый амбир;
Мечтают грации меж факелов и лир,
И люстра свесилась граненой хрусталинкой
Над полною клубков и вышивок корзинкой,
И теплым изразцом блестит на солнце печь, —
Но некому плечом к ней ласковым прилечь:
Дом ночью опустел, перекрещен тревогой.
Графиня плакала; граф горячился: «трогай!»
Храпящих лошадей гнал и хлестал ямщик,
И всю дорогу им грозил и рдел язык
Пожара дальнего, сведавшего усадьбы,
И страх закоченел в тупое «ускакать бы!».
И утро подошло к дворянскому гнезду
470 Сперва безмолвием, потом, как бы в бреду,
Толпой, грохочущей веселые частушки.
Лом грянул в дверь, и звук отдался громом пушки,
И в остром холоде хрустальный дрогнул свет,
Под палкой, в дребезгах, спадая на паркет.

Помещички
Испугались!
Наконец-то до вас
Мы добрались!

Эх, ветхие,
Завалившие,

480

Вот хозяева пришли
Настоящие!

Мы в земле да с сохой
Ковыряемся,
А с барьём кулаком
Расправляемся!

Надоело ходить
Нам под штрафами,
Надо скот поделить
Нам да с графами!

490

Им рога, да и те
Прямо в брюхо им:
Как на воле пахнут кишки,
Мы понюхаем!

Хорошо убрано
Ваше гнездышко,
Только пустим мы убранство
Да по воздушку!

500

Дом зажгу, перебыю
Чашки, блюда я,
Потому как у нас
Революция!

Уж теперь не для нас
Воля куца,
Потому теперь у нас
Революция!

Эй, ребята, пламя-полымя
Зажигай!

Петуха на волю красного
Выпускай!

510

Покрасуется пусть огненным
Гребешком

Да орла зацепит царского
Коготком,
Чтобы знали, чтобы видели,
Кто хотел,
Наш мужицкий, черный, бешеный
Передел!

*

Губы сжаты, прихмурена бровь,
И в висках неумная кровь;
520 И в стеклянную трубку влита
Едко пахнущая кислота,
И свинцовый тугой поясок
Охватил стекло поперек,
И в чугунной коробке лежит
Точно сало крутой динамит,
И гремучего студня кусок
К динамиту вплотную прилег,
И на студень запалом легла
530 Трубка хрупкая, струнка стекла,
Чтобы в миг роковой пред концом
С хрустом хрустнуть под тяжким свинцом...
И, в бумагу упрятав снаряд,
Он выходит. Ему говорят:
«Коля, скоро вернешься?»

А он

Помнит только железный закон,
По которому всё в стороне,
Если враг должен сгинуть в огне!
Не промолвя ни слова в ответ,
Он уходит – на тысячу лет,
540 И отметит газетный лист:
«Бросил бомбу Петров, гимназист».

*

«По одному на пятьсот!»
Тих и упорен завод.

Ровного говора звук.
Плеск поднимаемых рук.
Избран один и другой,
Избран рабочей рукой,
Избран в Рабочий Совет,
Где зарождается свет!
550 Если пойдут поезда,
Знает Совет – куда;
Если «начальства» нет –
Это велел Совет;
Если, как ровный ряд,
Темным огнем горят
Тысячи твердых глаз –
Это Советский приказ!
И – неизбежно растет
Стачка, упорство, бойкот!..
560 «По одному на пятьсот!»
Начинается ледоход!

*

Пустые улицы. Безглазый снежный мрак.
С окраин, с островов бьет ледяной сквозняк;
Он режет как ножом лицо столицы строгой,
Перебивает грудь одышкой и тревогой,
И не в одном дворце полночный взвой гудка
Трубой архангела звучит издалека.
Что на окраинах? Туда взглянуть не смеют;
Филеры чередой сникают и немеют,
570 И слухи, темные и грозные как суд, –
Ползут!
И ночью в Эртелев рывком приходят трое
И, типографию как бы оркестр настроя,
Бросают к утру в мир с суворинских валов
Огромной музыкой строй небывалых слов:
О новом времени в толпу рабов и катов
Гремят «Известия Рабочих Депутатов»!

*

580 Столица лихорадит, бредит,
Захлебываясь пред концом,
И к Николаю Витте едет
За манифестом и свинцом.
Припав к цареву изголовью,
Бормочет ужас: «Уступи
И, успокоив, быстрой кровью
Опасный порох затопи».
«Теперь признали мы за благо...» –
Как благовест идет кругом,
Но зашифрованной бумагой
Предписывается погром...

590 На улицах стало черно от народа,
В руках замелькал листок.
«Свобода! Свобода! Свобода! Свобода!
Дождались! Настал же срок!»
Бросаются люди друг другу в объятия:
«Свобода! Уже навсегда!»
И рядом с орлёной чернеет печатью
Печать полевого суда.

Ноябрь

*

600 Над белым рейдом разбежался ветер,
Коснулся темно-ржавых броненосцев,
Венков и лент над братскою могилой,
Коснулся пятитысячной толпы
И пал к ногам, чтоб не нарушить чуда.
У желтой ямы вытянулись в ряд
Гроба – громадную клавиатурой;
Сейчас на них сыграет гимн восстанья
Неведомый дотоле музыкант.
Взбегает он на глиняный бугор;

Фуражка с белым кантом застывает
В сведенной судорогою руке,
610 И возникают над бесплотным телом
Лоб мудреца, измученные губы
И ставшие огромными, как ужас,
Глаза!..

О, беспредельный этот голос!
О, этот слог, сухой как телеграмма!
Будь ночь кругом, слова бы голубым
Сияньем электрическим порхали!

Он говорит:

«Товарищи и братья!
Здесь, над гробами павших за свободу,
620 Свои должны мы повторить проклятья
И завещать как заповедь народу!»

Он говорит:

«Я знаю нашу долю:
Нам в бой идти за будущую Русь!
Клянемся же восстать за землю и за волю!
Клянусь!»

И тысячи ему в ответ: «Клянусь!»

Он говорит:

«Друзья! На бой кровавый
Идем, решив: паду или добыюсь!
Клянемся ж победить иль умереть со славой!
Клянусь!»

И тысячи вздохнули с ним: «Клянусь!»

И народ за собою уводят
630 Два огромные глаза.
Над железною крепостью всходит
Диктатура экстаза!

И бессмертным полетом
Сигнал на «Очакове» взвит:
«Командую флотом.
Лейтенант Шмидт».

ДЕКАБРЬ

*

«Патронов не жалеть!»

Не пожалели.

Кто смелый – пал; кто послабей – отпал.

При долгой стачке семьи голодают.

640 И, понемногу, стали на работу:

Передохнуть.

За чайными столами

Волнуются учителя и думцы,

Врачи, юристы, земцы, инженеры:

Всех напугал и обозлил Совет

С его суровой, как приказ военный,

Программой, с его стремленьем жестким

Взять власть, с его открытым вождельем

Добиться пролетарской диктатуры.

«Нельзя же сразу!» «Соберется Дума –

650 Поговорим». «Как в Англии». «Конечно».

«А то еще дождемся гильотины».

«К тому же сахар страшно вздорожал».

И проданы за сахар «идеалы».

А партия была еще слаба;

Кругом еще меньшевики юлили

С эсерами и с бундовцами. Ленин

Приехал только что и звал к оружию,

Бранился, что полгода проболтали,

Не сделав бомбы ни одной; ковал

660 Рабочие дружины, – но винтовок

И маузеров не было; восстанья

Шли там и сям, взброс и впережку;

Кавказ был сломлен, латыши разбиты,

Свеаборг пал.

Правительство, наглея,

Отважилось арестовать Совет.

Немного рано. Питер обезглавлен,

Но оцетинилась и зарычала

Рабочими кварталами Москва!

670 Опять голубизна и снег,
 Денек морозный и погожий, –
 Здесь рысакам бы пенить бег,
 Ломовикам скрипеть рогожей.
 Но город нынче опоздал
 Явиться к сутолоке бойкой,
 Но город словно бы проспал,
 Сражен угаром иль попойкой.
 На улицах, как в пять утра,
 Весь день задумчиво и пусто...
 680 Вот где-то, кажется, «ура»;
 Вот странный звук: подобье хруста.
 И вновь голубизна и снег,
 И магазины, сплошь слепые,
 Сцепив края железных век,
 Стоят как Вии неживые;
 В любом окне сплошным бельмом
 Белеют сомкнутые шторы,
 И ни один не хочет дом
 Взглянуть в морозные просторы.
 Уходит солнце на закат
 690 Тяжелым шаром леденцовым,
 И по разъездам с баррикад
 Бросятся зерном свинцовым.
 Там есть хорошие стрелки
 С прицелом точным, глазом ясным, –
 И жмутся в кучу казаки
 На расстояньи безопасном.
 По закоулкам, чердакам,
 Ползя с задворков на задворки,
 Всё продвигаются к дворцам
 700 Вооруженные пятерки...
 Как кружево растет стрельба,
 Кремль охватив и опоясав, –
 И задыхается Дубасов
 Под мерным натиском «раба»!

*

Из Петербурга идет,
Зная в расправах толк,
В остервенелый поход
Гвардейский Семеновский полк.
710 На станциях он не ждет:
«Гони, машинист, пока цел!»
Порой отделяется взвод –
Произвести расстрел.

*

Под разрывами тяжелых гранат,
Под железною трелью картечи
Уступает гряда баррикад,
И дружины отходят назад:
Пресня примет восстанье на плечи.

А гвардейцы идут и грозят;
Вновь заводят орудия песню;
720 Ураганным огнем, наугад,
Из стволов медногорлых громят
Не просящую жалости Пресню.

Перед Иверской свечи горят,
И молебен вздыхает пристойно,
И в Кремле трехрублевкой дарят
Поработавших в досталь солдат.
А на Пресне – «на Пресне спокойно».

*

И в школе поручик на парте сидит,
Над грудой отобранных шашек;
730 Под пальцами список, и в пальцах дрожит
Обкусанный сплошь карандашик.

И против имен возникают кресты:
Крестам не стоять над могилой...
«Кого там окликнули? Я или ты?»
«Прощай же, обнимемся, милый!»

Подводят к стене, отбегают назад.
Сравнялись винтовки прицелом.
«Пли!» Дымом отходит мгновенный разряд,
И красное пенится в белом...

*

740 Ко всенощной царь новогодней идет
И молит послать ему радостный год,
И после опять оглашается зала
Под шорох шампанского звоном бокала, –
И в эту же ночь, новогоднюю ночь
Никто никому не умеет помочь...

*

Во дворе тюрьмы черно.
Мутно светится окно,
Но погасло и оно.
Незадолго до зари
750 Замелькали фонари.
На тюремный черный двор,
Ежась, вышел прокурор,
Взвод солдат, священник, врач;
Встал как будто бы палач,
Петлю мертвую свернул,
Вспенил мыло, окунул.
«Всё готово. Выводи».
Клюнул кашель – в чьей груди?
Вышел связанный во двор.
760 Прошептали приговор.
Ставят... ставят на чурбак,
Прячут голову в колпак.

Туго стянута петля.
Тело вниз зовет земля.
«Ну, скорее!» – И палач
Вдруг припрыгнул, точно мяч,
Ухнул, выбил из-под ног...
Мокро хрустнул позвонок.

XI-XII.1925; 16.XI.1927

Москва – Симферополь

ИСКУССТВО

Это было в стране, где струится Клайд,
Травяной прорезая дол...
Он пришел по зеленым и свежим лугам,
Он в старый Гринок пришел.
В лугах овечий звенел бубенец,
Остролистник и дрок цвели,
И важная цапля шатала камыш
Над жирною топью вдали.
Дорога в Гринок почти пуста:
Редкий путник по ней пройдет,
И овчарка овчарке за сто шагов
Путника передает.
Но в это утро молчали они,
Спокойно звенел бубенец,
Как будто никто не прошел меж них,
Не поглядел на овец.
А он прошел по зеленым лугам,
И было лицо его
Такое, какое снится нам
В детстве, под Рождество,
Когда, прождав голубой звезды
И отдавав с пшеницей мед,
Мы ложимся, и сон голубым молоком
Глаза голубые зальет,
И потом, до седин, никогда-никогда
Мы не можем вспомнить его,
Того, голубого, кто снился нам
Ночью под Рождество...

По лугам травяным, где струится Клайд,
Он в старый Гринок пришел,
Оружейный мастер видел его,
На него викарий набрел.
Они потом говорили друзьям,
Епископу и Суду,
Что выглядел он бродягой простым,
Не привыкшим, видно, к труду;

Что был он одет в порыжелый камзол,
В заплатаанные штаны,
И были сквозь дыры в его башмаках
Пыльные пальцы видны;
Что он за плечами волынку нес,
Был сморщен ее мешок,
И две трубки ее во многих местах
Жалкий скреплял ремешок;
Что, должно быть, он пьяницам песни играл,
На трактирном стоя крыльце, –
Но никто из двух ничего сказать
Не мог об его лице.
Как с ними ни бились их друзья,
Епископ, Шериф, Судья, –
Говорил оружейник: «не помню я».
И викарий: «не помню я».
Говорил оружейник: «его лицо –
Как причастное было вино».
А викарий сердито ему возражал:
«Было как шпага оно»...

У трактирщика много в подпольи крыс;
Уютные норки у них,
Древоточец минуты стрекочет им,
И сверчок поет им стих.
Днем они отдыхают от дел,
Лелеют своих крысенят,
И стройные крыски грузных крысов
Острой любовью томят.
Но сойдет из трактира в подполье ночь,
Зашумит в ушах тишиной, –
Крысы, как мячики шума, бегут
Совершать свой труд ночной.
Они проскальзывают в поставец,
Карабкаются на шкаф
И рады в масле оставить след
Нежных, как звездочка, лап.
Масло и сало, хлеб и крупа, –
Как богат этот горний мир,

Как щедро румяный трактирный бог
 За труд им дарует пир.
За то и праздники чтут они:
 Сошествие Окороков,
День Сыра Великого, Пудинга день
 И Рождество Пирогов...
Но вот в ту ночь, как в Гринок пришел
 Бродяга с волынкой своей, –
Странный, и нежный, и плачущий звук
 Долетел до крысьих ушей.
Странный, и нежный, и плачущий звук
 Переполнял тишину –
И стало в подпольи как будто сыр
 Вдруг превратился в луну,
Как будто последний кус ветчины
 От праздника Окороков
Стал розовой мальвой на влажном ветру
 Среди зеленых лугов.
И вспомнили крысы иные века:
 Луговых Приволий века,
О которых им толком сказать не могла
 Простая баллада сверчка.
И, бросив норки, одна за другой
 Они пошли во двор,
Скользнули на улицу, а там
 Им засиял простор.
И в этом просторе под полной луной,
 Как песня, волынщик стоял
И, качаясь, как песня, под полной луной
 На дивной волынке играл.
И были точеные трубки ее
 Серебряными, как луна,
И полный певучим дыханьем мешок
 Дышал и дрожал, как волна.
А сам волынщик был наг и юн
 И был насквозь голубой,
Как ветер, что к ним летел с небес,
 Умытый студеной звездой.

И крысы к нему подошли, раскрыв
Черные бусинки глаз,
И, встав на задние лапки вдруг,
Начали мерный пляс.
Дышал и дрожал, как волна, мешок,
Нездешнею песнью дыша,
И блаженно выплескивалась до дна
Слепая крысья душа...

Отцы и матери звучно храпят,
Уткнувшись в пуховики,
И не слышат, как нежный и странный звук
Преодолеет замки.
А Джонни, и Вилли, и Кэт, и Маргрэт
Спят, приоткрыв уста,
И за это им сладкий дарит поцелуй
Сказочная темнота,
И за это старик-рисовальщик сон
Им картинку дарит,
Каких никогда не подарит он
Тем, кто тревожно спит.
А тот, кто дал себя целовать,
Кто картинку смотрел,
Тот может услышать и может понять
Пение струн и стрел.
А песня волынки была сильнее,
Чем струна и стрела,
И, замки одолев, поплыла она,
Над кроватками поплыла.
И Джонни, и Вилли, и Кэт, и Маргрэт
Глаза раскрыли вдруг,
Привстали – и слышат странный звук,
Никогда не бывалый звук.
И, тихо спрыгнув с кроваток своих,
Вышли они во двор,
Скользнули на улицу, а там
Им засиял простор.
И в этом просторе под полной луной,
Как песня, волынщик стоял

И, качаясь, как песня, под полной луной
 На дивной волынке играл.
И были точеные трубки ее
 Из розового леденца,
И мешок ее, как воздушный пирог,
 Дышал и дрожал без конца.
А сам волынщик был весь голубой,
 И было лицо его
Такое, какое снится нам
 В детстве под Рождество.
И пела волынка его о том,
 Как сладко покинуть дом
С его обедом в положенный час,
 С молитвою и трудом.
Как сладко уйти навсегда в поля,
 И петь, и плясать, и петь,
И, светлякам улыбаясь в траве,
 С ними о звездах жалеть.
И дети спокойно к нему подошли,
 Сияя глубию глаз,
И, за руки взявшись, сомкнули круг,
 И начали мерный пляс.
И волынщик пошел, продолжая играть,
 Пошел в поля, в никуда,
И дети и крысы пошли за ним
 Из города навсегда.
И пела волынка, стихая вдали,
 Нездешнюю песней плыла,
И пляской блаженной стремились вдаль
 Детей святые тела.
И крысы тоже вели хоровод,
 И так же их пляс порхал, –
И больше никто не увидел их,
 Ничего о них не узнал...

1–3.VII.1926

Севастополь

ПУШКИ В КРЕМЛЕ

Патруль и пароль, – но мой пропуск в порядке.
Ныряю в ворота, в кирпичные складки,
На площадь вступаю, где в сумрак и в тень
Мерцает зеленый бульжный шагрень...

Пустынная площадь, покорная взорам, –
Ветров и туманов распахнутый форум:
Здесь консулы бури, сенаторы вьюг
В любой амбразуре сомкнули свой круг.
Пустынная площадь громадами встала:
Дворцы и казармы, стена Арсенала;
На выступе рослом омшённной стены
Вповалку лежащие пушки видны.
Их время в тяжелом порядке простерло,
И в камень вдавило глубокие горла,
И славой покрыло, и ярью ожгло,
И ветру открыло любое жерло.
Над блеском, над медью клонюсь я. И мнится:
Легла Бонапарта литая цевница,
Которой внимали, подобны кострам,
Москва и Маренго, Арколь и Ваграм.
Не зная пощады, не зная преграды,
Мелодию грома вели каронады,
Мортиры вступали, чтоб гулом истечь,
И альтом на дали кидалась картечь.
Но порох в снегах отсырел грановитый,
И Консул покинул цевницу разбитой.
И долго собирали ее по земле,
Не волей, а вагой скрепили в Кремле...
Ласкаю рукою узоры литые:
Здесь N заостренные, лавры крутые,
Здесь клейма цейхгаузов, девизов латынь,
Зазубрины славы, снегов и пустынь...

О, ветры, летите, о, ветры, провейте
Былой Марсельезой по бронзовой флейте,

Заставьте надменную снова запеть!
И медленным гудом ответствует медь:

«Послушная взрыву, привычная гуду,
Набатом была я, и песней я буду, –
Недаром, из рудных исторгнута недр,
В плавильницах трудных я встретила ветр!

Я помню безумное зноем горнило.
В нем ныла, бесилась воздушная сила,
Меня в нем язвило, пронзало меня
Двойное стрекало мехов и огня.
Сведенная болью, сплошной, сквозною,
Я плакала медленной, медной слезою,
Я вся превратилась в тугую слезу,
Скопилась и билась в горниле внизу.
Вдруг крикнули что-то и что-то раскрыли;
Покорная новой и ласковой силе,
Я пышным елеем из горна пошла,
В изложницу влажную важно втекла.
Собой облагая прохладную глину,
Я сладостно чуяла: стыну я, стыну, –
И жадная жаждой, ожоги знобя,
Во впадине каждой я скрыла себя.
И дни надо мною слагались в недели,
Частицы меня застывали, твердели,
Гурьбой подходили ко мне мастера,
Глядели, касались, шептали: пора.

И вдруг надкололась глубоким изломом
Каленая глина под яростным ломом.
Со стоном смятенным дробилась она,
Вся алым закалом и звоном полна.
Меня отделили и перевернули.
Я кубком стояла, я ластилась в гуле,
И ноготь литейщика дробью крутой
Отважился трогать мой звон золотой.

Стонали канаты, скрипели стропила.
Я легкою стала, я в небо всходила,
Я в башне повисла на много веков,
Как медное сердце у розы ветров.
Из дальних ущелий, из ближнего дола
Я слышала голос влюбленный Эола;
Прозрачность востока и запада мгла
Мне Эвром звенела, Зефиром текла.
Я нежилась Австром, с Бореем боролась, –
И вечною зыбью мой говор, мой голос
Шептал, и гудел, и отвечивал им,
Всегда полновесен и неутомим.

Но, свой колокольный закон выполняя,
Взывая, гудя, негодуя, играя,
Девизов моих предначертанный круг
Я весь воплотила

в зык,

в звук.

– Festa decoro et funera plango,
Congrego plebem et fulgura frango¹, –
Ликуя на праздник, над гробом скорбя,
Народ созывая и молньи дробя!

Года провожая полночным ударом,
Покрылась я медным зеленым загаром,
И гнезда слепили в стропилах стрижи,
Солому таская с далекой межи.

Но странная мутная ночь наступила.
В ту ночь я молчала. В ту ночь не звонила.
В ту ночь не вернулись в деревню стада:
Взамен их с полей надвигалась беда.
Дрожали дороги от буйной обузы:
Обозы, кирасы, орлы, аркебузы
Железной отарой тянулись вдали,

¹ Перевод с латинского – следующие две строки. (*Сост.*)

И рдели, к затравкам клонясь, фитили.
И мой повелитель, звонарь бородатый,
На звонницу прынул и впрягся в канаты,
И точно как в ступке, долбилom разъят,
Во мне заревел, забезумел набат!..
Вся в копоты, в жаркой золе я лежала,
Расколота натрое, глухо дрожала,
А в башне уже ослабел и поник
Меня заменивший багряный язык...

Послушная счету, покорная люду,
Позором была я, и песней я буду:
Недаром, пройдя через тысячи рук,
В себе я хранила врожденный мне звук.

Я стала несметной и мутной монетой,
В нещедрые числа нечисто одетой,
И профиль венчанный, с надменной губой,
Меня заклеимил, как рабыню, собой.
Доступна как смерть, как любовь непреложна,
Презрительна вечно и вечно тревожна,
Стираясь о зубы и дней и ночей,
Я общею стала, я стала ничьей.
Была я последней, была я среди многих,
Отшвырком богатых, восторгом убогих,
Приварком солдат, пенсионом калек
И веки смежала уснувшим навек.
Я лептой была, и цветами, и водкой,
Галерами вора, ночью красоткой,
Меня, как причастье, глотал Гарпагон
И ставил отчаянной ставкой Виллон.

Но, годы и годы в тоске пробегая,
Я помнила: я не такая, другая,
И, смятая в теле презренном гроша,
Из ветра и звона томилаь душа!

И встал над столетьями год знаменитый,
Марсельским напевом и гневом повитый,

И шапкой фригийской зардела страна,
Трехцветные зыбля в дыму знамена.

И здесь я расторгла, расплавила узы:
В горнила меня повергали французы,
Я пушкой воскресла на вольном пиру,
Декреты победы вручая ядру.
Покрытая изгарью, пылью и потом,
Я верной подругой была санкюлотам,
Я взрыв обнимала, от страсти звеня,
И звали Трубою Свободы меня!..

И вот я столетье лежу, изнывая,
Лишь изредка с ветром неверным играя,
Что гладит меня мимолетным крылом,
“А помнишь? А помнишь?” твердя о былом.
Столетье я здесь пролежала, немая,
Столетье напрасно тебя прождала я,
И вот наконец разбудил Аквилон
Недаром мой чуткий, мой бронзовый звон!

Он верен – путь ветра, огня и металла:
Победой была я, и песней я стала!
И жребий всего, что есть в мире, таков:
Стать песенным сердцем у розы веков!»

14.XI.1926

ПИРОТЕХНИК

Люби сирот и мой Коран
Дрожащей гвари проповедуй.

Пушкин

...у нас всё те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева есть мятеж.

Блок

На пустынной площади ко мне при-
стала заблудившаяся собака: ее гла-
за выражали отчаяние...

А. Франс

I. УЛИЦА, ОНИ И ОН

Des quais froids de la Seine aux bords brûlants du Gange,
Le troupeau mortel saute et se pâme, sans voir
Dans un trou du plafond la trompette de l'Ange,
Sinistrement béante ainsi qu'un tromblon noir.

Ch. Baudelaire¹

Канотье набекрень; на усах жирный лоск брильянтина;
Бровь приподнята левая; правое веко вприщур...
Сразу видно, что – скептик и фат, сразу видно – скотина,
Но корректный, но сдержанный, но никогда чересчур.

Десять франков отдельно: подарок Фифине; два франка –
Мазагран у Cascades²; франк – сигара: в каштаны дымить;
«Пара франков» останется – звякнуть на мраморах банка:
И от торга восторгов не худо в запас отломить.

¹ От холодных набережных Сены до жгучих берегов Ганга / Стадо смертных пасет-
ся и млеет, не видя / Сквозь дыру в потолке трубы ангела, / Зловеще зияющей, по-
добно черному мушкету. *Ш. Бодлер (фр.)*.

² «Каскады» – название кафе в Париже.

День рабочий окончен – в конторе, в почтамте, на бирже;
Шеф доволен; обед благороден: баранье рагу;
А теперь – надо жить. Ну, куда? – В Moulin rouge¹! Не в эфир же!
Разве лакомиться неприлично в приличном кругу?

Он проходит. Под мышкою легонький градусник трости.
Всё нормально, включая потливость, всё ясно как медь:
Он умеет работать, высмактывать кроличьи кости,
Пробегать Figaro² и сантиметром как Ротшильд греметь.

На текущем счету... впрочем, это великая тайна:
И отцу, и любовнице, даже себе самому
Он боится поведать, хотя бы впросонках, случайно, –
Сколько «синих» очистилось в этом квартале ему...

Прорезною ноздрей он вдыхает пачули подмышек,
Арбалетным зрачком пронизает он пухлость бедра,
Он шалает от сотен котяточек, курочек, пышек,
Что задами играют под крашеной сенью пера...

Он не видит вон там, у киоска, два глаза железных,
Что его, жантильома, и толпы таких же, как он,
Меряют меркою гроба и судят в пылающих безднах,
Что сегодня иль завтра огнем развернут небосклон.

Он не видит его (не вполне элегантна одежда),
Он не видит его, человека с землистым лицом,
Чья, как тень Шамиссо, навсегда отделилась надежда,
Но глаза опоясались темным, как печень, кольцом;

Кто, застыв и уйдя в исключительный транс водолаза
(Перед кем щегольнула гизна морская, мокой),
Омерзеньем дрожа, приковал два железные глаза
К повседной личинке, чья стая зовется толпой;

Он не видит того, чье лицо через день, через месяц
Разлетится по миру на первых страницах газет,

¹ «Красная мельница» – кафешантан.

² «Фигаро» – газета.

Чтобы горечью губ в репортерскую дробь околесит
Кинуть горькую правду, как бомбу в колеса карет...

Канотье пробегает... А вечер весенний сиренев,
А от Сены так нежно купальной пахнуло простой,
И мальчишка-Апрель, золотистого мыла напенив,
Над соломинкой Эйфеля выдул пузырь золотой.

Здесь появляется центральный персонаж поэмы. Имя его – Аваланш (в имени этом никакой символики нет). По профессии он – переплетчик. Переплетчик-художник. По условиям профессии обслуживает «изысканное общество» и работает в одиночку.

II. ВЫМИРАЮЩАЯ ПРОФЕССИЯ

*Et ce vélin pâli, que dora Clovis Ève.
Hérédia¹*

Мастерство переплетчика... Плотно линейка прижата,
Вдоль линейки по коже беззвучная бритва идет,
И одну за другой безупречную плоскость квадрата
Аваланш осторожно на столик особый кладет.

Полихромный сафьян и телячий упрямый опоек,
Задушевная замша и – слепок приборя – шагрень...
В этот – ляжет Гюго, в этот – скроется греческий стоик,
В эту – песни Мюссе, а для этой годится Монтень.

Для «Кармен» хороша опаленная кожа Кордовы,
«Parchemin vierge»² – Расину и кожа свиная – Рабле,
Для экзотик Лоти – марокен, золотой и медовый,
И пергамент – на библию: напоминать об осле...

Как высокий художник лепил Аваланш оболочку
Для мечтаний и дум, для развратов, для смехов, для слез
И часами искал по страницам скрипичную строчку,
Что решала бы вдруг ремесла золотого вопрос.

¹ И этот выцветший велень, позолоченный Хлодвигом Эвом. *Эредиа (фр.)*.

² «Девственный пергамент» – особо тонкий и светлый сорт.

Точно те мастера, кем гордились старинные цехи,
Он угадывал тайну, и рыцарство рифм постигал,
И дарил паладинам достойные славы доспехи,
Имена замыкая в тисненый по коже овал.

Но былое – ушло, а кичливый теперешний книжник,
Фарисей библиотеки, выставленной напоказ, –
Лишь заказчик скупой, а не в книгу влюбленный подвижник,
Чья рука осязаньем пьянеет, а линией – глаз...

Некоторые из клиентов Аваланша навеки ему запомнились. Автор поэмы может герою дать зарисовки этих лиц.

III. ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Paix! – dit la Guerre.

V. Hugo¹

Может резко вскочить, так что кресло рванется, как лодка,
Может плюхнуться вновь, точно узел с несвежим бельем,
Киселем распустится от ягодиц до подбородка
И умнейшую пошлость на стол расплескать киселем...

Лоб как булка; глаза точно устрицы в масле; ощёчья –
Поросячьим подобны отваренным окорочкам;
Рачья шейка губы шевелится сквозь пегие ключья
Кирасирских усов, угрожающих штатским очкам.

Дом – весь в пуфах и креслах. Жена до того сухопара,
Что успех у нее умерщвлением плоти слывет;
Всех любовников знает: корректен, но сух, как Сахара,
И охотно префектами их на окраины шлет.

В прошлом – стряпчий, потом – журналист, депутат и сенатор,
Дальше – член кабинета. Министр всевозможнейших дел.
Мастер блоков и склок и в любой трескотне – триумфатор.
Радикал и палач – сладкий торт и ружье на прицел.

¹ Мир! – говорит Война. *В. Гюго (фр.)*.

Порох выдумать трудно. Но пороху дать назначенье
Превосходно умеет. Программа – ребяческий бред.
Но уладить конфликт, в пуховик утопить обостренье,
На три года отсрочить – такого искусника нет...

В меньшинстве – примыкает, торгуя с лотка перевесом,
То к одной, то к другой стороне, а спаяв большинство –
Валит грудью вперед, как кабан, раззадоренный лесом,
И тогда берегись выходить на дорогу его.

Понимает насквозь всё «реальное»: службу и ренту,
Ипотеки, тарифы, механику кворумов, квот;
Но подарите франк, предпочтете гравюру абсенту –
Совершенным теленком разявит задумчивый рот.

Жизнь чужую сожрет – как сглотнет апельсинную дольку,
Но весьма добродушен и денег не жаждет рвануть.
Честолюбец? – Не очень. Обжора? – Постольку-поскольку.
Бабник? – Любит свежинку, но так: мимоходом, чуть-чуть.

Сам не крадет совсем и чужим не потатчик растратам,
Но запахнет скандалом – и с ведрами мчится он вскачь:
Потушить! загасить!.. И не будь он таким демократом,
То в гербе у него красовался б резиновый мяч...

Так и прожил полвека охранником чьих-то угодий –
На все руки перчаткой, кондомом на все номера.
Сулла первого мая, в спокойное время – Гармодий...
Государственный муж! Облеченная властью дыра!

Аваланш посещает не только клиентов. Иногда он бывает в кафе.

IV. В БИСТРО

Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse?

*P. Verlaine*¹

Он сидит. Зубы стиснуты. Губы как молния сжаты.
Он сомнамбулой смотрит на газовый бледный рожок,
Где хлорозные эльфы, так робко, так мало крылаты,
Непрерывно танцуют, сомкнув хороводный кружок.

И не в лад этой пляске, не в тембр этой слабости робкой,
С потемневшей эстрады руладой ликует гобой,
И румяный гарсон, лимонадной шелка пробкой,
Закипевшую дрянь наливает в бокал голубой.

И, губною помадой марая весь венчик бокала,
Оставляя авансом полночных засосов печать,
Две военных венеры и с ними четыре нахала
За руладую мчатся картавый припев прокричать:

– «Ma souris! Ma brebis»² – вылетает как пробки, как сперма,
И овечьи глаза, и мышинные зубы блестят;
В батальонских альковах эмблемою нежности – ферма:
Мыший дрязг поцелуйчиков, томные взлеи ягнят...

Ну, а эльфы, а те – изумительно скромны: им надо
Каплю лунного света и лишь шелковинку тепла...
Кто им крылья обжег и загнал их в расщелину ада
Танцевать напролет на штампованной розе стекла?

Из угла подымается сгорбленный, сумрачный, дикий –
Локти прорваны, лацкан засален – лохматый старик,
К волосатой ноздре прижимает букетик гвоздики
И дрожащей рукою застегивает воротник;

¹ Что ты сделал, о ты, что здесь / Плачешь непрестанно? / Скажи, что ты сделал, ты, что здесь, / С молодостью твоею? *П. Верлен (фр.)*.

² «Моя мышка! Моя овечка!» (*фр.*).

Под огромным челом два огромные темные глаза,
Точно камер-обскуры, где всё, обратившись вверх дном,
Превратится в тончайшую, – в скиниях синего газа, –
Самоцветную роспись под матовым белым стеклом.

Бормоча, он выходит, втянув исхудалую шею;
Аваланша касается, дрогнув меж каменных стен,
Странный ритм странных слов: «Что ты с юностью сделал своею,
Ты, что плачешь...» Кто это?.. Дверь брякнула дрябло... Верлен!

Аваланши переплел немало томов Верлена, принадлежащих лучше оплачиваемым писателям. Например, такому:

V. ОН НЕДУРНО ЖИВЕТ

L'homme d'esprit seul sait manger.
*Brillat-Savarin*¹

– «Mon ami², – вы устройте...» – Меж губ прихотливая слюнка,
А в глазах арифмометр... Так вот он – месье Катрвэнкю,
Академик, психолог, утонченный мастер рисунка,
Где остроуты блудят между ляшек, сосков и экию!

Скепсис умного бандера, резвая светскость лакея,
Массажистская мягкость за горло хватающих рук –
Вот какие способности чтутся в аллеях Ликея,
Палисандром и бронзою реализуюсь вокруг.

Да, уютно, уютно... Полотна Коро и Лоррена,
Эльзевиры и альды в хрустальном, как небо, шкафу.
Стихаря кружевного четырехсотлетняя пена
И берилловый жук – скарабей из могилы Ху-Фу...

Импотенты щедры, – и того, кто сумеет заставить
Хоть в мечте захлебнуться и хоть в одиночку сомлеть,

¹ Только одухотворенный человек знает толк в еде. *Брийа-Саварен (фр.)*.

² Мой друг (*фр.*).

Могут в роскошь облечь и всемирною славой оправить:
Сто изданий в полгода – ведь это как мрамор, как медь!

– «Mon ami, – вы устройте...» – Для *этих* склерозные вены
Наливаются смертью над ртутною бездной зеркал,
И, глотая абсент, в кабаках подымают Верлены, –
Чтобы *их* кабинет перламутром и лаком сверкал...

Заполняя одинокие досуги, Аваланш идет посмотреть на носителя иной славы: убийцу с заранее обдуманым намерением.

VI. НА ГРЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ

Вы людей делаете ворами,
чтобы потом их вешать.

Т. Мор. «Утопия»

La cohue,
Flot de fer,
Frappe, hue,
Remplit l'air.
Et, profonde,
Tourne et gronde,
Comme une onde
Sur la mer.

V. Hugo¹

С обнаженными саблями мокнут в тумане драгуны,
Как на ярмарку, туго на площадь набился народ,
А порою на небе мелькнут голубые лагуны,
И опять их клоками нечистыми заволочет...

А за конскими крупами, вздутыми кругло и крупно,
Два шеста напряженных оглоблями в небо взвились,
И меж ними скопился, уверенно и недоступно,
Треугольник ножа, затускневший сквозь сальную слизь.

¹ Толпа, / Поток железа, / Стучит, кричит, / Перепополняет воздух. / И, изглубока, / Ворочается и рокошет, / Как волна / На море. *В. Гюго (фр. – Пер. сост.)*

Равнодушие полное. Линия гипотенузы
Свистнет наискось в шею: вот здесь будет первый надрез –
И из рваного ворота синей, измызанной блузы
Как штыками сквозь воздух кровь кинется наперевес...

И у подлой машины, что создана подлой смекалкой,
Где подслепый и куцый прищурился глазомер, –
В сюртуке и цилиндре, в неглаженных брюках и с палкой,
Разминает шажками отечные почки Дейблер.

На обвисших щеках неопрятной штриховкой борода,
Сigaretка прилипла к припухшей и вялой губе,
Глазки плоские смотрят совсем простодушно и кротко:
Он мечтает о чашке горячего чая себе...

Нет, нелегкая служба... Еще бы: недóсып, недóбед!
И оклад невелик! Да и возраст. И почки – уже...
...Кто посмел так устроить, чтоб этот ползучий гомоид,
Повитуха навыворот, жизнь проверял на ноже?..

Вдруг, как черный подсолнечник, шляпки свихнулись и кепки
К узкой щели ворот, и как черное солнце взошел
Над бульжною слякотью парень, широкий и крепкий,
Пошатнулся, уперся и снова поплелся, как вол.

Подымаясь на цыпочки, вытянув шеи цыплячи,
Рты раскрыв, задышали, – а он, оседая на бок,
Лупы глаз округлил на узлистые лапы палачи,
Что клешнями раскрылись – принять свой привычный пашк.

По бокам два тюремщика – те подпирают движенье;
Впереди, сжав распятие, пятится дряхлый кюрэ
И, склоняясь вплотную, воняет слова утешенья, –
Прибавляя к стряпне Гильотена христово пюре.

Тишина. Безобразная свалка под черною рамой.
Ноги в воздух дрыгнули, как будто вспорхнула сова.
И – четыре удара скатились бильярдною гаммой, –
Стук: доска, деревянный ошейник, топор, голова.

– Ххх-арх! – отхаркнула площадь в гортани засевшую спазму...
Кровь отвеяла холоду пара тускнеющий клуб...
Надо ж было родиться Платону, Франциску, Эразму, –
Чтобы тысячи шли поглазеть на обрубленный труп...

Впрочем, не все убийцы умирают на гильотине. Иные доживают до глубокой старости. И даже переплетают книги.

VII. НЕ БУДЕМ ЕГО НАЗЫВАТЬ

Le Mépris:

Je reste.

V. Hugo¹

Лет под восемьдесят, – а стоит как пивная бутылка;
Пеной бьет седина, и не дрогнет затянутый стан;
Голова запрокинута, как в контрактуре затылка,
С подбородка торчит эспаньолки уланский султан.

Благородный товар... только уж чересчур благороден,
Чересчур благосклонен водою наполненный глаз:
Шулера – из небитых, – любовники старых уродин
Вот такую ж осанкою честь охраняют подчас...

Голос бархатом стелет названия книг и форматов,
Добродушная длань локон внучки погладит порой...
В блеск речей и манер биографию вдумчиво спрятав,
Он как в ложе стоит – патриарх, жизнелюбец, герой!

Из дырявого замка – в кипение жизненных каверз,
От баронской картошки – в каскады цветочных гирлянд,
И в карьерном карьере – в орлянку с Фортуною: аверс
Герцогине Беррийской, а реверс – послу Нидерланд.

Henri Quint², прусский принц, император чухонской Пальмиры,
Кавеньяк, Баденге, Мак-Магон – всех режимов сапог

¹ Презренье (говорит): / Я остаюсь. *В. Гюго (фр.)*.

² Генрих Пятый – претендент на французский престол от династии Бурбонов.

Этой стройной ногой был разношен, и шпоры, как лиры,
В полонезах и польках звенели: Нарцисс, полубог!

Пустяки, что когда-то поэт с развороченным брюхом
Ткнулся носом в сугроб, что баронским гербом напрокат
Спекулянтские шайки блистали богатым старухам,
Что любой приближавшийся был иль раздет, иль рогат, –

Пустяки! Ни хлыста не отведала нежная кожа,
Ни сухоткою люэс не грянул в подполье своем,
Даже мысль, никогда ослепительный лоб не тревожа,
Не пыталась поспорить с глубоко-лягавым чутьем...

Да – и *Blonda* и *Bestia*! меткий плевок в человека
И почтенная старость: бижу, миньютюры, атлас...
Но бараньим вопросом открылось мясистое веко
На сухой и презрительный взять переплеты отказ.

Аваланш изменил профессиональному бесстрастию. Это, конечно, будет
учтено в тесном кругу заказчиков. Пока же он длит свои одинокие прогулки.

VIII. ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА

*L'exquise cuisine née chez l'illustre régent... Quelles
soirées délicieuses... Quelle douce et aimable civilisation!
Oui! La société française a effacé toutes les sociétés civilisées...
Marquise de Cussy*²

Там, на Марсовом поле, уже дозревает, как чирий,
Знаменитая выставка: блеск и вранье панорам;
Стаи гипсовых нимф; телескопы, сильнейшие в мире,
И пилюли, что старцам полезно глотать по утрам.

Павильоны, павлины, орудия, гейши, качели,
Корнеплоды, искусства, уродливые зеркала,

¹ «Белокурый зверь» – так Ницше определял своего «сверхчеловека».

² Изысканная кухня создавалась при знаменитом регенте... Какие божественные вечера... Какая нежная и тонкая цивилизация! Да! Французское общество затмило все цивилизованные общества... *Маркиз де Кюсси (фр.)*.

Альбиносы, матросы, индейцы, протезы, постели, –
Исполинский «толчок», придавивший мозги, как скала...

На билет раскошелились самые затхлые скряги;
Девки с вечера пудрились, пробуя груди на вес...
Президент открывает... Порхают цыганские флаги...
Красноречие... Жесты... Единство народов... Прогресс...

Позабудьте, *messieur*¹, что работали здесь митральезы:
Мир! Промышленность!.. – Чванно в цилиндрах потеют послы...
И над этой дрянью – божественный вопль Марсельезы.
О, *belle France!*..² Потаскуха! Целующая кандалы!..

От отвратительной суеты Аваланш бежит в тихие кварталы *Cité*³. Но и там...

IX. У Спиагудри и Оглипиглапа

Et tu coules toujours, Seine, et, tout en rampant,
Tu traînes dans Paris ton cours de vieux serpent,
De vieux serpent boueux, emportant vers tes havres
Tes cargaisons de bois, de houille et de cadavres!
*P. Verlaine*⁴

Notre-Dame.⁵ А за нею стоит унизительно-низкий,
На пакгауз похожий, на толстого карлика, дом:
Дверь открыта для всех, а за дверью окурки, огрызки,
И четырнадцать мраморных плит за зеркальным стеклом.

А на плитах простерлись, покорно и плоско, нагие,
Обмякая, синяя под вечно бегущей водой...
«Мы ненадолго здесь... Опознайте: нас сменят другие.
Извините, что вам докучаем мы нашей бедой»...

¹ Господа (*фр.*).

² Прекрасная Франция (*фр.*).

³ «Город»; центральные кварталы Парижа, на острове св. Луи.

⁴ Ты вечно струишься, Сена, и, вся извиваясь, / Тащишься через Париж движеньем
старой змеи, / Старой грязной змеи, унося к твоим гаваням / Груз дров, угля и трупов.
П. Верлен (фр.).

⁵ Собор Парижской богородицы (*фр.*).

И, стыдясь наготы, синева, исхуданий, зловоний,
Напоказ, на позор растопыренных рваных рубах,
Бедняки норвят поворотом распухших ладоней
Отстранить от себя ими вызванный в публице страх:

«Мы ненадолго здесь»... Как был мутен последний напиток!
Как был темен и труден взрывающий легкие вздох!
И каким, каждый день саганеющим натиском пыток
За покоем и отдыхом в Сену отправил их бог!..

Вон, лежит... Лет пятнадцати. Стрелкою стройное тело:
Удивленно и жалобно маленький рот приоткрыт...
Детка, девочка! Ты здесь зачем? Не могла? Не хотела?..
А зловещая ссадина у поясницы кричит...

Об устои ушиблась, о якорь, забытый спросонок?
Или кто-то свирепым тебя приголубил пинком?..
– «Посмотри!» – «Да, конечно, она!» – «Что за мерзкий ребенок!..»
Муж сигару понюхал, жена обмахнулась платком.

И пошли Тенардье регистрировать в книгах Козетту,
Для которой Вальжана Гюго никакой не прислал...
О, насквозь, беспощадным рентгеном, бессмертную эту,
Столь корректную пару, застыв, Аваланш пронизал...

Да, девочки топятся. А вот такие – живут.

Х. ЕЙ ТОЖЕ НАДО

Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.
Goethe!

Каждая баба может заездить человека.
Изречение Гекльбери Фина

Из-под мелких витушек (их функция – юность и дерзость),
Над эмальями зубок (их функция – смех и задор)

¹Вечно-женственное / Нас возносит. *Гёте (нем.)*.

Два лазурных пупка изъявляют куриную мерзость,
Что иные зовут почему-то «загадочный взор».

Взор – загадочен. Взор – обещает... счета от портнихи,
От обойщика, от гинеколога. Взор говорит
(Мелкий лепет ресниц и зрачков угасанья и вспыхи),
Что полпорции страсти – отпустят, и даже в кредит.

Мужу лет пятьдесят. И его разделить бы не худо
Пополам, так, чтоб было два мужа, по двадцать пять лет, –
Но поскольку в наш век неудобно подобное чудо, –
Выручают: вуаль, торопливый фиакр, кабинет.

Идеал? Рост – сто семьдесят; бицепсы – минимум сорок;
Одаренность – любовник; идейная сущность – актер;
Quinze minutes, quinze louis¹, остальное – меж скобочных створок,
И при этом – для мужа готова взойти на костер.

Муж в сенаторы метит. Отсюда – звонки телефонов,
Файф-о'клоки и рауты... Как Талейран-травести,
То подруге подгадив, то пыл генерала затронув,
Намекнуть, обещать, язычком по губам провести...

На старинном бюро – телеграммы, перо и пуховка,
Две газетные вырезки – передовая статья
И программа бегов, и – под счета упрятана ловко –
Забубенная книжка: «Мой пасынок юный и я»...

А с прислугой торгуется... А поведись с нею вместе,
Выпьет душу и соки, доходы осушит за двух:
По судебному иску, по долгу мужчины и чести,
По верховным законам истерики, визга и плюх...

И ее в пансионе читать научили когда-то;
Два-три тома неплохо в изящный облечь переплет.
– «Я хочу из парчи... Но какая высокая плата!..
Неприменно к субботе: ко мне академик зайдет...» –

¹ Пятнадцать минут, пятнадцать золотых (*фр.*).

Проститутка? Jamais.¹ Очень светская, модная дама.
Поощряет художников. Сиротам благотворит.
Проститутка – та бродит по грязным камням макадама
И о нравственности, за бриошами, не говорит...

А некоторые даже и бродить не могут. Вот, посмотрим, тем более что пора
рассказать о прошлом Аваланша.

XI. ВОСКРЕСНЫЙ ОТДЫХ

Les femmes rugissaient dans les salpêtrières.
*V. Hugo*²

Мчится омнибус дальше, качая омбрельки и блонды,
Унося пуассардок и швеек ликующий хор, –
И под старую аркой, что видела бешенство Фронды,
Аваланш проникает на старый Селитренный двор...

Тут старинные химики трудно варили *sal petrae*³,
Чтобы делом веселым занять пушкарей короля,
Чтобы делом серьезным развеять в полуночном ветре
Золотые ракеты, мадам Монпасье веселя.

И столетием позже корпел здесь аптекарь нехитрый,
Чтоб над кислыми чанами выкашлять узкую грудь,
Но фригийский колпак, до отказа набитый селитрой,
Обещаньем побед на трибуну Конвента швырнуть...

А теперь корпуса, чьею данью был воздух распорот,
Чья на Тибре и Рейне клубилась пьянящая гарь,
Стали мерзкой клоакой, куда испражняется город,
Чтоб отбросы последние вывезла смерть-золотарь.

Всё, что слопала жизнь, что разъела ночлежная тина,
Лупанары растерли, забили в семейной дыре,

¹ Никогда (*фр.*).

² Женщины вопили в домах умалишенных. *В. Гюго (фр.)*.

³ Селитра (*лат.*).

От чего отступила в испуге сама гильотина, –
Всё сгрудилось вот здесь, на Селитренном старом дворе.

Здесь мегеры столетние – их бы увидеть в кошмаре;
Здесь блаженные дурочки, как-то вонзившие нож;
Здесь экземные пальцы грызет «Королева Помаре»
И чужие объедки плотает в углах Ригольбош...

А совсем в стороне, за каштанами, домик уютный, –
Точно дачка, – но взглянешься – тронет неловкая жуть:
Окна бельмами смотрят, замазаны краскою мутной,
Странный слышится звук – точно кто-то не может вздохнуть.

И – решетки на окнах, и – няньки особенно дюжи,
И – за дверью мелькают трехметровые рукава,
А позволят войти – ты увидишь позорные лужи,
Черный воздух ударит, закружится враз голова...

В изголовьях, на стержнях, как скорбные листья – таблицы, –
Бутафорской науки сколоченный вкривь реквизит:
Как в театре Шекспира, внушая толпе небылицы,
«Paranoia», «Amentia», «Gebephrenia»¹ – грозит!

Декораций не надо! В мозгу, что гниением разъеден,
Хватит газа болотного, чтобы, катясь под уклон,
В бормот, в слюни пустить оратории пышных обеден,
Ужас мыши давимой и спазм приапический стон...

Пятый год Аваланш тут проводит свои воскресенья,
От полудня до двух, – пятый год он седеет в тоске,
Видя заживо-мертвых, кому уже нет воскресенья, –
И меж мертвыми: Жанну, несчастную Жанну Бюске...

...Перед ним: майский день; он неделю сидит без прогулки;
Всю неделю над городом темное пламя и гул;
Помнит спину отца: он с винтовкой мелькнул в переулке,
Оглянулся, помедлил и за угол туго шагнул.

¹ Названия душевных болезней.

Помнит: вечером мать, бормоча: «так мы им и позволим!» –
Надрала из матраца утоптанной пакли пучок
И, в корзину засунув, схватила бутылку с петролем,
Оглянулась закушенно, вышла и – дверь на замок...

А под утро рванули, вошли – в галунах и медалях,
Спиртовые глаза, – огляделись, уселись, – «молчи!» –
Он забился под полог и видел, как в розовых даях
Благодатного утра уже удивились лучи.

И навстречу, в раскрытой двери, из темнот коридора
Золотым силуэтом возникла бесшумная мать:
Двое встали, сгребли – и проехала медная шпора
По лопаткам упавшей: «я вас научу поджигать!»

Захлебнувшийся плачем, он кинулся к бравым капралам,
Колотил кулачками по твердым ремням портупей,
Но взлетел «лефоше», – блеск, – и грохот рванулся обвалом,
И тотчас же кулак отшвырнул его в устье дверей.

Дальше – помнит он – Жанна, дешевая Жанна-Бродяжка,
Воротившаяся из каких-то полночных трущоб,
На убитую смотрит, потом выпрямляется тяжело
И кокарду плевка налепляет убийце на лоб...

...А теперь эта Жанна, умевшая петь и смеяться,
Десять лет с ним делившая заплесневелый чердак,
Грязным комом лежит на истлевшей клеенке матраца,
Что, как пролежень прелый, под ней просырал и промяк...

Как опресноки – груди, принявшие столько объятий;
На ослизлые губы накинуть бы фиговый лист, –
Чтоб зазывы и ругань не ныли струною в палате,
Чтоб слюна не свисала, не шлепала об пол, как хлыст!..

Такие пейзажи заставляют задуматься о медицине. Аваланш наивно решает побывать на популярной лекции великого мастера латинской кухни. Тем более что сам он – в тяжелой стадии туберкулеза.

ХII. ЧИСТАЯ НАУКА

...nec defuit illic
Squamea Cinyphii tenuis membrana chelydri,
Vivacisque jecur cervi; quibus insuper addit
Ora caputque novem cornicis sæcula passæ.
*Ovidius*¹

Сребробрадный профессор, в крахмальной добротнейшей броне,
С ястребинкой ума за прохладой очков золотых,
С бутоньеркой Légion² на трибуну восходит в Сорбонне
И нарядной толпе говорит о победах своих.

И двуспальные дамы, измлевшие в тайных катарах,
И messieurs, в чьей крови кантариды смешались и ртуть,
Уваженья полны, забывают о немочах старых,
Кислородом надежд продувая несвежую грудь.

– «Наблюдения в клиниках, эксперименты в больницах...
Нелегко доставать человеческий материал...» –
И – досаду деля – эта гвардия пепельнолицых
В горизонты науки впускает гиэний оскал...

– «Впрочем, есть перспективы: хотя бы – на казнь осужденных
Можно было б использовать: им ведь уже всё равно;
Но... гуманность излишняя, ясности мало в законах,
Крик подымет рабочая пресса... Покуда одно:

Вивисекция...» – Всё, что придумать ползучая может
Мысль тупицы, привыкшая шарить в мушиных кишках, –
Разлагаясь публично, восторг аудитории множит:
Есть кого распинать, есть кому стиснуть сердце в когтях!

Да, каверны рубцуются (там, в Сиракузах, в Каире),
Рак ножу уступает (по тысяче франков разрез),

¹ Там была и тонкая чешуйчатая кожица водяной змеи, / И печень живучего оленя; к ним она прибавляет еще / Клюв и голову ворона, прожившего девять веков. *Овидий (лат.)*.

² Ордена Почетного легиона. (*Примеч. сост.*)

Меланхолия – вздор (надо просто постранствовать в мире:
Есть Лазурный Экспресс, есть лазурь целебесских небес)...

– «Колоссален прогресс! Ждать недолго великих моментов!
Медицина грядет во спасенье недужной земли!..» –
Он склоняет пробор... И пощечины аплодисментов
Благосклонным румянцем на жирном лице зацвели...

Аваланш зачеркнул и эту страницу в брошюрке общедоступных надежд. Когда надежды исчезают, приходит Бессонница. И уводит бродить, по ночам.

ХIII. УТРО ТРУДОВОГО ДНЯ

L'aurore grelottante en robe rose et verte
S'avancait lentement sur la Seine déserte,
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,
Empoignait ses outils, vieillard laborieux.
*Ch. Baudelaire*¹

Город улицы скалит, стараясь осилить зевоту;
Тротуары потеют, копя предрассветную мразь;
И Аврора, как прачка, которой пора на работу,
Натружённой рукою за облачный узел взялась...

Хорошо бы подсохнуть. Всё липнет, сыреет и киснет,
Невралгия и влага. И, туго напялив кожан,
На углу повернется, бодрясь, иронически свистнет
И опять в эспаньолку доuku упрячет ажан...

Что за гнусное утро! Тоска, невралгия и влага,
Мозг, издуманый в лоск, желатиновой пленкой покрыт...
Мимо тащится шагом расшатанная колымага;
«Дважды два» – поучают булыжник удары копыт.

¹ Стучащая зубами заря в розовой и зеленой одежде / Медленно приближалась по пустынной Сене, / И сумрачный Париж, протирая глаза, / Брался за инструменты, трудолюбивый старик. *III. Бодлер (фр.)*.

Мусор... Уголь... Но нет: из растресканных досок фургона
Сквозь шуршанье и стуканье хрип просочился и визг,
Точно старый фонограф, раздавленный кем-то с разгона,
Продолжает работать, вращая надломленный диск...

Вдруг, откуда-то сбоку, стремительно, вздыбленно, серо,
Пробежало, метнулось, черкнуло животное – и
Колоссальный сачок, занесенный собачьим тореро,
Моментально поймал его в жесткие петли свои.

О, каким иступленным, коротким, отчаянным стоном
Безобразный клубок со свободой простился навзрыд!
Взрывом лая ответил фургон, и подлец над фургоном,
Стиснув зверя щипцами, поднял его. Ящик открыт.

Крышка хлопнула. Снова одёр поволок колымагу...
Аваланш, весь дрожа, вспоминает, к витрине припав,
Петлей прорванный рот, и пузырьную красную влагу,
И на правой передней – в лепешку размятый сустав...

Да. Это о них говорил профессор в Сорбонне. Аваланшу удается проследить
судьбу собаки. Кажется, – другой, но это неважно.

XIV. ЧИСТАЯ РАБОТА

Разве мы не люди?

Уэллс. «Остров д-ра Моро»

Пахнет зверем и гарью, сигарой густой и фенолом;
Поварские халаты и алая сталь скальпелей,
Хлопоча и порхая над чем-то позорным и голым,
В электрическом блеске мелькают белей и алей.

Чистота и проворство, как в лучшей цирульне... Без дрожи
Шмякнув ком розоватого мозга в эмалевый таз,
Ставят темя на место и бегают шелком по коже
И, зашив, отмечают в журнале деанье и час.

Опозоренный пес, бритолобый, с чертою кровавой,
Хризолитовый глаз под опавшую бровь заведя,
Передернув губу, начинает кружиться – всё вправо,
Без конца, монотонно, как жизнь, как журчанье дождя.

Не унять: попридержат – стоит, а отпустят – всё то же:
Деревянно, размеренно переступают ступни;
Через день упадет, но и в клетке, на смертной рогоже,
Тем же самым движеньем закончит полезные дни...

Мимо, мимо!.. Вон там на колесиках легонький столик:
Лепестками ноздрей шевеля, весь увязан в тесьму,
Беспощадно распялен испугом мерцающий кролик, –
Кровеносное древо водой промывают ему.

Сквозь стеклянную трубку, что вколота в шейную вену,
Кровь беззвучно и ровно в стеклянную чашку идет,
И, колебля меж губ чуть заметную нежную пену,
Учащенным дыханьем тоскует беспомощный рот.

О, какие, должно быть, грохочут головокруженья
В этом маленьком черепе!.. Кровь – всё светлей и светлей,
Водянистей и жиже, – и с цветом погасли движенья:
Кролик умер, последней слезою блестя у ноздрей.

Врач, бородкой ланцета бороздку на шкурке означа,
Резким взмахом от горла до паха ее пропорол, –
Трупик скрючился в корче и... всхлипнула бестолочь плача
В мертвом горле... «Рефлекс», – объясненье слетело на стол...

Счастливы те, кому всё ясно... Многое проясняется и для Аваланша... Между прочим, Аваланш давно забросил работу.

XV. БЕССОННИЦА С ВЫВОДАМИ

La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur
du genre humain que la découverte d'une étoile.

Brillat-Savarin¹

Ночь. По ржавому желобу дождь непрерывно клокочет:
Шевеля мертвый пепел, в камин продирается шквал;
За дощатой стеною сосед слабоумный бормочет;
За другою стеной кто-то на пол колодой упал...

В оловянной тарелке холодный и пресный картофель,
В оловянном подсвечнике вяло гноится свеча,
И в изгибе карниза – уродливо сломанный профиль
Над уродливой вдавлиной вывернутого плеча.

Это – Жизнь! Бы-ти-е! Ничего благородней и чище
Не могли вы создать – как вас там? – бог, природа, судьба?..
Если есть хоть одно, хоть на час вот такое жилище,
Весь ваш космос – лишь творчество ставшего наглým раба!

А чего тебе хочется? Жить, как живет академик,
Господин Катрвэнкю? Как епископ? Затискав обед,
Меж бегоний и пальм оживлять гобеленный эдемик
Всеблаженной отрыжкой, колеблющей мягкий жилет?

И сидеть? И забыть, что сейчас вот, что в эти вот миги
Обезьяною прыгает жизнь: там – ребенка секут,
Там – растят идиотов, там жгут осужденные книги
И покорным Сократам подносят кувшины цикут?..

В безобразном разрезе до звезд подымается Время,
Расправляется Время во весь ослепительный рост,
И зевотой презренья кропит воспаленное темя,
И фантазиям сыплет циановой соли на хвост!

¹ Открытие нового блюда больше дает счастья человечеству, чем открытие новой звезды. *Брийа-Саварен (фр.)*.

И Платон, и Прудон, и Кропоткин, и Кант, и Спиноза –
Лгали! Лгали и путали! Спичками брызгали в тьму!
А Олимп, и Голгофу, и Двадцать восьмое Нивоza –
Всё успел слопать *он*, всё проценты приносит *ему*.

Он! Безлобый и плоский! Реальный и трезвый до смрада!
Он! Царящий на биржах, в альковах, в театрах – везде!
Философия челюстей! Лирика толстого зада!
И колбасные нимбы взамену ненужной звезде!..

Аваланш решается взглянуть на социальную периферию.

XVI. МОСТ СОЛЬФЕРИНО

Gueux, cagoux, malingreux, bohémiens, marranes,
Le menton bestial du paria, les crânes
Que sous son bas plafond l'ignorance a faits plats,
Les fauves suppliants, tout ce qui dit: hélas!

V. Hugo¹

Мировая тоска и дурная бездонность асфальта,
Где размазался дождь и поплыл трупной зеленью газ,
И горбатой гиперболой вопль паровозного альта
Отхлестнул и отрезал для бегства потерянный час...

Пустота, пустота... Лишь ажаны бредут близнецами,
Точно рифмы попарные в александрийском стихе,
И на тальмах клеенчатых лоснится лживое пламя –
Безупречность Расинов над жизнью, погрязшей в грехе...

Там вдали Елисейский дворец, ателье, рестораны,
Лупанары, сенаты, мансарды, отели – весь мир.
Здесь – бездомная тень из туманов проходит в туманы,
Что насквозь прострочил фонарей безысходный пунктир.

¹ Оборванцы, побирушки, хулиганы, бродяги, полукровки. / Зверский подбородок парии, черепа, / Которые под низким потолком невежества стали плоскими, / Хищные нищие, – все те, кто говорит: увы! *В. Гюго (фр.)*.

Оторвать бы, как марку! Открыть бы сияющий купол,
Где комета, как нежность, граненых касается звезд!..
Аваланш, скрипнув зубом, ногою ступеньку ошупал
И сошел обреченно в полуночный тартар: под мост.

Под мостом темнота. Сольфериновых пламеней нежность
На корсажах лореток, должно быть, истлела давно:
Здесь ослизлые плиты и черной воды безнадежность
И могилой несет, как в окопах под Сольферино...

Под мостом есть народ: ворошатся какие-то пятна;
Говор, хрип; кое-где сигаретка свой выдохнет свет,
Маску мутную выбросит в ночь и отдернет обратно:
Рот присоском, огромные ноздри, и черепа нет.

Череп начисто срезан – мостом, нищетой, алкоголем:
Корка серого хлеба нужнее коры мозговой, –
Так прорубим же рот и бездонные ноздри проколем
Жрать и нюхать жратву, что фланирует по мостовой!

О, луга Макадама! Баранов раскормленных выгул!
Там – подцеплен «Тото», там зацеплена шея петлей
(Метод дяди Флоко: чтоб не очень копытцами дрыгал), –
И опять un petit verre¹ примирит до рассвета с землей...

Шесть держав велики – велико и шестое сословье:
Всё уж раньше потеряно, кроме одной головы,
А ее потерять – это дело пустое и «вдовье»:
Кто девчонок давил, тот не должен бояться «Вдовы».

Кто ж от этих в парламент достоин войти депутатом?
Где трибуна, с которой слова бы их взрывом взвились?..
Резонатор моста одарила раскатом крылатым
Фаэтона мгновенного великолепная рысь.

Чтобы вспомнили все непреложный закон иерархии:
Равновесье неравенства, логику пушечных дул,

¹ Рюмочка (фр.).

Чтоб в старинном отчаяньи стиснули зубы плохие,
Провожая глазами вверху торжествующий гул...

Сена слабо ворчит, обегая устоев уступы.
И костяшками счетов сменяются волны на ней:
Точно с Луврской террасы считает раздутые трупы
Двадцать третьего августа мученик Варфоломей...

Да, Валуа, Бонапарты, Кавеньяки, Тьеры хорошо умели отстаивать пафос общественной дистанции... Это миф, что Фаэтон может опуститься в Эреб. Но, быть может, какой-нибудь выходец из Эреба поспорит блеском с Фебом? – Аваланш неплохо знал реквизит античности и плохо теорию социальной борьбы.

XVII. ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО

Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir!
*Corneille*¹

Есть холодная злость... Как мороз, как натуга полета,
Если верхнее «до» нам Кубелик бросает в глаза,
Как батавская слезка, как медленный жест банкомета,
Две пятерки открывшего против семи и туза.

Зал взорвется овацией, слезка хрустальной пылью,
Банкомет из «бульдога» прохватит височную кость, –
О, сверкающий гость, проходящий над слизью и гнилью,
В абсолютном нуле закаленный, – холодная злость!..

Шопенгауэр прав: мы стреножены собственным бредом,
Но бывают мгновения невыносимых свобод:
В эти миги рапирные мир настоящий нам ведом:
Эпилепсия, коитус, бритва, что в горло идет!..

¹ Да возмогу увидеть своими глазами, как обрушится гнев, / Увидеть дома испепеленными и твои лавры во прахе, / Увидеть последнего римлянина на последнем издыхании, / Быть тому единственной причиной и умереть от наслаждения! *Корнель* (фр. – *Пер. сост.*).

.....

Он для рук и для ног изготовил игольные брони,
В коже наруч и поножей сотнями гвозди вздыбил,
Чтоб схватить не могли, чтобы рвали в лохмотья ладони
Полицейские, публика, – чтоб выбивались из сил!

Те, кто бомбы избег, чтоб клинка и свинца не избегли,
Те, кто смерча коснется, чтоб враз получали ответ, –
Выбиваясь из сил, выбивались из жизни, как кегли:
Шесть стволов «лефоше», в левой нож и на правой кастет!

Здесь мы не добавим ничего.

XVIII. ENTRE-METS

Взять 3–4 фунта фрикандо от хорошей задней части телятины, мочить несколько часов в соленой воде, осушить, нашпиковать тоненькими длинненькими кусочками ветчины, шпиком и миногами и шпиковать каждую вещь отдельно в разных местах; потом положить в кастрюльку нарезанного тоненькими пластинками лука, порея, сельдерея, петрушки, влить вина вейндеграфа и хорошего бульона, всыпать несколько зерен английского и простого перца и мелко нашинкованной лимонной цедры, варить, пока мясо не будет мягко, тогда вынуть, нарезать, уложить на блюдо: процедить оставшийся в кастрюлке бульон, снять жир, прибавить свежей осетровой икры, разведя ее бульоном, свежего сливочного масла, лимонного сока одну ложку, сухого бульона 1–2 лота, вскипятить этот соус, облить им телятину, подавать.

«Лукулл». *Поваренная книга. Париж, 1866*

Messieurs, je vous entends, je sais vous deviner:
Un poëme jamais ne valut un dîner.

J. Berchoux. «La gastronomie»¹

С потолков обвисают хрустальные люстры; с карнизов –
Гроздья, персики, перси, – лепной парадиз; со стены –

¹ Господа, я слышу вас, я догадываюсь: / Поэма никогда не стоит обеда. Ж. Бершу. «Гастрономия» (фр. – Пер. сост.).

Ананасной Данаи под пальцами тающий вызов, –
Но откормыши в смокингах также с Европой дружны.

И (тельцы золотые) склоняя рога изобилья
И в нежнейшие кресла пудовые чресла спустив,
Дегустируют смачно шампанского пенные крылья,
Над лангустом отборным достойные слюни сгутив.

И лакеи на спаржу – почтенье подносят на блюде,
Вьоль-д'амуры и арфы весьма к артишокам идут,
Белым мякишем пухнут пулярки и женские груди,
И в сигарном дыму подбородки стоят, как редут...

А на хорах встает и склоняется через перила
Неизвестный скрипач, черный гробик качая в руке;
Черным порохом искрится взгляда последняя сила,
Черной молнией жила вздувается вдруг на виске...

Бряк тарелок и рюмок, подсосы, глотки и смоктанье,
Смех как боров валяется в соусной жирной грязи...
Ну – пожуйте еще! Ну – глотните разок! До свиданья!
Бомба, – падай! рвись! рывкай! кромсай! жги! мни! рви! бей! рази!

Аваланшу уйти не удалось. Схватили.

XIX. ЕМУ ПОЗВОЛИЛИ ПОВОРОТИТЬ

Les financiers sont les heros de la gourmandise.
*Brillat-Savarin*¹

Et l'appareil sanglant de la Destruction!
*Ch. Baudelaire*²

Вонь. Париж дипломатов, рантье, журналистов, лореток,
Растакверов, крупье, драматургов и прочее, – смят

¹ Финансисты – герои чревоугодия. *Брийа-Саварен (фр.)*.

² И кровавый призрак Разрушенья. *Ш. Бодлер (фр.)*.

Вмятку в зале суда, – надыхал от волнения этак
Атмосферы четыре: духи, кариоз – вперекат.

Полированным ногтем скребя полировку пюпитра,
Подымая над пломбой гримасой сарказма *moustache*¹, –
Прокурор то пророком взгремит, то, приняхавшись хитро,
Как булавку стратега, вонзит в протокол карандаш...

Красноречье излито. Спираль элоквенции туго
Завилась по извилинам важных присяжных мозгов.
– «Вам – последнее слово». – И свора, толкая друг друга,
Как последняя сволочь рванулась на сладостный зов.

– «Буду краток. Я вижу: вон там дожевать не успели:
Ветчина изо ртов, а житейская мудрость из глаз...
Вот вся сущность вопроса: вы сыто заснете в постели,
А меня здесь убили... убили за вас и для вас.

Вы – сожрали весь мир. Вы сгноили детей и Сократов.
Вы собак развратили. Вы женщин загнали под мост.
Спрятав яды в причастье и страсти в резину упрятав,
Вы растлили поэтов среди туалей и звезд.

Вы кичитесь культурой – катающей по проспекту,
Продающей на ночь... Изысканней Гаргантюа,
Не гусенком – живыми сердцами вы нежите ректу,
Ни на миг не колеблясь: вы – собственники. Буржуа.

Я убил два десятка? Оставил беспомощных сирот?
Подведемте баланс (бухгалтерия в силе и тут):
В рудниках скольким тысячам склеп преждевременный вырыт?
Парфюмерные фабрики скольких на свалку свезут?

Скольких съел тbc², угнездившийся в ваших трущобах,
Что сдаются за плату два франка год жизни за метр?
Скольких сжег алкоголь, наплодивший химер узколобых,
Осторожно упрятанных в Сальпетриер и Бисетр?

¹ Ус (*фр.*).

² Туберкулез.

Это сделали – вы! Лабиринт прорывая кротовый, –
Инстинктивно, вслепую, – за прибылью снова и вновь,
Вы всегда наготове ведром человеческой крови
Сдобрить вкус дивидендов: приправа дешевая – кровь!

И – меня? – вам? – судить? Я видал и больницы, и морги,
Академии, тюрьмы, парламенты, церкви, дворцы;
Слышал хрюканье ваших идиллий и хрюканье оргий
И за общие скобки беру вас: вы все – мертвецы!

Вы смеетесь: что скобки? – Деталь в деловитом пейзаже...
Но поправочный к ним, но единый коэффициент –
Бомба! Бомба – как вопль! Как сигнал: ведь нельзя, ведь нельзя же!..
Впрочем – вы не поймете... “Романтика старых легенд”...

Я боюсь? – Не боюсь! От моей головы отрубите
Исхудавшее тело. Банально. И просто как столб.
Но настанет пора, и по вашей спокойной орбите
Помелом развернется комета пылающих толп.

Усмехаетесь? Фразы? Глупцы и слепцы! Я, как Муций,
В угли бешенства вашего руку спокойно кладу:
Значит – правда со мной! Неизбежен закон революций!
Он – в природе вещей! Даже в тысячелетнем аду!»

О приговоре, конечно, догадываться не надо.

XX. ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ

... Tandis que, dévorés des noires songeries...
*Ch. Baudelaire*¹

Отвратительный сон: он, ребенок, лежит на кровати,
И какая-то бабушка входит бесшумно во тьму,
Приближается, щупает полога мягкие складки
И, нашарив, берет башмаки, что купили ему.

¹ Пока, пожираемые черными снами... Ш. Бодлер (фр.).

И, присев осторожно, пытается правый натянуть, –
Но нога велика; с левым то же: не лезет никак,
И старуха стопу обминает, и мышцы, как наледь,
Под рукою подтаяли, но... уменьшился башмак.

Снова мягкий массаж – и опять башмаки ей не в пору;
Снова то же – всё тают, до ужаса тают ступни!
Вот они в кулачок, вот как желудь, – и этому вздору,
Узелкам на кости, надо тело нести через дни!

Их не видно совсем! Их схватить можно только пинцетом!
Но зерном, но пылинкой – их всё обминает она!
Аваланш напрягается – криком, ударом ли, светом,
Но стряхнуть, но сорвать безобразье поганого сна!..

Открывает глаза: перед койкой высокие люди.
– «Пробудитесь. Мужайтесь. Момент правосудья настал»... –
И совсем одинокий, совсем посреди, как на блюде,
На бетонном полу Аваланш неуверенно стал...

Дальше шла длинная волынка с «туалетом осужденного». Стригли, вырезали
ворот рубахи, стреноживали. Священника Аваланш выгнал.

XXI. КАК ДУНОВЕНЬЕ ВЕТРА

Pauvre âme, c'est cela!

P. Verlaine¹

И пошли, не спеша, знаменитой дорогой Дантонов,
Ласенеров, Лувелей, Пранцини – убийц и вождей,
Что в объятьях «Вдовы» заплатили за оторопь тронов,
Перепуги контор и клохтание честных людей.

Очень странно идти: вместо ног точно пробка протеза;
Саднит сбритый затылок – его бы в компресс обвернуть, –
И прыжками поджарыми сердце кидает в железо
Листой диафрагмы тяжелую круглую ртуть...

¹ Бедняга – вот оно! П. Верлен (фр.).

И внезапно из недр тошнотой стыда захлестнуло,
Корчей губы свело: хладнокровно! – ведут! – на убой!
Ах, рвануться бы!.. но распахнулась калитка, и гула
Неумытое облако вдруг разросло над толпой...

И тотчас, семена, побежали пред ним репортеры,
Воровато ныряя под мантии камер своих;
Одноглазые пялились, щелкали вошью затворы...
– И чего суетятся?.. А впрочем: что думать о них?..

Две руки на плечах; от «Вдовы» гауптвахтой воняет;
Кто-то шарит в коленках, затягивая ремешки;
Что-то смерил у горла Дейблер: сердце вкось уплывает;
И шарниры скрипят опускаемой влэжень доски.

Пред глазами внизу ивняковая пронизь корзины;
Если вскинуть зрачки – кони, головы, зонтики, дом...
– Но ведь так же нельзя! – И, сорвавшись единством лавины,
Мир скакнул через темя и перевернулся вверх дном.

Под глазами вплотную – ивняк и зеленые пятна;
Гром в ушах разрежается; карлики-мысли бегут,
В черный обморок тыкаясь... Что это?.. всё непонятно!..
Веки мелкою дрожью исходят-исходят... Капут.

Об Аваланше – кончено. Еще два слова вообще.

XXII. ИСКУССТВО ПОТЕШНЫХ ОГНЕЙ

Maintenant, l'œil fixé sur l'abîme vermeil,
Calme, il rêve au moyen d'atteindre le soleil.

*V. Hugo*¹

И, вздохнув удивленно и россыпью звездной заплакав,
Упадает ракета, за нею – подруги подряд,

¹ Теперь, впевнив взор в рдланую бездну, / Спокойный, он думает, как покорить солнце. *В. Гюго (фр.)*.

И на плавной дуге голубые баллоны бураков,
Как планеты чудесные, в воздухе черном висят.

И безумствуют швермеры пылкой своей перепалкой,
Канонадою золота падая в глади воды;
Свечи римские млеют громадною пармской фиалкой,
И караты колибри слетают в тугие сады.

И бенгальские зарева ринутся апофеозом,
Вензеля и эмблемы под ливнем пурпурным дрожат,
И вихрятся колеса, покорны веселым угрозам, –
Точно там гренадеры гранаты Гренады гранят...

А потом – догорает, сыпается в тусклые кучки,
Обвисает и меркнет алмазных огней канитель,
Будто ветхий Гюго, заскучав об уехавшей внучке,
Стариком, не поэтом, уходит к себе на постель...

Пиротехника! Снег бертолетовой соли и магний,
Прах селитры и серы, невзрачный кристаллик сурьмы, –
И прекрасную голову вскинет смеющийся Агни –
Древний друг человека, ему поборяющий тьмы...

1931–1933

ГАРМ

Ночь налилась, как черный плод;
Лишь беглых молний магний синий
Пульсировал над пляской вод,
Над ледниками, над пустыней.
Но кто бы сполз вдоль диких скал
К реке, тот различил бы в пене
Коня закинутый оскал,
Бурдюк зажавшие колени,
Винтовки напряженный ствол,
10 Чалму, скрещенье лент патронных, –
Что мчало в крутнях воспаленных
Сквозь гор чудовищный надкол.
Но в перемежке, в передвижке
Мгновенных кадров, здесь и там,
Из тьмы всё то же рвали вспышки –
И счета не было плотам.
И кто бы мог наставить ухо
Сквозь рев стремнин и гром в горах,
Тот различил бы, глухо-глухо,
20 Как в смертном выдохе: «Аллах!»
Теченье бесится и скачет;
Вот чей-то встал торчком бурдюк;
Вот, по теченью вниз, маячит
Безумный взмах безумных рук;
Не повели и глазом: кто там?
И бесполезно: блеск и тьма;
И по крутым водоворотам
Одна запрыгала чалма...
Но ближе берег долгожданный, –
30 Проем горы ноздрею рваной
Навис над петлею реки;
Еще рывок – и в глину вбито
С размаху первое копыто;
О камень мнутя бурдюки;
Окоченелыми ногами,
Вразброд, пловцы бредут в воде,
И молний голубое пламя

Дрожит на каплях в бороде.
Вот вышли все. Пересчитали
40 Коней и сабли. Не спеша
Наворотили камыша;
Кремень легко рубнул по стали,
И на кострах кунганы встали,
Затлела в трубках анаша.
Чай пили, сохли и молились,
Потом на седла взгромоздились
И по ущелью в тьму и гром
Беззвучной стаей провалились.
А там, на берегу пустом,
50 Уже вовсю над камышами
Ревел пожар, металось пламя,
И тигр кипящими прыжками
Летел, захлестнутый огнем...

Взгляни на карту голубую,
На узел судорожных гор,
Что связкой молний, врассыпную,
Отсюда брызнули в простор.
Зубцы Тянь-Шаня, зыбь Алая,
И Куэн-Лунь, и Гиндукуш,
60 И вал девятый, Гималайя,
Застывший среди лазурных стуж, –
Все, все отсюда начинали
Свои клонить антиклинали,
Всех здесь пригорбил, как ярмо,
Бугор огромного Гармо.
Памир, Памир! Вершина мира!
Льдом блиндированный века,
Он до Тарима, до Кашмира
Свои пронесит облака.
70 В его изломах, срывах, сбросах
Лишь клочья трав жестковолосых
Да жилы драгоценных руд, –
Но, женским ртом пьянея алым,
Красавиц – бадахшанским лалом
Хафиз и Саади зовут!

Тут на гранитном бездорожье
Одни тропы проходят «божки»,
Карнизы выются по скале,
А нет их – в буревых привольях
80 Висят мостки на зыбких кольях,
Овринги, в обморочной мгле.
Бунтуя, как сердцебиенье,
Отсюда Пяндж свое течение
Свергает вниз, а там – Нарын,
Там Зерафшан, чтоб вдоль долин
Поить и корень виноградный,
И стебель риса, и прохладный
Платан, и пламенный гранат,
И джугару, и хлопок жадный,
90 И превращать пустыню в сад
Своей водою шоколадной...

Клоком зеленого ковра
В песках простерлась Бухара,
В дремоте смутно вспоминая
Иные годы и дела,
Когда от края и до края
По ней звенели удила.
Тут Македонец вел фаланги,
В песках прокладывая путь,
100 Чтобы на Инде и на Ганге
С Роксаной сладко отдохнуть.
Сюда брели израильтяне
От Антиохова бича,
В огромном взоре, взоре лани,
Свой вековечный плен влача.
Сюда, на лезвие меча,
Гнев и коран несли арабы,
И, обреченный на растерз,
Взор отверзал покорный перс
110 На нищий метеор Каабы.
Тут пролетал, как смерч, Могол,
Огнем и смертью полыхая,
И от Варшавы до Китая

Гремел губительный глагол
Из-под опушки малахая.
Но в непомерном далеке,
Над компасом клонясь упрямо,
С мечтой в душе, с клинком в руке
Уже плыл в Индию де-Гама.

120 И – отклоняются пути;
Европа дышит океаном;
А здесь, – а здесь пескам барханным
Дано дороги замести.
И наступает сон. Оазы,
Как прежде, шелестят листвою;
Как прежде, синие алмазы
Горят над горною грядой;
Как прежде, пламенеет рдяно
Густыми гроздьями лоза,

130 И звезды брызгают в глаза
С цветных майолик Регистана.
Но в Гур-эмире спит Тимур;
На древках выщвели знамена;
Облуплен купол; сонно-сонно, –
И ветхий сторож кормит кур.
Средь золотой закатной гари
Проходят нежные Агари
Смутить кувшином водоем;
Узорные покинув клетки,

140 Укрыв лицо в мушиной сетке,
Бредут Гюльнар – всегда вдвоем;
В лавчонке, с гроб величиною,
Шейх восседает сам собою,
Лукав, и важен, и дремлив,
Над розой, свежей и тугою,
Безносье дерзкое склонив;
Проулки выются узко-узко,
В них пыль, дух плова, едкий тлен,
И редко сладкий дух гюль-муска

150 У глиняных провеет стен;
По пятницам, как встарь, приходят
В прохладный сумрак мадрасса,

Но, как и встарь, тоску наводят
Азанов тощих голоса;
Как и зачем живут – загадка;
Одна пословица жива:
Как ни тверди «халва-халва»,
На языке не станет сладко.
И как пророку ни молись,
160 Ни бормочи слова корана –
Одно понятно: родились
Все или поздно, или рано...
Проходят годы и века
Дремоты, скуки, мелкой крови,
И мир седеет, точно брови
Над впалым взором старика.
Всё-всё исчезло в даях дымных,
И живы древние бои
Лишь в рыцарских узбекских гимнах,
170 В персидских грустных робаи...

Лежат зеленые долины
Среди песков, вокруг вершин,
И клонит спину там единый
Их настоящий господин.
Покрытый патиной загара,
Одетый в рубище, босой,
Среди тропического жара
Он жизнь выращивает яро
Над карликовой полосой.
180 Он, точно улей, дом свой лепит,
В пылинки разрыхляет лёсс,
Он сторожит малейший трепет
Своей пшеницы или лоз.
Он бережет помет верблюжий,
И лучше в ледяной ночи
Он будет весь дрожать от стужи,
Но не сожжет его в печи.
Он каждую проверит ложку
Ему отпущенной воды,
190 И за железные труды,

Лелея нивы и сады,
Он ест ячменную лепешку.
Пусть хлопка тоньше в мире нет,
Пусть винограда нету слаще, –
Торчит в селенье минарет,
Как пика меткий и грозящий.
Пусть арыков точнейших сеть
Сплошь им прорыта и могла бы
Стать счастьем, – но за ней глядеть
200 Должны продажные мирабы.
Пусть им воспитана земля,
Его пусть кровь в том прахе сером,
Но это байские поля,
И он согнулся – чайрикером.
Пусть кроток он и сотни лет
Привык смежать согласно веки,
Но каждый шаг его и след
Блюдут в зубчатых замках беки.
Пусть он неприхотлив, как мул,
210 Не знает книг и жаждет мира,
Но вьется рой ученых мулл,
Стоят сарбазы вокруг эмира.
И сам высокий Богадур,
Урод двенадцатипудовый,
Своих заплывших глаз прищур
Не сводит с тех священных сур,
Где закреплен закон суровый.
И вот стоит бедняк, байгуш,
Бессмертный труженик, дехканин,
220 Добычей зноя, жертвой стуж,
Забит, ограблен, оболванен.
А шевельнется он едва –
Тогда в клоповниках бездонных,
В эмирских дьявольских зиндонах
Его исчезнет голова...

Зажат в углу теснины горной,
Спит городок Кала-и-хумб.
На главной площади просторной

- Универмага дом узорный
230 И жидкий сквер у пыльных клумб.
И трухлый замок на пригорке –
Дарвазских беков цитадель,
И в глине стен прикрыли щель
Ворот окованные створки.
Но за воротами давно
Нет ни сарбазов, нет ни бека:
Рукой таджика и узбека
Всё логово разметено!
- Пять лет в горах, в песках, в оазах
240 Шла свалка. В первые года
Эмир со стаей кровоглазых
Громил дружинников труда.
Он разжигал былые споры,
Он вел во всех углах войну,
И на йомудов шли солоры,
Шел Маргелан на Фергану.
Всё: петля, нож, как в древней были,
Отвод воды и яд в прудах;
И головы казенных гнили
250 На башнях Арка и во рвах.
И всё ж, и всё ж, когда пожаром
Гудела ночь над Арком старым,
Кидая звезды в небосвод,
Когда поднялся весь народ
И красные полки рядами
С повстанцами шли вместе в бой,
Эмир подземными ходами
Бежал с гаремом, с поварами,
С давно увязанной казной.
260 За ним через пески и реки,
Через овринги, напролом,
Неслись кази, муфти и беки
Под всебухарским помелом.
Их черная волна плеснула
На гравий грязного Кабула,
И падишах Аманулла

Хозяином любезным, сдуру,
Поднес эмиру Богадуру
Слона и дряхлого орла!..

270 И потекли иные годы:
В тысячелетях в первый раз
Уже не тень, а плоть свободы
У опьяненных стала глаз.

Должно быть, в этих же долинах
Средь бурь, и гроз, и рыков лвиных,
Столетий тысячу назад,
Уставя в землю тусклый взгляд,
Блуждал косматый, низколобий,
Всегда с голодную утробой,
280 Пропитан весь тоскливой злобой,
Косноязыкий троглодит,
Жрал слизняков и птичью молодь,
Кислицу терпкую и желудь –
То, что земля сама родит;
Но в годы, бедные охотой,
Когда подох десятый, сотый,
Внушила жизнь ему: «работай!»
И первый камень был оббит.
И ночь великая настала, –
290 Он как-то спину разогнул,
Впервые на небо взглянул,
Где из лазурного кристалла
Над тьмой лесов, над мутью рек
Звезда бессмертно проблестала,
И тут родился – Человек!
Сто тысяч лет нам было надо,
Чтоб в нас опять вошла звезда,
Чтобы от крови и распада
Мир отвернулся навсегда,
300 Чтобы проклятьем заклеименный,
Еще недавно – раб согбённый,
Взглянул в невиданную высь,
Чтоб взоры светом налились

И мышцы волей непреклонной;
Чтоб сын Природы и Труда,
Трудом освобожденный дважды,
Исполнен был высокой жажды –
Сиять и волить, как звезда!

Нет, выпал нам не Кантов жребий!
310 Иной предстал моей стране:
Закон свободы в синем небе
И небо звездное во мне!..

Так вот, – он лег, стеснен в ущельи,
Кишлак простой, Кала-и-хумб;
В нем те же глиняные кельи,
Но, за пунктиром грубых тумб,
Как первый шаг европеизма,
Наивный сквер вдоль пыльных клумб
И, вместо памятника, призма:
320 С корявой надписью гранит.
Былая цитадель хранит
Коней десятков исполкомских,
Заветный штабель бревен томских,
Радиопункт, аптечный склад,
Арбу, страдалицу кочевья,
Ковры, муку, мату, фосфат –
Святую прозу повседневья.
Сюда из горных кишлаков,
Где прежде ели *тут* сушенный,
330 Трусят на спинах ишаков –
Свой хлеб отмерить заслужённый;
Сухие коконы везут,
Что ливнем радуг невесомых
В отливах, в нежностях, в изломах
На плечи женские падут;
Везут стволы арчи и тала,
Курдючное – как мрамор – сало
И козье рыжее руно,
Рог, черепаху, кость, копыто,
340 Крутые глыбы лазулита,

Речного золота зерно;
Везут, теснясь по узким тропкам,
Корзины, вспученные хлопком,
И, закурчавясь, волокно
Уже готово стружкой белой
Пролиться под рукой умелой
На верткое веретено.
Везут... Увозят хлеб и свечи,
Калоши, хину, рафинад,
350 Увозят книгу, смелость речи,
Увозят облик человеческий
И гордой гордости заряд...

Видал ли ты, как шар зеркальный
Вбирает мира очерк дальный,
По дугам плавным низводя
К своей незримой сердцевине,
Как небо в нем особо сине
В сети жасминного дождя,
Как всё в нем гнется, будто плавясь,
360 Всё обретает новый вид, –
И кажется, что он таит
Иной земли иную завязь?
Так, поглядишь, простой кишлак
Мирок свой малый гнет и плавит,
Сдвигает всё, иначе ставит, –
И глаз не отведешь никак!..

Шла ночь, порою рушась громом
(А сладко спать под горний гром!),
И пир грозы лазурным ромом
370 Пылал в ущельи вихревом.
«Да, завтра день веселый будет:
По арыкам вода прибует –
Для всходов первых благодать!»
Так, просыпаясь, думал каждый,
Как будто сам томился жаждой,
И – утыкался досыпать.

Гром отходил: всё реже, глуше...
Вдруг где-то, будто бич пастуший,
Прошелкнул выстрел тишину.
380 Вскочили. Навострили уши.
Сквозь дымовую пелену
Рассвета, мутного как память,
Успев грозу переупрямить,
Рванул, тупым единством слит,
Четырехтактный шторм копыт.
Налет! Хватая револьверы,
Все выбегают в сумрак серый;
Через дувалы, наугад,
Инстинктом роя, рвутся в крепость:
390 Там переждать, собрать отряд,
Дать басмачам отпор... Нелепость!
Едва двенадцать человек,
Едва с полсотнею патронов, –
Как им сдержать, среди горных склонов,
Полудесятка эскадронов
Уже пьянеющий набег?
И всё же!..

Едкая, как щелочь,
Заря в горах размывла лед, –
И увидали из ворот,
400 Как через клумбы валом прет,
Таща раздетых пленных, сволочь:
Узнали местного муллу,
Двух перекупщиков с базара,
Отшельника, что жил в углу
Давно забытого мазара,
Трех полоумных дивона,
Десяток рослых арбакешей,
И, конный строй сменив на пеший,
Ломила с ними, как стена,
410 Толпа людей в халатах драных,
В громадных, как арбуз, тюрбанах,
И лягз винтовки иль клынка
Тонул в их выкриках гортанных.
Шли, беспощадно волоча,

Ревя от злобного восторга,
Двух-трех работников Госторга,
Ботаника, судью, врача,
Их жен, – готовясь непременно
Потешить кровью пьяный взгляд.
420 Но тут, из крепости мгновенно
На площадь прынув, Гюль-Махмад,
Простой, чуть грамотный солдат,
По ним открыл стрельбу с колена.
Как ветром сдуло! Здесь и там
Халаты, дергаясь, лежали,
И пленники, своим глазам
Не веря, в замок пробежали.
Ответный залп их не настиг,
Лишь Гюль-Махмад под старым валом,
430 Их пропуская, смертным шквалом
Был опрокинут в тот же миг.

Подперты бревнами ворота;
Стоят бойцы у амбразур;
Считать патроны начал кто-то
И вдруг, не продолжая счета,
Махнул рукой, суров и хмур.
Торчит радист у аппарата,
Сигналит, окликает мир,
Ответа ждет, но нем эфир:
440 Должно быть, всё грозою смято.
На площадь выезжает вдруг
В чалме зеленой рослый старец,
И к валу скачет ординарец,
Крича: «стрелять не надо, друг!»
И слышит горстка осажденных,
Что взят Куляб и Дюшамбе;
Что им не устоять в борьбе;
Что на басмаческих знаменах
Девиз написан: «мир и хлеб»;
450 Что только тот, кто глух и слеп,
Сражаться будет; что дехкане
Встают во всем Таджикистане;

Что предрассветный инцидент –
Пустяк печальный, что афганцы
Его устроили, поганцы,
Ряды покинув на момент;
Что сам владетель вседарвазский,
Высокий Фузайли-Максум,
Им шлет слова любви и ласки
460 И просит взяться их за ум;
Что он клянется на коране
Всех пощадить и всех спасти,
Что он тотчас готов, заранее,
Им в этом клятву принести,
Лишь бы сдались.

Раздумье тяжело, –
Но нет путей, исхода нет.
И... чья-то сломленная шашка
Уже летит за парашет.

470 Через эфир, грозою полный,
Всё ж донеслись радиоволны:
Словил Куляб их, и Термез,
И Дюшамбе, – и дробь тревоги
Вмиг облетает все дороги
И отделяет наотрез
Дела иные.

В сельсоветах
На страстном гребне рук воздетых
Взлетают лозунги борьбы;
Студенты, подымая лбы
От книг, бегут в военкоматы,
480 Просясь на фронт; вдвойне солдаты,
По кишлакам учителя,
Не позабыв былой сноровки,
Хватают старые винтовки,
Патроны ревностно деля.
И по приказу командарма
От Файзабада и до Гарма
Напереймы со всех сторон,
По всем тропам и заворотам,

Летят немереным наметом
490 За эскадроном эскадрон.
Но через кряжи и отроги
Ведут горбатые дороги;
Овринги в обморочной мгле
Повисли, зыбясь на скале;
Еще лежат на перевалах
Мильоны тонн снегов неталых;
Иной единственный карниз
Был за зиму, как лапой львиной,
Сметен промчавшейся лавиной,
500 И ледники взглянули вниз.
Тут быстро не подашь подмоги, –
И, режа воздух ледяной,
Через ледяные недотроги
В недостижимые берлоги
Над шестиверстной крутизной
В своей воинственной заботе
На исступленном самолете
Начдив стремительный крылит,
Организует и бодрит, –
510 И, случаю подрасться рады,
Во всех углах доброотряды
Готовы вдвое горячей
Принять на сабли басмачей!..

Но старый тигр ущелий горных
Был вдоволь и хитер, и смел:
Он ускользнул от всех дозорных,
Он карту обмануть сумел.
Кала-и-хумб заняв без боя,
Перевалив через Тальбар,
520 Таб-и-дора нанес удар
И, разом планы перестроя,
Сняв с лошадей отряд, пешком
Пошел чрез горы напролом.
Ползли по ледникам, ступени
Долбили саблями во льду,
Обвалы рвали на ходу

И пробегали в снежной пене,
Готовой на изгорбье плеч
Двухтонной нежностью налечь.
530 Петра Великого великий
В два дня хребет пересечен,
И Фузайли, под рев и клики,
Вступил в родной Метанион.
Давно, еще во дни Энвера,
Став из обычного аскера
Начальником, у этих скал
Бродя с потрепанным отрядом,
Он Львиным градом – Ширабадом –
Свою нору именовал.
540 Теперь он рад, в игре кровавой,
Советский молот сбив и серп,
Позолотить звериный герб,
Столь запыленный и заржавый.
И созывает Фузайли,
Повесья флаг на минарете,
В полуразрушенной мечети
Собрание «выборных земли».

Со всех поселков вдоль Сурхоба
Сбрелась к нему седая злоба
550 Помятых баев, сбитых мулл, –
И вопль восторга захлестнул
Всю площадь яростным арканом,
Когда в халате златотканом,
С турецкой саблей на боку,
По стремянам и чепраку
Мерцающая старая бирюза,
Пред колоннадою резною
Он спешил на всем скаку...

С почтеньем под руки ведомый,
560 Он входит в полумрак знакомый
И, сев со свитой на ковер,
Вниз обращает терпкий взор.
Ему несет «актив» басмачий

Обиды, жалобы и плачи
На продналог, на сельсовет,
Что рвет в клочки без всяких споров
Листы батрацких договоров;
На то, что веры больше нет;
Что комсомол разъял как ржою
570 Всю молодежь, и паранджою
Не стали девки закрывать
Лицо бесстыжее – как шлюхи;
Что дальше – просто помирать:
Идут немыслимые слухи,
Что осенью овец, и коз,
И богару, и поливные,
Как на Украине и в России,
Объединят в один колхоз,
И всё, добытое веками,
580 Делить придется с бедняками!..

Гремя оружием, джигит
Встает с ковра и говорит
С каким-то выговором странным,
Неуловимо-чужестранным,
Что скоро бедам их конец,
Что, овладев Таджикистаном,
Пресветлый Фузайли, отец
И покровитель правоверных,
В своих заботах непомерных
590 Священную несет войну
В твердыню вражью – Фергану.
Что там восстанье тотчас грянет,
Что посевная не пройдет,
Что хлопка, стало быть, не станет
У русских дьяволов, и вот
Рубах лишившийся народ
В самой Москве тогда восстанет,
А в Бухару опять эмир
Вернет законы шариата...
600 То был – Абду-Мамын-Кадыр,
По-русски – Пименов: когда-то

Белоказачий есаул...
И с упоением стая мулл
Внимала речи ренегата.

Встал наконец и Фузайли,
Опять поддержанный под локти,
И сразу, тигр, расправил когти
И приказал, чтобы свели,
На площади могилу вырыв,
610 В мечеть – захваченных кяфиров,
Жен, снявших паранджу, дехкан,
Что уходить хотели в горы:
Он утром соберет *диван*,
Он изречет им приговоры.
Пока же, в назиданье всем,
Пусть отберут немедля десять
Виновнейших – и всех повесить,
Тотчас, на площади! Затем,
Чтобы недавние невзгоды
620 Могла на миг забыть душа, –
Пусть брызнет, как в былые годы,
Дутаром томным томаша.

Припав к ущельям темногнездным,
Искрится ночь настоем звездным,
Прохладой веет от реки,
И запах трав неповторимый,
В любой расселине таимый,
Едва колеблют ветерки.
И тишина плывет над миром,
630 Неуловимая как миф,
Вдали долины оделив
Нирваной, зыбкостью, эфиром...
По горной гальке дернул вдруг
Упорный хруст и drobный стук,
И пронеслась в долинах сонных
Сплошным галопом группа конных:
То шел из Гарма в Ширабад
На выручку доброотряд.

Шестнадцать храбрых. Смесь профессий
640 И возрастов. Но в этой смеси
Бухгалтеров, учителей,
Таджиков смуглых, русских русских,
Одних – седых, других – безусых,
Созрело, что не зреет в трусах:
Содружье подлинных людей,
В ком вихри воли и строй идей
Пронизаны единым, алым,
Неубывающим накалом!
И перед каждым в темноте
650 Сверкали волчьи зубы те,
Горели те глаза гиэньи,
Что там сверкают и горят,
Чей жадный блеск и смрадный ряд
О свежей крови говорят,
О прежнем, их родном гниеньи,
О том, что цель басмачьих стай
Предать разору юный край,
Чтоб на коврах валялся бай
Опять в бездельном упоеньи,
660 Смерть поселить в любом дворе,
Всё обезводить, обесхлебить,
Чтоб мог опять гордиться лебедь
В прудах эмира в Бухаре...
И правый гнев на тварей подлых
Сердца как яблоко рассек, –
И мчится в ночь, пружиня в седлах,
Отряд в шестнадцать человек.

Искрится ночь настоем звездным
Над черной площадью, над грозным
670 Смешением костров и тьмы,
Висит, недвижимая, немая,
Прохладой резкой обнимая
Ковры, циновки и кошмы;
Плывет ласкающим покоем,
Качая вдоль карагачей
Тень узких тел, что мертвым строем

Глядят на праздник басмачей.
Густого плова жирным паром
Пропитан воздух и дутаром
680 Воркочет, бубнами бубнит,
И вопль певца о счастье старом,
О сладострастьи говорит.
И разом на ковре срединном
Каким-то выпорхом змеиным,
Весь побрякушками бренча,
Вытягивается бача.
Он узкобедрый, легкий, статный;
Две красных пъявки – рот развратный;
В поклоне распростершись ниц,
690 Он распрямляется и пляшет,
И, пляске в лад, безвольно машет
Тысяченожками ресниц.
И басмачи, забыв о плове,
Сдвигают судорожно брови,
Со сжатых пальцев каплет жир,
И кажется, что зноем крови
Весь обволакивает пир.
Всё чаще, чаще темп дутара,
По бубнам прыгает горох;
700 Гортанный выкрик, страстный вздох,
И падает как от удара
Бача, – и разразился яро
Крик одобренья. К Фузайли
Две смутных тени подползли
И шепчут: «видишь? сберегли!» –
Вдруг, как пугливая отара,
Рванулись кони в стороне
С приколов. Кто-то под копытом
Завыл. И в трепетном огне
710 Костров, на розовом, облитом
Их зыбким заревом, коне
Возник из мрака всадник алый,
Осатанелый, одичалый,
Вопя: «урусы!» И тотчас
В далекой мгле шестнадцать глаз

Винтовочных огнем сверкнули,
Защелкали, заныли пули, –
И покати́лась кутерьма
Через дувалы и дома!

- 720 Но старый тигр был смел и ловок;
Он подвалился под костер,
Чтоб стать невидим; острый взор
Вмиг сосчитал огни винтовок,
Прикинул местность быстрый ум;
И, фистулой врезаясь в шум,
Приказом отрезвляя хаос,
Он поскорей джигитов шлет
Двумя отрядами в обход –
За тот арык, за этот хауз.
- 730 Они ползут на злобный лов
Как спазма тьмы, как ночи скрежет, –
И шелковистый свист клинков
Последним впечатленьем режет
Слух безрассудных смельчаков...

- Пятнадцать трупов и живого
Перед мечеть приволокли,
И одобрительное слово
Роняет сухо Фузайли,
Садится на ковер, и снова
- 740 Бутылка спирта голубого
Над рюмкой вскидывает дно
(Вино запрещено кораном:
Грех напиваться мусульманам,
Но спирт – лекарство, не вино).
Живой стоит в лохмотьях кожи,
Ударом слущенной со лба,
И закипает в нервной дрожи
Его последняя борьба.
- Допрос. Молчит он: медным слитком
- 750 Застыла воля. К смерти, к пыткам
Готов он. Фузайли сперва,
Влив меду в голос, мерно нижет

Сплошь лицемерные слова
И вдруг, вскочив, визжит и брызжет,
И обрывает красный клочок,
С виска у пленника повисший.
Тут, свой глазок прищуря мыший,
Рот поведя наискосок,
Подходит Пименов – иначе
760 Абду-Мамын-Кадыр, казачий,
Теперь басмачий есаул;
Подходит, подошел, взглянул
И цедит: «вот так встреча! боже!
Узнай я вас минутой позже,
Всё было б кончено. Теперь
Вы в безопасности. Он, право,
Великодушен, этот зверь.
Вы молодцом держались. Браво.
Честь офицерская не вся
770 Исчезла? Мы поладим». – Пленник
Глядит на гадину: изменник,
На всё пошедший из-за денег,
Взывает к чести, взор гася!..
«Однополчан встречаешь редко!...»
И, в темпе взрыва, вся душа
Взметнулась, бешенством дыша:
«А чья содержит вас разведка,
Подлец?!» – и, как металл звеня,
Влетает в щеку пятерня.
780 И с пулею в сердечной сумке
Подвижник падает на рюмки,
И, в смертном гуде уносясь,
Обрывки мыслей просияли:
«Нет... я не рвал с народом связь...
Нет... мне недаром... доверяли...»

На Гарм, на Гарм! Седлать коней!
Опасно медлить. Час кровавый
Еще найдется для расправы,
А тут – потратишь время с ней.
790 Но казнь – такая пропаганда!

Как упустить? И Фузайли
Велит, чтоб следом в Гарм вели
Захваченных. И скачет банда,
Забрав дехканских лошадей.
На Гарм! На Гарм! Скорей, скорей!

- Всё в Гарме знают. И безумный
Наскок шестнадцати, и шумный,
Уже в открытую, поход
Всей шайки, пьяной от успеха:
- 800 Дехканских уст живое эхо
Молву в горах передает.
И председатель исполкома,
Кому война давно знакома
Не как безумие – как труд,
Система, выдержка, упорство, –
Людей подсчитывает черство,
Дозоры ставит там и тут,
На арыках мосты взрывает,
Детей и женщин отсылает
- 810 В тыл, в горы; топит серебро
В колодце, вмазывает в стену
Червонцы, назначает смену
Себе, – и четкое тавро
Спокойной воли и рассудка
Лежит на всем. Борьба не шутка,
И надо выиграть в борьбе:
Чтоб до последнего патрона
Не прекращалась оборона! –
Пришел приказ из Дюшамбе.
- 820 Закат свой глаз багряный сузил
И закатил, и сразу мгла
Дохнула углем в горный узел,
Когда галопом подошла,
Теснясь, к садам у Гарма банда.
Вот – город: протянуть ладонь.
Но дважды тихая команда
В садах шепнула про огонь.

И справа, слева, крупно, редко,
Как ливня горного зачин,
830 Сыпнули пули. Не один
Слетел с седла: стреляли метко.
Вздыбить коней и мчаться прочь
В непроницаемую ночь
Умеют басмачи: кто знает,
Какой отряд их поджидает?
Оправились. Опять вперед,
Другой дорогою, в обход.
Но там, в теснине, снова пули
Десятка два с коней смахнули:
840 Посты поставлены везде,
Прохода нет. А по воде,
По быстрине Сурхоба лютой
Не поплывешь без бурдюков, –
И, угнетен тоской и смутой,
Ждать утра Фузайли готов...
Ночь выиграна. Люди Гарма
Узнали правду командарма,
Что против сотни басмачей
Винтовок двадцати довольно...
850 Восходит солнце; глазу больно
Глядеть в неистовство лучей.
И Фузайли, идя с востока,
Наполеоновский прием
Пускает в дело: издалёка,
Прикрыты солнечным огнем,
Они рванутся; ослепленный,
Почти невидимой колонной
Противник разом будет сбит!..
Но тактика порой таит
860 В себе возможности другие:
Орда летит; передовые
Ее пускают в тыл посты
И, обратясь, *по ней* с востока,
Смятенной, в петлях слепоты,
Бьют равномерно и жестоко.

- Сияньем тяжким льется день,
И полдень в горном горне плавит
Рельеф и контур, свет и тень
И тишиной орлиной давит.
- 870 И в этом трепетном бреду,
По камню колкому дороги
Влача изодранные ноги,
Бредут, шатаясь на ходу,
Понуря головы, мигая,
Те, кто попался басмачам, –
И по опущенным плечам
Нередко хлещет плеть тугая:
Без передышки их ведут
В Гарм взятый к Фузайли на суд.
- 880 Но Гарм еще не взят. Атакам
Дают защитники отпор –
В который раз!.. И снова мраком
Холодный ветер веет с гор,
И обессиленным биваком,
Ни стонов не тая, ни слез,
Ложатся пленные на лёсс.
- День выигран! Но сколько пало!
Бойцов на точках огневых
Лишь по два, по три. И для них
- 890 Уже патронов не хватало!
Предисполкома, губы сжав,
Хотя в других надежду теплит,
Таясь, идет на телеграф,
Тревожным зовом небо треплет, –
Ответа нет! Глумится ночь,
Свистит и, наконец насытись,
Один доносит клок: «...помочь...»
И через миг другой: «...держитесь...»
И всё. И снова свист и треск
- 900 Берут за горло аппараты...

Опять зари багряный блеск
И залпов редкие раскаты;
Но с болью ловит чуткий слух,
Что пост один замолк, что двух
Уже не слышно... Плохо дело!..
Вот конским топом загудела
Уже окраина. Борьба,
Как видно, кончена. Стрельба
Почти утихла. Через трупы
910 Оттуда в дальние концы
Бегут измученные группы
Последних жителей. Бойцы,
Патроны числя на караты,
Отходят в город и, засев,
Где ни пришлось, последний гнев
Шлют пулей в пестрые халаты.

Бушуя, обнажив клынчи,
Сверкая, щерясь, басмачи
Ревущей радугой, потопом
920 Цветастых пятен, с гиком, с топом
Сметают всё, врываясь в Гарм!
Срывают красный флаг. С казарм
Замки сбивают, на свободу
Своих шпионов выводя,
Мулл и улемов, – чтоб народу
Они твердили про вождя,
Про льва, кто предан вере правой
И казни обречет кровавой
Всех, кто забыли шариат.
930 И там, и здесь уже громят
Больницу, школу, склады, лавки,
И свертки шелка вверх летят,
Змеей развертываясь в давке...

Стоит, угрюма и тупа,
На главной площади толпа
В двойном кольце джигитов конных:
То пленники; пригнали их,

Истерзанных, полуживых,
Судить, «как велено в законах».

940 Уже вперед муллы прошли
В чалмах, в очках, в халатах строгих;
На аргамаках легконогих
Гарцует свита Фузайли.
И сам он, тигр, еще голодный,
Спокойно всходит на помост, –
И сыплет зыбь зеленых звезд
Халат широкий и свободный,
Что ленью скроен в старину.
Он говорит про поражение

950 Большевиков, про достижение
Целей ислама... Вдруг – движение
В толпе; взглянули в вышину:
Оттуда звук, упругий, струнный,
Как шум самума, гул бурунный,
Коснулся слуха, вдруг умолк
И вновь напрягся тембром медным.
Там, разрывая синий шелк
Небес, висел над кряжем бледным
И нарастал крылатый клин,

960 Пяти машин стальная стая,
Неодолимо вглубь долин
Восторг и ужас нагнетая.
Метнулся к пленникам конвой:
«Руби!» – но поздно! В буйстве бури
Нырком чудовищным с лазури
Сорвался рокот роковой
На басмачей, и вмиг накрыл их
Строй бронтозавров громокрылых,
Прошел, промчал, промел, пробрил

970 И взмыл опять гремучей тучей, –
И басмачи, в чаду, в падучей,
Катились, кувыряясь, в тыл.

А по дороге в прахе сером
На ослепительных конях,
Привстав на звонких стремях,

Наперерез дымил карьером
Отряд дехкан. В каких углах,
От прашуров каких достали
Они фитильные пищали –
980 Двухметровые мултуки,
Кривые, как ребро, клинки –
Неведомо! При командире,
Что бодро впереди скакал
На золотом карабаире,
Взор журналиста бы сыскал
Доспехи фельдшерского званья:
Аптечный тюк, суму с крестом;
Поэт же увидал бы в нем
Народной мести созреванье:
990 Ту степень средоточья сил,
Тот пограничный взрыву пыл,
Когда меняется природа,
Когда раствор родит кристалл,
Газ – мощь мотора, дух – металл,
И полководцев – глубь народа!

В железном дроботе подков
Отряд дехкан, летя карьером,
Стрелял, и грохот мултуков
Для очумелых беглецов
1000 Неодолимым стал барьером.
Всё поняли они: идет
На них взорвавшийся народ.
И не ошиблись.

В самом деле,
Махнув с дороги в область гор,
Среди любых трущоб и нор,
В любые проползая щели,
Они дехкан встречали ряд,
Неуловимый и упорный,
Что, продвигаясь наугад,
1010 Сбивал их с каждой грани горной.
На двадцать шаек раздробясь,
Они кружили и плутали,

И всюду огненную вязь
Вкруг них дехкане заплетали.
Опять по ледникам ползли,
Опять долбили лед клинками:
Как тигр, кипящими прыжками
В кольце метался Фузайли, –
И свой анабазис кровавый
1020 И прокаженный свой побег
Снести смогли до переправы
Чрез Пяндж – двенадцать человек!..

Вновь Гарм. Опять полна народом
Большая площадь. Синим сводом
Так широко осенены
Разлеты гор, и ширь Сурхоба,
И тридцать два пурпурных гроба.
Среди суровой тишины
Над тесной братскою могилой
1030 Знамена зыбью огнекрылой
И мягким шелестом полны.
Плывут по смуглым лицам слезы,
Гримасой боли и угрозы
Сухие губы сведены.
И каждый знает, что сыны
Одной мечты, одной страны,
Таджик янтарный, русский русый,
Вон тот седой, а тот безусый,
Плечом к плечу встречали смерть!..
1040 Окончен митинг. Похоронный
Мотив рыданье кинул в твердь,
И заступы землей каленой
Сыпнули на гроба. Растет
Могильный холм. К нему народ
Несет прощальной данью славы
Цветы весенние и травы.
Всё кончено. Взлетел в простор,
Далеких гор колебля лоно,
Салют последний – и знамена
1050 Склонились тихо на бугор!..

А пленников Кала-и-Хумба,
Что, сдавшись, были в ту же ночь
Зарублены, устал волочь,
Крутя по всем разделам румба,
Ревучий Пяндж: их из тюрьмы
Спустили в недра донной тьмы,
Утесы их на части рвали,
И хорошо попиروвали
Амударьинские сомы.

1060 Порой о робких вспомнят жены,
Вздыхнут и дети от души, –
Но не споет о них замшелый,
В горах кочующий бахши!..

.....

Как вдохновенно хороши,
Как любви годы вихревые,
Когда во вспугнутой глуши
Горят огни сторожевые,
Когда мятежные стихии
Преображают строй души!

1070 Я сам – люблю простые миги,
Неспешный с другом разговор
И, за прикрытьем плотных штор,
Свеченье лампы, шелест книги.
Я знаю радость мирных дней
И также знаю счастье взрыва,
Когда в лицо захлещет грива
Пироксилиновых коней!
Когда любовь, иль приступ гнева,
Иль жгучий атом стиховой

1080 Вдруг завладеют головой,
Всё разнося, – и справа, слева,
Вверху, внизу гремит, глуша,
Движеньем ставшая душа!

Был Бронзы век; был век Железа;
Был голубого Ветра век,
Век Угля черный; пар свой бег

Напряг из узкого надреза,
И вязкий поршень запорхал,
Вкруг вала шатуны шатая,
1090 И в масле завертелся вал –
Змея, из тяжести литая.
Всей этой эры бог – Нагрев!
Теперь пришла иная Эра:
Был прах: селитра, уголь, сера –
И встал из праха Взрыв и Гнев!
Гранаты, мины, камуфлеты
Дыханьем Взрыва разогреты,
Живут на Взрыве дизеля,
И Взрыва полные ракеты
1100 На соприродные планеты
Пошлет когда-нибудь земля!
И день придет, когда, раскатом
Бомбардировки разозля,
Мы вынудим взорваться атом
И дело жизни сопряжем
С его безудержным, крылатым,
С его бессмертным мятежом!..

15–27.III.1937

УШЕДШИЕ В КАМЕНЬ

Да и самый последний лиман Сиваша
Всё же – дальний залив океана...

Из старых стихов

Ты можешь и теперь туда пройти,
Свернув от моря к бывшей богадельне
И взяв на север прямо по степи.
Недалеко.

Налево кукуруза
Шуршит в лощинах. Древняя гробница
Торчит направо – конус травяной.
За ней дымит, как черная эскадра,
Завод металлургический, и бледно
В сиянии полдня треплется огонь
10 Над башней домны. Чуть поближе – взрезы
Карьеров рудных; рыжие комки
Проворно выбирает экскаватор,
И бегают по узкой колее,
Как юрисконсульт, юркий паровозик.
А дальше – пусто. Выжженная степь,
Гряда отлогих невысоких взгорий,
Дрожь марева горячего, и в небе
Неведомо зачем кружит орел...

20 Ты подойдешь к надломленной долинке;
В ней стенкою проходит белый гребень
Известняка, а в нем чернеют лазы, –
Как будто муравейник пополам
Разрезали.

Войди в нору любую.
Там тихо, и прохладно, и темно.
Там хорошо присесть на камень влажный
И закурить, ко входу обернувшись, –
И, как в стереоскопе, крупно, четко,
В квадратной раме развернется даль!

30 Клок бухты темно-голубой и город,
Наваленный кусками рафинада
Вокруг горы, а на горе музей
Дорически прекрасный и спокойный...

Оттуда веет теплотой полынной,
А за спиною холодок и мрак:
Уходит лаз на километры в камень,
Ветвясь и разбегаясь. Тут веками
Выламывали пористую плоть –
Квадриллионы ракушек умерших.
40 Из рухлых кубов скифские князьки
Свои дома и замки воздвигали,
Дворцы и храмы строил Митридат,
И генуэзцы громоздили молы...

Зажги фонарь, бечевку обвяжи
Вкруг камня у порога (в лабиринт
Нельзя идти без нити Ариадны)
И – вглубь!

Не бойся: это нетопырь,
Их много тут.

Смотри: у поворота
Весь камень избурован, будто гвозди
В него вбивали. Если ножик есть,
50 Поковыряй во впадинах и вынешь
Расплющенную пулю. За углом
Подобье зала. Под ногами мягко:
Соломы перепрелой пухлый слой
И комья лошадиного помета.
Сверни еще. Трехногий табурет,
На нем жестянка лампы и осколки
Стекла. Кругом – позеленелых гильз
Бутылочки латунные; их много.
А там лежит промятый каблуком
60 Рифленный коробок противогаса.
В тот ход свернем. Истлевшая бумажка,
А развернуть – на ней цветы, виньетки

И карта Крыма: то ль ярлык пивной,
То ль краевой «дензнак». Вот куча тряпок –
Бинты, все в пятнах: плесень или кровь?
Вон вбок и вниз отходит галерея.
Пойдем туда.

Или на воздух тянет?
Пойдем, пойдем: полгода задыхались
Тут люди.

Здесь, как видно, пусто. Нет!
70 Вон на бок лег, изогнут как параграф,
Скелет. Колени подняты, в комок
Свернулись кисти, и понуро череп
Припал к запястью. Сапоги остались
И поясной под ребрами ремень.
А зубы хороши: белы и целы.
Как тосковал, должно быть, молодой,
Сюда заползши! Тиф или граната?

Как началось? Кто первый в эти крипты
Вошел, дрожа от гнева или страха?
80 Как первая здесь ковыляла ночь,
С какой надеждой ждали тут рассвета?

Кто говорит, что первым Денисенко,
Георгиевский кавалер, фельдфебель,
Красавец пышноусый, захватив
Штабс-капитана у своей подруги,
Тесак на нем проверил – и ушел
В пещеры эти, чтобы «из-за бабы»
Не стать под пулю.

Говорят, Колдоба,
Из армии Федько, в тылу у немцев
90 С толпой головорезов партизана,
«Сюды ховався», и «с того пошло».

Кто говорит, что гимназист Миссюра
(Его я знал: широколицый мальчик,
Немного робкий и нерасторопный),
Не пожелав надеть английский френч
И стать бойцом «Единой, Неделимой»,
Да и Майн-Рида помня хорошо,
Сюда увел пяток других подростков...

100 Верней всего, что было так и так:
Законы Вихря подчиняют ревность
Любовника, и злобу землероба,
И романтизм юнца и ставят их
На тот ли, на другой, но неизбежно
На классовый рубеж – на лезвие!..

110 А Вихрь гудел по всем меридианам.
Романовы, что взять корону вышли
Из закоптелых стен монастыря
Ипатьевского, кончились в подвале
Ипатьевского дома. Гогенцоллерн
120 В Голландию бежал. Отрекся Габсбург.
В лесу Компьенском Клемансо терзал
Германских делегатов. Возникали
Республики. В Баварии хмельной
Советский флаг топтал кровавый Носке.
В голодном Будапеште Бела Кун
Последними штыками отбивался.
В Аравии престолы создавал
Полковник Лоуренс. Вокруг Багдада,
Вокруг Тавриза шла резня. В Китае
120 Шла бойня.

И один на всей земле,
Обвитой бредом и от крови скользкой,
Был человек, кто, щуря глаз монгольский,
Всё понимал, пером вода в Кремле.

И, верные словам его коротким,
Его декретам, точно горный ключ

Прозрачным, и бодрящим, и гремучим,
Шли миллионы.

Приходилось туго.

Заводы стыли. Прятал хлеб кулак.
Сыпняк блуждал, вокруг измена зрела,
130 Вздуваясь гнойниками.

Вся страна

Всю муть со дна, отстой тысячелетья,
Взбугрила и захлебывалась в ней.
Всё – трусость, тупость, себялюбье, жадность,
Бесхлебье, бессапожье, бездорожье,
Изнеженность, истрепанность, измор,
Невежество, неверье, неуменье, –
Всё пыжилось, хрипело, упиралось,
Дрожало, ныло, ляскало зубами,
Брело на цыпочках, ползло на брюхе,
140 Из-за угла высовывало нос,
Ухмылку, заносило нож, дубину,
Приподымало бомбу, мертвой глиной
По ступицу колеса облепляло,
Во все машины сыпалось песком,
На всех знаменах проступало цвелью.

Кулак двужильный с ястребиным глазом;
Пьянчуга портовой – сивушье сердце;
Статистик земский, что привык торчать
Перед отчизной с укоризной; врач –
150 Поклонник Миллюкова и сторонник
Абортов и аннексий; радикал
От бормашины; меньшевик с изрядным
Пакетом акций (от отца! что делать?);
Эсер – сынок жандарма – с рефератом
«О нравственных воззрениях Лаврова»;
Сожженный кокаином прапор – помесь
Грушницкого и Держиморды; мистик,
Вздыхающий с кухаркой о втором
Пришествии и вздорожаньи масла;

- 160 Домишко приобретший метранпаж
Или портной; заштопанная дева
Из лазарета баронессы Дрэк;
Партийные зазнайцы; доктринеры;
Угрюм-Бурчеевы от коммунизма
Непонятого; Раззудись-плечо;
Головотяпы; рукосуи; накопль
Махизма и махновщины, – а дальше
Кровавый банщик Рябушинский; кроткий,
Как змий, и мудрый, как голубка, Тихон;
170 Кай-Юлий Савинков, и Аввакум
Бердяев, и Наполеон Бронштейн, –
Все попережку, врасасовку, скопом,
В чаду, в бреду, в кликушестве, в оргазме
От силы, славы, злобы, страха, мести
Висели у России на ногах.

Но шла Россия. Шел литейщик, пахарь,
Боец, подвижник. Тяжко, трудно шел.
Косноязычно шел. К социализму!

- 180 Страна казалась тигровою шкурой
В чересполосице властей, режимов,
Фронтов, бандитских гнезд, армейских групп.
И витязем, поднявшим эту шкуру,
Провидевшим Грядущее во мгле,
Был скромный, тихий человек в Кремле...

- И здесь, вдали, в аппендиксе России,
В уютном городке, где побывали
И грек, и римлянин, и гот, и гунн,
И славянин, и турок, где галеры
На якорь ставил Петр, и пращур мой –
190 Суворов – ставил крепости, и в классах,
Где я учился, вызревал Желябов, –
Всё то же было. Тот же Вихрь гудел.

В исходе восемнадцатого года
Ушли германцы. В Симферополь сел

Татарский националист Винавер
И конституционно правил.

Всюду

Пооткрывались плюшкинские лавки, –
Комиссионные, – где можно было
Купить-продать подштанники, парчу,
200 Духи Коти, вставную челюсть, фунт
Сушеного горошка, микроскоп,
Владимира с мечами, одеяло
Из госпиталя, дубликат на пиво
Самарское – и прочее.

Отцы

Духовные церковный воск пустили
На гуталин. Чиновники, завеся
Окно газетой, запирали двери
И самобытно гнали самогон.
Князья из Питера, купцы из Вятки,
210 Профессора из Ярославля, дамы
То ль из салонов, то ль из Луна-парка
Разнеженно бродили по аллеям,
Сидели на бульварах и в кафе,
Орлиным взором пронизали булки
И камбалу и, не купив, шли прочь,
И всё вздыхали благостно: оазис!..

Однако на Кубани был Деникин.
Петлюра выгнал гетмана. Петлюру
Большевики спокойно выметали, –
220 И северный в Крыму подул сквозняк.
Винавер перепуганный варягов
Призвал с Кубани: для кадета лучше
Казачья плеть, чем власть большевиков.
Деникин всполохнулся, приказал
Всем «офицерским обществам» по Крыму
Сформироваться в части, объявил
Мобилизацию, послал постоем
По деревням казачьи полусотни,

И – началось.

Пошли везде и всюду

230 Восторженные дружбы интендантов
С аптекарями (спирт!), и с пекарями
(Мука!), и с бакалейщиками (сахар,
Махра!);

мамаш, бестрепетно-готовых,

Визиты с заднего крыльца к врачам
И комендантам, а потом гулянки
Юнцов, твердящих вдоль и поперек
О вывихах своих, о камнях в почках,
О ревматизме, грыже и подагре;

240 Шуршанье франков, долларов и лир
В кофейнях;

у каких-то знойных дядей

Проворный блеск в руках – не то брильянтов,
Не то алмаза – стекла вырезать;

Наезды романтических героев
(Кубанка на ухо, шинель вразлет,
Гитарой галифе, и Марс – конечно,
Не без Венеры – в огневых очах)
На рестораны: то «Кровавый сотник»,
То «Белый дьявол», то «Железный мститель»,
То «Ставропольская пантера»;

девок,

250 Из институток с шифром, возвращенья
Под отчий кров перед рассветом, с медью
Вкруг сонных глаз и бахусом из уст;

Развинченные выходы лакея,
Напялившего балахон Пьеро
И выкартавливающего томно,
С таким лицом, как будто он боится,

Что вдруг ему велят подать галоши, –
Про негра, подающего манто;

260 Неистовство отважных строчкогонов,
Всеведущих, всемогущих, вездесущих,
Умеющих сейчас взорвать Москву,
Назавтра двинуть весь британский флот
К твердыням Темрюка, напослезавтра
Уведомить, что в Сучьем переулке
Мышь поймана, сказавшая «аминь»;

Пошли доносы, выдачи и слежки;
Нырки прохвостов в двери контрразведок;
Аресты, порки, виселицы.

Пляс
270 Шизофрений в политике, внедренье
Садизма по районам.

Это всё
Именовалось возрождением края...

И вот – народ попер в каменоломни,
Как пер на Дон когда-то и на Яик,
На Выг-реку, в Уральские леса
И в Керженские дебри, унося
Свои святыни и свою обиду...

280 Шел хлебобоб, чью рожь забрали даром,
Чтоб возместить помещику убытки;
Рыбак, чьи невода конфисковали
За узость ячеи, – а после он
Их увидал в артели рыбзавода;
Шел дезертир; шел харкающий кровью,
Избитый шомполами слесарь; шел
Рабочий, «уличенный в большевизме»;
Шел большевик, еще не уличенный,
Чтобы внести в стихию лад и мысль.

И к январю оформилось два мира.

Один – надземный: светлые элои,
Поборники закона и культуры
290 (Полковники, поручики, попы,
Актеришки, мамыши, спекулянты),
Другой – подземный: черные морлоки
(Как написал в газете публицист
Из гимназистов выгнанных, – недавно
Уэллса прочитавший, но весьма
Нетвердый в проведеньи параллелей).

Всё ж прав он был в одном: морлоков этих
Боялись очень, и никто не знал,
Как много их.

А жесткие их пальцы
300 Растленный город чувствовал на горле.

То нападут на караульный пост
И отобьют винтовки и патроны;
То проползут в гараж комендатуры
И в бак машины сахару насыплот,
Чтоб спекся он в моторе в карамель,
Всё залепив; то переймут в пути
Помещика, спешащего в именье,
И уведут к себе, а после – выкуп
Деньгами им плати и провиантом;
310 То к барже нефтеналивной подъедут
Черт знает на какой шлюпочке, ночью,
И подожгут, и сутки напролет
Она горит, болтаясь на проливе,
А после нечем месяц или два
Питать электростанцию; то словят
Военного судью и шлепнут разом;
То погреб вдруг взорвут пороховой;
То фонари на маяке погасят –
И в мель упрутся брюхом пароход;
320 То рельсы разберут; то паровозы

Во всех местах заправят наждачком;
А то почище: окружают село,
Где «дикий эскадрон» какой-нибудь
Расквартирован, снимут караулы
И трепанут гранатами сквозь окна,
А выбежавших – на штыки.

На город,
Казалось, надвигался паралич.

330 Фрахт вздорожал; дороги непроезжи;
Хлеб из крестьян трудненько выбивать;
Судить нельзя: себе дороже; света
Нет по ночам; деньги и в банк боятся
Сдавать, и дома прятать.

И вдобавок
Морлоки знают всё: когда и где,
Куда, зачем и кто пойдет, поедет,
Погрузит, повезет, продаст, закупит;
У них повсюду есть глаза и уши:
В комендатуре, в штабе, в думе, в банке,
В дому протоиерея и в салоне
Артистки Самограевой-Шамфор.

340 (Всё это, между прочим, было просто,
Без Конан-Дойля. В модном кабаке
Был куплетист, горбатый Квазимодо,
Остряк и злец; его всегда поили
В отдельных кабинетах; он умел
Почтительно задеть и офицера,
«Кому предписано», и спекулянта,
Что изловчился хапнуть, но еще
Не хапнул и мобилизует силы;
Умел прослушать залпы хвастовства,
350 Подать гримасу, обронить вопросец
И выудить из мути и помой
Серебряную рыбку; а потом,
Глубокой ночью, полупьян, измучен,

Гася больные вспорхи сердца, он
На комитетскую шел явку... После
Он выслежен был и повешен...

360 В банке,
В агентствах пароходных, на вокзале
Таились тоже – где-то счетовод,
Здесь табельщик, там смазчик – с партбилетом,
С презрением, с ненавистью.

Вот и всё.)

370 Стоял февраль. Стояли холода.
Свистал норд-ост. Железные созвездья,
Как будто раздуваемые ветром,
Над заснежённой степью шевелились.
Все в городке, лишь вечер наступал,
Сидели по домам, при скудных лампах.
Всю ночь висела редкая стрельба –
Там где-то... Офицерские патрули
Слонялись по бульварам и в порту.
Разрушенный завод, облезлый, ржавый,
Надорванными крышами звенел,
Ловя норд-ост пробоинами домен
Заледенелых и мыча, как бык.
На телеграфе цокал юз, и лента,
Вся в крупных, точно детское письмо,
Неверных буквах, с валика сбегала,
И бормотал худой телеграфист:
«Взят Мелитополь... Мелитополь взят...»

380 А в клубе, в задней комнате, за плотной
Портьерой, в синем дыме, в мертвом блеске
Старинных канделябров, шел картеж;
С атласным свистом сыпались колоды,
Лежали грудой потные керенки,
Романовские, крымские, донские;
Полковники, издряблые как семга,
Поручики с мучительным оскалом,

Хлеботорговцы, хриплые как мопс,
Какие-то раздолбанные дамы –
С назойливою вежливостью злобы
390 Примазывали, хлопали по банку
И яд цедили, глаз не отводя
От пальцев банкомета.

Через два
Квартала, в кабаке, в чаду и смраде,
Цыганский шабаш бесновался. С визгом
Трясли грудьми раскрашенные ведьмы;
Шашлык дымился; булькал синий спирт;
Звенели шпоры пляске в такт; кой-где
Поручик и ощеренная девка
Валили кокаин «на соколок»
400 И втягивали в ноздри; закипала
То здесь, то там истерикою ссора;
Осатанелый есаул рубил,
Являя удаль, скорченную пальму, –
И, как проворная игла, сновал
Меж столиками бледный Квазимодо
С угодливой улыбкой и глазами
Как два клинка.

А далеко, в степи,
По мутным тусклостям сухого снега
Шагали, озираясь и ныряя
410 В лощины, в балки, вслушиваясь в даль,
Где ветер ныл невнятно и гнусаво, –
Затерянные в километрах люди.
Там брел старик с тяжелою кошелкой;
Там – женщина, сгибаясь под узлом;
Там паренек, «пацан», гаврош прибрежный,
Со связкою соломы и бутылкой;
Там, воротник подняв, солдат в шинели
С тремя винтовками и нудной «цинкой»,
Что руки обломала.

Тонкий свист

420 Их останавливал – у перевала,
У мостика, у камня, у кургана.
Навстречу выходили – в ватных куртках,
В уродливых рыбачьих венцерадах, –
Как дьякон орарем, перекрестя
Грудь лентами патронными.

Из рук

Мозолистых в мозолистые руки
Переходили хлеб, хамса, газета,
Бельишко, сахар, керосин, винтовки.
Скупые и суровые слова
430 Сползали с губ. Тревожные глаза
Скользили по небритым тощим лицам.
Короткий вздох, занузанные слезы –
И прочь идут. Одни – назад в деревню,
В казарму, в косолобые лачуги
«Нахаловки», другие – в камень.

Там

У входов – перезябшие дозоры;
По коридорам редкие коптилки,
Вонзающие ноготок во тьму;
В глубинных skleпах мозглый мрак и вонь:
440 Там спят вповалку, тесно привалясь,
Теплом меняясь, вошью, вздрогом, стоном.

В одном из закоулков – «штаб». Там столик
С лампчонкой жестяной; на нем тетрадка:
Расписаны дежурства; в уголке
На табурете сундучок матросский,
И у замка сургучная печать:
«Казна»; в другом углу на топчане
Укутаны чехлами пулеметы,
«Максим» и «гочкис». У стола сидит,
450 На пятерню папахою склоняясь,
«Дежурный комендант» и ловит ухом
Густой, как мед, и золотой по тембру
Бой палисандровых стальных часов,

Невесть откуда привезенных. Тут же,
Зачухавшись, ошейником бренчит
Кудлач громадный, собственной породы.

Вползает в небо, медленный, как лимфа,
Еще один пустой и долгий день.
Сменяются дозоры. Пробудясь,
460 На воздух выползают люди, жадно
Его лоя распахнутыми ртами,
И, надышавшись, снегом трут лицо
И руки (умываться нечем); после
Мангалки разжигают, в котелках
Растапливают снег, пьют чай с ломтями
Похожего на торф сырого хлеба –
Как можно дольше пьют; потом сидят,
Перемогая холод, лишь бы вновь
Не лезть в надышанные катакомбы.
470 Но – невозможно. И безглазый мрак
Глощает всех; опять ложатся дрыхнуть,
Но нету сна, как воздуха и света, –
И пытка временем всё длится.

Штаб

Изобретает читки и беседы,
Потешные суды организует
Над дезертиром, трусом, трепачом,
Раздобывает где-то граммофон,
Чтоб целый день Плевицкою плевался, –
Но помогает мало.

Иногда

480 Взрывается истерика и драка;
Порою кто-нибудь, махнув рукой,
Увязывает в узел барахло,
Чтобы уйти, – но не дают, боясь,
Что попадетса и под шомполами
Заговорит и назовет людей,
Пароли, явки...

Лучше уж когда
Белогвардейцы вдруг отряд пригонят
Дорогу охранять иль попытаться
«Смести бандитское гнездо». Пойдет
490 Тогда стрельба, заманиванье в камень,
Чтобы на повороте взять в штыки.
Дня на три тут и разговоров станет,
И похвальбы, да и винтовок тоже
Пяток-другой прибудет в «арсенале».

Так – дни за днями. Зубы стиснув, ждут,
Когда ж придет братва из-за Чонгара,
Когда ж Дыбенко в море сковырнет
Всех этих?..

Нестерпимо ожиданье.

Пришла весна. В неделю стаял снег,
500 Подсохла степь, пушком покрылась нежным,
Запахла, зазвенела, запорхала;
Ультрамарином налился залив;
Дыши, гуляй, купайся.

Черта с два,
Подышишь, покупаешься!

Во-первых,
Пришли к белогвардейцам пополнения,
И ободренный генерал, решив
«В два счета ликвидировать» повстанцев,
Стал проволокой оцеплять колючей
Каменоломенные зоны, рыть
510 Окопы возле заграждений, ставить
Прожекторы на всех распустьях, – словом,
Вести осаду.

Во-вторых, без снега
Пить стало нечего в каменоломнях.
По-прежнему ночами шли крестьяне

И городские, поднося еду,
Таща баклаги и порою даже
Катя бочонки, – но почти нельзя
Сквозь оцепленье проскользнуть. Едва ли
По полбутылки выходило в день
520 Воды на человека.

Дождь ловили
Во всю посуду, в ямы, на шинели;
Под утро расстилали всё тряпье
На воздухе, чтобы росу впитало;
Долбили камень, собирая сырость.

А стычки стали чаще: надо было
Вниманье вылазками отвлекать,
Чтоб дать возможность пищу пронести
И воду. Прежде – раненых везли
В больницу городскую, – и врачи
530 Их укрывали; а теперь пришлось
Устроить лазарет, где на соломе,
В могильной тьме, они в бреду метались
И умирали.

Штаб хотел пробить
В деревню лазы. В самых дальних криптах
Штыками бередили черствый камень,
Шурфы закладывали, рвали порох, –
Бесплодно.

Порешили перейти
В другие катакомбы (надо знать,
Что городок наш опоясан ими),
540 Заранее там заготовив воду.
И как-то ночью, бешеным рывком,
Смели белогвардейские заставы,
Отбили пулеметы и ушли
Обходом по степи, по буеракам,
По топким балкам, по карасабану
Распаханному. Волокли добро –

Оружие, муку; несли обузу
Святую – раненых; и те, томясь,
Просились на ноги, клялись, что сами
550 «Дошкандыбают», – и свирепой бранью,
Где слезы накопили, их опять
Товарищи кидали на носилки.

В далеких деревнях брехали псы;
Какой-то пароход орал в проливе,
Как будто бьют его; из мутных блесков
Над городом зернистая стрельба
Внезапно рассыпалась, – и с глубоким,
Невнятным шумом, в боевом порядке,
560 Повстанцы шли. Порою звякал штык, –
И в темноте ты счел бы их ватагой
Усталых косарей, когда б не стон,
Вдруг прорывавшийся...

В огромном небе,
Прекрасное, стыдилось и дрожало
Созвездье Лиры – то, куда летит
И долететь не может наше солнце...

Вот и долина со скалой ноздрявой,
И тонкий нюх способен различить
Дыханье издырявленного камня,
Прохладное и затхлое. Но только
570 К пещерам подошли передовые,
Как из-за мыса дальнего в пролив,
Едва угадываемый во мраке,
Вползла система точек световых:
Пунктир иллюминаторов несметных,
Невиданной длины; фонарь на топе,
Сверкающий как магний; красный глаз
Штирбортного огня.

Застыли люди:
Такого корабля еще ни разу
Никто не видел.

«Это броненосец;
580 Английский: нету в черноморском флоте
Таких».

И разом в небо с корабля
Взмыл синий луч, помедлил и свалился,
И вновь черкнул, как будто меря небо,
И вдруг слепящим кипятком ударил
В глаза идущим, вырвав их из тьмы,
Всех до единого, худых и грязных,
Оборванных, измученных поклажей, –
Кладя как будто каждого из них
На операционный стол. И тут же смерк.
590 «Эх, видно, пропадать: уж если белым
Да англичане помогают – крышка!»
Так думалось...

(То, верно, был «Пегас»,
Английская авиамамка.)

С новым
Щемящим чувством люди уходили
В последнее убежище – в скалу.

Остервенелый генерал, узнав
О вылазке ночной, о переходе,
Стал измышлять «особенные меры».

600 Стреб несколько отцов и матерей,
Разведанных по деревням, схватил
Пяток партийцев и еще кого-то
И объявил, что расстреляет всех
Через неделю, если не сдадутся
Каменоломенщики. Но в ответ
Они, найдя проход неосаженный,
Явились в город, на квартирах взяли
Двух-трех полковников, протоиерея,
Какую-то заблудшую графиню
И греческого консула и тоже

610 Уведомили, что «отправят в штаб
Духонина».

Пришлось (под визг и вопли
Жен и детей, под страхом телеграмм
Деникину и королю в Афины)
Заложниками разменяться.

Прибыл

Какой-то инженер и предложил
Взорвать каменоломни или, проще,
Удушливыми газами залить.
Понравилось. Попробовали ставить
Баллоны с хлором в черных устьях лазов,
620 Но едкий газ лохматился, клубился
И вглубь не шел.

А к инженеру как-то
(Уже стемнело, в клуб он собирался)
Вдруг прикатили в шегольском ландо
Три офицера: «Просит генерал-де
К нему явиться в крепость»; по дороге,
В степи, они связали инженера
И передали где-то под скалой
Повстанцам. Инженер кричал, ругался,
Негодовал на собственную глупость
630 И для чего-то требовал «суда»...
Дня через два патруль белогвардейский
Его нашел...

Один из «офицеров»
Живет поныне в нашем городке...

А в эти дни уже катил по Крыму
Веселым валом большевистский фронт.
Джанкой захвачен, – мчатся эшелоны
На Феодосию и Севастополь;
Сарабуз взят, – гремящие теплушки
Бегут на Евпаторию; сегодня

640 В вечернем небе встали тополя
Над берегом Салгира, а назавтра
Уже ликует вольный Симферополь,
И, огибая Чатырдаг, кряхтят
Грузовики к Алуште и Гурзуфу.
Как летний ливень – сохлая земля,
Впивает Крым советские отряды...

Деникинцы отходят, отступают,
Дерут и драпают, – по казначействам
Гребя мешки «с монетой», по подвалам –
650 Корзины «Ай-Даниля» и «Массандры»
И оставляя в разных закоулках
(То в привокзальной путанице рельс,
То где-нибудь в цейхгаузе, в казарме,
На чердаке комендатуры) – трупы.

Крым в целом – ромб, с придатком на востоке;
Придаток (полуостров Киммерийский
Иль Керченский) придержан перешейком
В семнадцать километров шириной.
Там – Акманай; там лег рубеж последний,
660 Где закрепились белые; их фронт
Уперся флангами в два моря; с юга
Впродоль позиций крыли корабли
Насквозь, до Сиваша; в окопы сели
Все, кто успел продрасться на восток;
Из города последние поскребки
Туда послали, – даже гимназистов, –
И (что скрывать?) держались хорошо.

В каменоломни с еле слышным гулом
И трясом акманайской канонады
670 Пришел восторг: «дождались! наконец!»

Но дни идут, а фронт на Акманая
Застыл, а нетерпение растет,
А своды черные невыносимы,
А от сырого теста и воды

Испорченной свистит дизентерия,
А раненые бредят...

И у всех

Рождается и яблочным наливом
Решенье созревает: грянуть в тыл.

680 Подсчет бойцов: сто двадцать; пулеметов:
Четыре; пулеметных лент: шестнадцать;
Гранат: полсотни; мужества и гнева:
Без меры.

Хватит. Город будет взят.

Обдумали атаку. Рассчитали,
Куда ударить: телеграф, разведка,
Два пароходства, штаб, комендатура, –
И кучками по двадцать человек
Глубокой ночью выбрались из камня.

690 Но в городе народу сотня тысяч:
Сплошь обыватель, мелкий коммерсант,
Ремесленник, хозяйчик, огородник.
Рабочих мало: выветрило их
Войной, германцами, кадетской властью –
Подругою «закона» и разрухи, –
Деникинцами; в профсоюзах сели
Шпагоглотатели во имя «мира
Гражданского» – меньшевики; партийцы
Давным-давно оторваны от центра,
От руководства, слабы по составу,
По связям, – да и лучшие из них
700 Уже в каменоломнях.

Город – тесто:

Прорезать можно, проглотить нельзя.

И вот пошли, сто двадцать!

До сих пор
Нельзя узнать в подробностях: что было?
Участников остались единицы,
Рассказы их отрывочны и смяты;
Пожухлые листки белогвардейских
Газет – и лгут, и путают; а те,
Кто по домам сидели, знают только,
Что целый день был пулеметный стрёкот,
710 И канонада с кораблей английских
Да с «Ростислава» (помните, который
Еще по Шмидту бил в девятьсот пятом),
И что наутро по столбам висели
Удавленные.

В общем – сорвалось.

Взять не смогли ни штаб, ни контрразведку:
Сил не достало; белые, почуя
У сердца штык, дрались весьма упорно
И были вчетверо сильней; а в полдень
Ввалился в порт огромный пароход
720 И конный полк доставил из Анапы
И несколько броневиков.

Повстанцы,
В кольцо попав, на гору отступили,
Вокруг которой лег наш городок,
Засели там у «трона Митридата», –
И древняя привычная земля,
Которую еще Помпей поил
Чужою кровью, – кровь их увидала.
С «Пегаса» налетали самолеты;
Тяжелые снаряды били в гору,
730 Долбя утесы. Люди отходили, –
По наступающим на них цепям
Последние достреливая ленты, –
На старое кладбище, хоронясь
За памятниками (я видел после
Кладбище это: сплошь перепахало

Его снарядами, и там и здесь
Из мусора и щебня проторчали
Искромсанные кости).

Только ночь
Дала бежать остаткам, – запаленным,
740 Истерзанным, – назад в каменоломни.
Кой-кто успел уйти. Приятель мой
Месроб, с которым я делил когда-то
Скамейку в школе (в Ленинграде он
Теперь директором завода), скрылся
Меж потолком и крышей в доме брата
И девяносто дней лежал плашмя,
Пока нашлась возможность переправить
Его в другое место. Кое-кто
750 Попался в плен и тут же был повешен,
Причем иных повесили за ноги.

И началась последняя неделя.
По городу свистали шомпола;
В дома врывались бешеные люди, –
Пропарывая тюфяки штыками,
Дробя прикладами шкафы, искали
Оружие, и требовали водки,
И выводили схваченных, и тут же,
Перед глазами жен и матерей,
Расстреливали.

А в каменоломнях
760 Металась агония. Задыхались
И бредили тифозные. Стонали
В гангренах и флегмонах. Те, кого
Не тронули ни штык, ни пуля, смертно
Оскаля зубы, били из винтовок
Вдоль лазов, если появлялась в них
Чужая тень.

Белогвардейцы стали
Закладывать на известковой толще

Фугасы, рвали тонны динамита, –
И глыбы камня рушились, давя
770 Кого попало. В лазы, что сбегали
Наклонно вглубь, вливались бочки серной
Или азотной кислоты, и камень,
В ней растворяясь, превращался в газ
Без запаха, бесцветный и тяжелый,
Что полз по дну и заливал внезапно
Хорьковой смертью горло беглецов.

Спасенья нет.

И люди разделились –
На тех, кто мог идти и кто не мог.

Последние, с последним пулеметом,
780 Шатаясь, ковыляя, на карачках,
Ползком, пробрались ночью из глубин,
Напали на заставу белых, треском
Стрельбы и криком привлекли внимание
И приняли удар. И все погибли.

А те, кто мог идти, другим проходом
В степь уползли – и затерялись в ней.

Всё это – было.

И никто не смеет
Забыть про это...

Я закончу здесь...

28.IV – 18.V.1937

В ДЕЖУРКЕ

Здесь выдумки ни слова нет.

Конечно,
Я не фотограф, не формовщик масок,
Но жизнь порой встает перед глазами
В такой скульптурно-четкой нагоде,
Что нет нужды выдумывать, что стыдно
Приукрашать, румянить и смягчать.

Гляди на жизнь – до дрожи по хребту,
Вдыхай ее – до головокруженья,
Ощупывай – до костененья пальцев
И распознай за яростным оскалом,
Под шкурою звериной, в склизкой тьме
Гляделок жадных – человеческий трепет,
Боль человеческую, человеческую радость
И доброе широкое тепло
Товарищества, долга, береженья...

Глухой район. Он втиснут меж огромной
Асфальтовой рекою магистрали
И черствыми оградами дорог
Железных. Он к вокзальным узким гирлам
Льнет в толчее, водовороте, давке,
В сумятице мешков и чемоданов,
В раскатах дрог, в трамвайном лязге, в реве
Клаксонов. Всюду тупички, проулки,
Заборики. В подслеповатых окнах
Тоскует страстная герань. Дома –
Той подлой, скряжнической и чумазой
Архитектуры, что плодил Кит Китыч,
Выгадывая грош на тесноте,
Другой – на темноте, на смраде – третий.

Десятилетиями огромный город
Сюда, в проулки эти, испражнялся:
Здесь он растил ночлежки и притоны;
Сгонял сюда торговцев квасом; нищих;

Воришек; барахольщиков; бродяжек,
Торгующих замурзанной любовью;
Пропившихся чиновников; холодных
Сапожников, – всех тех, кому судьба
Сказала «нет!», а Сухаревка – «да!».

В прекрасные и буревые годы
Гражданских битв здесь новый оседал
Ил человеческий. Здесь дезертир
Отогревал возлюбленную шкуру
Средь копоты «буржуйки» жестяной.
Здесь прятался расстрига-офицер,
На белый Дон иль в желтую разведку
Снести готовый совесть и умок.
Историей разжалованный поп
Встречался тут с антоновским «легатом»,
Сбывая заодно парчу фелони
На тюбетейки. Здесь как вошь плодился
Мешочник. Здесь ильинский спекулянт
Сговаривался с грузчиком-пропойцей,
Со сцепщиком-пьянчугой, с машинистом-
Питухой – о погрузке, о прицепке,
О перегоне краденого.

Туго

Рассасывалась гноевая отмель
Под светлыми теченьями годов
Строительства.

Сезонник набивался

В доступные дешевые халупы,
Таща в лаптях родную тьму деревни;
Взрастали дети, становясь к станку,
Но чревом помня мглу и муть былую;
Рождались дети, – теснота каморок,
Безглазый быт, жильцовские скандалы
На улицу их гнали, безнадзорных, –
И черная градация текла:
Сначала резвость, после шалость, грубость,
Ожесточенность, хамство, хулиганство, –
Защелкиваясь преступленьем...

Я

Не собираюсь брать за эти скобки
Всю жизнь района, всех ребят и взрослых,
Ни даже большинство. Здесь много есть
Опрятных и порядливых старушек;
Суровых честных стариков; рабочих,
Чьи имена не сходят с красных досок;
Здесь много милых и веселых школьников
И школьников, что любят птиц и книжки,
Цветы и авиамодели. Здесь,
Как и везде, грохочет марш эпохи,
И социалистическое небо
Здесь не тусклее, чем в других местах.
Но непроветренных углов здесь больше.

И вот, на угловом унылом доме,
На некрасивой улице висит
Прямоугольник вывески невзрачной –
Какой-то мутно-синей: «Отделение
Милиции». Над дверью по ночам
Горит фонарь, такой же мутно-синий, –
Луна утопленников, как сказал бы
Бодлер.

Вхожу. Клетушки, теснота,
Казенная штампованная скудость,
Лоск локтевой на грубых загородках,
Какие-то приказы, расписанья, –
Подслепый шрифт раздолбанной машинки, –
Скрип перьев медленных по протоколам
И мелко озабоченные лица
Просителей, задержанных, писцов.

Такая проза и такая скука!

Но смотрят со стены два знаменитых
Портрета, – и встает вопрос: зачем
Вы здесь, творцы великих и прекрасных,
Мир перестраивающих идей?

Но и ответ приходит сам собою...

Вот выцветший небритый человек;
Пред ним бидон, в бидоне квас; на рынке
Ему недолили пол-литра; дома
Он обнаружил недолив, вернулся
С другим бидоном, снова заказал,
Опять недолили, – и он пришел,
Привел торговца и принес посуду
И требует вмешательства. И слышишь:
«В ларьке советском», «на советском рынке»,
«Советский гражданин...» – В простом уме
Созрела мысль, что есть уклад советский,
На честности покоящийся, – и
Жалеть не надо времени и силы,
Чтоб укрепить его и поддержать:
Не за стакан взлохмаченного кваса
Пришел бороться блеклый человек, –
За новый мир!

Портреты здесь недаром.

И сдержанный подтянутый дежурный,
Сержант ли, младший лейтенант, не знаю,
Ведет дознание и, как чуткий врач
Во всех углах выстукивает тело,
Диагноз ставя. Он спокоен, вежлив,
Внимателен и беспристрастен. Видно,
Что для него пол-литра кваса тоже –
Общественный вопрос.

Вот к загородке

Подходит грустный юноша. Лицо
Его опухло, под глазами вздулись
Два синяка огромных; дрожь в руках.
Он вызван объясниться. И дежурный
Клок за клоком сдирает шелуху
С невнятных показаний, разгоняет
Мглу мутной пьяной памяти, – и видно:
Набитая гостями, как подсолнух,
Каморка; именины; пот на лицах;

Гармошки хрип; в зеленых грубых рюмках
Ершовой водки толстые глотки;
Туман перед глазами, где, как блин,
К блину прилипший, женское лицо
Одно с другим сливается. Наш парень
К одной из женщин лезет. Тут – жена.
Цигарочная удаль закипает:
Он бьет посуду и жену колотит;
Его кидают на постель; он прееет
В подушках, под лоскутным одеялом,
Заглотан сном. Белесый свет ночной
Висит, как ладан, над горой объедков,
Над неопрятью кинутых тарелок,
Окурков, луж. С дырявыми глазами
Жена берет веревку бельевую
И вешается на крюке, но тот
Выламывается из штукатурки.
Треск, стук мясистый, стоны, – и жильцы
Вбегают, бедную самоубийцу
Приводят в чувство, злобно будят мужа
И «всей квартирой» бьют: «Довел!»

Наутро

В милицию приходят, клокоча
Негодваньем, требуя взысканья,
Возмездья, кары: «Разве можно так
Жену срамить? Так обижать? При всех!»
А раньше, и всего лишь лет пятнадцать
Назад, никто бы и не шевельнулся,
Еще и мужу дали бы совет
Дурь из жены повыколотить. –

Нет,

Портреты здесь недаром.

И дежурный

Внимательно, с просторным знаньем быта,
Вылуцивает точные детали,
Решая, где пружина: в истерии ль
Одной, в жестокости ль другого. Он
Всё так же ровен, вдумчив и спокоен.

Вот потянулись непрерывной цепью
За вздором вздор, за чушью чушь, – и всюду
Беспомощность, обида, неполадка, –
И все идут сюда, ища управы,
Защиты, помощи и разъяснения.

Старуха в проходной живет каморке;
Жильцы велят держать все двери настежь:
Пусть продувает, жарко; а старуха
Бойся сквозняка. Дежурный шлет
Агента – разобраться и уладить.
Подрались где-то, стекла бьют, – и вновь
Спешит агент утишить гнев и страсти.
Опять старуха: прежняя хозяйка
Ей справки не дает, что та кухаркой
Жила у ней три года, а без справки
Неполон стаж для пенсии. Опять
Идет агент всё привести в порядок.
Звонят по телефону: «Помогите,
Жена рожает, не могу дозваться
Кареты», – и дежурный полчаса
Долбит родильные дома, покои
Приемные, больницы и райздравы,
Пока не добывает то, что нужно.
Вот прибегают: некто, оскорбленный
Догадкою, что он украл штаны,
Обиду залил пивом, бритву взял,
Размахивает ею и грозит
Себя по горлу полоснуть, «чтоб знали»,
Что он не вор. Летит агент, как пуля,
И под руку ведет страдальца чести,
Мальчишку лет семнадцати. Дежурный
С ним говорит спокойно и сердечно
И отправляет в камеру – поспать,
А завтра, может, и штаны найдутся.
Влачат шофера: лихо пролетел
Сквозь красный свет. Здоровый светлый парень,
Чуть под хмельком, – и не поймет: в чем дело?
Что за беда? как можно «божий дар

Мешать с яичницей»? – Сию загадку
Прослушав кротко, глазом не моргнув,
Дежурный осторожно отбирает
Его «права» (шоферский документ)
И объясняет кратко и толково,
Что алкоголь снижает быстроту
Реакций, – то, чего не разжевали
Шоферу в школе. Зять приходит с тестем,
Скандалят оба; трудно разобрать,
В чем дело. Зять орет: «я нервно болен»;
Тесть попрекает: «меньше б торговал
Своею кровью»; зять рыдает: «я –
Больных спасаю!» – Фехтовально-ловко
Дежурный рассекает сеть попреков,
Уводит в воздух «смертную обиду»,
Мирит «два поколения», – и грядут
И тесть, и зять спокойно восвояси.

Вот снова пахнет кровью. Входит пара:
Он приволок *ее*. «А ну, спросите,
Что у нее в газете?» – Там трехгранный
Флакон с эссенцией. – «Она грозитя
Глаза мне выжечь, а потом самой
Чего глотнуть». – Тяжелый, трудный узел.
Она буквально в исступленьи. Слезы.
Железная пронзающая брань:
«Гад! Гад!» – И снова слезы. Жили вместе.
Теперь ушел он, выманив отрез
Бостона. Всё же ходит к ней порою
И «издивляется». У ней в былом
Муж и ребенок; съел в три дня обоих
Молниеносный менингит; она
Была в «психиатричке»; до сих пор
Под наблюдением; глубоко, тяжело
Пораненная личность, – циклотимик.
И женская обида, – половая
Отторженность, – и он себя ведет
«Как самый жулик» – и не оставляет
(«Я б наплевала») – и бостона жаль, –

И угнетенный мозг больная дразнит
Мечта о смерти. Тяжкий, трудный узел.
Дежурный имена и адреса
Записывает, отпускает парня,
А девушку, не слушая протестов,
Рыданий, брани, топота и воплей, –
Задерживает. Битых три часа
С ней говорит он, поит валерьянкой,
За шагом шаг, за нитью нить снимает
Ее надсады; обещает ей
Пристрожить парня, чтоб не шлялся больше;
Дает ей адрес юрбюро, чтоб иск
Был подан о зажуленном бостоне;
Искуснейшей инъекцией ей вводит
В сознание мысль, что убивать себя
Она не вправе, если может пользу
Социализму принести; играет
На гордости ее – простой, и женской,
И производственной, – и наконец
Она, светя зелеными глазами,
Спокойная, веселая, – уходит,
Дав обещанье через шестидневку
Опять «зайти и поболтать».

Не знаю,

Удастся ли ее совсем спасти
От яда или петли, – но покуда
Жизнь выиграна, на шесть дней.

И снова

Цепь мелочей, за часом час. А к ночи
Приходит воспаленный и кипящий,
Но натуго завинченный блондин
И требует, чтоб с ним наедине
Поговорили. Два часа идет
Беседа в боковой клетушке. После
Выходят. У дежурного в руках
Обширный протокол и документы.
Блондина удаляют в изолятор.

Я спрашиваю: «это что? с повинной?»
Дежурный вдруг – как пленкою обтянут
Непроницаемой: «я тут не вправе
Вам что-нибудь сказать».

(А я пришел
С внушительным мандатом; я – не «встречный»;
Мне б можно знать.)

Но тут же ясно мне,
Что если речь идет об интересах
Политики, разведки, обороны,
То – речи нет: один закон – молчанье.
И мне светло от мысли, что дежурный,
Сержант ли, младший лейтенант, не знаю,
Здесь глубже посмотреть сумел, чем я.

Линяет ночь. В дежурке стало тише;
Двух пьяных принимают в вытрезвитель;
Воришку привели; еще кого-то...
Пора идти.

Над черною, пустынной,
Уньлой улицей, – лишь оглянусь, –
Висит фонарь, такой спокойно-синий,
И знают все: под ним открыта дверь
Всегда и всем; за ней рука найдется
Спокойная и крепкая, что Властью,
Народною, суровой, доброй Властью
Для помощи протянута всегда.

VIII.1938

СТАЛИН

ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

ТЕМА ПЕРВАЯ: Личная

Следуй своей дорогой, и пусть люди
говорят что угодно.

Маркс

И снова я с людьми, затем, что я поэт,
Затем, что молнии сверкали!

Брюсов

«Описывай, не мудрствуя лукаво...»

Я выстрадал, я жизнью добыл право
Описывать.

Я двадцать лет молчал,
Противоречьями язвим и разрываем;
Я, жаждая простора, плелся краем,
То закрепляя, то грызя причал
У ветхой пристани, когда кругом хлестала
Волна, литая из металла,
О косный камень давних дамб, –
Когда и я бы мог из илистой лагуны
Прорваться в юные буруны,
Влить голос мой в их гулкий дифирамб!..
Но я всё ждал. Всё ждал! Меня рвала на части
Разноголосица давно прочтенных книг,
Грыз Шопенгауэр, впивался в нервы Григ,
Глодали прихоти и страсти,
И каждый миг
Глушила поступь непреклонной Власти...

О, я, конечно, знал, что жить, как мир живет, –
Нельзя! Что нужно кляп вогнать в огромный рот

Буржуазии. Но – как выйти мне из плена
Уайльда, Штирнера, Брюллова и Верлена?
Как Броунинга мне на браунинг сменить?
Как ячную крупу согласовать с Верхарном
И скудость будней примирить
С его «Восстаньем» пламезарным,
С его романтикой боев и баррикад,
С его трибунами на огневых трибунах,
Сверкавших мне как летний звездопад
Средь первых слез и первых гневов юных?

О, я ни лакомкой, ни трусом не был; я
Еще студентом знал, сознание двоя,
И голод каторжный, и труд такой же точно;
Октябрь аворою и мне блеснул в глаза;
Пошел и я туда, где пенилась гроза:
Вот я под пулями; вот в лодке, в шторм полночный,
Мчу прокламации во врангелевский Крым;
Ячменный хлеб жую; играю с тифом в прятки;
И верю, что вот-вот, в последней, в смертной схватке,
Мир станет братом всем мечтам моим!
Но минул год, и, как у двери склепа,
Я у витрин объевшегося нэпа
Стою, – презрением и злобою томим!
Ах, Революция! Я ждал ее на троне,
Премудрой, благостной, с блистающим мечом!
Она пришла в обмотках и в поскони
Каптёром, подметалой, продавцом!
Не мог в личинах этих распознать я
Иной, величественный Лик...
«Кому же, – грызла мысль, – я постирал объятья?
За что я пер на белый штык?»
И снова, призраком, вползали в мой тупик,
Вдвоем, мои расстрелянные братья,
Чью гибель я как жертву лучшим дням
Когда-то принял...

Нет!..

И потянулись годы
Отъединения и «внутренней свободы»,

На деле – рабства, где я сам
Надсмотрщиком был над самим собою,
Себе же самому арапником грозя...
Но я – поэт! Мне жить такой судьбою,
Между софизмами скользя, –
Нельзя!

Я помню январскую ночь
С огромными звездами в небе,
С бездонным безмолвьем снегов,
С кострами на всех перекрестках.
Я видел, как черный народ
Шел в очередь сотнями тысяч,
Рыданья гася в башлыках
И стужу смывая слезами.
На скорбный полуночный смотр,
На вечное с другом прощанье
К высокому гробу Вождя
Шел ткач, и литейщик, и токарь.
Не тени погибших солдат
В мечтательной песне поэта,
Не к призраку призраки шли –
Живые к бессмертно-Живому.
Безмерное сердце страны
Рвалось к охладевшему сердцу, –
И не было правды сильней,
И праведней не было правды!..

Тут понял я, что мне пути иного нет,
Что высшая любовь к себе – в любви к народу:
Что только в ней найдешь ту силу и свободу,
Какими должен жить поэт!
Но также понял я, что переделать надо
Мне каждую молекулу в себе,
Что гипс романтики не исцелит разлада,
Что личность добывается в борьбе!

И линька началась. Я слушивал ногтями
Живую чешую идей моих и слов,

Пристрастий, навыков, боязней. Я годами
Агонизировал. Я был порой готов
Достать из ящика заветный грамм циана
И кончить всё: так трудно было мне!
Я книг вагон прочел, от Маркса до корана,
С одною совестью наедине.
Я был газетчиком, профессором, профоргом;
Я в молодежь глядел по вузам и пивным;
Я в Азию летал к руинам вековым;
Я блюминги чертил; глотал фабричный дым;
Шатался по судам, по тюрмам и по моргам...

Как трудно было мне! Как часто наугад
Я брел, тревогою и смутною объят,
И каждый встречный враг, двурушник и предатель,
Чекистский прихвостень, но консульский приятель,
Меня в подполье гнал: назад! назад! назад!

Демьяновой ухи не хочешь? – ты опасен!
Ты сомневаешься в Покровском? – клеветник!
Не аллилуйствуешь, не терпишь лживых басен?
Сейчас тебя сгребем за воротник!
Ты угловат? – скруглим! Ты полагаешь норму
В противоречиях? – Ты анархист! втроем!
Ты не лакействуешь? и даже для прокорму?
Мы живо придадим негнущейся спине
Приятнообтекаемую форму!..

И так годами! Я, глупец, не распознал
В журнальном цербере вредительский накал,
В партийном квакере раскольничью закваску, –
Вновь за Лицо приняв резиновую маску
И волчий торжествующий оскал...

Я твердо веровал, что жизнь моя всецело
Прекрасной родине принадлежит моей,
Но совесть – только мне!

И много тысяч дней

Она развеять не умела

Все эти мороки, кривлявшиеся ей,
И в утреннем оркестре мира
Моя, так называемая, лира,
Безмолвствуя, казалась всех мертвей.

Теперь я вижу: все как на подбор, кто силы
И творчество мое стремились омертвить,
Все – избличены, все – выброшены гнить
В компосте исторической могилы!
А я живу, гляжу. Мой день пришел опять:
Мне посчастливилось, в блужданиях, повстречать
Тех, настоящих, тех, трехмерных,
В ком воля, смелость, ум и доброта,
Кем на плечи страна моя взята,
Кто позаботился, чтоб и моя мечта
Не задохнулась в смрадах серных!
Мне помогли они: и просто руку дав,
И четкой логикой рассеяв заблужденья,
И вот

я,
прежний,
мертв!

Но, смертью смерть поправ,
Второе праздную рожденье!

И странно: я такой, совсем такой, как был;
Я Пушкина люблю, как и всегда любил,
Горжусь Суворовым, люблюсь Ренуаром,
Бешусь, припомня вдруг Цусиму и Мукден,
Но он расторгнут – прежний плен,
И я по-новому кумирам верен старым!
Они в народный пантеон вошли,
В алмазный фонд родной моей земли,
В ее музеи, песни и преданья;
Я понял: возродившийся народ
И сам возрастит, и всюду соберет
Плоды труда и созиданья!
И вот пример, всего в семи строках:
В селе Михайловском я был на торжествах,

И к дому Пушкина, не убоясь морозов,
Приперло тысяч тридцать из колхозов,
И парни,
 нарядясь Онегиным, Петром,
Борисом, Моцартом, Алеко, Пугачевым,
Над мерзлой Соротью прошли с веселым ревом,
Как бы «весенний первый гром»!
Так как же не любить «грозу в начале мая»
В ее тяжеломраморной возне,
Когда раскаты, молнию ломая,
Как Парфенон стоят в голубизне?

И как же не понять, что этим громом вспенен
Родной мой край лишь потому,
Что в плуг истории всей грудью впрягся Ленин
И Сталин стал преемником ему!..

Я должен говорить – за двадцать лет молчанья!
Я слова требую – на площадях Москвы,
Парижа, Токио!..

 Через валы и рвы
Я рассылаю *показанья!*

ТЕМА ВТОРАЯ:
НЕОПРОВЕРЖИМО О ДЕТЯХ

Мне пришлось стоять у ворот фабрики в ожидании выхода детей, – и какие это были жалкие, убитые, мертвенного вида существа!

Лсрд Ашлей

И чье-то молодое за меня
Кончается в тоске существование.

Ин. Анненский

Мне больше сорока, – а знаете ли вы,
Что homo sapiens живет лет тридцать в среднем,
Что загребает смерть своим железным бреднем
Младенцев, как сельдей? Что, значит, кто-нибудь
Не дожил за меня до двадцати? Что грудь
Незрелой девочки, какой-нибудь Катюши,
Одарки, Эркинэ, в чахотке иль коклюше,
Надсаживалась в кровь, в подвале без окон?
Что где-то в Лондоне возвышенный закон
Стояет матерей дубинкою с панели,
Чтобы выпрашивать на молоко не смели?
Что где-то в Токио ребенок в восемь лет,
Иссохшей кожей обтянутый скелет,
За грош работает часов пятнадцать в сутки,
Расчесывая джут, с пузырьным хрипом в грудке?
Что где-то в Гамбурге, в Чикаго, в Сан-Ремо,
Чтобы на миг забыть пудовое ярмо,
Трудом и голодом изглоданный рабочий
Глощает алкоголь, а после, в недрах ночи,
Плодит заморышей, которым суждено,
Прожив два месяца, два года, – всё равно! –
Лежать в гробу, чтоб мы (я, вы, одни, другие)
Тем продолжительней могли гулять – живые!

Возьмем статистику, – и черт их поберет,
Лиричных критиков, которым невпрочет

Число в поэзии! – возьмем графы «расхода»:
На тысячу детей мрут, не прожив и года,
В эпоху царскую душ триста. А всего
В стране Романовых (какое торжество
Для трона древнего!) два миллиона за год
Скрипичных гробиков, бывало, в землю лягут!
Представьте ж, вдумайтесь! Извольте понапрячь
Воображение! Тут смерть несется вскачь!
Тут в день (на мраморе б такую цифру высечь!)
Несут на кладбище пять с половиной тысяч
Безвинных, маленьких... и крохотной руки
Такие нежные так сини ноготки!..

А знаете ли вы, что в годы пятилетки
Смерть очень взнуздана, хотя еще не в клетке?
Что больше трети жертв отбито у нее
Младенческих? что в день минует лезвие
Две тысячи ребят? Две тысячи малюток
У смерти вырвано в течение каждых суток!

Глядите: в Гернике фашистский каннибал
Такую ж порцию бомбежкой растерзал;
Мир вскрикнул в ужасе; женеvские витии –
И те заахали. И Герники такие
Предотвращаем мы – годами – день за днем!

Кто смеет возражать?

И если мы возьмем
Все показатели за годы нашей силы,
За революцию, – весь *дефицит могилы*
По разным возрастам, – мильонов тридцать нам
Очистится – живых! Живущих по домам,
Не в яме тлеющих! Избавленных! Спасенных!

И только потому, что силой непреклонных
И неподкупных воля был давний сломлен гнет, –
Что слит с народом вождь и слит с вождем народ!

ТЕМА ТРЕТЬЯ:
ПЯТЬ ШЕСТЫХ МИРА

В Гей-Маркете... я увидел девочку лет шести... всю в лохмотьях, грязную, босую, испитую и избитую... она шла с видом такого горя, такого безысходного отчаяния...

Достоевский

На верхах буржуазного общества проявились... необузданные, нездоровые и распутные вожделения, в которых нажитое спекуляцией богатство естественно ищет себе удовлетворения, где наслаждение становится распутством, где сливаются вместе золото, грязь и кровь.

Маркс

В горячем воздухе, в вольерах зоопарка,
Сквозь луч полуденный, неотразимо ярко,
Откуда ни взгляни,
Порхают яхонты, крылатые огни.
Представьте ласточку в шмеля величиною
С хохлом рубиновым, сапфирною спиною,
Смагдовым крылом; как молнийка, она
Задорно, весело прочерчивает дуги,
Восьмерки, завитки; на самом дальнем юге
Она для радости и блеска рождена,
Колибри милая! Ее народец звонкий
Цветочный сок сосет в безлюдьях Амазонки
И крадет весело тычинки для гнезда...

Париж. Гранд-Опера. И в бомбоньерке лежи
С гурьбой поклонников является «звезда»;
На царственных плечах, на золотистой коже
Накидка легкая, как мягкий яхонт. – «Боже!
Из перышек колибри!»

Жадный зал

Глядит во все глаза; бинокли вдвое зорче;
Всех прочих звезд охватывают корчи,

И репортер уже строчит подвал
Об ослепительной, о несравненной стерве,
Законодательнице мод,
К чьим раздвижным ногам льнут богачи, как черви,
Чтоб многоопытный им усмехнулся рот...

Такой накидочке цена полмиллиона.
В лесах Бразилии индейцев нищих клан
Полгода ползает на брюхе меж лиан,
Хватая в западню клочочки небосклона,
К цветам летящие. Мадам Пакен иль Ворт
Шлют сотни каблограмм «Рио-Жанейро-порт»,
Агентов торопя; искуснейшие швеи
Гнут в три погибели, клонясь над шелком, шеи,
Сто тысяч перышек невидимо крепя,
Чтобы, от гордости и тяжести хрипя,
С красавицею сесть мог в ложе центнер мяса,
Во фрак заправленный!

И хуже: в недрах нор
Каменноугольных жизнь отдает шахтер;
Свистят конвейеры, захлестнуты, как лассо,
На горле у нужды; и грыжу дровотаск
Волочит с бревнами в трущобах всех Аляск,
Чтоб акции росли, чтоб, не теряя часа,
Как жар тифозный, полз у подлеца доход,
Чтоб на Миссури он, на Сене, Темзе, Тибре
Мог девок одевать в накидки из колибри, –
И многоопытный ему смеялся б рот!..

Да! Вот для этого – миллионы и миллионы
Затерзанных рабов! Для этого – законы,
Суды, парламенты! Для этого – война
По всем материкам, как смерч, пронесена!..

Мне тотчас выставят апостольного Форда,
Кто лишь галетки ест и молоко лишь пьет,
И держится так просто и негордо,
И целомудренно досуг свой отдает
То негам библии, то сладости кроссворда,

А между тем...

Да, да! А между тем, под пресс
Очередного дня своих рабов затискав,
Он с пинкертонами среди секретных списков
Умилно роется, жизнь пробуя на вес.
И сотни жертв идут влачить по перекресткам
Огромный горб нужды, не нужны никому;
Один по дряхлости (лет 35 ему),
Другой за то, что смел в словце излишне хлестком
Усталость разрядить; двадцатый потому,
Что дальний родственник его попал в тюрьму;
Трехсотый...

Кто учтет все виды ям и петель,
Что вырыл и скрутил детройтский благодетель,
Не знающий вина, не признающий карт,
Чтобы по капелькам, на боли безысходной
Собрать свой скопчески-бесплодный
Миллиард?!
Чтоб груда золота, не утерев минуты,
В разбухших гроссбухах к нолю лепила ноль,
А он бы ей служил, почтительный король,
Священник Доллара и некромант Валюты!
А если кто дерзнет на это божество
Взглянуть с иронией, не так свечу поставить, –
Отыщутся дубинки для него,
Чтоб вышибить мозги и тем сужденья вправить.
А если тысячи у храма завопят, –
Для прекращения столь гнусного разгула
Найдется много средств: от газовых гранат
До электрического стула...

«Но он сумел создать...»

Сейчас посмотрим, что.

Он, лично Форд, – паршивенький авто;
Он, символ строя, – бред, непроворотный хаос,
Бездарную возню цен, рынков, исков, кляуз,
Тарифов, демпингов, бирж, трестов; а вокруг
Гной безработицы, анабиоз наук,
Удушье творчества, когда изобретенья,

Купив, кидают в сейф, чтоб им не дать движенья;
Шизофренически-чудовищный уклад,
Когда пшеницу жгут, когда сельдей гноят
На удобрение, когда под нож мясничий
Идут вагоны поросят,
Чтобы компостом стать, когда моря прудят
Кофейных рощ бесценною добычей, –
А в каждом городе хрипит голодный ад,
А в каждом городе в нетопленных подвалах
Струдились тысячи без хлеба одичалых,
Отчаяньем задавленных людей,
И матери гоняют дочерей,
Зеленых девочек, на Миртль и Пикадилли,
Чтобы как следует, полночи, походили
И после принесли домой
Собачьей колбасы и хлеба ком сырой!

Довольно, граждане! Без жалких разговоров
О справедливости, без горестных укоров
Тем, кто забыли стыд, – довольно!

Этот строй
Сплошь идиотским стал и, дряблый паралитик,
От люэса врожденного гнилой,
Сам на себя слюной и калом вытек!

Мне говорят: «А всё ж! Две бездны! Верх и низ!
Цветенье личности! Симфония страданья!
Восторги творчества!»

Посмотрим. (Эту дрянь я
Сам бормотал в былом, а после пальцы грыз.)

Вот, не угодно ли? Возьмем Марселя Пруста.
«Всемирно признанный» первейший их талант, –
Сыгравший мудреца и златоуста,
Панамодержащий Атлант.
Анахоретом пробковой кабины,
Прикован к вечному перу,
Лет двадцать пять он гнал роман единый
На отработанном пару.

Жизнь для него была лишь *вспоминаньем жизни*,
Подлизом радужной слюны,
Что оставляют, проползая, слизи
На ветхих кирпичачах стены.
Смакуя бал, обсасывая ужин,
Размазывая час на тридцати листах,
Он, с обезьяньей дробностью, жемчужин
Искал у жизни в волосах.
Откушав бэф-буйи, за блюдечком десертца,
К ежевечернему привыкший ревеню,
Салонные пороки сердца
Он изучал, богатый парвеню.
Как бы отрыжкою всю жизнь терзаем тяжелой,
Он попросту в себя ничто вобрать не мог,
Чтоб не сотряс его неодолимый вздрог
Анализом, оглядкою, оттяжкой.
Целуя девушку, он не пьянел, как мы,
Тем хмелем розовым, где звон горячей крови, –
Он подмечал мертво изгиб губы и брови
В ракурсах всяческих, в игре луча и тьмы.
В бергсоновской *durée*¹, в бездельи полутрупа,
Он в непрерывности барахтался дурной
И фразу выплетал несносную – длиной
Как волос, извлекаемый из супа.
Он обо всем строчил: о складке летних брюк,
О кресле бабушки, о снах, о фресках Джотто,
О муссе яблочном, о звуках слова «дюк»,
Не уставая, как паук,
И покоряя, как зевота.

Вот он – их цвет и перл, учитель и божок,
Пером щекочущий истасканные чувства,
От шпанских мух вспузыренный ожог,
Великий рукоблуд искусства!..
Ну, как вам нравится?

Там, где свистал Вольтер,
Там, где Гюго гремел, там, где Бальзак терзался, –

¹ длительности (*фр.*).

Гераклом болтовни, всем Валери в пример,
Такой вот хлюст хлорозный подвизался!
И, смотришь: в Лондоне, в Бостоне, где ни взять,
Везде его приплод, такой же золотушный:
На мертвом золоте, в оранжерее душистой
И плесени, и Джойсам благодать...

Вот их цветение, вот радуга... А дальше,
В быту, сплошной стандарт и штамп
От брюк до девушек, от театральных рамп
До социальной лжи и до любовной фальши.
Два-три фокстротика, два-три чужих словца,
Мечта о долларе, газетка биржевая,
Футбол, кино, восторг «счастливого конца» –
Вот что жуют, «переживая».
А те мечтатели, кого любили мы,
Верлены чердаков и Дон-Кихоты бригав, –
Тарелки моют, всласть попрыгав
Средь этой каторжной тюрьмы...

Нет, будет, господа! Беззубый и картавый,
Он распадается – ваш мир, насквозь гнилой.

Но Жизнь к нему придет!

Со шваброй и метлой!

С безжалостной, как купорос, протравой!

ТЕМА ЧЕТВЕРТАЯ: ДВЕ ЕВГЕНИКИ

Накопление богатств на одном полюсе
есть в то же время накопление нищеты,
муки, труда, рабства, невежества,
одичания и моральной деградации на
противоположном полюсе.

Маркс

И знаете ли вы, кто придет
От потомков потомков его?

Уитмен

Году в двенадцатом я прочитал в газете
Футуроманифест болвана Маринетти;
Сей разутюженный, крахмальный сей апаш
Орал на ярмарке идейных распродаж,
Что лишь война дает оздоровление наций.

Гораздо ранее, в чаду галлюцинаций,
Вопил другой маньяк, от люэса гния,
О том, что распознал законы бытия,
Что есть «мораль господ» и что по всем культурам
Пройдет «сверхчеловек» зверюгой белокурым.

(Блистательный эффект являет – спору нет –
Простой идеализм с приправой спирохет!)

И вот, совсем на днях, невесть в каком зловонном
Фашистском Blatt¹ прошло, что в пункте населенном
Полезнее бомбить окраины, коль там
Живут рабочие, сгрудившись по «углам»,
И, значит, «господа» набьют «рабов» поболее;
К тому же многие, от ужаса и боли
Сойдя с ума, себя как дрянь разоблачат,
И тотчас медики таких охолостят,

¹ листке (нем.).

Чтоб сократить приплод, враждебный высшим кастам.

(Да как и быть, коль власть попала к педерастам?)

Глядите же: всё то, что вызрело во мгле
Мозгов приплюснутых, что с язвой на челе
У сифилитика дружило грязно-алой, –
Сегодня догматом и техникою стало!

Вот кесарево где для кесаря пошло!
Загнившая Мошна, сдыхающее Зло
На безволосое, в коросте клейкой, темя
Скликают группных мух, нуждаясь в диадеме!

Посмотрим попросту. Где Золотой Сапог
Всех давит, как жуков, среди мировых дорог,
Где доллар, марка, фунт, франк, рупия, иена
Фортуны древнюю (по самое колено
В крови) стремительно из банка в банк несут, –
Он вырождается – порабощенный Труд.

Да, в гетто классовых, в Гарлеме и Вайтчепле,
В трущобах Веддинга – глаза веками слепли,
Веками сохла грудь и упрощался мозг.
Асимметрия лиц, кость, мягкая, как воск,
В ножонках детских, кровь, едва ли гуще пива, –
Всё это есть. Но есть – в порядке *негатива*:
Дворец банкира тут, подвал ткачихи там;
Тут клюв стервятника, там, у добычи, шрам;
Тут грудь Лилиан Клоз, рот Дориана Грея,
Там жухлые соски, надкушенная шея,
Откуда день за днем лемуры жизнь сосут;
Всё *там* украдено, что столь роскошно *тут*!

А коль перевернуть? Коль «негатив» расправить
И солнцу марксову на двадцать лет подставить?
Что выйдет?

Вышло то (лишь погляди кругом),
Что наш рабочий стал совсем другим: объем

Его груди растет, судя по новобранцам;
Что лица девушек ликующим румянцем,
А не чахоточным, как прежде, залиты;
Что в тесных комнатах живут с людьми цветы;
Что нету области, от неба и Памира
До кортов теннисных, где все рекорды мира
Не перешли бы к нам: планер и парашют,
Кирка альпийская, футбольный мяч – лишь тут,
У нас, отечество себе нашли прямое.
Всего за двадцать лет гниенье вековое
Вконец растоптано!

Кто может возразить?

Жизнь завивается, как розовая нить
По снеговым хребтам в кристальный миг рассвета,
Чтоб хлынуть пламенем!

Как получилось это?

Где та евгеника, что победила тут?
Она – убитый гнет, она – свободный труд.
Там – мир неистовства, падучей, свистопляса,
Здесь – возрождение и воскрешенье класса,
Который призван повести
Всё человечество по новому пути!

ТЕМА ПЯТАЯ: ВОЙНА И ОНИ

...вся история капитала есть история
насилий и грабежа, крови и грязи.

Ленин

Люди Умма бросили огонь в Эникалу,
унесли серебро и драгоценные камни,
унесли зерно с Гинарбаниру, в святили-
щах Энлиля пролили кровь...

Сумерийские летописи

Устал он – человек!

Семь тысяч лет подряд
Возню кровавую без передышки для
Народы. То грызня за жирный ил на Ниле;
То спор: сабинские ль на Тибре грязь взбугрили
Ослы, иль римские; то склока: чей черед
Челны купцов ловить среди ионийских вод.
Так всюду и везде: на мягких Апенниннах,
Средь голубых Антилл, в саваннах и равнинах
Америки, в лесах Гвинеи, среди громад
Тибета – стон стоит семь тысяч лет подряд!

Подумать: где сейчас Анапа льнет к Тамани,
Где спит сурком Темрюк, за берега Кубани
Боролось семь племен! Меот, и синд, и псесс
Дандарам с досками «в признаньи» наотрез
Отказывали! Бред! Рыбацкие поселки –
И грызлись триста лет, чтоб медные иголки
Дешевле покупать у греков! И поник
Их спор лишь «под пятой всекерченских владык»!..

Так всюду и везде. Но кровь хлестала дале,
И в Риме «старики» сенаторами стали,
Жезлами – батожки. Из кучи валунов,
Что от ночных гиен хранила мертвецов,
Строй пирамид взошел. Князек стал фараоном

Божественным; пират – классическим Катоном.
Шел Александр на Ганг; на Сену Цезарь шел;
Валились варвары на цизальпинский дол;
У Капитолия в багряно-дымных горях
Дыбили жеребцов Гензерих и Аларих;
Аттила гуннов мчал; в Медине Магомет
Царапал лозунги немыслимых побед
За неимением бумаги на лопатках
Бараньих. Шли века. В неисчислимых схватках
Катались нации. Амьенский Петр манил
В пустыни Сирии монахов и громил;
Вел турок Баязет; Чингиз направил лаву
На Вену и Пекин, на Дели и Варшаву;
За ним Тимур; Колумб как ломом сбил заслон
Меж полушарьями; добычей распален,
Греб Кортец золото средь воплей и безумий,
Сгребая уголья под спину Монтезуме.

Бичи багряные кромсали спины стран,
Границы проводя. Весь мир – военный стан.
Все графства, герцогства, султанства, халифаты,
Все ярлы, конунги, эмиры и прелаты,
Все Рипуарии, Бургундии, Анжу,
Модэны, Суздали, подвластные ножу,
Мечу и пламени, все Карлы, Иоанны,
Петры, Людовики, Омары и Османы,
«Святые», «Лысые», «Великие», «Хромцы» –
В крови барахтались, цепляясь за зубцы
Корон и замков.

Бред!

То вгонят гвоздь каленый
Отцу в кишку; то яд подсыплют в кубок тронный;
То малых сыновей удавят иль забьют;
То лентой оспенной невесте смерть вотрут;
То выжгут и сгноят цветущий край; то кучей
Из тысячи голов свой каждый шаг летучий
Означат; то сожгут сто тысяч древних книг,
Чтоб доказать, что бог (тот иль другой) велик;
То вырвут пленникам глаза и пустят в горы

Зимой; то разгромят мечети и соборы
Великолепные, и, смотришь: Карфаген,
Рим, Самарканд, Коринф лежат среди рухлых стен,
Как падаль.

Так везде.

От Хуфу и поныне
На дома и сады ползут пески пустыни,
И рядом с трупами (взамену пирамид)
На них История, безносый Сфинкс, глядит!

И нету мерзости, предательства, засады,
Что не устроили б увенчанные гады,
Чтоб завладеть еще землей, иль сундуком,
Иль новым титулом.

А сколько слов кругом, –
Молить, акафистов, легенд, присяг, девизов, –
Кидают разуму изменнический вызов,
Мир в дураки рядя!

Под пурпур и виссон,
Под яхонты тиар, под бархаты знамен,
Гербы щитов, листы ригвед, коранов, библий
Укрыта истина, из-за которой гибли:
Деньга!

Она – Протей. Сейчас она – земля;
Там – ловли рыбные; там – шелк и соболя;
Там – черные рабы; там – путь по океанам;
Там – нефть или руда.

И это всё обманом
Сплошь опелёнуто. То свет несут христов
Во тьму язычества; то отбивать готов
Ключарь всей каторги ключи «господня гроба»;
То уступить должна хворостяная злоба
Эстонских рыбаков всекротости стальной
Ливонских рыцарей...

И всюду за спиной
Висит Мошна! То храм дельфийский деньги копит;
То Фуггер короля долги платить торопит;
То Орлеану в долг миллион суёт Лафитт;
То Ротшильд гонит курс, и биржа вся трещит,

И надо укреплять кредит и честь державы;
То хочет Крупш сбывать двусмысленные сплавы
Для пушек и брони, и – мониторы строй;
То Форд машинами заполнил шар земной,
Им нефть, им каучук, – и Нобель наготове
Платить за скважины фонтаном слез и крови!

Наш век лишь родился – и черной гранью лег:
Кривая сил стальных, как носорожий рог,
Пошла наверх, грозя.

Им стало душно.

Жиром

Взбухало золото над одряхлевшим миром.
С иной геральдикой стал гербовед знаком:
Былых орлов и львов сменил раздутый ком –
Спрут монополии, материки опутав.

И дело кончилось холодной схваткой спрутов.

И обошлась она в 500 миллиардов (счет
Идет на золото). И смрадом в небосвод
Всё это выдымил mortar предсмертный выдых!
За это золото в цветочных Фиваидах
Мир поселить бы мог всех бедняков своих.
За это золото навеки бы затих
Тифозный бред и хрип туберкулезной гари.
За это золото по Гоби и Сахаре
Сплошная роща пальм прохладою б легла
На гладь озерную прозрачнее стекла!

За это золото (для Морганов и Круппов)
Мир в глину закопал пять миллионов трупов,
Раскромсанных как фарш. Мир племена калек
Отправил по миру, изжеванных навек:
Ползут оглодки тел; пульсирует резина
Взамен висков; огнем слизнул язык бензина
С лица лицо, – и пять сочтется черных дыр
В лиловом месиве, растресканном как сыр...

ТЕМА ШЕСТАЯ: ВОЙНА И МЫ

В истории неоднократно бывали войны, которые, несмотря на все ужасы, зверства, бедствия и мучения, неизбежно связанные со всякой войной, были прогрессивны, т. е. приносили пользу развитию человечества, помогая разрушать особенно вредные и реакционные учреждения.

Ленин

Убить, убитым быть для жизни, для народа!

Верхарн

Ну, так не будет же!

И не один, быть может,
Гремя и скрежеща, пройдет военный век,
Но деспота-Войну он все-таки низложит –
Освобожденный человек!..

Он был совсем неплох в идее – рах romana¹,
Одной державою мир охватить стремясь,
Но угнетением держалась эта связь,
Но грабежом жила и разом порвалась,
Лишь вышли варвары из фризского тумана,
Чтоб грабить в свой черед.

Где собственность, там кровь;
Где кровь, там золото. И, сызнова и вновь,
Знамена крыльями крестовыми раздернув,
Вращает мельница свой обгаренный жернов...
Но если собственность убита наповал,
И хищное «мое» сменилось мудрым «нашим»,
И поле общее мы, к локтю локоть, пашем,
И в общей мастерской согласно движем вал,
И весело сидим на пире полночашем, –
Война
Становится бессмысленной до дна!

¹ римский мир (*лат.*).

Всё есть. Всем досыта. Лишь для одних раздоров
Нет пищи.

Если же неукротимый норов
Гудит в тебе, – ступай: есть дело для тебя:
Хотя бы брешь пробить в нетленных Гималаях,
Чтоб, грозами горластыми трубя,
Муссон в пустыни дул, и влага обдала их,
В оазисах, в новорожденных раях,
Листву прохладную клубя;
Неужто для тебя покажется обидой
Заданье: сладить с Антарктидой,
И в лоне угольном ей вечный горн разжечь,
И лед сколоть с ее высоких плеч?
А хочется юлить точеным дипломатом,
Пожалуйста: с микробами хитри
Или принудь вертлявый атом
Отдать энергию, укрытую внутри.
А если надобно шутивных беззаконий,
Азарта, масок, шпаг, обманов и затей, –
Найди товарищей и карнавал затей
Иль труппу сколоти и разъезжай в фургоне:
В любой коммуне будут кони
Накормлены, да и тебе сплеча
Отвалят и коктейля, и борща!

Всем темпераментам найдется примененье, –
Тут спорить не о чем...

Но не одно сраженьё
Придется выдержать или придется дать,
Чтобы помешанных бандитов обуздать,
Чтоб ликвидировать строй ужаса и крови,
И гробовому полотну
Предать, в ее любом наряде и покрове,
Войну,
И человеческий в конце концов порядок
Дать – вместо хаоса, что лишь садистам сладок!

Когда читаешь их свирепые статьи,
То кажется: убийца в забытьи

Роняет с губ свой бормот сонный
Иль пенится в бреду умалишенный.
«Отнять! Завоевать! Мир защемить в тиски!
Плетей и виселиц! Кастрировать подвластных!
Всех низших истребить! Всех слабых на куски!» –
Точь-в-точь как в Бедламе среди «буйных» и «опасных».
Есть на Востоке некий генерал,
Чье имя рифмы просит непристойной;
Так вот, он часто уверял,
Что нету дел возвышенной, чем войны,
Какие поведет его страна,
Чтоб *добронравие* распространить по свету
И расы чуждые сплошь истребить, сполна,
Раз подходящего им больше дела нету!
Ей-богу, я не лгу! Безмозглый троглодит,
Кто спички зажигать обучен и – лиддит,
Чья мысль, лохматая подобно кризантеме,
Через дикарское едва пробилась темя, –
Уже готов
Всем в горло врезать ряд клыков,
Чтоб вызвать *искренность!*

И гибнут миллионы

В Китае вспоротом! Фугасные циклоны
Два года искренность вгоняют в грудь страны!..
А с противоположной стороны
(От нас позападной), рыча, неандерталец
Сим питекантропам простер с приветом палец,
Где с ногтя каплет человечесий мозг...

Вот – окружение!

Стряхнув с цилиндров лоск,
Мир в испарениях пороховых промозг,
И не исключено, что первую державу,
Где встал социализм, убийцы захотят,
В подпольи стакнувшись, совместно взять в расправу,
Как пробовали двадцать лет назад.

Нам не впервой встречать грабительские рати:
Тысячелетие о наши рубежи

Средь криков яростных, и воплей, и проклятий
Дробились копыя и ножи.
Где половцы, хазары и варяги?
Где византийские стратиги? Где Мамай?
Где прусских рыцарей щиты, гербы и шпаги?
Где жадные клыки Сапеги волчьих стай?
Где Карловы крылатые уланы,
К полтавским мельницам стремившие галоп?
Где сам Наполеон, чей лавроносный лоб
Сронил венец на русские поляны?

А было надобно, шли за рубеж и мы,
Чтоб Фридриха, на подступах к Берлину,
Смять в несколько часов и, под наплывом тьмы,
Загнать в болотную равнину;
Чтобы на склонах Альп суворовский ботфорт
В три дня трем маршалам под спину был уперт;
Чтоб восемь лет подряд балтийская эскадра
По средиземноморским берегам
Дралась наперекрест, всем в очередь врагам
Каленые кидая ядра;
Чтобы Гангут, Чесма, Синоп и Наварин
Как меткостью бомбард и кулеврин,
Так и прямым, на абордаж, ударом
Могли поспорить с Трафальгаром!..

Но даже и тогда, когда громили нас,
Враг не выдерживал вдруг засверкавших глаз:
Под Севастополем йоркширцы и зуавы
Сверкали пятками до самой Балаклавы,
Матросского удара не снеся;
Был предан Порт-Артур, эскадра сгибла вся,
Но в мартовском бою, наглевший невозбранно
У мертвых батарей и опустелых скал,
Весь флот японский дружно драл
Перед тараном «Ретвизана»!..

И если так могли мы драться в *те* года,
То ныне, в надвигающейся буре,

Мы станем, как гранитная гряда,
Опорой Человеку и Культуре!

И слава Сталину, который, зорче всех
Провидя назреванье грома,
Успел стальной нам выковать доспех
И воинов, не знающих надлома.

Война – сплошь ужасы!

Но нет войны святей,
Чем за свободу родины своей,
Чем за грядущее освобожденье мира
Во имя счастья всех людей,
Во имя радости и мира!

ТЕМА СЕДЬМАЯ:
В КОНЦЕ КОНЦОВ – ПАРТИЯ

Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией.

Ленин

И лучшие поднимут на себя
Ярмо труда и стиснут ствол кормила,
И землю осенит,
Благословит
Их мудрость сильная и мудрая их сила!

Верхарн

С глубокой древности и вплоть до наших дней,
Едва борьба за жизнь, еще не опоясав
Бойцов оружием, меж двух племен иль классов
Вгоняла клин, и те, кто поумней,
Те, кто покрепче, поупорней,
Решали исподволь врагу тревожить корни,
И ствол подтачивать, и свет глушить ему, –
Избрав союзницею тьму,
Сходились по ночам

(в безглазых подземельях

Эргастула, в монашских кельях,
В болотах и лесах, в отрогах гор, в ущельях,
В дворцовых тайничках, в тавернах портовых,
В студенческих мансардах нищих,
В усадьбах княжеских, на кинутых кладбищах,
На гауптвахтах полковых)

Как судорога собранные люди.

Еще в папирусах, в неразличимой груди
Письмен таинственных, мы жалобы найдем
На камнетесов тех, что заползли в пролом
Гробницы, наплевав на святотатство,
И поклялись хранить содружество и братство
И вырвать у жрецов свой хлеб,
Не то – от золота очистить пышный склеп.

И так – века. То голые илоты
Сбегались в тайные заплоты,
Чтобы урвать у смерти лишний час;
То, полный смуты и заботы,
Оружье у бойцов уже в десятый раз
Спартак ощупывал и троезубцем тряс;
То хищный граф дрожал у трибунала Фэмы,
У дуба древнего; то, как могила немы,
Сынки лойоловы совали в складки ряса
Флаконы с ядами, доносы и дублоны;
То, среди лампад и шпага, на сходках тайных лож
Плели напыщенную ложь
Иллюминаты и масоны;
То вдруг «Якушкин обнажал
Цареубийственный кинжал»;
То карбонарии, как шепот неприметны,
Раскидывали сеть вдоль Апеннинских гор;
То мафия сползала ночью с Этны
Над квестором исполнить приговор;
То, нарядясь в названья дней недели
По красному календарю Бланки,
Кинжалы ржавые совали в тюфяки
И якобинской ненавистью рдели
Парижские бронзовщики;
То Вейтлинг пенился в Союзе Справедливых,
Ремесленный бунтарь; то «народовый ржонд»,
Царя и хлопа враг, свой двусторонний фронт
Развертывал на тощих нивах;
То в шутовских шляках полночный ку-клукс-клан,
Дыша сквозь прорези сутан
Утробной злобою и перегаром виски,
«Цветных» вывертывал на дыбе и на виске...

И так – века! Мучительные списки
Подвижников, героев, подлецов,
Фантастов, хищников...

Защитники венцов,
Союзники тиар, мужицкая заступа,
Возмездие за кровь, за голод, за разгром,

За иноземный гнет, за разоренный дом,
Бомбистов молнии, политиканов бром,
Охрана Моргана и костоломня Круппа.

Огромная подкожная возня,
Кишеньке тайных сил, брожение соков тайных,
Исхода ищущих в делах необычайных,
То созидая, то казня!..

История, как бы глумясь, меняла
Мишени и пути, сливала свет и мрак,
Смещала компасы, – и часто друг, не враг,
В грудь получал удар кинжала.
И, неизбежно, тот, кто подымал и вел,
Сам шел накоротке, обманут и стреножен,
И сам обманывал, и гибнул, нищ и гол,
Хотя бы в правнуках, историей низложен,
У рампы обронив поддельный ореол
И лозунги, что выпали из ножен.

Но приближался он – столетья зревший час,
Но где-то в глубине, неслышно и незримо,
Вслепую, исподволь, роился новый класс,
Единственный, кому не нужно грима.

Всех бедняков бедней
(ведь и последний раб
С галер египетских, из латифундий Рима
Паек свой получал, как ни был стар и слаб);
Всех пчел старательней
(те наливают медом
Определенный сот под улья узким сводом,
Чтоб зиму пережить, а сейф хозяйский – он
По самой сути дна лишен);
Бесправней узников
(в их камерах приколот
Листок с инструкцией, а тут стихия: голод,
Безумье кризисов и пляска конъюнктур) –
Он, этот новый класс, упорен, груб и хмур,

Пропитан копотью, измучен, заскорузел,
Пришел, чтоб разрубить тысячелетний узел
И, развязав себя, свалив гранитный гнет,
На волю выпустить весь человеческий род!
Он, точно молот прост, в безличной синей блузе,
Века растил мечту, хоть не терпел иллюзий;
И, как последний класс, всех зорче и трезвей
Мог истину искать и стать вплотную к ней...

А в бодрой Англии спокойно, деловито
По счетам бегала рука Адама Смита,
Стремясь в число облечь «естественный закон»,
Которым труд с богатством сопряжен.

А в пресной Пруссии, клонясь над фолиантом,
Над буйным Шеллингом, над выточенным Кантом,
Великий тяжкодум ловил вселенский лад
В самодвижении логических триад.

А в страстной Франции, с младенческой верой
Безвыходно корпя в нетопленной мурье,
Годами нянчился Фурье
С грядущею всемирной фаланстерой.

И вот явился Маркс.

В огромном горне лба
Трех этих жил руду собрал и переплавил
И золотой маяк поставил,
Откуда истина сверкает, как судьба!

И пролетариат обрел свои скрижали,
Где, в посрамление всех ересей и схизм,
Три слова точные путь жизни указали:
Организация. Борьба. Социализм.

А где-то вдалеке, на пугачевской Волге,
Другого гения слагался век недолгий:
Он стал свершителем – прекрасный Ленин наш!
В отсталую страну, в кровавый ералаш

От заводских цехов до театральных зал
И от дворцов Кремля до хижин Ленкораня...

И вот, на выборах, народ
Сто миллионов «ДА» на стол ее кладет!

ТЕМА ВОСЬМАЯ:
ГОЛОС НЕОТОМЩЕННЫХ

Безумству храбрых поем мы славу.

Гсрький

Я вырос в городе, где вся земля прорыта
Кротом истории; где медный меч гоплита,
Амфора смуглая и золотой статир, –
Лопатой лишь копни, – вновь поглядят на мир.
Я вырос в городе, где в портовом жаргоне
Слова, гремевшие в гомеровом каноне
Столетий 35 назад, еще слышны;
Где так же в «астрагал» играют шалуны,
Как в древней Фригии; где готы, гунны, венды
Прошли, как все дела, живут, как все легенды.
Я вырос в городе, где вождь рабов Савмак
Впервые в той стране, что держит красный флаг
Всемирным знаменем, вдруг выпрямился, прынув
Со скифской яростью на греческих тиранов.
Я вырос в городе, где южным волнам смотр
С военных кораблей впервые делал Петр;
Где через двести лет зареял знаменито
С открыток траурных плащ лейтенанта Шмидта.
Я в школе той сидел, где в дальней кладовой
Со всякой рухлядью ненужной и дрянной
Средь гипсовых Диан, сушеных трав и крабов
На «золотой доске» тускнела вязь: *Желябов.*

И с детских дней меня история влекла,
Ее высокие и грозные дела,
Ее подземные движенья, гулы, вздрогы,
Когда народ вставал и заливал дороги,
Когда виллан, и раб, и серв, и крепостной,
Вооруженные дубиной и косой,
В огромных заревах из пурпура и пемзы
На угнетателей шли от Ян-Цзы до Темзы!

Я часто вижу их: с листов старинных книг,
С гравюр испятнанных – *громоприводы* пик
В глаза вонзаются!

Вот армия Спартака
Грозит с Везувия среди золотого мрака
Гнилой республики.

Вот меж пьемонтских рощ
Громит монастыри одетый в рясу вождь,
Мужицкий коммунар, безумный фра-Дольчино.
Вот, с красным петухом для страшного почина,
На замки древние кидается Гильом, –
И Жакерии смерч в гранит гремит кольем.
Вот, в куртках кожаных, сверкая бородами,
Бол с Тайлером идут повергнуть Лондон в пламя.
Вот Мюнцер медленный саксонские цеха
Скликает – нагнетать огромные меха
Войны крестьянской.

Вот за Жижкой и Прокопом
В горах Богемии шагает с тяжким топом
Строй таборитов.

Вот, крестовый свой поход
Преобразя в мятеж, Георгий Дожа бьет
Прибоем в Будапешт.

Вот Разин Понизовью
Разбавил паводок боярской черной кровью.
Вот рушит Емельян остроги и кремли.
Вот в джунглях Индии встают из-под земли
Сипаи легкие – полки Нена Саиба.
Вот недвижимая в тысячелетях глыба
Китая – трещину, как яблоко, дала:
Тайпины поднялись, – и алая зола
Струится по ветру с кумирен и ямыней.
Вот с древним посвистом, как бурю над пустыней,
Косматых конников гудящие ряды
На царских псов ведет батыр Амангельды!..

И вижу я еще: от Остии до Рима
Аллеей смрадную стоят – необозримо –

Кресты. Их тысячи. Там распяты *они*,
Кто за Спартаком шли. Вот яркие огни
Костров; вот уголья жаровен, где накалом
Щипцы допросные пылают мутно-алым;
Вот тигли с оловом для глоток; вот тиски;
Вот плахи липкие; вот колья; вот крюки;
Вот раскаленные железные короны,
Чтоб королей венчать мужицких; вот их троны
Из лезвий и гвоздей.

Я слышу скользкий лязг
Цепей и топоров; я слышу хруст и хряск
Костей растроженных, шип и скворчанье кожи
Обугленной...

Все-все на дьявольское ложе
Взошли: Гильом и Бол, Дольчино и Прокоп,
Степан и Емельян. Все подставляли лоб
Под обруч огненный и шею под секиру.
И вопль, и стон, и хрип вонзались в уши миру
Как детски-жалобный, как бешеный вопрос:
«Кто ж отомстит за нас? За муть кровавых слез?
За всё отчаянье? За безысходность муки?!»

С балкона над Москвой ловя ночные звуки,
Ответ, мне кажется, я слышу из Кремля:
Негромкий, сдержанный, глубокий голос:

«Я».

ТЕМА ДЕВЯТАЯ: ПРОБЛЕМА ВОЖДЯ

Таково вообще положение героев во всемирной истории: через них восходит новый мир.

Гегель

Создана отцом фаланга,
Вашу мощь открыл вам он;
Вы со мной прошли до Ганга,
В Сарды, в Сузы, в Вавилон!

Брюсов

Я часто думал: «власть!» Я часто думал: «вождь!»
Где ключ к величию? Где возникает мощь
Приказа?

Ум? – Не то: Паскали и Ньютоны
Себе лишь кафедры снискали, а не троны.
Лукавство? – Талейран, чей змеевидный мозг
Всё отравлял вокруг, податлив был, как воск,
В Наполеоновой ладони.

«Добродетель»?

Но вся история – заплаканный свидетель
Злодейств и низостей, украсивших венцы.
Так злобность, может быть? – Но злейшие злецы,
Визжа, как боровы, под каблуками Гнева,
Катились из дворцов: разодранное чрево
На грязной площади подставить всем плевкам.
Что ж? воля? – Кто бы мог быть более упрям
И тверд, чем Аввакум? Но на костре поник он,
И церковь вертел пустой и постный Никон.
Так что же? Золото? или штыки? Но штык
Есть производное: орудие владык,
Уже сложившихся. Но золота, бывало,
Князьям и королям чертовски не хватало,
А власть была.

Так что ж?

Одно: *авторитет.*

Он добывается реальностью побед
Иль мороком.

Дикарь клонил покорно спину,
Коль кандидат в царьки пращу или дубину
Умел вращать быстрее, тем попадая в лад
С потребностью.

На Рим звал Суллу оптимат
Испуганный, поняв, что «помесь льва с лисицей»
Всех лучше справится с мятежной столицей,
Учтя характеры и расстановку сил –
Весь «импульс времени».

Кто только не носил
Тиару папскую? Монахи и солдаты,
Мальчишки, женщина, обжоры, нумизматы,
Теологи, – и всё ж 15 сотен лет
Непререкаем был ее авторитет
Для люда темного: «наместники христовы!»
Но лишь опасностью повеет век суровый, –
Попы не дураки: ярчайший их талант,
В тиару голову вправляет Гильдебранд,
Чей ум без промаха, чья воля без износу,
И – император вдруг босым идет в Каноссу...

Какая только мразь на тронах не была,
И льва гербового позоря, и орла:
Расслабленный, ханжа, кликуша, неврастеник,
Садист, фельдфебель, трус, маньяк, торгаш, изменник;
Подряд – кунсткамера уродов, гадов, змей,
Гиньоль истории, ломбровозский музей!
И всё же правили при безобразьи этом,
В течение веков держась авторитетом:
Тот – крови Цезаря; тем дедушка – Оттон;
Тот – «божьей милостью», тот – папой утвержен.
И (замечательно!) – чтоб подчеркнуть особость,
Величье, избранность

(одним внушая робость,

Иным восторг, иным собачий страх),
В нелепых мантиях и в золотых горшках

Они среди «простых» на тронах красовались,
Нося регалии, как *Eacles regalis*¹.

Когда ж, бывало, гас павлиний ореол,
И воды сточные сбегали под престол,
И позолота вдруг сползала с мертвой кожи
Пергаментов, тогда – хрипел «избранник божий»
В удавке или полз, дрожа, на эшафот.
И если подлинно эпоха шла вперед,
То возникали в ней средь боевого хмеля
Колпак поярковый и сапоги Кромвеля!

Вождь – тот, в ком сплавлены в стальное лезвие
И ум пронзительный, и воля, и чутье;
Кто знает терпкий вкус поступков человечьих,
В корнях провидит плод и грани норм в увечьях;
Кто доказать умел на всех путях своих,
Что он сильнее всех других
Той самой силою, что в *данный миг* годится,
Кто, значит, угадал, в каком котле варится
Грядущее, кто угадал,
Куда История свой направляет шквал!

В эпохи мелкие бывают всех сильнее
Порой наложницы, порою брадобреи;
В грязи дворцовых склок плодится временщик,
Чтоб лопнуть через год; в борьбе уездных клик
Выпячивают грудь «тузы» и «воротилы».

Но лишь Историю рванут иные силы,
Под спудом зревшие, метя ко всем чертям
Гнилую скорлупу – и трон, и суд, и храм, –
Не отыграться тут на деньгах, на породе,
На склочной ловкости!

Тут власть в самом народе,
И к ней приходит тот, кто подлинно велик,
Кто к сердцу Времени всем существом приник!

¹ Чрезвычайно прожорливая, ярко расцветенная, с устрашающими наростами на голове, гусеница; водится в Америке. (*Примеч. автора.*)

И это будет Вождь! В нем Жизнь кипит и бродит;
Как Гегель говорил: в нем «новый мир восходит»!
Но разорви их связь, и тотчас под уклон
Громадным оползнем начнет валиться он.

Наполеонова тогда звезда блистала,
Когда он сам «парил в просторах идеала»
(По гётевским словам): когда он массы мчал
Валить феодализм в разверзшийся провал.
Когда ж *династию* он стал крепить, отдавав
Лакейских почестей, когда «великих дедов»
В архивах Корсики себе сыскать велел
И серый свой сюртук, где дым боев осел,
Сменил на мантию со шлейфом златопчелым,
Когда он гнет понес испанским нищим селам
И, жестах выучась изящным у Тальма,
На русских навалить решил позор ярма, –
Тогда всё рухнуло!.. На острове скалистом
Он, кто скрижаль ваял, одрях – мемуаристом...

И мне понятен путь, как взмах крыла простой,
Каким, войдя в эпические были,
С недостижимой сдружился высотой,
Стал СТАЛИНЫМ Иосиф Джугашвили!..

Чудесный сплав огромного ума
С огромною и безвозвратной волей –
Вот «личное».

Средь мировых раздолий
Созревших гроз уже бегут грома, –
Вот «внешнее».

Стихия со стихией
Перекликаются.

И, слыша бури свист,
Идет навстречу ей, как бы несом Россией,
Тифлисский худенький семинарист.

Рабочие кружки в литейных и кожаных, –
Раскоп ключей живых среди наслоений древних,

Размёт всех глупостей и лжей,
Всех болтунов разгром, расчистка всех межей,
Проникновение в любые боли будней,
И через год, глядишь, средь пламенных полудней
Батума, и Тифлиса, и Баку
Размеренным и неуклонным шагом
Гуриец и лезгин идут под красным флагом
Навстречу изумленному штыку.
И страстный юноша, крещение пулевое
Деля с рабочими, ведет их в каждом бое,
Всегда в передовых рядах,
Не зная одного: что значит слово «страх».

И вот – шестнадцать лет подполья, тюрем, ссылок;
И каждый раз, неукротимо пылок,
Неоходим и несогбён,
Немедленно бежит из ссылки он,
К Нарымам обратя насмешливый затылок.
И снова – на посту, и, закатив рукав,
Так просто мудр, так дружески-лукав
С товарищем, так тверд и беспощаден
С противником, – за главное звено
Хватается, и вверх идет оно,
Всю увлекая цепь.

Средь каменных громадин

Кавказа, средь полночных пург,
Запорошивших Петербург,
На водопадах Таммерфорса –
Везде мелькает тень стремительного торса,
И слово точное, всех прочих слов точней,
Почтовым голубем во всякий ум влетает,
Как собственная мысль, – и каждый понимает,
Что надо действовать, всё согласуя с ней...

Всегда на линии огня, всегда в окопах, –
Будь то участие в пропахших нефтью скопах
Тартальщиков и копачей,
Будь то борьба с национальной сварой,
Что раздувал «проконсул» старый

На узких улицах Баку,
Будь руководство думского Пятеркой
Иль юной «Правдою», –
всегда с железной теркой

Он шел к эсеру и к меньшевику,
К муссаватисту и к дашна́ку
И скреб его, – и горе лаку,
В котором красовался тот,
Чтобы сиянием обманывать народ:
Как в логике, так и в боях столетий
Быть исключенным должен *третий!*..

Вот так он рос, авторитет вождя,
Бойца бесстрашного, кто побеждает всюду,
За что б ни взялся он: под пули выходя
Иль вороша рабочих писем груду...

И грянул год семнадцатый. Страна,
Горящей бечевой войны окаймлена,
Вся судорогой шла. Ей в уши свиристели
Керенского заученные трели;
Ей, дани требуя кровавой мужиком,
Сэр Бьюкенен грозил японским тесаком;
Гуляли прапоры в «солдатских депутатах»;
Из позумента на фуражках мятых
Ударники (в тылу) нашили черепа;
Согласно истине, что «кошки ночью серы»,
Вся мразь поперла сплошь в эсеры
От лавочника до попа.
Рукою голода грозился Рябушинский,
Сверхприбылей мильоны волоча;
За голенище сунув ножик финский,
Боролся Савинков за должность палача;
А в Ставке, постепенно свирепея,
Смельчак безмозглый португею рвал
И в прорву Калуца, в тарнопольский провал
Валил дивизии, пока свихнулась шея...

Был нужен Ленин тут, чтобы понять, куда
Растет история, куда несутся бури,
И, в охлократии, звать массы к диктатуре
Освобожденного труда!

И Сталин первым был, кто с Лениным стал рядом,
Плечо к плечу, рука к руке,
Неодолимо-острым взглядом
Грядущее провидя вдалеке.
Когда Керенский свой «актив» лягавый
Гнал по следам рабочего вождя,
И скрылся тот от юнкерской расправы,
В пастушьем шалаше приют себе найдя,
А трусы и глупцы (а может быть, и гаже:
Предатели) во имя «реноме»
Партийного, на гордой стоя страже,
Взывали к Ленину, чтоб он себя тюрьме
Обрек, явясь на суд остервенелых тварей, –
То Сталин, чувявший, чем пахнет суд такой,
Прикрикнул так, как *мог*, – и русский пролетарий
Своей не заплатился головой!
Спаситель Ленина, он стал его полпредом
И, проводя партийный съезд,
Прямейший путь предначертал к победам,
На всех сомнениях поставя жирный крест.
И в ночь октябрьскую, в ту ночь пороховую,
Когда менялся мир, летя напропалую,
Спокойно, как за шахматной доской,
Чуть принахмуря бровь, кидал он массы в бой,
Руководя восстаньем, – непреклонный,
Бог баррикад у трубки телефонной!..

Когда ж развихрилась гражданская война
И белой петлей горло охватила,
В опаснейших местах являлась вмиг она
И побеждала – сталинская сила!

И удивительно ль, что в самый черный день, –
Когда на ленинское тело

Осиротелая глядела
Страна, окутанная в тень, –
У гроба *Сталин* встал и, клятвой бесподобной
Всех Ромулов и Туллиев затмив,
Дал всем уверовать, сквозь плач и стон надгробный,
Что Ленин – жив!

ТЕМА ДЕСЯТАЯ:
ЛИЦО ВОЖДЯ

Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!

Пушкин

Умеет зоркий археолог,
Найдя какой-нибудь муравлений осколок,
По технике глазури распознать
Эпоху и страну, по перемешке глины
Природу рек, сбегających в долины,
И угадать,
Вглядясь в орнаменты, в причудливую статью
То резвого, то вялого меандра, –
И то, чем жил народ, и чем играла знать,
И смуту Крития, и ясность Александра...
По зубу ископаемого льва
Кювье сумел постичь костяк его прекрасный,
И каждый коготь злой, и каждый мускул страстный,
И силу гневную, чем плоть его жива...

И вот – лицо вождя...

С портретов и плакатов

Глядит оно, улыбку спрятав
В суровый, чуть посеребрённый ус,
Простое, резкое, упорное как брус.
Хотя и выбритое гладко,
Из двух начал исконных сложено –
Из тяжести и твердости оно;
В нем нечто древнее дано:
Та циклопическая кладка
Военных стен,
Архаика Тиринфа и Микен,
С которой начинаются раскаты
Великих эпосов и философий шквал,
Чтоб человек, преданьями богатый,
Подругою любую музу взял!..

Но глянем в прошлое... Вот блеклый старый снимок.
Расселись мальчишки. Торжественных ужимок
И беззаботных поз обильный выбор тут:
С учителем снялись. Все напряженно ждут,
Когда мигнет глазок у объектива. Сзади,
Закинув голову, едва пригляда пряди,
Густые, как руно, и черные, как вар,
Подросток узенький сквозь бледный свой загар
Пробился черными громадными глазами
И дерзким выпятом еще мальчишских губ
И, как таран, – врастолк, вразруб, –
Колочее плечо продвинул меж плечами
Соседних пареньков, как бы стремясь вперед.
И всё. Едва ли кто прочтет,
Будь то хотя бы сам Лафатер,
Черты *великого* на худеньком лице,
Едва ль кто различит в притушенном кольце
Ресниц – налитый лавой кратер!
А между тем мальчишья грудь уже
Таит высокий гнев, нетленную присягу;
В душе не мяч, а меч, и жизнь на рубеже,
Где завершают быт и начинают сагу!

А вот еще фотó: казеннейший листок
Заботливой жандармской картотеки;
Тут «профиль» и «анфас», и ряд корявых строк
Судебной описью бубнит о человеке.
Но мы прочтем. Есть драгоценный штрих!
Вот этот перечень, в своем обилии бедный:
Рост. Возраст. Цвет волос; лица (конечно, «бледный»;
Тюрьма!). Рисунок лба; бровей («весьма густых»);
Глаз («впалых»). И. т. д.

Но есть еще графчонка:

О *выражении* лица...

Не угадать!

«*Веселое*»!

Ни липкая печать

Тюрьмы, ни яростная гонка

Партийной сутолки, ни каменный каблук
Столыпина, примявший жизнь вокруг,
Не стерли с бледных губ, со щек худых и впалых
Безбрежной бодрости, насмешки светлой той,
С какой, при всех обрывах и провалах,
Ждет *мига своего* мудрец или герой!

Я много видел лиц: Рылеева и Занда,
Нечаева, Чолгоша и других,
Над кем замкнулся свод и мозглый воздух стих,
Кому отчаянье иль тошная баланда
Вогнали в горло ком.

В одних глазах – тоска,
В других затравленность, в иных восторг и вызов
Мечты, как бы лунатик вдоль карнизов,
Скользящей в глубине зрачка.

А здесь – уверенность блеснула молодая,
Какою новый брызжет класс,
Здесь – бодрость та, какой он дышит, *зная*,
Что за двенадцатым ударит первый час...

Еще один лишь раз
Спокойнейшим *самоотчетом бури*
Мне тот же смех светил.

Ты угадал: в прищуре
– ленинских глаз!

ТЕМА ОДИННАДЦАТАЯ:
СЛОВО ВОЖДЯ

Теория становится материальной силой,
как только она овладевает массами.

Маркс и Энгельс

И – истины его теперь во всех сердцах!

Верхарн

Я в этом знаю толк. Поэт, – я изучал
Строй цicerоновых финалов и начал,
Архитектонику главы, абзаца, фразы,
Распевы Горгия и гоголевы сказы.
Я Хризостомом был когда-то упоен;
Чеканом логики меня пленял Платон;
Я жадно выпил яд вольтеровского глума,
И пиво Лютера, и брагу Аввакума.
Я знаю в слове толк.

И вот, когда гляжу
В листочки стенограмм, одну я нахожу
Достойную вождя метафору: я разом
Его конструкции готов признать алмазом,
Что выгранен в брильянт.

Здесь «комплимента» нет.
Закон гранения – поймать летучий свет,
Замкнуть его вглуби кристаллоподобной плоти,
Заставить биться в грань на каждом повороте,
Зерниться в искорки и ливень-семицвет
Блаженством радуги метнуть со всех facets.
Гранильщик опытный исчислит их заранее:
Углы падения, наклоны каждой грани,
Надломы, россыпи и выбрызги луча,
Ярь благородную как шпорой горяча!
Здесь то же.

Вижу я каноны симметрии,
Члененья четкие, антитезы крутые
И, пронизавшие всю толщу речи всей,
Скращенья строгие незыблемых осей.

И мысли ясный луч, летя в граненом слове,
Как боевой клинок всё время наготове,
Дробится в радугу, и семь цветов ее
Прекрасной полнотой объемлют бытие!

Луч фиолетовый: то буйная динамо
Стукает капли искр, и ток летит упрямо
По медным проводам, чтоб молния, в плену,
Нетленной силою заполнила страну.
Вот синий луч: то бязь, то холст комбинезона
Рабочего; то хмель бодрящего озона,
Которым дышит труд («жить стало веселей»)
Вот голубой: то блеск, и ширь, и зыбь морей,
Куда мы шлем суда; то глубь воздушной сферы,
Где, самолетам вслед, чертят круги планеры.
Зеленый луч: леса, луга, сады, поля,
С двойною силою родящая земля,
Не иссеченная враждебными межами.
Вот желтый луч: то даль, пшеницами и ржами
Заплёснутая; высь, где золото парит
Шарами цитрусов на ветках Гесперид.
Вот луч оранжевый: то сполох на огромных
Мартенах яростных, на исступленных домнах;
То стали огненной, ликуя и спеша,
О солнце вспомнила крылатая душа.
Вот алый, наконец: чистейший блеск пиропа, –
То Революция, вино, каким Европа
Еще упьется власть, – что каждый день и час
Во всех артериях пульсирует у нас!
Семь зарев радуги, раскованной в алмазе,
Переливаются, плетя взаимосвязи,
И алого луча тончайшую иглу
Встречаешь, пронизью, в любом его углу!

Здесь диалектика – не росчерк на бумаге,
Не мозговой балет, не свист веселой шпаги:
В ней зубья врубовок, в ней жала сверл и фрез,
Что прорезают мир от недр и до небес;
В ней перст прожектора, пред кем дрожит измена;

В ней неподкупный зонд, бездонный глаз рентгена,
Всё видящий насквозь; в ней вечный тот магнит,
Что души компасов одной мечтой пьянит!

И – понимаешь всё! «Проклятые вопросы»
Вмиг расплываются, как дым от папиросы,
Когда вонзится вдруг прохладный бриз в окно
И вбрызнет молодость, – и каждое звено
Вдруг зазвенит в тебе, сбивая прах застылый...
И надо – действовать!

«Материальной силой
Должна идея стать, войдя в сознание масс», –
Когда густит ее (я доскажу) алмаз!

**ТЕМА ДВЕНАДЦАТАЯ:
ИСКУССТВО ВОССТАНИЯ**

...возможна победа социализма первоначально в немногих или в одной, отдельно взятой капиталистической стране.

Ленин

Ты думал: я прилив, а я – потоп!

Гюго

Их было семь искусств, как семь планет. На деле
Их больше тысячи мы б насчитать сумели:
Пускай он – живопись, китайский лак, но он
Дыханьем золота и ночи опален,
И он совсем иной, чем живопись эмали,
Что мертвым леденцом мерцает на металле;
Пускай ваяние выводит Афродит
Резцом из мрамора, пусть их же грудь глядит
Сквозь дымку оникса, пусть очерк их же лика
Уловлен в прожилках и пленках сердолика
В камее маленькой под лупою, – а всё ж
Глядишь совсем не так, совсем не так вздохнешь...

Их множество – искусств, хоть все одной природы:
В них отдают себя и в плен берут народы,
И Фидий и Гомер, Челлини и Бальзак
Живут столетия, и я не знаю – как!
Не знаю, почему иной юнец безусый
Готов заплакать вдруг над финикийской бусой;
Зачем иной всю жизнь мечтает: на холме
Увидеть Парфенон; зачем хранят в уме
Стихи Тибулловы; зачем божок буддийский
(Пузан нефритовый) и отрок олимпийский
Необходимы нам в XX веке?

Что ж, –

Аналитический вонзая всюду нож,
Сам Маркс нелегкою признал проблему эту...

Их множество – искусств. Их гордую примету
Во многом мы найдем, – и андерсенов мат,
И выпад Карпантье нас *красотой* манят.

Но есть еще одно, которому название
Ars consurgendi. То – искусство Восстанья.
Когда отчаянье перерастает в гнев,
Когда презрение, занозою засев,
Томит сердца, когда телам и душам больно, –
Тогда встают мужи и говорят: «Довольно!»
И вещи мирные взлетают на дыбы:
Бульжник мостовой гремит в тупые лбы
Полиции; кирка дробит врата Бастилий,
Поповский тарантас отхватывает мили
С ватагой партизан, и нищенской сумой
Венчает гордый гёз штандарт победный свой!

Нет большей радости, нет красоты острее,
Чем если красный флаг взлетит на красной реке,
Чем если цезари, поняв, что не сберечь
Ни трона, ни бича, кидаются на меч!

Но здесь – не только вихрь.

Вот Шмидт сонатой бури

Прошелся по гробам, как по клавиатуре,
И крейсера за ним пошли... стоять в порту:
Успели боцманы с орудий налету
Свинтить замки; и вот – исходом всех дерзаний –
Тюрьма, и суд, и кровь на гальке Березани...

Не только вихрь. Нужны обдуманность, расчет,
Лукавство, выдержка, внезапность. И лишь тот,
Кто по хронометру исчислил дни и миги,
Кто в душах мог прочесть, как бы в раскрытой книге,
Их клятву: умереть, но победить! – кто знал,
Где сердце у врага; кто проявил закал
Клинка толедского; кто чуял каждый шорох;
Кто с картой Ленина в туманных шел просторах, –

Лишь тот восстание по верному пути
Мог до мечтаемых триумфов довести!

Ars consurgendi! Да! Восстание – поэма:
Как жребий вынута единственная тема,
И нет иных: пиши и вычерпай до дна,
Иначе смерть.

Следи, чтоб разом подана
В центральную главу была вся сила слова,
Вся мощь фантазии.

Веди опять и снова
В атаку строй стихов.

Хватай врага врасплох
Нежданной выдумкой, чтоб удивлений вздох
Смял в горле критику.

Напором неумным
Моральный перевес над всем тупым и темным
Бери, копя успех.

И – как Дантон хотел –
Во всех решениях будь смел, и смел, и смел!

Шесть правил для стиха, шесть правил для восстанья!

Кто ж не поймет меня – те страсть и любованье,
С какими я гляжу на день звенящий тот,
Когда, отдав себя, чтобы спасти народ,
Сося из трубочки дрянной матросский кнастер,
Перо восстания взял несравненный мастер
И за строкой строку

(в созвучиях штыков,
Равняя топот стоп и ритм броневиков,
Катя в любой строфе на гребнях многолюдий
Орудья лозунгов и лозунги орудий,
Расцветивая слог в гиперболы гранат,
В метафоры костров, в шрапнельный звездопад,
Героев вывода и надвигая хоры
От клёкта гочкисов до выгромов «Авроры»)
Вел несравненную поэму, – в первый раз
Дав эпосу звучать железным кликом масс!

О, как всё дрогнуло! О, на каких карачках
Прочь поползла вся мразь, на древних *кровачках*
Покинув рычаги! Как, с комом в горле, мир
Увидел въяве то, что вымечтал Шекспир:
Святейший кафарсис грознейшей из трагедий, –
Когда гнуснец-Макбет, уверенный в победе,
Стоял среди знамен, привычной кровью пьян,
И вдруг Бирнамский лес
пошел на Донзинан!

О, дни Октябрьские! Венец тысячелетий,
Зачин других поэм, что грянут на планете
Земле!..
И в храм Искусств войдут, в руке рука,
Перчаточника сын и сын обувщика!

ТЕМА ТРИНАДЦАТАЯ: ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Только благодаря тому, что партия была на страже... и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы... только потому чудо, которое произошло, могло произойти. ... мы оказались в состоянии победить.

Ленин

Всё воплотилось
В несчетности вооруженных рук,
Что слили гнев с металлом сил и мук!

Верхарн

Власть трудно взять, но отстоять трудней.

Почти две тысячи неумолимых дней –
Столиких Шейлоков, что требовали мяса,
Винтовок и бинтов, штанов, муки, лекарств,
В синедрионе государств
Нож заносили свой над тощим горлом класса,
Затеявшего переделать мир...

Голодный стон в морозной мгле квартир;
Непроходимые на улицах сугробы;
Перед фасадами облупленных дворцов
Над мертвой лошадьё – соревнованье злобы
Ворон и псов;
Раздолбанные таборы теплушек;
Мешочников двугорбые стада;
Окоченевшие без угля города;
Гробовый рацион «осьмушек»;
Цинга, испанка, сап и тиф;
Категорический императив
Германских, английских, белогвардейских пушек;
Бунтов кулацких гнойники;
Казачьи круги, рады, курултаи;

Шпионов темные притоны и притаи
И террористов тайники...

И так – пять лет! На чертовых качелях,
В кольце фронтов, на мушке у судьбы,
Без хлеба и сапог, в заносах и метелях,
Борьбу вели вчерашние рабы!..

Все силы черные, что были в мире старом,
На нас убийственным обрушились ударом:
Царь проиграл войну – и немцы душат нас;
Царь должен Ротшильдам – вокруг нас висит блокада;
Мы жили без дорог, лесистая громада, –
И марш истории чуть в дебрях не завяз;
Царь «инородцев» гнул, обгадя имя «русский», –
И национализм, как червь слепой и узкий,
Трухлявые республики плодит,
Готовые из-за былых обид
Стать сателлитами Антанты и Вильгельма;
Царь грамоту глушил – и смотрит как сквозь бельма
Мужик на лозунги; царь лгал века ему –
И он теперь себе не верит самому,
Он ощупью живет и, так как не по шерстке
Ему закон о продрозверстке,
Он смотрит не вперед, а в лес,
Где сбилось кулачье, хватаясь за «обрез»;
Учитель, инженер, бухгалтер, химик, медик,
Прикормленные издавна купцом,
В отчаяньи стоят «перед концом» –
Концом сыров и вин, началом брюкв и редек
(Слов нет: паскудная еда!
Народ ее глотал веками, господа!);
Одни со скорбью ждут, когда придет «расплата»
За «поругание» «святынь» и «красоты»,
И умывают жирные персты
Душистым мылом Понтия Пилата;
Другие – попроворнее ребята,
И завивается гадючий саботаж
По канцеляриям, по главкам и распредам:

Доверенный мерзавцу карандаш
Постановленья заполняет бредом,
Шлет в армию булавки и мячи,
В деревню туфли балериньи,
Столовкам ставит столь отвратные харчи,
Что их не станут жрать и свиньи...
Рук не хватает...

А кругом фронты,
Кольцом сдвигаются вокруг Москвы, тугие;
Порою вся Советская Россия
Чуть больше княжества Ивана Калиты.

И, точно яд в змеином зубе,
Невесть в какой презренной глуби
За заговором заговор
Нагнаиваются.

В цианистый раствор
Дружки Азefовы обмакивают пули,
Дабы блеснуть *Шарлоттою* Каплан;
Чужому консульству сдает кремлевский план
Гвардейский военспец; взобравшись на ходули
Рассеянно-загадочных речей,
Испытанный бомбист, эсеровский Печорин,
Разведкой трех держав занузdan и пришпорен,
Играет кадрами шпиков и палачей
Во имя «родины», «свободы» и «культуры».

И даже в сердце партии, в ЦК,
Пока еще (недолго, но *пока*)
Юлит юлой великий маг халтуры,
Блефмейстер, шулер, пустолоб,
В одних изменах неизменный,
Зеленой завистью сожженный, как гангреной,
И самолюбие таскающий, как зоб.
Как местечковый Цезарь, из-за жеста,
Политый кровью жернов Бреста
Он нашей родине на шею навязал, –
Когда, не будь его блудливой речи,
Мир вдвое легче лег бы нам на плечи

И немец бы Днепра и Дона не видал!
Когда вокруг Москвы сжимался вал железный,
Он на фронты брезгливо выезжал,
Как адвокат, что едет в суд уездный,
Везя запас
Штампованных, как пуговицы, фраз.
Когда страну единство лишь спасало,
Он вечно выставял раздвоенное жало, –
Всегдашний вождь комплотов, блоков, клик,
И, в шулерской игре, пометя туз булавкой,
Жизнь Ленина он ставил ставкой,
Предательством крапленный большевик!
А ведь талантлив был, был не лишен разгона,
Размаха и ума, – и всё ушло в гнилье:
Он лез в историю на роль Наполеона,
А вылетел Иудой из нее!
Он пережадничал. Пошла на паперть шляпа
Треугольная: он смрадным нищим стал...
Как говорил когда-то Марциал:
Нет ничего гнусней скопца-Приапа...

Так, в поединке сплошь, 5 страшных лет прошли.

Но партия – Антей, причем такой, какого
Гераклам всех мастей вовеки от земли
Не оторвать: прочна его основа, –
В рабочий класс его стопы вросли!

И кто бы, где б, когда б ни заносил над нами
Штык, бомбу, вилы, нож, обрез, дубину, шприц, –
Во тьме кулацких сёл, в кровавой мгле станиц,
В пустынях и в тайге, на площадях столиц
Партийное – свое! – рабочий ставил знамя
И защищал его.

Работая как вол,
Порой не видя черствой корки,
Железною метлой он прочищал задворки
Контор, депо, судов, редакций, банков, школ;
По зову партии он тысячами шел

И – кончилось!..

Возни еще немало было
И с Врангелем, и с польской шляхтой, – но
Уже пошло жужжать в спокойных глубях тыла
Трудолюбивое веретено!

Опять взметнулся труд, как прежде неустанный,
Но вольный, молодой, святой, как подвиг, труд:
Громадная страна зализывала раны
И знала, что ее – дела иные ждут.

ТЕМА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: ФИЛОСОФИЯ МАШИНЫ

Расчетливость и справедливость говорят мне, что
в электричестве и паре любви к человеку больше,
чем в целомудрии и воздержании от мяса.

Чехов

И се Минерва ударяет
В верхи Рифейски копием!

Ломоносов

Для доказательства упругой власти силы
Такой законченный, такой простой и милый
У нас в гимназии, я помню, был прибор:
Шесть костяных шаров, один с другим в упор
Висящих на шнурках, на неподвижной раине,
Шеренгой выпуклой. Возьмешь, бывало, крайний,
Оттянешь, выпустишь – он стукнет и замрет,
И вмиг на столько же отскочит антипод
И, воротясь, вернет удар, и первый снова
Отпрянет. Два возьмешь – и два с конца другого
Согласно отлетит.

Машинку эту я
Любил без памяти – за четкие края
Подпорки лаковой, за строгую сферичность
Слоновых шариков, за блеск, за эластичность,
За чистоту, с какой естественный закон
Был в легком опыте столь зримо воплощен.
И много раз потом

(входя в цеха заводов,
В безумие шкивов, маховиков, приводов,
В насаду молотов, во взрывы дизелей,
В кошачий верезг фрез, в утробный дых печей,
В пыланья рдяные неугасимых горнов,
В аиды мокрых шахт, луч лампочки продернув,
Как дратву, в толстый мрак, в густую пустоту,
Вдыхая копоти и газы налету
Из прерывателей, из ванн, реторт, градирен,

Глядя, как веером костистым растопырен
Каркас мостов и ферм, как в каменный разрез
Вода свергается, вращая Днепрогэс,
Как мчатся глиссера, как долгоногий деррик
Уносит с корабля охапки рельс на берег,
Как танков ящеры, железом скрежеща,
Проламывают лес, как синий столб луча
Прожектор валит в ночь),

всегда и неуклонно

Всем телом чуял я чеканный пульс *закона*:
Игру веществ и масс, инерций, трений, сил –
Всё, что я в шариках точеных ощутил!

Машина! Для меня – в ней говорит Природа,
Та самая, чья власть в глубинах небосвода
Крутнула сгустки солнц и катыши планет
И светляков зажгла в ночной траве!

Поэт,

Кто между нами жил недавно
(Ему я другом был), изысканно и плавно
В стихах доказывал, что человек пошел
«Путями Каина», путями бед и зол,
Машину породив; что смертное начало
В ней, в каждом рычаге, покоен веков звучало,
И тяжкий тот валун, что темя раздробил
Бедняге Авелю, уже «машиной» был,
И все «чудовища», от блерио до мины,
От грузных дреднотов до хрупкой субмарины,
С их смертоносною свинцовою икрой,
С их яйцами, где взрыв укрыт под скорлупой,
С драконьим визгом их, с дыханьем их зловонным
Уже предсказаны тем камнем иступленным,
Что в них – верховный смысл, убийственный итог
Всего, что человек извлечь из жизни мог
Раздумьем, опытом, счисленьем, взвесом, мерой...

Слов нет, блистательно!

Проникнись и уверуй,
И уходи в леса, берлогу отыщи,

Жуй желуди сырьем (ведь и простые щи
И те нуждаются в костре, в горшке, – *в науке*)
И подыхай всю жизнь от сырости и скуки
В моральной чистоте!..

Нет, милый мой *луддит!*

В иную сторону история глядит!
Туда, где человек, неотразимо юный,
Планету сделает единою коммуной,
Где будет некому и незачем терзать
Других, и, стало быть, машин драконья стать
Исчезнет; где они, бездымны и бесшумны,
Сверкая никелем, свой труд подарят умный,
Чтоб строил города свободный человек,
Среди зеленых рощ, у полноводных рек,
Чтоб ветры добрые и щедрые приливы
Прохладу и тепло ему несли на нивы,
Чтобы магнитных бурь веселых кутерьма
Сиянье и озон ему несли в дома!

Машина! В *ней* зерно победы и свободы!
Лишь с нею человек раскроет грудь природы
Как нежный муж ее, как старший брат стихий:
Естественная жизнь – искусство, как стихи!

Он выползает вновь, ночной мой собеседник,
Всей достоевщины наперсник и наследник,
И спрашивает, рот насмешливо кривя:
«А дальше что?»

Пошел! пародия червя!

Прочь! Разве знаю я пути грядущей славы,
Скрещенья светлых воль, умов великих сплавы,
Все зонды знания, всех музык дивный лад,
Что землю новую к иной судьбе помчат?
Мы на земле живем и, значит, на звезде мы
В зодиакальные влетаем диадемы, –
И почему бы нам за мировой предел
Не гнать флотилии межзвездных каравелл?
Ты помнишь, скорченный, когда Средневековью
Сквозняк Атлантики рванул хламиду вдовью

И пояс феодал на брюхе подтянул, –
Век Возрождения каким огнем плеснул?
Мы полны до сих пор вином и блеском пира
Тех лет! Кисть Анджеоло, и фейерверк Шекспира,
И мудрость Бэкона, и чревный смех Рабле
Поныне нас несут на пьяном корабле
По океанам!

Что ж, когда планете нашей
Удастся вышвырнуть начинку патронташей
И раны залечить, и новый человек,
Блаженно отдохнув, опять возьмет разбег,
Вдыхая все ветра, сливая все культуры,
Впервые шелк надев взамену волчьей шкуры, –
Не повторится ли вдвойне, втройне, стократ
Телемы сладкий сон, восторг олимпиад?

Но ведь зерно должно истлеть, чтоб вышел колос,
И миру вечному предшествует война,
И яростных машин нам нужно слушать голос,
Чтобы прекрасная возникла тишина.
В противоречиях родится жизнь живая;
И древняя моя страна,
Бревенчатая, кондовая,
Лишь боевой доспех машинный надевая,
Для новой жизни рождена!

И да благословен коперниканский гений
Того, кем выискан и вскрыт
Ключ той воды живой, родник преображений,
Что родину мою кропит!
Того, кем двинуты на полюс ледоколы
И самолетный флот на Тихий океан;
Кем горы вспороты; чей пятилетний план
Взрезает в третий раз, как плуг, хребты и доли;
Того, чьей волею на каждый водоскат
Бетоны тяжкие стеной легли с размаха, –
И генераторы,
как шапки Мономаха,
Вдоль грановитых зал стоят!

ТЕМА ПЯТНАДЦАТАЯ: ВОСКРЕСШАЯ ЗЕМЛЯ

Тогда высокий рассудительный мужик предложил устроить так, чтобы всем артелью пахать...

На этот коммунистический проект у Нехлюдова аргументы тоже были готовы, и он возразил, что для этого надо... чтобы... всё хозяйство было общее, а для того, чтобы завести это, надо, чтобы все люди были согласны.

Л. Толстой

Деревня!.. Я всю жизнь ее боялся.

Поле

Всегда мне виделось озлобленным до боли
Мучителем, скупцом. Огромно и тесно,
Всю человечью жизнь себе берет оно
И кормит впроголодь: мякиной, жевкой, тюрей.

Венециановы среди полковых лазурей
И блесков золотых писали мирных жниц
И нежных пахарей, а я – долбленых лиц
Морщины черствые видал, «во славу божью»!
Сладчайший Карамзин вздыхающею ложью
Про Лизу Бедную прошепелявил мне, –
А Лизок, с почками, отбитыми в спине,
Со ртом, запекшимся от жалоб, слез и брани,
Видал я, скрюченных среди росистой рани,
В полдневных заревах, в закатной мутной мгле,
Замурзанных, в грязи, навозе и золе,
С серпом, с подойником, с мотыгой, с ухватом!
Я всхлип некрасовский по избам и по хатам
Слышал; – подлиповцев неискупленный стон;
И свары гнусные сестер, золовок, жен,
И шепот снохачей, и хохот мироедов!

Я сказки дикие, плод сладострастных бредов,
Читал – и с ними же хрустальных песен клин
Звенел, как журавли, над нимбами долин
Любовью, нежностью, задором шутики резвой,

Тоской высокою!

Я – правды самой трезвой
Встречал решения, в пословицах и так,
И тут же вдруг любой восторженный дурак,
Или прожженный плут, иль просто параноик
Создаст *леригию* из грубых, как опоек,
И дряблых, как кисель, обрывков дум и слов,
И, смотришь: поползло, и всяк уже готов
Отдать гроши, трудом добытые тяжелым,
Стать прыгуном, хлыстом, кастратом, дыромолом:
Плоды безмыслия и муки вековой!

И тут же выкован, как в туче грозовой
Куется молния, язык золотокудрий,
Гремучий, медленный, веселый, дерзкий, мудрый,
Пригодный для всего: для гнева и мечты,
Для жалоб и молитв, угроз и маяты,
Для пуншей пушкинских и брюсовских медалей,
Кристаллов ленинских и сталинских скрижалей!..

И тут же, и опять (отчаянье мое!)
Хромяет «*всё в тебе*», ползет «*таё-таё*»,
И Лев раздвоенный, своею лапой львиной
Сдирая плоть с костей, сгребает прах овиный
Как удобрение для истин мировых!
И Федор-вопленник, в чаду падучих злых,
В проселках путаясь, в силках чересполосиц,
Клянется, что народ – от века – богоносец!
И Чаадаевы с отваленной губы
Роняют липкости о том, что мы – рабы,
Что пресен наш народ и неблагообразен...

А ведь к самой Москве шагнул когда-то Разин;
А ведь Батый увяз в земле, где наша кровь
Суглинки сукровью сменяла вновь и вновь,
Европу охраня; а ведь в бою Ледовом,
Во рвах Бородина, на поле Куликовом,
Под Севастополем, в артурской западне
Наш дрался лапотник и умирал – вдвойне!

Нет, не понять никак! Герой – и пошехонец,
Певец – и рукосуй!..

Из-за слепых оконниц
Древлянской тайною величий, зол и бед
Душа полей глядит двенадцать сотен лет!..

А сводки земские, проселочная проза, –
Какая цепкая таится в них угроза!
Тощает чернозем; овраг поля грызет;
Гуляет суховей у мелких волжских вод;
Дрянной осиновик сменил былые рощи;
У новобранцев грудь становится всё плоче,
Рост понижается; туберкулез и тиф
Трудятся, рукава по плечи закатив;
Дворам раздробленным всех больше угрожая,
Шагает мерная пята неурожая;
Скот кормят крышами; для среднего двора
Причтется лошадей – три четверти одра;
Семь миллионов сох, плугов полмиллиона;
И тут же кулачьё, упорно, непреклонно,
Ощеря зверий клык, железно хмуря бровь,
Выветривает жизнь, высасывает кровь!

Кто посильней – бежит, кто послабей – батрачит;
Бездольная страна тоску в сивуху прячет,
И нету помощи!

Как бы свинцовый брус,
Мильонов десятин непереносный груз
Лежит на всех плечах.

И, видно, здесь разгадка
Всей той невнятицы, всей тайны беспорядка,
Смещений, замути – идиотизмов тех,
Что прочервивили всю жизнь, как бы орех,
И лаптем суздальским мозги столетьям давят...

Но вот приходит вождь. С гранитной волей. Ставит
Подпоры под углы, стальных домкратов ряд,
Вдвигает рычаги – и шестерни рычаг,
И с тяжким скрежетом, с клопочущим захлебом

Земля прощается с тысячелетним гробом,
На воздух выходя.

Где тощий тлеет наём,
Фосфатным сахаром тучнеет чернозем;
Где бабы жухлые простор полей бескрайный
Серпами брили вгладь, – разлатые комбайны
Жнут и молотят хлеб, и плотное зерно
Цепочкой золота плывет к звену звено;
Где сивка нищая вихляла вертлюгами,
Таща соху, – бежит, ныряя в звонком гаме,
Проворный трактор, враз пятнадцать рысаков
В моторе воплотя.

(Мне шепчут: но таков
Земельный инвентарь в Соединенных Штатах,
В Германии...)

О, да! С прибавкою проклятых
Зысканий, рент, аренд, процентов, ипотек,
Где тонут фермеры, барахтаясь весь век,
И отдают зерно для топок паровозных!
А здесь содружество заводов и колхозных
Полей. Здесь мужика рабочий на буксир
Взял и повел, и стал с ним новый строить мир.
Здесь руль зажал в руке, неся живое слово,
Потомок Разина, потомок Пугачева,
Тот, кто уже в Семнадцатом году
Валил под ленинское знамя,
Прозревшими лова глазами
Пятиконечную звезду!

Но – нелегко далось! Пожалуй, потруднее,
Чем генеральские сворачивая шеи
На двадцати фронтах.

Всё: косность, глупость, лень,
Тысячелетний сон и скепсис деревень,
И ярость кулака, его рытьба кротовья,
«Обрез» из-за угла и нож у изголовья,
И спесь чиновников, и лихость простаков,
В полгода взявшихся сменить уклад веков,

Обобществляя кур и чайную посуду, –
Всё тормозило тут...

Но Жизнь сказала: «Буду!» –

И стала Жизнь!

Теперь (Нехлюдовым в пример)

Достиг «согласия» в деревне СССР,
Будь то сельцо, кишлак, аул или кочевье, –
В путях колхозного крутого повседневья.

Диалектически она была «снята» –
Община ветхая и новая мечта
О хуторке своем: колхозные артели
Работу общую на нивах завертели,
Своих навеки!

И – впервые нет обид;

Впервые труд – запел; мужик впервые – сыт.

И что ж? Всё хорошо? Далёко нет! Найдется
Что выкорчевывать: в семье не без уродца,
В доме не без грязцы. Короста прежних дней
Не вся соскоблена с мозгов и дел людей.

Где – скудоум судья; где – стоерос директор
Машинной станции; где – драгоценный нектар
Бензина жгут вдвойне, надеясь на авось;
Где – ставят, не глядя, растресканную ось
На кроткий грузовик; где – в сладкой переписке
С начальством вдумчивым забуду вдруг, что близки
Уборочные дни; где – столь дотошный счет
Капусте поведут, что вся она сгниет
Под непорочный треск бухгалтерских костяшек;
Где – жулят с трудовodem; где – хуже: карандашик
Врага заползшего такой сведет итог,
Что четный труженик пойдет, не чуя ног
И проклиная всё; где – школу запоганят
Враждой и склокою, а дети хулиганят...
Что лгать? Всё это есть. Полмиллиона сёл, –
И как не сыщется враг, жулик, трус, осел?..

Но – сдвинута земля! Громадный и сутулый
Оторван от земли, разогнут стан Микулы,
И к солнцу обращен землебородый лик:
Гляди, старик!

**ТЕМА ШЕСТНАДЦАТАЯ:
БРАТСТВО НАРОДОВ**

Интернационалом
Он станет – род людской.

Потье

Картинку я видал: старинных пушек ряд;
К их жерлам спинами привязаны, стоят
Индусы тощие, поникнув бородами;
Кругом каре солдат; у пушек, с фитилями,
Строй канониров: ждут, пока сигнал им даст
Полковник лапою, похожею на ласт, –
И, позвонки дробя и почки разрывая,
Вот-вот из жарких жерл рванется громовая
«Цивилизация», наглядно доказав,
Что белый господин всегда и всюду прав;
Что темнокожий раб, по кодексу пиратов,
Жить должен под плетью, покорно когти спрятав,
А если выпустит, то горла каронад
Его в бесплотный дух тотчас преобразят,
И Киплинг воспоеет возвышенное чудо,
Баллады честный лад украв у Робин-Гуда...

Картинку я видал: измученный старик
Шерстистой головой к худой руке приник
И, точно пес больной, мучительно и кротко
Глядит; вдоль черных щек прозрачная бородка
Ссеклась и спуталась клокастой сединой, –
А тридцать лет ему! Но он земли родной,
Родного племени – последний сын: он скоро
Умрет, как умерли другие все; всех свора
Разбойничья, загнав, сглодала в двадцать лет!
Народец маленький, он в листья был одет,
Ракушки собирал, моллюсков и орехи
И никого вовек не трогал. Для потехи
(Взять было нечего) в него стреляли; он
В пустыню выгнан был и там отгорожен:

Где услаждались вы изысканнейшим хмелем
С Пизарро – поваром, с де-Садом – метрдротелем!..

В чем право белого?

Поговорим всерьез.

Кому Историей поставленный вопрос
Угодно обсудить? Парламентская дама?
Фельдмаршал? Богослов? Строитель бань и храма?
Сосисочий король?

Начнемте с мелочей.

Я помню: Самарканд; блеск мартовских лучей,
И первозданные на рынке рдеют розы, –
И стаи узбечат, веселых точно козы,
Их раскупают вмиг и, с трепетом ресниц,
Вдыхают... Ну какой послушный Фред иль Фриц
Свой грош истрагил бы на розы – не конфеты,
Не бутерброд? У вас Уайльды лишь эстеты,
Хотя любой «герлен» не стоит мирр и амбр.

Возьмем существенней. Пред кружевом Альгамбр
Собор Петра – комод. Где в Англии могли бы
Восьмисоттонные взволочь на гору глыбы,
Обтесанные вгладь, сечением квадрат,
Что в Гелиополе пять тысяч лет лежат?

Когда искали блох Брунгильды и Гудруны,
Уже у мервских бань серебряные струны
Гнал кверху водомет. Когда в грязи Берлин
Лежал свиным кутком, – взлетала среди равнин
Обсерватория монгола Улуг-бека,
Чей звездный каталог стал достояньем века,
И пользовался им (до пытки!) Галилей.
Когда Петрарка ныл, что нет нигде людей,
Кто понимали бы строй ионийской речи,
В далекой Бухаре, упорно горбя плечи,
Над Аристотелем корпели мудрецы.

Огромных мадрассá цветные изразцы
Павлиньей радугой под небом Самарканда

Поныне зыблются, и нежных букв гирлянда
С фронтона говорит: «Среди земных утех
Стремленье к знанию – сладчайшая из всех», –
А в эти же года «цвет общества» в Европе
Едва писать умел и глох от звона копий
Двух «Роз» сцепившихся.

Когда как диамант
Троесогласье рифм гранил изгнанник Дант, –
Четверозвучия крылатого *шаири*
Вил Руставели, месх, последний рыцарь в мире
И первый гуманист, – и полных семь веков
Кавказ качается на зыби вечных строф.
Когда Роландов рог о помощи и мести
Взывал, чтоб навсегда застыть в жеманной джесте
Турольдуса, – певец, неназванный для нас,
Про Игорев поход слагал чудесный сказ,
Где вся душа степей, весь трепет молний синих,
Вороний грай в лесах и лисий лай в пустынях,
И нежность женская, и душевных бредов мгла,
И скорбь за родину, что пеплом полегла,
Даны как заповедь, как плавный плен гипноза...

Еще? Пожалуйста!

Когда заела проза
Викторианская британцев понежней,
То Фитцджералд бежал от нестерпимых дней
К тончайшим скепсисам стихов Омар-Хайяма,
Туркмена родом; и (давайте скажем прямо)
Уже лет семьдесят в английских семьях он,
Хоть втайне, классикам родимым предпочтен.
Сам Гёте признавал «Семь Звезд» – певцов Ирана –
Высоким образцом для своего «Дивана»,
И отрицать нельзя, откуда ни возьми,
Что музыка его тусклей, чем у Руми,
И образы его грубей, чем у Хафеза.

«Довольно лирики»?

Возьмемся за «железо».
В столицах Запада часами рев стоит:

Тоска автомашин, которым путь закрыт,
И нервным людям жить нельзя в жилых кварталах
От визгов, дребезгов и трясов одичалых,
И планировщики готовы лбом долбить
Асфальты и торцы, чтобы «узлы расшить»,
И, дерзким опытом, бегут, смыкая скверы,
Волюты, эллипсы и «елочки» Канберры;
А в древних городах азийских тот же план,
Хоть не по циркулю, простым расчетом дан,
И выются «елочки» поодаль магистрали,
Чтобы арбы и сон друг другу не мешали.
Еще:

 когда глотал фрегаты океан,
Среди малайских шхер скользил *катамаран*,
С граненым кузовом, устойчивым как гиря,
Плтенку паруса в любой тайфун топыря.
В мансардах Франции жильцы дрожат зимой:
Теплоцентральной нет, горит камин простой,
А в Золотой Орде (раскопки показали)
Дрова на весь квартал в одной печи сжигали...

Где ж «расы низшие»?

 В любом народе жив
Дух творчества. Он спит, как в динамите взрыв,
Но поднеси огонь, – дай хлеб и дай свободу, –
И говори тогда, что суждено народу!

И вижу я, глядя в простор моей страны,
Что красным знаменем в единство сведены
Сто пятьдесят племен: от яфетидов древних,
Доживших до сих пор в базальтовых деревнях,
Где виден Арарат, – до тех израильтян,
Чей двадцать сотен лет блуждал бродячий стан,
Покуда не пришел на Оксус темно-карий
Рождать, как в древности, Рахилей и Агарей;
От тюрков огненных, как ятаган простых,
От солнечных грузин, сияньем налитых,
Как виноградины, – до терпких угро-финнов,
Что добывают жизнь, леса плечом раздвинув;

От украинцев тех, чьи легкие челны
У византийских стен чертили синь волны,
А руки тяжкие не раз врагов с размаха
Ломили булавой в дружинах Мономаха,
В полках Острицы, – до русских, чья нога
На беломорские ступала берега,
Шагнула за Урал и лишь в снегах Клондайка
Остановилась.

Все: и маленькая стайка
Оленных чукчей, и стомиллионный криж
Народа русского – народ советский наш!

В нем нет неравенства, – есть разница в культурах,
Старинных, молодых, сияющих и хмурых;
Но (подымается ль адмиралтейский шпиль
Над гордым городом, или шумит ковыль
У юрты войлочной)

везде и без изытья
Все – дети СССР, товарищи и братья!

Есть радуга культур, и, солнцем в гранях призм,
Душа той радуги, живет социализм!

Лишь он дал формулу огромному содружью
Собратьев по труду, как братьев по оружию!

Вот где, воистину, «нести эллин и еврей»!
Вот где он плавится в единство всех людей –
Металл племен и рас,

чтоб сталью в мире старом
Сверкнуть, – освобожден великим сталеваром!

ИНТЕРЛЮДИЯ: ПРОЕКТ ПИСЬМА

Когда кидает ярость ветра
В лицо нам вражки знамена,
Оставь свой циркуль геометра,
Прими доспех на рамена!

Брюсов

Будь я туркмен, я так бы написал:

Великий наш отец, учитель, вождь!
Прими привет туркменского народа!
Мы двадцать лет под знаменем твоим
Свою судьбу невиданную строим,
Кладем устои небывалой жизни,
Возводим счастья купол голубой!..

Мы здесь живем уже тысячелетья,
На склонах гор, на рубежах пустынь,
Здесь двигались фаланги Искандера,
Здесь проходили рати Сассанидов,
Сюда, как смерч, арабы налетали
И, как лавина, с гор гремел Тимур;
Здесь тюркские империи рождались,
Плодились ханства, бекства, эмираты;
Тысячелетья сабли здесь звенели
И воздвигалась и валялась власть.
И всё ж – меж молотом и наковальной,
Средь исторических громов и гроз –
Мы выстояли, выжить мы сумели,
И, заплатив миллионами смертей,
Озерами пролитых слез и крови,
Разбитые на племена и роды,
Кочевники, джигиты, пастухи,
Мы принесли к начальным дням эпохи –
Твоей эпохи! – солнечное сердце,
Свободный дух и волю быть и жить!

И к нам навстречу из глубин России
Советской Власти протянулась длань,
И, рассыпая радуги живые,
Легла алмазом новой жизни грань!
Сказали нам: «вы братья, а не слуги!»
Сказали нам: «вы не рабы – бойцы!»
Сказали нам: «на севере и юге
Везде должны воздвигнуться дворцы!»
Был разговор народов откровенен
(Народ не лжет вовеки никому!), –
И стал для нас Звездой мира Ленин,
И Сталин стал преемником ему!
Жизнь – началась! И двадцать лет как миги
Промчались! Но за эти двадцать лет
Произошли немыслимые сдвиги
И просияли тысячи побед!

За двадцать лет из феодальной тьмы
Мы выпрыгнули в свет социализма;
Средь путаницы племенного быта
Мы прочертили грани государства,
Мы стали вдруг народом и державой
В великолепном братстве СССР!

Тысячелетья – беглецы, изгой,
Предмет набегов, ханская добыча,
Нуждой занузанные беспросветной,
Рабы безводья, пленники пустыни, –
Из юрт ушли мы в светлые дома;
С клочков земли, величиной с могилу, –
На миллионы га полей колхозных;
От путаных канонов шариата –
К установленьям мудрого Закона;
От роевой, вслепую, толчеи –
К чеканным цифрам вдумчивого Плана;
Мы из верблюжьих седел пересели
На школьные скамьи и в самолеты,
Мы встали к пультам ГЭС, мы сели в кресла
Суда, Совета, мы взойти сумели

На кафедры!

И всё – за двадцать лет!

Темп взрыва!

Да! В народе каждом жив
Дух творчества, как в динамите – взрыв,
И лишь поджечь, – дать хлеб и дать свободу, –
И нет преград воскресшему народу!

И Партия, и ты, Великий Вождь,

Нам дали хлеб и нам свободу дали, –

И от цепей избавленная мощь

Своим сияньем наполняет дали!

Туркмения! Громадная страна;

Ядро пустынь в зеленой оторочке;

Но вся она богатствами полна

В любом углу, в любом своем клочочке.

Здесь триста дней прозрачен небосвод,

И солнце нам свой мед горячий льет,

И, вскормленные золотистым медом,

Цветут сады, клонясь к арычным водам,

И по барханам в глубину пустынь

Уже идет вторжение нежных дынь;

И яхонты и лалы винограда,

И сочный *тут*, – питање шелкопряда, –

И сладостью, и шелком, и вином

Свой вносят вклад в отрады человечьи,

Сопутствуя беседе за столом

И женские окутывая плечи.

И тот же шелк в дни боевой страды,

Когда огонь всё небо рвет, неистов,

К земле спускает стройные ряды

Врагу несущих смерть парашютистов!..

Нам солнце светит триста дней в году,

Томя пески обманами миражей, –

Но вызревает в солнечном бреду

Воздушный хлопок серебристой пряжей.

Когда идешь вдоль хлопковых полей,

То мнится: мир укутан в пух гагачий;
Что может быть пушистей и нежней
Кудели этой, мягкой и горячей?
И снова видишь стройные тела
И легкие, их нежащие, ткани,
Как будто лебединые крыла,
Простертые в воздушном океане;
Но тот же хлопок, нежный и простой,
Клубящийся по солнечным долинам,
Пропитанный азотной кислотой,
Становится грозой – пироксилином,
И, смертью разражаясь над врагом,
Из нежности растет огонь и гром!
Вот так и мы, народ простой и добрый,
Когда затронут нашу честь и власть,
Осмелившемся на нас напасть
Крушим врагу железной хваткой ребра!..

У нас – простор; на свежих склонах гор,
На пастбищах пустыни беспредельных
Тучнеет скот; кинь с самолета взор:
В иных местах – сплошной живой ковер,
И в нем голов не различить отдельных.
Тут скопища чудеснейших овец,
Как бронза рыжих, серых как свинец,
Как уголь черных, пестрых, белоснежных,
Сплошь в завитках блистающих и нежных.
Здесь табуны божественных коней, –
Подобных нет в иных широтах мира:
Нет скакуна быстрее и сильней
«Ахалтекинца» и «карабаира»;
Их кровью благороден стал «араб»,
Их пылом стали «Дерби» знамениты;
У нас иной история была б,
Когда б скакали не на них джигиты!

И вот, дитя пустыни и луча,
Нам золото дает каракульча;
Руна иные – в сукнах благородных

И в кошмах грубых – берегут тепло,
И наш боец, среди снегов холодных
За танками шагая тяжело,
Благословляет дар пустынь безводных!
А женщины из шерсти ткут ковры
Как воплощение многоцветных радуг, –
И мир опять за прелесть мягких складок
На золото меняет их дары,
Рожденные от солнца и лазури.

А наши кони в рассыпном строю
Уж не в одном прославились бою,
Преследуя врага подобно буре,
Дав испытать и на фашистской шкуре
Проверенную в прежние века
Отточенную алмазного клинка, –
И много плоских черепов разбито
Прикосновеньем легкого копыта,
Когда под угрожающим клинком,
Спасая жизнь, валился трус ничком!..

А в складках гор и в глубине барханов
Миллионы лет укрытые от глаз
Дары иные поджидали нас;
И лишь теперь, когда, железом грянув,
Ввинтился бур в глубинные слои,
Родной земли неведомые недра
Нам открывают небывало щедро
Бесценные сокровища свои,
Свои неисчерпаемые блага!

Струится нефть из скважин Небит-Дага,
Стада цистерн поя на всем скаку, –
И кажется уже: второй Баку
Шлет первому улыбку через море, –
И сладко знать, что эта кровь песков,
Бензином став, гремит в любом моторе
И танки мчит по костякам врагов!

Тысячелетья над Карабугазом
Стояла тишь, висел свинцовый зной,
И старики пугающим рассказом
О заводи твердили неживой;
Но мертвым морем на берег намыто
Для нас миллиарды тонн мирабилита,
И химии волшебный жезл сыскал
В нем тысячи лекарств и удобрений,
И там, где лишь голодный выл шакал
И где змея искала тщетно тени, –
Химкомбинат гигантский засверкал!

Что говорить об угле и о сере,
О мраморах, фосфатах и свинце?
Богатства здесь лежат в любой пещере:
Кольцо пустынь, – но жемчуг в том кольце!

Воистину пришло преображение, –
И знаем мы, что лишь Твоя рука,
Великий Вождь, сумела дать движенье
Стране, проспавшей долгие века!
Что лишь Твоя сверкающая воля
И гений Твой всевидящий смогли
Взрыть целину и новой жизни поле
Вспахать на лоне мертвенной земли!

Когда б воскреснуть мог Махтумкули,
Великий наш поэт, мудрец, учитель,
Он увидел бы светлую обитель
Там, где лишь травы сорные росли, –
И слезы счастья б у него текли!..

Он увидел бы труд освобожденный
И радостный – впервые в мире – труд;
Он увидел бы тракторов колонны
Там, где шагал измученный верблюд;
Он увидел бы закрома тугие,
Наполненные доверху зерном,

Там, где, бывало, лишь мешки пустые
Смеялись над голодным бедняком;
Узнал бы он, что есть в стране колхозы,
Что в банк сдают миллионами рубли –
Там, где, в былом, детей голодных слезы
На черствый хлеб – его смочить – текли!
Он увидел бы светлые больницы
Там, где «табип» на язвы клал помет;
Грузовиков видал бы вереницы
Среди песков и в небе самолет;
Он увидел бы рой детей веселый,
Стремящихся в бесчисленные школы;
Он женщин бы свободных увидел –
Тех, что при нем томились в древних узах, –
Являющими трудовой накал
У плуга, у станка, в советах, в вузах!
Он увидел бы свой родной язык
Запечатленным в миллионах книг,
Сбирающим мед знания вселенский:
С ним Дарвин говорил бы по-туркменски,
Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин говорил!
Его бы Пушкин песней одарил
И сказом – Горький, и Толстой, и Чехов!..
В любой аул затерянный поехав,
Он там свои б творенья отыскал –
Не рукопись меж дедовских доспехов,
А книгу!.. Он ученых бы видал,
В академическом уединенье
Его же изучающих творенья!
Туркменский бы он увидел балет,
Он оперу б туркменскую услышал!

И он сказал бы: «я на вольный свет
Из векового заточенья вышел!»

И если б нас расспрашивать он стал,
Как эта жизнь возникла из развалин,
Каким лучом чудесным просиял
Народ, что был как ночь зимой печален,

Кто крылья у народа расковал,
Кем древний гнет навеки в яму свален,
Кем рождены среди песков и скал
Моторов гул и звоны наковален,
Кто пастухам в сухую руку дал
Руль самолетов, циркуль готовален,
Кто в Гавань Счастья путь нам указал,
Кем к пристани корабль Мечты причален,
Кто, жизнь творя, явил стальной закал, –
В ответ одно б он имя услышал:
Сталин!

Да, Вождь Великий! Говоря «привет!», –
Влагаем мы всю душу в это слово:
В нем гордый клич достигнутых побед,
В нем смех и песня счастья молодого!
В нем слезы благодарности живой,
Вдох гордости, что мы – *Твои* питомцы,
Что Вождь Народов нашим стал главой,
Что мы с народом русским – однодомцы!

Мы молоды! Нам только двадцать лет!
Какая жизнь и слава предстоит нам!
Прими же, Вождь, наш пламенный привет:
Его мы шлем народным хором слитным!

И ты поймешь, Великий наш Сердар,
Каким мы гневом ярим разгорелись,
Когда фашист, отчизне в грудь нацелясь,
Нам всем нанес предательский удар!
Гиэнья пасть в наш хлеб впустила зубы,
И когти рвали ветви рудных жил,
Гиэний дых задул заводам трубы,
Гиэний хохот песни заглушил,
Гиэний мозг мечтал о рабстве адском
Для нас, для всех, отныне и вовек, –
А мы узнали, как в содружье братском
Прекрасно расцветает человек!

И, не стерпев угрозы и обиды
И твердо зная: лучше смерть, чем плен,
Встал весь Союз «от Перми до Тавриды»,
И в общей рати в бой пошел туркмен!..
Ты помнишь, Вождь: в эпоху Николая
Нас брали на работы для войны;
Мы шли на казнь, призыв тот отвергая, –
Туркмении задавленной сыны!
Теперь, сыны Туркмении свободной,
Свободных русских братья и друзья,
Мы грудью встали в рати всенародной –
И зазвенели наши лезвия!

Века мы пели в песнях вдохновенных
О подвигах героев несравненных,
И до сих пор туркменские орлы
Хмелеют древней славой Гер-оглы.
И наш поэт, Махтумкули прекрасный,
Оставил нам заветы мысли страстной –
Их и поныне каждый наш джигит
Святынею в душе своей хранит.
Вот что провидел наш поэт мечтою:

«В степях, где Хизр ходил, пусть вольным наш народ
Державой собственной из века в век живет;
Пусть нэры буйные один найдут оплот,
И с общей скатерти насытимся едою!
Туркмены! Если бы мы дружно жить могли,
Мы б осушили Нил, мы б на Кульзум пришли!
Теке, йомуд, гоклен, языр и алили –
Все пять! – должны мы стать единою семьею!»

И стали мы – все пять! – одной семьей,
И та семья влилась в народ советский;
Нил нам не нужен, но коней водой
В столице нам еще поить немецкой!..
Ужели славу древнюю свою,
Ужели нашу юную державу,
Ужели нашу братскую семью
Мы отдали б фашистам на расправу?!

И вот туркмен, как древле, в бой летит,
С грузином, с русским змей фашистских давит:
Ведь

«в битве горячей во имя народа джигит
Всё поле сражения кровью врага окровавит!»

Да! В бой пошли колхозник и поэт,
Студент и врач, художник и рабочий,
И лили кровь, – и многих больше нет,
Но Родина к ним обращает очи!
Их бранный клич звучал на всех фронтах;
Их в ранах грудь и также в орденах;
И видели и Сталинград, и Киев,
Как жизнь свою бесстрашно отдавал
Простой боец и властный генерал –
Курбан-Дурды, Байрамов и Кулиев!..

А здесь в тылу, в далеком далеке,
Где слышны только гордые салюты,
Три долгих года мы, рука к руке,
Работаем, не тратя ни минуты.
Мы поняли, что тыл и фронт – одно,
Что в цепи важно каждое звено,
Что лишний куст хлопчатника и лишний
Кусок руды свинцовой – алой вишней
Пронижут сердце лишнего врага!
Что если нам прибавят берега
Карабугазские – мирабилита,
То бухты севастопольской дуга
Плотнее будет трупами покрыта
Презренного и подлого врага!

Республика как мускул напряжилась,
Пружиною стальнойю напряглась,
И в небывалых темпах закружилась
Жизнь, – боевую закрепляя связь,
Короче сон и дольше день рабочий,
Скуднее пища, напряженной труд, –
Но ведь зато в лазоревые ночи
Победный к нам доносится салют!

Развязаны колхозничьи хурджумы,
Шуршат банкноты – собирали их
На патефон, на мотоцикл, – но думы
Теперь лишь о снарядах боевых.
И трудовых колхозных лет прибыток,
Дарованный счастливою судьбой,
Сливается в один гигантский слиток:
Бери его, о, Родина, он – твой!
Южане мы и любим блеск металла:
В глазах огонь, металл же – брат огня;
Всегда красавиц наших украшала
Чеканная из серебра броня:
На головном уборе рябь медалей,
Диск лепестковый посреди груди,
Браслеты, перстни – в солнце наших далей
Сверкают так, что лучше не гляди.
От бабушек переходили эти
Прелестные игрушки давних дней,
И не было дороже их на свете
Для девушек, и жен, и матерей.
Но их несли, но их с груди срывали, –
Над всей страной звенело серебро:
Любой браслет – ведь это штык из стали,
Что заберется немцу под ребро!..

Оглядываясь на години эти,
Глядя вперед – в нетленный свет побед,
Мы счастливы, что мы живем на свете,
Что мы – Тобой воспитанные дети,
Что наконец сбылась мечта столетий
И есть кому народный слать привет!

Знай, Вождь, верь, Вождь, что мы, твои туркмены,
В своей любви как солнце неизменны,
Что Родина – великий наш Союз,
Тобой ведомый, – нам дороже жизни,
Что нет у нас презренней слова «трус»,
Что мы клянемся всё отдать Отчизне!..

Победа близко! Счастье впереди!

С Тобой мы – все!

Зови!

Учи!

Веди!

**ТЕМА СЕМНАДЦАТАЯ:
НА ВЕСАХ ЖИЗНИ**

Из мертвой главы гробовая змея,
Шипя, между тем выползала.

Пушкин

Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетво-
рения нравственного чувства расстрелять?
– Расстрелять! – тихо проговорил Алеша.

Достоевский

Желая гибели врагу,
Врага открытого я уважать могу,
И если сдастся он, вконец разоружится,
То почему бы с ним и не ужиться?
Я заговорщика могу понять, когда,
Высокою идеей затуманен,
Он лезет на рожон, решив, что он – «Сусанин»:
Ведь глупость не вина – беда.

Но если враг бежит на каждый клирос,
Чтоб аллилуйю петь, а сам исподтишка
То сеет клеветы фильтрующийся вирус,
То направляет взмах клинка
В чужой руке, – но если в нем кишка
Ревет несытая, а не душа, и вырос
Огромной трын-травой гнев оголтелый в нем, –
С таким врагом
Нельзя миндальничать: ему сдыхать в пещере б,
А не врезаться в жизнь! И хрустнет плоский череп
Под каблуком!..

Мы много видели. Но больше – доверяли.
Когда закончилась гражданская война,
Мы первым долгом смерть из кодексов убрали.
Увы: ненадолго. И наша ль в том вина?

Еще дрожа, еще плотая жадно воздух,
Страна готовилась трудом заполнить роздых,

Боями добытый, и ввысь кидала взгляд,
Как бы свою звезду ища в весенних звездах,
А ей фурункулом зажгли в глазу – Кронштадт!

Когда же сухой съел двадцать пять губерний,
И вымирал и вымер миллион,
И армии детей ползли со всех сторон
В ночь беспризорности, сословьем новой черни,
И власть, доверчиво, звала на помощь всех,
Кто любит свой народ: у смерти вырвать зубы, –
Тотчас кадетские сбросились *народолобы*,
В союзе с голодом ища вернуть успех,
Стать, может быть, к рулю (ведь опытные руки ж!),
И вместо пригоршни, что подала б зерно,
Просунулся в мужицкое окно
Прокукиш!

Когда упорная страна,
Стянув ремень на подведенном брюхе,
Последний грош и силы, все до дна,
Пускала в ход, чтоб выйти из разрухи,
И, сухари жуя, сбывала за рубеж
Алмазный сахар свой и мраморное сало,
Чтобы машин купить (иначе хоть зарежь!),
И порции ребятам урезала,
Чтоб содержать технических жрецов
«Достоинно званию» и в меру аппетита, –
Нашлось, по трещинам укрыто,
Немало озверелых молодцов:
Как струны натянув садические нервы,
Топтали новь, топтали жизнь они:

Всё было тут: и дохлые огни
В чахоточных печах, и тошнвые консервы
Из конских пенисов, и дымогарный газ,
Плывущий на жиле, припертое как раз
Под ветер с фабрики, и школьные программы
Дырявые, как сеть, и длинные, как бинт

(Чтобы в научный лабиринт
Как можно дольше не проникли «хамы»)...

Казалось бы: какой простор открыт
Для творчества, работы, вдохновенья;
Казалось бы: живи, в одно с народом слит,
И с Фаустом скажи: «прекрасней нет мгновенья!»

Но что им Фаусты? Им курва ближе та,
Что плод калечила уже в своей утробе,
Уродцев мастера для ярмарок... В их злобе
Мозги одна мутила им мечта:
Всё скрючить, вывихнуть, хребет свернуть поленом
У мира нового, рот разодрать ему, –
Чтоб в историческую тьму,
Под хохот, он ушел презренным Гуинпленом!..

Сплошь компрачикосы!..

Когда пришла пора
Подрыть, и раскачать, и выкорчевать древний
Тысячелетний кряж, недвижимый дуб деревни –
Уклад кулачешский, не знавший топора, –
И гушину прорвать широкою тропею,
И к жизни подпустить, как стадо к водопою,
С трояновых веков изжаждавший народ, –
Кулак, не смеющий уже ударить бомбой,
«С дружиною», оплакал сгибший гнет
Безумной тризною, кровавой гекатомбой!
Миллионами голов валился битый скот;
Ряды бедняцких изб клевал петух багряный;
Продавшийся бандитам агроном,
Наглея, заседал подлейшим сорняком
Колхозных нив распаханые раны;
Когда горячий лёсс под хлопок отдан был,
Чтобы станкам работать неустанно,
Шпик царский, что засел сатрапом Туркестана,
Пшенице путь в страну загородил,
В расчете на мятеж...

Я сам видал голодных

На страшных улицах Ташкента в этот год –
Людей, что ползали, вопя... Разверстый рот
Поньне снится мне...

На пустырях безводных,
На костяках людских, на кладбищах овец –
Вот где искал он жизнь, бунтующий мертвец,
Разбитый класс! Вот где, до мести лаком,
Ощерненным он рыскал вурдалаком...

Но годы шли, как тяжкий тот каток,
Равняющий на мостовых булыгу:
История свою листала книгу:
Великий план свершался в точный срок.
Как ни хотели нас одернуть и отбросить,
Как ни завинчивали тормоза –
Лишь ярче искрились у юношей глаза
Да на висках вождя сверкала сталью проседь.
Победа близилась.

Но там, за рубежом,
Средь домен стынущих, на ржавчине и пепле,
Империю свирепые окрепли,
Прожить мечтая грабежом.

И вот, навстречу им, гадюкой гробовою,
Вновь обнадежена и вдесятеро зла,
Вся наша протухоль и прогниль поползла,
Изменою не брезгая любою.

Политиканишки с растленной мечтой
«Быть в центре», властвовать во имя голой власти;
Мразь в маске маршала, готовая на части
Разрезать родину, чтоб где-то стать «главой»;
Трус на посту посла, весь обожженный дрожью
При виде свастики, склонившийся к подножью
Концернов бешеных, стучащих кулаком;
Питомцы давние охранки и освага,
От вечной огляди скатавшиеся в ком,
Дрожать уставшие; несметная ватага
Обиженных глупцов, проживших невпопад, –

Вот где года копился трупный яд
Боязней, завистей, обид и самолюбий,
Чтобы, созрев, ключом забить из глуби,
Распространяя смерть и смрад!

Всё – от продажи чести и присяги
Разведкам вражеским и до смертельных доз,
Какими докторá, «волшебники и маги»,
Питали горьковский туберкулез, –
Всё в ход пошло!..

Ну что тут делать будешь?

На карту брошены мильоны жизней, кровь
Уже пролитая и та, что хлынет вновь,
Коль не собьешь врага и сдаться не принудишь!
Слова исчерпаны.

И не осудит нас

Никто, в ком совести найдется хоть полграна,
Что, вместо слов, мы жест избрали в страшный час:
Жест наводимого нагана!..

**ТЕМА ВОСЕМНАДЦАТАЯ:
В ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ**

Глубокой нежностью иль силой неумемной
Он обнимал весь мир огромный!

Верхарн

Уже давно замкнулась ночь,
Уже в домах померкли шторы,
И в ступках площадей трамваи и моторы
Устали грохоты и дребезги толочь;
Уже давно окончена работа,
И рядом в спальне тихо спит жена,
И паутинкою к ресницам льнет дремота,
Но нету сна!
Что делать мне? Беру – и разом
Переверну песочные часы
И, дорисовывая глазом
Классическое лезвие косы,
Гляжу, как время сыплет Хронос,
Как сухонький песочный волосок
Сбегает вниз, как золотой песок
Везувием накапливает конус
И замирает вдруг, навек похоронив
Минуты хрупкий Геркуланум, –
И мир мне видится, овеянный туманом,
Как миф...

Я карты видывал конического строя,
Где, точно в неводе, в струнах координат,
Материки, что камбалы, лежат
Среди лазурного покоя;
И, видя, как струной летит меридиан
К вершине конуса, где даже точки нету,
Я чувствовал в ладони океан,
Я забирал в пригоршню всю планету.
Вот и сейчас, когда песок лежит
Нежнейшим конусом, минуту погребая,

Вся жизнь моей Звезды (моей Земли) бежит
Ко мне, как миф туманно-голубая...

Сейчас, вот-вот сейчас, вот в этот самый миг,
Жизнь необъятная меняет шаг и лик:
Как говорит счисленье мировое,
Ежесекундно в гроб идет один, и двое
Рождаются.

Сейчас пришел, быть может, в мир
Второй Платон или второй Шекспир,
Убийца, может быть, герой, безумец, воин,
Раб, каторжник, боксер, строитель скотобоев,
Владелец рудников, игрок, ученый, врач,
Развратник, мученик, повешенник, палач...
Сейчас, вот в этот миг, быть может, бритва входит
В гортань; быть может, ствол на лоб врага наводит
Китаец; может быть, дохнув из бомб, тротил
В Мадриде госпиталь до дна разворотил;
Быть может, в недрах шахт, сейчас пятой завала
Хребты шахтерам изломало;
К мерзавцу смерть пришла, бесшумная как сон;
Подвижник пыткой в Дахау изъязвлен
И ловит черным ртом последний воздух.

Где-то

Ревет пожар, тайфун. Уловлена комета
Обсерваторией. Кипит в мартенах сталь.
Танцуют женщины на пьяных биржах моды,
Сквозь теплые и ледяные воды
Хлеб, нефть, руду, сукно, гуано – вдаль и вдаль –
Из Лимы в Ливерпуль, с Нордкапа в Порт-Наталь,
Надсаживая грудь, таскают пароходы.
Нырять сингалез за жемчугом. Козел
В чикагских бойнях только что повел
Овец под нож – предателем косматым.
Разбойным вызовом ложится ультиматум
На стол
Перед растерянным, как школьник, дипломатом.
И, омывая шар земной

Как бы волной
Приливной,
Что солнцем вздернута, с востока на закат
К машинам и плугам, вслепую, наугад,
Тысячелетний Труд влачится – неизбывный.
И, мертвым полюсом, меридианов сеть
В кулак зажав, торчат Концерны или Банки, –
И смерть должна у них на ниточке висеть,
Чтоб в нужный миг на мир слететь
Бесхлебьем, голодом, чумой в аптечной склянке...

Так, липким щупальцем, слепая ночь меня,
Возможную добычу, осязает,
И бормот радио в сознание мне вползает,
Как заклинание тоскуя и кляня.
Волну любой длины ловлю, рычаг вращая:
Нью-Йорк, Берлин, Капштадт, – и музыка чужая,
Чужая речь бурлит: лохмотья фраз и цифр –
Приказ ли биржевой или шпионский шифр,
И всюду оторопь, невнятица, тревога,
Безумный гомон румб, железный звон угроз,
И кажется: земля, между глотками грога,
Сама себе бормочет вяло: SOS!

Я выйду на балкон. Мороз лицо мне режет.
С вокзального узла клубится лязг и скрежет.
Заводы дальние пунктирами огней
Переливаются меж дымовых теней,
Как всюду...

Но гляжу – и нет уже моей
Тоски: вдали, созвездьем алым,
Пять звезд рубиновых над башнями Кремля
Стоят, спокойные, по-звездному дремля, –
И с ними Родина, моих святынь земля,
Спокойно светит землям одичалым!..

И там, меж древних стен, какой, не знаю, дом,
Где сутками сидит за письменным столом,

Меж телефонами, блокнотами, «делами»,
Чуть грузный, чуть седой, с веселыми глазами,
Стальной – по имени и сути – человек.
Чем занят он сейчас? Куда огромной мысли
Направлен беспредельный бег?
Туда ли, где, на зыбком коромысле
Аптекарских весов, войну и мир
Колелет, обезумев, мир?
Туда ли, где, с буссолью и отвесом,
По берегам хрустальной Ангары
Бредут непроходимым лесом
Строители плотин, создатели горы,
Откуда ринется второю Ниагарой,
Неукротимую и яркой,
Байкальских вод обузданный порыв,
Таежные немереные шири
Сибири
Теплом и светом одарив?
Быть может, в прошлое глядит он,
Где ужасом был каждый миг пропитан;
Быть может, в будущее он
Прозрачною мечтою устремлен, –
Где радость каждому и навсегда родится;
Быть может, попросту, час отдыха найдя,
Он вспоминает шум весеннего дождя,
Что в саклю горную так весело стучится;
Иль Руставели новый перевод
С оригиналом рядышком кладет...

Я кожей чувствую то излученье силы,
Что бурею магнитною в меня
Бьет из Кремля, – будя, зовя, гоня,
Исторгнув из души порыв ширококрылый,
Как искру вырубают из кремня!

Я не один в тиши и мраке ночи!

Но не один и *Он*:

миг тает на косе

У Хроноса, но мы

(и я, и ты, и прочий,

Колхозник и поэт, профессор и рабочий)

Навеки с Ним!

– Все!

1937–1939

ПОВАР БАЗИЛЕВСА ВИЗАНТИЙСКАЯ ПОВЕСТЬ

I

Под вечер хорошо у Босфора,
Хорошо у Золотого Рога:
Море как расплавленный яхонт,
Небо как якинф раскаленный,
Паруса у лодок пламенеют,
Уключины у весел сверкают,
И кефаль в мотне волокуши
Трепетным плещет перламутром.

Да и здесь, на Босфоре Киммерийском,
Тоже хорошо на закате;
Надо сесть на горе Митридата,
Не глядеть на город у подножья,
А глядеть на азийский берег.

Там над синемраморным морем,
Над пунцовой глиною обрывов
Нежно розовеют колоннады
Гермонассы и Фанагории.
А над ними пурпур и пепел,
Изверженье кратеров бесплотных,
Бирюзовые архипелаги
И флотилии галер пламезарных.
И даже православному сердцу
Мечтаются «Острова Блаженных» –
Грешная языческая прелесть,
Сатанинский соблазн элленов.

А на город глядеть не стоит:
В запустеньи древняя столица,
В капищах языческих – мерзость,
Ящерицы, змеи да падаль;
Гавань месяцами пустует,

Не видать и челноков рыбачьих:
Плавают они у Нимфеи,
Продают весь улов евреям,
А те его гонят к Требизонду
На своих фелуках вертлявых, –
Здесь же и скумбрии не купишь!

Обнищала древняя столица,
Оскудели фонтаны и колодцы,
Еле держатся башни и стены,
Ноздреватые как сухая брынза.
А в степи хазары кочуют,
А в Согдае готы засели,
И уже, говорят, к Фанагории
Подступали какие-то руссы.

Да и в городе самом беспокойно:
Архонтесса впала в слабоумье,
Преполит народу ненавистен,
Показаться на базаре не смеет,
А геронты в городском совете
Точно псы весною грызутся.

Хочется богу помолиться
(И собор вот построили новый,
И епископа вымолить сумели),
А нету в соборе благолепия:
Языческие торчат колонны
Из храма Деметры-дьяволицы,
А потир для крови пречистой –
Деревянный, как ведро водовоза...

А на том, на другом Босфоре
Мраморные, говорят, соборы,
Купол, говорят, над Софией
На цепи золотой подвешен,
Опущенной прямо с неба
Из незримых божьих чертогов.

В гавани, говорят, без счета
Всяческих галер и каравий –
Карфагенских и александрийских,
С Митилены, Кипра и Родоса,
Даже, говорят, с Тапробаны,
Где у зверя-индрика люди
Слушивают кожу-корицу.

Там благочестивые монахи
Непрерывно господу служат,
Там глава Иоанна Предтечи
Благовоннейшее миро точит,
Там в порфирных палатах базилевса
Золотые птицы распевают,
И у трона львы золотые
Рычат и размахивают гривой.

А на троне базилевс ромэев
Пресиятельнейший и пресвятейший
В пурпурной виссоновой хламиде,
В белом саккосе златоклавом,
В золотой чеканной диадиме,
В измарагдах и алмаантах,
Неусыпно печется о державе
И о вере святой православной:
Шлет стратигов на коварных персов,
Шлет навмархов на арабов лютых
И новые измышляет казни
Для еретиков богомерзких.

Вкруг него сидят каллиграфы,
Записывают каждое слово,
И слово становится законом,
И когда его объявляют
Владычествующему синклиту,
Никто прекословить не дерзает,
Все встают и кричат по-латынски:

«Дэус тэ нобис дэдит, рэге!»¹
Двадцать раз повторяя и сорок!..

Ах, ведь повезло же Вардану!
Вместе мы бычков с ним ловили,
Вместе крали (хоть и грех великий)
Дыни с отцовских огородов.
Вместе и в соборном хоре пели,
Только бог наделил его горло
Серебром, и медом, и ветром,
Так что и в небе херувимы
Слаще петь алилуйю не могут.

Сам епископ тогда собирался
Оскопить его во имя божье,
Чтобы дивный сохранился голос,
Не погряз бы в мужестве грубом.
Только, видно, бог судил иначе:
Подавился рыбной костью епископ
И скончался, прославляя бога,
А Вардан забежал в Киммерик
И прятался там два года,
А когда вернулся, усатый,
Еще лучше стал его голос:
Будто золотые подковы
По дамасскому бархату ступали.

А когда базилевс блаженный
Был злодейским мятежом низложен
И прибыл отдохнуть в Гермонассу,
Услыхал он моего Вардана
И к особе своей приблизил.

А когда хазарский хан лукавый
Подослал убийцу к базилевсу,
Мой Вардан почувял измену
И с молитвой удавил негодяя.

¹ «Господь тебя нам даровал, властвуй!» (лат. Deus te nobis dedit, rege!).

А когда базилевс умиленный
Истребил в столице крамолу
И сидел на торжественных ристаньях,
Наступив пятами святыми
На затылки двух своих злодеев,
Мой Вардан с патриаршым хором
Воспевал псалом вдохновенный:
«Наступиши на аспида и змия,
Поперещи льва и василиска!»

И теперь он – певец придворный
В личной капелле базилевса,
Он теперь и в святой Софии
Лишь на пасху петь соизволяет.

А теперь и другое слышно:
Говорят, что сестра базилевса
Светлодевственная Пульхерья
За Вардана замуж выходит!

Ах, и повезло же Вардану, –
А ведь вместе бычков ловили!
Он святынею окружился,
Он почти что господу ўзрит,
А я, неудачный, в харчевне
Рыбу должен для матросов шкварить!

II

Вечно зябнет августа Пульхерья,
Хоть любовью к богу пламенеет;
Оттого у нее в покоях
Днем и ночью рдеют жаровни
С благородным индийским санталом,
Истлевающим почти без пепла.

Тонкий нюх у августы Пульхерьи:
Всё, ей кажется, дурно пахнет;

Оттого у нее по укладкам
Ароматные разложены травы:
Амариллис, алоэ и лаванда;
Оттого по ее шкатулкам
Благовонные рассыпаны смолы:
Росный ладан, мирра и стíракс;
Оттого по ее флаконам
Драгоценные розлиты бальзамы:
Амбра, нард и розовое масло.
Оттого и продавцам ароматов
Велено держать свои лавки
К базилевсовым чертогам поближе,
Чтобы даже западный ветер,
От лачуг ко дворцу летящий,
Отдавал мушкатом и киннамом
(Ветер, наплывающий с Босфора,
Халкидонские доносит розы).

Мутен глаз у августы Пульхеры:
Всё ей тусклым кажется и блеклым;
Оттого в ее ларцах и скрынях
Грудами лежат самоцветы.
Тут вишневые сладкие вениссы,
Лаллы цвета голубиной крови,
Углем прордевающие пиропы
И мертвомалиновые альмандины;
Тут карбункулы, как зрачок альбиноса,
И таинственные кимофаны,
Днем зеленые, как мох прибрежный,
Ночью алые, как свежая рана;
Тут яхонты синевы небесной,
Херувимьи очи аквамаринов,
И молочно-радужные опалы,
И желтые, как вино, топазы;
Тут весенняя зелень измарагдов,
Ядовитая польнь бериллов,
Увяданьем тронутые хризолиты
И могильный дерн хризопрасов;
Тут лукавит сизый глаз кошачий,

Тут неверные мерцают перлы,
Назревая как пузырь ожога,
И густеют фиалкой Прозерпины
(Как сказал бы эллэн нечестивый)
Целомудренные аметисты.

Мутен глаз у августи Пульхерьи;
Оттого полны ее покои
Позолотой, филигранью, финифтью
На иконах, лампадах и ковчезцах,
Оттого и несчетные лампы
Днем и ночью у нее пылают,
И над ложем ее киворий –
Тесная парчовая палатка
Вся сверкает внутри и снаружи,
Как часовня, как вертеп господен
Во время заутрени пасхальной.

Острый ум у августи Пульхерьи;
Ни один ученейший каноник,
Ни один грамматик или ретор
Переспорить ее не в силах:
Все каноны соборные помнит,
Все апостольские посланья,
Все творения отцов церкви,
Жития всех мучеников преславных;
А языческого певца Омира
От язычества она отторгла:
Из его же стихов отдельных,
Их искусно подобрал и сдвинув,
Пречудную сложила пииму,
Прославляющую Иисуса!
А теперь августа Пульхерья
И сама ексаметры слагает,
Воспевая праздники Христовы,
Богородичные и другие –
По всему годичному кругу.

Вечный страх у августи Пульхеры:
За казну она царскую боится,
За тайны шелкоткацкого дела,
За торговлю с Кипром и Амальфи;
Оттого в ее покоях толпятся
Казначей, оценщики, фискалы,
Навмархи и друнгарии флота,
Примикирии цехов и гильдий.

А еще боится августа
За незыблемость православной церкви,
Хоть и сказано в евангелии Матфея,
Что не одолеть ее вратам ада;
Оттого снуют в ее покоях
Епископы и архимандриты,
Ктиторы и скевофилаки,
И нотариусы духовных судилищ.

А пуще всего она боится
Всех соблазнов греховной плоти,
Сатанинских обольщений и козней,
Демонских нащёптов и наитий;
Оттого всегда в ее покоях
Литургии правят и молебны,
И сама она стоит часами
На коленях пред иконой Спаса,
Лобызает ладонки с мощами,
Освященные перебирает четки,
Неуклонно знаменьем крестным
Двери осеняет и окна,
Кресла, на которые садится,
Книги, какие раскрывает.

А всего сильнее августа
Боится неожиданной смерти.
Оттого к ней потайною дверью
Сирийских проводят звездочетов:
Ей они составляют гороскопы,
Варят ей помады и фильтры,

Врачующие ото всех болезней,
Добывают для нее бокалы,
Кубки, тарелки и кувшины
Со вделанным камнем-безоаром,
От которого злейшие яды
Становятся как роса безвредны.
Оттого под хламидой у августы
Затаен и клинок дамасский!

III

Многое теперь изменилось,
Как Вардан в чертогах появился.
Позабыла августа Пульхерья,
Что ей скоро шесть десятков минет,
Стала слушать пение Вардана,
Стала млеть, и жмуриться, и таять,
По ночам метаться на перинах,
Томиться на пухе журавлином,
Стала призывать к себе Вардана,
Чтобы рыться в цензах и кадастрах
Под напев тропарей сладкозвучных.

Пел Вардан ей и скоро приметил,
Что, когда он изливается трелью,
Выпрямляется августа Пульхерья
И закатывает глаза, как птица,
Под крыло пронзенная стрелою,
И ресницами черными плещет.
Постарался тут Вардан наполнить
И свои глаза мерцаньем нежным,
Черным медом и горячим маслом.
А когда заботливо августа
Отдохнуть ему предлагала,
Мудрое порой ронял он слово,
Как виньетку на суровый требник:
То налог подсказывал новый,
То скорбел о новшествах опасных,
Вводимых епископом эдесским

В пень трисвятой аллилуйи,
То мечтал, как бы он аваров
Натравил на болгар свирепых.

И взором, от нежности мрущим,
Он опять оглаживал августу
И опять за пень принимался,
Душу ей овевая трелью.

Наконец августа Пульхерья,
Звездочетов своих умаяв,
Покуда они догадались,
Что ей нужно от созвездий вещей,
Посылает за патриархом
И приказывает Его Блаженству
Разрешить ее от уз добровольных,
От обета соблюдать девство,
И ее обвенчать с Варданом:
Это-де внушено ей богом.

Тут владыка церкви вселенской
Размахался было бородою,
Попытался было упереться,
Но лишь глянул в лицо августы,
Лишь припомнил монастырь кавказский,
Где провел восемь лет в изгнани, –
Так решил не искушать бога
И для блага церкви православной,
Чтоб ее сиротой не оставить,
Уступить желаньям августы.
Но притом он помыслил тайно,
Что опять Иезавель взбесилась!

Села тут августа в носилки
И велела рабам быстроногим
Отнести ее тотчас в Буколеон,
В приморскую виллу базилевса,
А вперед послала скорохода
Предварить его о посещении.

Неохотно базилевс покинул
Аналой из слоновой кости,
На котором он пером лебединым
Переписывал духовные гимны,
Нанося на девственный пергамент
Буквы киноварью и лазурью.
Прохлаждавшийся в кисейной тунике,
С неохотой базилевс напялил,
По уставам церемониала,
Златотканые саккос и далматик
И пурпурную жаркую хламиду;
Только соломенные туфли
Позабыл он сменить на сапожки
Из мягкого алого сафьяна.

Тут вошла августа Пульхерья,
До земли поклонилась базилевсу,
По правилам церемониала,
Поцелуем коснулась христианским
Руки и плеча базилевса
И тотчас на него раскричалась,
Говоря, что и последний конюх
Судомойке показать постыдится
Чуть прикрытую лаптями подагру!

Промолчал базилевс на укоры,
Ибо в самом деле устыдился.

Чтоб отвлечь внимание августы,
Вынул он из амарантовой скрини
Маленький пергаментный свиток
С оловянною на шнурке печатью:
Это-де послание папы,
Которого теснят лонгобарды.
Пишет папа, что князья земные,
Короли лонгобардов и франков
И калифы безбожных сарацинов,
Все как есть управляют рабами,
И, напротив, базилевс ромэев

Лишь один свободными правит,
Наслаждающимися покоем,
Под ярмом благодатной власти,
Под эгидой республики священной.
Дальше папа просит денег выслать
И унять равеннского дуку;
Далее шлет благословенье
Базилевсу и его семейству
И отдельно августу Пульхерье;
Просит еще соизволения
Пропустить экономов папских
В хлебные азийские фемы
Милостыни посбирать для папы,
Ибо в Сицилии хлебной
Всё сожрали саранча-арабы.

Насупилась мудрая Пульхерья:
«Не верь, – говорит, – попросайке;
Прикажи равеннскому дуку
Поприжать его хорошенько;
Он у дураков-лонгобардов,
Запугав короля их адом,
Уже четвертый выклянчил город,
А сам, еретик прокаженный,
Пресным хлебом заправляет причастье,
Не желает хлеба квасного,
В котором дыхание жизни, –
На дрожжах, видно, экономит!
Этак скоро он в кровь Христову
Накрошит кукурузный бублик!»

Тут опять базилевс устыдился,
Ибо мудро рассудила Пульхерья,
И спрятал послание в скрыпню.

Поглядела на него августа,
Просверлила черными очами
И сказала, что грех великий
Каждодневно в империи творится:

Мыло-то ведь делают из сала,
А сало-то предмет ведь скоромный,
Стало быть, – посты оскверняют
Мыловары и мыломойцы!
Нужно императорским указом
Воспретить в посты мыловаренье –
В четырехдесятницу святую
И в другие, и в пяток и среду.
Можно, впрочем, в эти дни позволить
Мыло на оливковом масле:
Тем и благочестье охранится,
И цена возрастет на оливки,
А ими домены базилевса
И сказать нельзя как богаты!

Базилевс позвонил в колокольчик
И велел призвать логофета
С хартуллариями и писцами,
И комита царских доменов,
И квестора чернильницы царской.
Вошли они по порядку,
Преклонились до земли по уставу,
Отвесили нужные поклоны,
Выслушали волю базилевса
И указ немедля написали.
И хранитель чернильницы священной,
На коленях стоя, базилевсу
Подставил ковчежец чеканный
С драгоценным пурпурным чернилом,
Присвоенным только базилевсу.
Базилевс пером лебединым
Начертил священную подпись,
А за ним чины государства
Чернилами зеленого цвета
Надписали индикт и дату,
И своею подписью скрепили,
И заверили копии указа,
А хронографы новое деянье
В летопись немедля записали.

Удалились логофет и квестор,
И другие, – и опять августа
Взор на базилевса устремила:
Знает ли базилевс великий,
Что в Магнаврском университете
На экзаменах студиозы пишут
Комментарии к пиимам Омира,
Что от бога их отвращает,
Ослабляет рвение к церкви?
Не благоугодно ль базилевсу
Предписать, чтоб в университете
Жития святых изучали
И писали их переложенья,
Расцветая цветами красноречья?

Также надо обратить вниманье
На иконописцев влахернитских:
Сладчайшего пишут они Спаса
Желто-розовой телесной краской,
Очи делают ему голубыми,
На ланиты сажают румянец,
Плотскую придают ему прелесть,
Человеческое выраженье!
Забывают, что в Христе Иисусе
Нераздельно и неслиянно
Две природы сосуществуют,
Человеческая и божья!
Так что загноились те иконы
Смрадной ересью монофизитов!

«Как же, – базилевс удивился, –
Божью сущность выразить краской?
Краска-то, она ведь телесна,
А божья-то сущность бесплотна».

Разгневалась тут августа
На такое детское неразумье,
Раскричалась и объяснила:
«Надо чтобы и лик, и длани

Были краской писаны тусклой,
Чтобы плечи пречистые и чрево,
Как мясные, с доски не выпирали
И под ровными складками хитона
Как бы вовсе не было тела!
А на лике должна быть разлита
Благость неизреченная, сладость!
А кругом побольше позолоты,
Нимбов золотых и сияний,
И одежды чтобы все сверкали,
А персты чтобы благословляли!
А кругом чтоб были эмблемы:
И кресты, и евангелье, и чаша,
И золотоглавые соборы,
И многозначительные буквы,
Чтобы каждый духом возносился,
Их святое постигая значенье!
Да велеть, чтобы все живописцы
Спасов лик по-единому писали,
От себя ничего не добавляя!»

Согласился на всё император,
Ибо мудро говорила августа,
И к тому же в парадном орнате
От жары невтерпеж ему стало.

Видя то, помолчала августа,
Потомила базилевса молчаньем
И, очами сверля, рассказала,
Что было ей сонное виденье:
Явился ей Димитрий Солунский
И велел ей выйти за Вардана,
Обещав, что от этого союза
Народится светильник церкви.

Поглядел на нее император
И промолвил, как с обрыва прыгнул:
«Да ведь вы, сестрица, усохли;
Не родить вам, думаю, и подсвечник».

Полчаса в соседних покаях
Хартулларии удивлялись:
Что там происходит в кабинете,
В недоступной палате базилевса?

А потом зазвонил колокольчик,
И опять позвали логофета
Со всеми дворцовыми чинами,
И в синклит погнали скорохода
Консула пригласить немедля,
Ибо в республике ромэев
Без консула, без народной власти,
Ничего произойти не может.

А пока базилевс удалился
Во внутренние свои покои
Обуться в пурпурные сапожки,
И сменить зачем-то хламиду,
И прическу заодно поправить.
Там любимый его встречает внуч,
Маленький, розовенький, пухлый;
Говорит он, кошечкой ласкаясь,
Что только что видел виденье:
Явился ему Димитрий Солунский
И сказал, что Вардан – мерзавец
И что втайне замыслил он, гнусный,
Базилевса низложить с престола,
Самому на престоле ромэйском
Сухопарым усесться задом.

Как влетела тут августа Пульхерья,
Как вцепилась внучу в ухо:
«Ах ты, какосодигос подлый!
Это тебе-то, неподтертый,
Димитрий является Солунский?
Да он, пребывая в куцах райских,
На тебя, афродитская нечисть,
С неба и плюнуть не захочет!
Базилевс великий! Император!

Здесь твою сестру оскорбляют!
Прикажи анафему немедля
Отлучить от церкви православной
И отдать врачам-живорезам:
Чтоб они ему грудь распороли,
Поглядели, как работает сердце!»

«Диалектика! – сказал император. –
Хоть убей, ничего не понимаю!»

К счастью, доложили в ту минуту,
Что прибыли консул и димархи,
И пошел в тронный зал император,
И за ним августа потрусила,
А евнух забился под портьеру,
Растирая распухшее ухо
И шепча молитвы и проклятья.

По правилам церемониала
Совершился великий выход,
И немедленно золотописцы
Весь торжественный чин описали.

Базилевс объявил вельможам,
Что, движимый волею господней
И заботой о благе государства,
Заблагорассудил он выдать
Августу Пульхерью за Вардана,
А чтоб не было титулу порухи,
Возвести реченного Вардана
В звание кесаря святое.

Выступил тут, нахмурясь, консул
И сказал, что древние роды –
Гордость республики ромэев
И что охранять эти роды
От вторжения особ худородных –
Первая задача синклита.
Но, конечно, если император

Милостью осенил Вардана,
То лишь ярче знать воссияет,
Видя базилевсова зятя
Над собою в кесарском званьи.
Так что со стороны синклита
Возражений никаких не будет.

Базилевс кивнул благосклонно:
Всё свершилось так, как подобает,
Ибо в государстве православном
Император и народ едины.

Дальше всё пошло по порядку:
Нарекли Вардана кандидатом,
И в разрядные книги записали,
И печатью скрепили запись;
Потом нарекли его спафаром
И опять записали в книги;
Дальше протоспафаром стал он,
А через минуту ассикритом;
После был он сделан ипатом,
Далее патрикием сделан,
Себастом и протосебастом,
Наконец – пангиперсебастом,
И совсем наконец был назван
Кесарем империи Ромэйской –
Всего только на две ступени
Ниже базилевса ромэев.
Принесли тут слуги августы
Мягкие сафьянные сапожки
Травяного нежного цвета.
Тут Вардан появился в зале,
Распростерся перед базилевсом,
Преклонился перед августой
И надел кесарскую обувь.

Подошел к нему сияющий консул,
Лобызал ему почтительно руку,
Подошли и другие вельможи

И тоже руку облобызали,
А чиновники пониже рангом
Приложились губами к сапожкам.

IV

Чистил я сегодня ракушки
И нашел в одной древнюю бусу;
Думаю: «Это что-то значит,
Это уж не пройдет мне даром,
Если языческая мерзость
Лезет ко мне со дна морского».
Только я успел подумать это,
Является гонец преполита:
Преполит меня требует немедля,
Пусть иду я, в чем меня застанут.
У меня аж в печенке заныло:
«Ой, – думаю, – провинился в чем-то;
Хорошо если выдерут только,
А что если в евнухи поставят?»
Иду я с гонцом по базару,
Взмок от страха, туфли теряю,
А башмачник, старый Ставракис,
Вслед меня срамит во весь голос,
Говорит, что я, вероятно,
Тухлой рыбой торговать начал.

Оказалось, я напрасно боялся,
Напрасно над бусою крестился:
Счастье мне привалило такое,
Что и во сне увидишь навряд ли!
Вардан-то мой, старый товарищ,
На августе великой женился,
Кесарем стал ромэйским
И вспомнил про старого друга.
Требует меня к себе в столицу,
Велит, чтоб не медлил ни часу, –
А в порту почтовая галера
Паруса уже подымает!

Преполит со мною любезен,
Теплый плащ подарил на дорогу,
Подарил корзинку с халвою
И гидрию с бузой превосходной!

Я домой, как ветер, помчался
Уложить добро, какое было,
Прихватить барабульки, да хлеба,
Да икону святого Николая,
Покровителя мореходов.
Но как ни спешил я, а всё же,
Пробегая мимо лавки Ставраки,
Задержался, грешный, на секунду,
Задрал к пояснице рубаху,
Приспустил исподнее платье
И поклон ему обратный отвесил.
Так он и остался, богохульник,
У дверей своей лавчонки мерзкой,
Не промолвил ни слова: понял,
Что стал я важною птицей!

И уже я на галере легкой
Выплываю в открытое море
Навстречу судьбе великолепной!
Прощай, гора Митридата,
Прощай, портовая харчевня!
Через пять, через пять лишь суток
Кесарю я кинусь на шею!

V

Душно в покоях у августы,
Жарко дышат санталом жаровни,
Жарко полыхают лампы,
Жарки объятия Вардана.
Но не только телу грешному душно,
Душно сердцу августы Пульхерьи,
Точно стало это сердце тронном,
А на нем базилевс уселся,

Восседает на нем, непутевый,
Глупая мясная колода,
На пергаментях выводит буквы,
Хлеб у каллиграфов отбивает,
Незаслуженной сияя славой,
А она, августа Пульхерья,
Хоть всё государство держит,
Лишь второй является по чину,
А Вардан, супруг ее любезный,
Третьей только является особой,
Что ему, конечно, обидно.

Душно сердцу августы Пульхерьи,
Кровь его горячая распирает,
Душные шевелятся в ней мысли,
Змейками кровавыми выются,
Душно дышат в спальне жаровни,
Кровью рдеют угли сантала,
Душный шепот в ухо Вардана
Льется с губ августы кровавых,
Душный пурпур в глазах Вардана
Императорской веет порфирой.

Много уж недель базилевсу
Плохо спится в его покоях,
Даже внух его любимый
С тающим абрикосовым телом
Сладко его не усыпляет.

Шевелятся мысли базилевса,
Ищут корни тревоги странной, –
Нет корней, – а растет тревога,
Точно плесень ползет грибная.
Что-то вокруг него изменилось,
Придворные стали торопливей,
Голоса их почему-то бодрее,
А глаза у всех водянистей,
И как будто удлинились ресницы.

Вызывал базилевс эпарха,
Спрашивал о своих гвардейцах,
Спрашивал о слухах базарных
И о настроеньях в синклите.
За гвардейцев эпарх ручался,
На базаре лишь о ценах толкуют,
Благородные же члены синклита
Обожают базилевса как бога.
Но у самого у эпарха
Что-то были слова суетливы,
И со лба, хоть и было жарко,
Слишком часто пот отирал он.

Пригласил базилевс августу,
Поделился с нею тревогой, –
С презреньем поглядела августа
И, хоть это не пристойно сану,
Пальцем над бровями постучала
И свела разговор на богословье,
И запутала вовсе базилевса.

Надо знать, что у базилевса
В древнем тереме вблизи Софии
Возрастал давно им позабытый
Малый сын от жены нелюбимой,
С бабушкою, старою каргою,
Что по дочери, умершей родами,
Плакала шесть лет непрерывно,
Так что в тереме сырость появилась.
Вспомнил император про сына,
Вялого, с большой головою,
И решил, что, пожалуй, надо
Разделить с ним престол имперский.
Что мальчишка будет базилевсом,
Это дела ничуть не изменит,
Но зато преградит дорогу
Узурпаторским заговóрам:
Если есть второй император,
Первого убивать не стоит.

Вызвал базилевс логофета
И велел манифест приготовить,
Вызвал тещу полуслепую
И радостью ее ошарашил:
Внук ее базилевсом станет,
Не потом, а теперь, тотчас же.

Замерло над Босфором небо,
Синевою налилось белесой;
Тигровая туча на юге
Встала и висит недвижимо.
Люди движутся как сонные мухи,
Дыни на базаре увядают,
Ночи не приносят прохлады:
Африка через море дышит.

Приезжает августа в Буколеон:
Поссорилась, говорит, с Варданом,
Послала, говорит, в наказание
В Требизонд его к митрополиту
Укрепиться в тонкостях веры,
А то стал он к ереси склонен;
Ну а всё же скучно августе,
Да и в городе жарко очень, –
Захотелось ей у базилевса
Подышать ветерком прибрежным.
Отвели покои августе
В отдаленной пристройке легкой
Над самым, над самым морем.

Мутная встала над Босфором
В бледных звездах ночка-тихоня.
В первый раз за эти недели
Крепко спит усталый император.
Воины в караульне дрыхнут;
Море неподвижно, как мрамор.
Только у августы в киоске
Тонкое окно отворилось,

Чутко ловит ночное молчанье,
Зорко смотрит в черную бездну.

Тихий плеск послышался в море:
То, должно быть, дельфин играет;
У берега что-то зачернело:
То, должно быть, трава морская.
Только у августы в окошке
Красной точкой лампада зардела;
Тень кривую на стены кидая,
Роется в своих вещах августа,
Лестницу достает морскую,
Легкую, из шелковых веревок,
И в окошко ее спускает.

Пробудился у себя император,
Глянул на часы водяные:
Скоро третья стража; должно быть,
Рассветать уже начинает;
Время к утренней стать молитве.
Только смотрит: качнулся полог,
Факел как ножом в глаза ударил,
Рослые у постели люди,
Зыбко тени прыгают по лицам,
Шевелятся клинки стальные.

Император храпнул, не крикнул,
Выоркнул из постели, метнулся,
Цапнул с аналая распятые,
Из червонного золота литое,
И полчерепа снес кому-то,
И тотчас же кинжал каленый
Вполз ему в левую почку.
Базилевс завизжал, как заяц,
Рухнул наземь, засучил ногами,
И снова отвратительной болью
У него под пупком блеснуло,
И в груди, и в шее под ухом,
И он не успел заметить,

Что клинок, по скуле скрежетнувший,
Меж зубов у него сломился.

Консул в кабинете базилевса,
Приволоченный бегом на носилках,
Весь трясясь, под диктовку августы
Вырабатывал волю синклита
О провозглашеньи августы
И ее высокого супруга
Базилевсами империи великой,
Ибо обожаемый народом
Базилевс, доселе царивший,
От жестоких скончался колик
И наследника себе не назначил.
Логофет же, ляская зубами,
Лепетал, что базилевс недавно
Заказал ему проэкт манифеста
Точка в точку того же содержания.

А внух, любимец базилевса,
Визг и вопли услыхав из спальни,
Кубарем из своей каморки
Выкатился и пополз по плитам;
Полз по лестницам и коридорам,
В занавесях крылся, обмирая,
Если мимо него пробегали.
Выполз из дворца, залез в розарий,
Кожу нежную в клочья раздирая,
Выдрался как-то через стену
И по черным городским кварталам,
Весь в поту, в крови, в нечистотах,
Побежал в отдаленный терем,
Где жила теща базилевса
Со своим большеголовым внуком.

Завопили в тереме старухи,
Выдернули из постели ребенка
И в собор Софии потащили,
Спрятали в алтаре мальчишку.

Кто-то побежал за патриархом,
Кто-то за эпархом помчался,
Несколько инокинь честнейших
Потрюхали в монастырь Студита.
Начал и народ просыпаться,
На базаре кучки появились.

В это время прибегают к Вардану,
Кто отнюдь в Трeбизонд не ездил,
А сидел во дворце августы,
Говорят ему, что в Софии
Спрятали сына базилевса,
Обмотали его пеленою –
Куском богородицыной ризы,
Повесили на шею ковчежец,
Где пречистое хранилось древо,
В руку дали гвоздик святейший,
Прободавший древле плоть Христову, –
Святостями его покрыли,
Как несокрушимою броней, –
И что патриарх сейчас прибудет
И благословит его на царство.

Тут Вардан, ни мига не теряя,
Кликнул служителя августы
И помчался в святую Софию.

Как закликали там, его увидя,
Инокини, мамки и няньки,
Но покрыл он их медовым раскатом,
Грянуло херувимское горло:
«Дуры! Во дворец ребенка надо!
Там его увенчать диадимой!»

Он в алтарь полутемный вбегает,
Отстраняет бережно старуху,
В голову ребенка целует,
Бережно святости снимает
И выводит его на паперть,

А за ним подслепые старухи
Сутолочной клохчущей стаей.

А на паперти слуге августы,
Верному псу ее, он шепчет:
«Бей, не бойся». – Тот ножом проворным
Вспарывает мальчику горло,
И тотчас же Вардан кинжалом
Пробивает ему рабское сердце,
И два трупа, булькая кровью,
Валятся крестом друг на друга,
И Вардан, как в трубу золотую,
Вопиет: «Убийство! Убийство!»
И народ сбегается толпою, –
Буйные городские димы, –
И Вардан ведет их в Буколеон
И клянется покарать злодеев.

Заливают гневные димоты
Коридоры приморской виллы,
И Вардан, в опочивальню влетая,
Где уже обряжают базилевса,
Всем его показывает раны.
Он врывается в кабинет базилевса,
Хватает за сморщенную шею
Супругу, светлейшую августу,
И вышвыривает на расправу,
И пяти минут не проходит,
Как волочится жидкими грудями
Синий труп светлейшей августы,
За ногу захлестнутый вожжою,
По бульжникам грязных улиц
На позор – на базарную площадь.
И уже в кабинете базилевса
Консул прыгающею рукою
Записывает волю синклита,
Чтобы стал Вардан базилевсом.

VI

К молу каравия подходит;
На молу народ суетится:
Тощие какие монахи,
Рыбаки усатые какие!
Полетела колотушка с борта,
Потащили канат причальный,
Подтянули каравию к молу.
Расступается народ суетливый,
Карантинную пропуская стражу,
Кой-кому по шее влетает, —
Точь-в-точь как у нас в Пантикапее.

Но идет с карантинной стражей
Хартулларий, чернильницу тащит,
Священник идет в епитрахили
И диакон с кадилом разожженным.
Все на палубу каравии всходят
И матросов скликают в кучу,
Пассажиров тоже собирают,
С мостика сзывают капитана.
Побледнел капитан от страха:
Что-то небывалое будет;
Я же, грешный, я и сам не знаю,
Отчего так застучало сердце.

Оказалось, бояться-то не надо,
Бог прислал милости великой:
Мой Вардан, мой старый товарищ
Увенчался диадимой царской!
Базилевса-то злодеи убили,
Убили и сына базилевса,
И сестру его, августу Пульхерью,
И синклит державы ромэйской,
Избавляя державу от смуты,
Выбрал базилевсом Вардана,
Старого моего Вардана,
Товарища моего Вардана!

И теперь чины государства
На каравию к нам явились,
Чтобы нас, путешественников темных,
Привести к присяге на верность.

Вот-то счастье на меня свалилось!
Кем теперь Вардан меня поставит?
Может быть, городским эпархом?
Или тайным советником престола?
Или казначеем имперским?
Как ему на шею я кинусь,
Обниму его, старого друга!
Экое свалилось мне счастье!
Видно, бог праведных любит!

Скверная у спальника морда –
Как спина у камбалы старой;
Бубнит он у меня над ухом,
Этикету всё обучает:
Как войти я должен к базилеву,
Как отбить семь земных поклонов,
Как облобызать ему сапожки, –
А того, дурак шишковатый,
И не знает, что едва войду я,
Как Вардан прижмет меня к сердцу
И с собою рядом посадит.

Тяжело у меня на сердце,
Ночь глубокая, а всё не сплю я,
Душно мне в палате просторной,
Жарко мне на лебяжьей перине,
Тишина меня мертвая давит:
Десять комнат кругом пустые,
Черною налиты тишиною,
Безголосой тьмою налиты.
Говорят, что по этим покоям
Ходит ночью Феодосий мертвый
В черной ризе, с медным потиром,
А потир не кровью Христовой,

А его, Феодосиевой, кровью
По края по самые полон;
И всё ищет он брата Константа,
Что убил его в этих покоях, –
Причастить его хочет кровью.
Страшно мне! Проклятое здесь место!

И еще тоска меня терзает,
Горькая томит меня обида:
Богочестный-то базилевс ромэйский,
Мой товарищ, Вардан боголюбивый,
Полдуши у меня похитил,
Обокрал меня, изубожил.
Я-то, глупый, к нему разлетелся,
Радостью небесною пылая,
А он-то к устам моим отверстым
Свой сапог сафьянный притиснул
Да велел мне идти на кухню:
Дело он потом-де мне укажет.

А на кухне повара рассказали,
Как блюдет он достоинство престола:
На охоте олень его рогом
Подцепил, и с лошади сдернул,
И помчал в колючую чащу,
Где его бы ветвями разодрало;
И погнался за ним доезжачий,
И мечом разрубил оленю шею,
И от смерти избавил базилевса.
Ну, а базилевс благодарный
В руки палачей его предал:
Как-де смел он, раб, над базилевсом
Занести клинок, хотя б спасая?
И казнили беднягу смертью лютой!

Как проведаль я дела такие,
Сердце у меня затрепыхалось:
Может быть, и меня император

Порешил предать безвинной казни
Лишь за то, что мы вместе когда-то
Дыни крали с отцовских огородов?
Или, может быть, за то, что знаю,
Что на ляжке у него на левой
Родинка есть вида срамного?
А еще и за то, быть может,
Что его я, тому лет десять,
В нехорошем месте дворовом
За грехом малаккским застукал?

Ой, как плохо знать грехи и тайны
Венценосцев, помазанных богом!

Разрешились наконец тревоги,
Призвал меня к себе император,
Посадил у ног своих на скамейку
(Честь, которой и сенаторы жаждут),
Объяснил мне, в чем моя должность.
Он-де хочет властвовать над миром,
Вновь забрать Сирию с Египтом,
Уничтожить престол персидский
И загнать в Аравию арабов.
А потом из Италии дивной
Лонгобардов вымести грубых
И на острове испанском иберам
Предписать свою державную волю,
А затем уж галлов и бриттов,
И неведомых каких-то фризов
Забрать (и на что они сдались?)
Под свою высокую руку.
А внутри державы ромэйской
Ереси выполоть, как плевел,
А нобилей, злых и непокорных,
Титулов лишить да имений,
И мужичье обуздать своеволье,
Посадить их на царскую пашню,
Чтобы всюду был в стране порядок –

На земле, как в обители райской!
Ну, а это – нелегкое дело:
Коль задумаешь такое благо,
Так, того и гляди, злодеи
Под ребро кинжалом заберутся
Или же, что гораздо хуже,
В яства яду крысиного подсыплют.
Ежели замыслишь благое
В этом мире, завистью полном,
Так кому же довериться можно?
Самого себя бояться надо!

Ну и должен я, старый товарищ,
Быть начальником кухни дворцовой,
Императору стряпать самолично,
Самому покупать все припасы,
Заказать особые кастрюли,
Ендовы, кувшины и кубки
С крышками да прочными замками,
А ключи от них носить на шее.
Слова нет: важнейшая должность,
И доверие – уж большего нету!

Отпустил мне базилевс червонцев,
Перстень личный надел мне на палец,
Хлопнул меня, как бывало, по заду,
Заказал мне пилав из мидий –
Истинно императорское блюдо,
А ценой доступное матросу.
Только я душою размягчился,
Как опять меня Вардан обидел:
Выпрямился, голову вскинул
И пугнул меня страшною казнью,
Если я что не так сготовлю
Или буду хвастаться людям,
Что мы вместе росли в Пантикапее,
Которую нужником назвал он.

VII

Трудные потянулись недели!
Раньше я в харчевне был хозяин:
Поварята тебе рыбу очистят,
Соскребнут со сковородок сало,
Накрошат баклажанов и томатов,
А я только пальцем тычу в соус,
Пробую, хорошо ли упрело.
Тут же до зари беги на рынок,
Выскивай рыбу живую,
Курицу живую или барашка
(Ведь в живое яду не подсыплют),
Сам коли, сам и потроши их,
Да оглядывайся, чтоб не подкрались,
Да еще чтобы вкусно всё было.
Соль, да перец, да масло из оливок –
В их нутро ведь никак не влезешь –
Надо кошкам давать на пробу,
А покуда кошке перцу скормишь,
Она так тебя разутюжит,
Точно семьдесят бесов приласкали!

А еще оказался у Вардана
Вкус какой-то неправославный:
Все угодники, все отцы церкви,
Равно и апостолы Христовы
Отварную кефаль обожали
Холодную, с подливкой томатной,
Да еще с лимончиком мессинским, –
А ему, вишь, понадобился соус,
Да особенный: из морских креветок.
Наберешь креветок, отваришь,
Да очистишь (сотни две, не меньше),
Да скорлупки истолчешь, поджарив,
Да положишь на ночь в козьи сливки,
Где они янтарем и розой
Жирный сок свой капельками пустят,
А утром собьешь из них масло,

Да растопишь и с петрушкой потушишь.
Право, грамоте легче научиться!
Ну, сболтал я вышесказанный соус,
Подаю, – заругался император:
От соуса, говорит, плохо пахнет,
Ты, говорит, брюнет пантикапейский,
От тебя, говорит, пахнет железом,
Нельзя тебе к сливкам прикасаться:
Их должны сбивать рабы-англы
С бело-розовой кожей, от которых
Сладко пахнет мозговою костью.
Ну, достали мне рабов-англов,
Пахтают они креветочье масло,
Раскраснеются, распотеют,
Пахнут, верно, костью мозговою, –
А вдруг они яду подсыпят?
Лютая мука и тревога!
И пробовать этот соус трудно:
Кошки от него орут, как вепри.

Господи Иисусе пречистый,
Богородице Дево пресвятая,
Преподобный Димитрий Солунский, –
До чего же тошно мне живется!
Оскорбленья, порухи да обиды
Я глотать, как устриц, обязан!

Вот вчера на приеме малом
Патриарх сбор денег затеял
В пользу дев каких-то бездетных
Или младенцев бесноватых.
Раскошелились важные особы,
Кто номисму кладет, кто две номисмы,
А спальник, враг мой потаенный,
Сразу десять на блюдо брякнул
И такую постную сделал морду,
Точно он – Симеон Столпник.
«Ну, – думаю, – я тебя уважу!»

Запустил я за пазуху руку,
Вытащил золота пригоршню
И осыпал блюдо, как Данаю.
Подошел патриарх к базилевсу,
Тот же глянул на меня ехидно
И на блюдо кинул серебрушку.
Патриарх с укоризною кроткой
Говорит: «Император святейший!
Как же вы нещедры в щедротах:
Ваш, ничтожный перед вами, кухарь
Золота насыпал полфунта!»
Император поглядел злоехидно
И сказал: «Кухарь мой Спирька, –
У него хозяин богатый,
У меня таких хозяев нету».
Тут придворные все по этикету
Смехом разразились пискливым,
А спальник, лютый враг мой, скорчил
Невозможно постную рожу,
Точно он уже не Симеон Столпник,
А просвирка, накрошенная в оцет.
Так меня унизил император –
Показал не другом, не слугою,
А каким-то паразитом тощим,
Подбирающим крохи с тарелок!..

Не пойму я моего Вардана:
То он ласков со мною и приветлив,
И не только наедине – на людях,
То становится грозным владыкой,
Тешится надо мной и пугает –
И на людях, и с глазу на́ глаз...

На базаре я недавно услышал,
Что монахи Федора Студита
Подобрали на паперти бродягу
При каких-то знаменьях странных,
И уже зашушукались люди,
Что это-де базилевс грядущий,

Что господь его указывает
Как достойного царской диадимы.

Рассказал я об этом Вардану,
Не пугая – предостерегая,
Думал: будет хотя бы благодарность,
А Вардан сапогом меня двинул:
Ты, говорит, выдумщик подлый,
Как ты смел хоть на миг подумать,
Что божественное мое величье
Не во всех сердцах просияло?

Ежели бы так оно было,
То какого же дьявола велит он
Подавать ему рыбу и жаркое
В запертой на замок посуде?
Врет он всё и знает, что врет он,
Знает, что и я об этом знаю,
И гуляет брехня его за правду,
А попробуй, несчастный, перечить!

VIII

Удостоил Вардан меня беседой,
Рассказал мне о великих планах:
Он-де будет владыкою мира,
Чтобы все перед ним трепетали
(Подумаешь, удовольствие большое!),
Он велел уже свою персону
Изваять в мраморе и бронзе,
Вычеканить на червонцах новых,
Написать на стенах церковных,
Чтоб везде – на улицах и стогнах
И в любой мошне и в божьем храме
Лик его носатый красовался.
Говорил он о своем величье
И о том, что даже я, ничтожный,
Оттого, что к нему приближен,
Стал важной особой в государстве.

Начал он свои приготовления.
Стоном стонет весь народ ромэйский
От поборов, повинностей да пошлин.
Сотнями строятся галеры,
Вековые рощи под корень сводят,
Строятся машины боевые –
Катапульты, баллисты и тестудо.
Оружейники прямо с ног валяются,
Выковывая мечи да кольчуги,
А холста на рубаху не достанешь!

Вот вчера старик обомшелый
Наниматься в воины явился;
Говорят ему: «Куда ты лезешь?
Из тебя песочница бы вышла».
Он в ответ: «Я теперь сильнее:
Раньше хлеба купишь на номисму,
Так его осел еле стащит,
А теперь на две номисмы хлеба
Сам несу я и спины не горблю».
Ну, влетело ему по затылку
За такое дерзкое остроумье,
А ведь прав он, ничего не скажешь!

Заглянул я в кадисму недавно
Девочек египетских отведать –
Плачется содержатель кадисмы:
Денег вовсе не стало у народа,
Нету посетителей вовсе;
Говорят, благородные дамы
Сами прирабатывать стали
И безбожно цену сбивают.
Видно, близится конец мира,
Коль в борделе кредит предлагают!

И одно лишь утешает душу,
Что растет и крепнет благочестье.
На пирах у базилевса пляшут
Только внухи, а не плясуньи,

И при этом диаконы читают
Громогласно святого Хризостома
О деяниях апостолов Христовых.
А недавно осел длинноухий
В монастырский огород забрался
И сожрал, конечно, помидоры,
Иноков постной пищи лишая, –
Так его, зловредную скотину,
Патриаршьим судом судили
И приговорили за святотатство
К побисению камнями на свалках.
А еще коновалов я видел:
Жеребца они холостили
И спорили, истины взыскуя,
О том, куда подевалось
Краеобрéзание господне,
И дóлжно ли, «свят, свят, свят» возглашая,
Прибавлять еще «за ны распятый»?
Дивны успехи богословья!..

IX

Ночь слепая лежит над Царьградом,
Стража охраняет кварталы;
Мокрым снегом с Черного моря
В чердаки дрожащие лепит;
Зыбкий мост через Хризокерос
Заливает волной кудлатой.
Кто пойдет по черным проулкам,
Кто пойдет по мокрому мóсту,
Кто дерзнет обозленной страже
Объяснять свое опозданье?

А в Галате, в лачуге черной,
Чьи закрыты наглухо ставни,
Вся тугим заплывшая жиром
Десятипудовая баба
На жаровне в горшке чугунном
Кучелябу душную тушит.

Тает время. Капли клепсидры
Поминутно в чашу сбегают.
Очень поздно. Уже, должно быть,
Никого не дожидаться ведьме.
Вдруг, сквозь бульканье кучелябы,
Слышно: кто-то поскребся в двери.
Погасила свечу толстуха
И полночных гостей впустила.
Снова плотно заперты двери;
Свет жаровни как солнце ада;
Три высоких, в плащах, фигуры;
Тихий голос: «Ну что, готово?»
Что-то шепчет им жирная ведьма,
Пузырек им сует стеклянный;
Слышен звон золотой монеты,
И выходят в темень ночную
Три плаща, осторожно горбясь,
И на спины отблеском рыжим
Свет жаровни на миг ложится...

Ночь слепая лежит над Царьградом,
Стража охраняет кварталы,
Спит в своем дворце император,
Вьюга мчится с Черного моря.

Х

Ну, уж этой не прощу я обиды,
Хоть Христос прощать заповедал.
Ударил бы он меня в ланиту,
Я б ему другую подставил, –
А насчет срамоты и глума
Ничего в евангелье нету!

Пир устроил мой Вардан любезный,
Посадил меня архимагиром,
Чтобы здравицы возглашал я,
Направлял бы весело беседу.
Честь большая. Я и возгордился,

Думаю: «Блесну перед всеми».
А на деле вышло иное,
Издевались надо мной до рассвета:
Я-де и дурак пантикапейский,
Я и этикета не знаю,
И язык-то у меня дубовый,
И в вине-то ни дьявола не смыслю.

Осмеяли меня, издразнили
Диалектики да златоусты,
Напоили меня, накачали,
Заголили, привязали к заду
Хвост павлиний и так пустили,
Приказав снести судомойкам,
Что давно уже започивали,
Угощение в срамном сосуде.
Судомойки повскакали с подстилок,
Точно гарпии на меня налетели, –
Пятый день на лицо кладу я
Пластыри, припарки да примочки!
Нет, обиды не прощу я этой,
Я поговорю с базилевсом,
Я ему пропою обедню!

Ах, так вот как?! Значит, я – падаль?
Значит, я – только жук навозный?
Значит, он и вправду уверен,
Что он солнце, а я козявка?
Вот как? Верно! Он – император,
Я же только декан поварни;
Но ведь вместе мы вырастали,
Драли за уши нас обоих,
У меня такие же руки,
У меня такие же ноги,
И мозги мои не слабее,
А по части бабьего дела,
Так еще неизвестно, кого бы
Выбрала августа Пульхерья,
Ежели бы пробу устроить!

Голос? – Голос, верно, прекрасный;
Счастье? – Счастье, верно, большое!
Ну а кроме голоса и счастья
Где и в чем величье Вардана?
Как же смеет он мне торочить,
Что всегда меня презирал он,
Что всегда я почитал за милость
Все пинки его и колотушки?!

Падаль я? Жук навозный? Ладно!
Голос у Вардана хороший –
У меня безмолвие лучше;
Счастье у Вардана большое –
Я его могу поубавить!

Ах, дурак! Ах, пузырь надутый!
Возомнил себя владыкой мира,
А того, дурак, не понимает,
Что владыка мира – я, кухарь!
Он вот ополченье собирает,
Он вот строит галеры и замки,
Он Сирию захватить задумал
И захватит, – если **я** позволю!
Вот возьму я и в его кастрюльку,
Отомкнув ее ключом заветным
(Ключ-то у меня висит на шее!),
Яду всыплю, отравы сладкой!
И закорчится избранник счастья,
Завизжит от нестерпимой рези,
Изблюет кровавою рвотой
Величье свое вместе с жизнью!
И останется Сирия свободной,
И никто не тронет Египта,
Вся история пойдет по-другому!
Кто владыка мира? Я, кухарь!

Страшный чин вчера совершали
Ночью поздней в церкви базилевса.
Созывая к заутрене придворных,

В било били левою рукою;
Семеро служило иереев
В черных ризах, надетых наизнанку,
В башмаках, нарочито узких,
С левых ног на правые надетых,
Отчего култыхали иереи,
Срамотой сменяя благолепье.
И горели черные свечи,
Из смолы отлитые смрадной,
И посередине на аналое
Глиняная глиматра стояла,
И в нее был налит красный уксус,
И в него лопатками кидали
Комья извести негашеной,
И шипела, подобно василискам,
Эта известь и адским зловоньем,
Белым дымом адским курилась.
А кругом ходили иереи,
С ноги на ногу култыхая,
Воспевали канон Иуды!
Это – проклинал император
Всех своих недругов тайных,
Заживо хоронил их в могиле,
Рай у них при жизни отымая!
Страшно! Ой, как страшно это дело!
Говорят, что через девять суток
Все его злодеи распухнут,
Распадутся на части будут,
Что над их домами кружиться
Будут мыши летучие и враны,
А ночами в их спальни красться
Кошки будут, живущие на свалках,
А умрут они – их душам вовеки
Выть от боли во тьме кромешной!

Две недели глаз не смыкал я,
Две недели ощупывал я тело,
Две недели высматривал вранов
И вслушивался: не крадутся ль кошки?

Ну и вижу: здоров я, как прежде,
Тело чисто и нигде не пухнет,
Кошек нету настолько, что мыши
На столе моем молитвенник съели!
Значит, волхвованье базилевса
Против недругов его – бессильно;
Значит, сам он богу не угоден;
Значит, будет доброе дело,
Если кто-нибудь престол очистит
От убийцы этого и труса!

XI

Ах, какую синевой прекрасной
Мармара веет на столицу!
Утром золотыми пеленами
Солнце устилает мостовую,
И София кажется воздушной –
Легче миндального печенья.
На закате Олимп Азийский
Облачком золотым ликует;
По ночам весенние созвездья
Дразнят море золотистым пухом.

Но не радуется народ ромэйский
Светлым дням и теплему ветру;
Люди ходят пасмурны и хмуры,
Клонят лица, смотрят исподлобья;
Доброго слова не услышишь,
Радостной улыбки не увидишь,
И на ипподроме то и дело
Закипают яростные драки.

А в церквах не продохнуть от люда:
Служат непрерывные молебны,
Помощи ожидают от бога,
Ожидают защиты и заступы:
Скоро-скоро поплывут галеры
Завоевывать сирийский берег,

Скоро-скоро по горам арменским
Закарабкуются стратиоты;
Поживятся морские рыбы,
Отъедятся горные грифы, –
Позаботился о них император;
Зарыдают сироты и вдовы, –
Императору какое дело?
Лишь клубился бы его лабарум
На чужих, на отнятых землях!

А сегодня взбудоражен город:
На базаре шепчутся, не торгуют;
В арсенале все молотобойцы
Побросали свои кувалды
И толпятся у остывших горнов;
В банях банщиков не дозовешься;
Мечутся наемные носилки;
Обливаясь потом, скороходы
Бегают по виллам и киоскам;
Из святой обители Студита
Во святыя скиты Диомида
Эстафеты перелетают;
У дворца удвоена стража,
Но туда, что ни час, всё новых
Приводят египтян и халдеев
И каких-то евреек и цыганок.

Слух идет, что базилевсу худо,
Что на меч он как-то напоролся,
Что его ужалила гадюка,
Что ему на голову надели
В бане шайку с кипятком кипучим,
Что по изволению господню
Он причастием подавился,
Что его жабьей желчью окормили,
Что ему дали выпить крови
Двухголового уroda-ребенка,
И от этого, черту на потеху,
Забеременел он, точно баба,

А родить ему, бедняге, нечем,
Так что будет кесарево сечение.

И уже клонился день к закату,
Как пошли глашатаи по столице
Возвещать, что святейший император
От жестокой колики скончался
И что по его указанию,
Утвержденный синклитом ромэйским
И благословенный патриархом,
Базилевсом державы ромэйской
Будет муж, благочестием известный,
Подвизавшийся при храме Студита,
Некий македонянин Василий,
Что всего превыше почитает
Мир всеобщий, внутренний и внешний.

ХII

Вот и лег ты, мой старый товарищ,
Лег навеки в смертную постелю!
Золотая на тебе диадима,
А велеть ты ничего не можешь,
Да и пахнет от тебя прескверно.
Полежи, полежи, Вардан мой,
Помолчи, помолчи, Вардан мой,
Кончено с тобою, Вардан мой,
А мне еще жить, да и долго,
Разговаривать мне – и много!

Вот вернусь я домой, в Пантикапею,
В тихий город, где некого бояться,
Золота привезу я скрыню,
Буду жить в довольстве и покое,
Всеми чтимый как повар базилевса.
Буду я сидеть на закате
На прекрасной горе Митридата
И глядеть за пролив на колоннады
Гермонассы и Фанагории.

Будут подходить ко мне люди,
Слушать важные мои рассказы
О твоих величественных планах,
От которых и следа не осталось.
И никто никогда не узнает,
Что из нас, двух друзей давнишних,
Только я был, – пускай недолго, –
Настоящим повелителем мира.

23.III.1941 – 21.III.1946

ТАЙНА КАВТОРАНГА

1

Завтра в бой веду я канонерку;
Не вернуться, думаю, живым;
Значит, надо б учинить поверку
Всем делам и домыслам моим;
Прощаться, пожурить, поплакать,
Прежде чем на кровяную слякоть
Безвозвратный выклубится дым.

2

Вспомнить женщин, кротких и влюбленных,
Тех, кого умел я обижать;
Отчеканить слово о знаменах;
Сопоставить родину и мать;
Намекнуть о мужественной смерти;
И потом пометить на конверте
Точный миг: ноль восемь сорок пять.

3

Это всё – внушительно и строго,
В четком соответствии душе;
Но подобных исповедей много,
И от них никто не в барыше;
Вообще (добавлю я печально)
Умирают дьявольски банально:
По святым, но стершимся клише.

4

Вам не стал бы я, мой друг старинный,
Докучать унылой ерундой:
Ведь и Вы, водивший субмарины,
Те же думы знали под водой.

Но велит мне (твердо знаю) совесть
Рассказать Вам сумрачную повесть,
Поделиться тайною одной.

5

Вам забавно? «Тайна кавторанга»!
Глупый фильм или пустой роман.
Неизбежен «знойный берег Ганга»,
«Адский покер», «опийный дурман»...
Нет. Или, пожалуй, да – отчасти:
Зной там был, присутствовали страсти,
И, ей-богу, действовал вулкан.

6

Десять лет как бы в магнитном поле
Мой дрожал испорченный компас:
Не хватало мужества и воли
Фантастический начать рассказ;
Озираясь дико и угрюмо,
Я боялся хохота и глума,
Но теперь... теперь предсмертный час!

7

«Ах, да что он голову морочит!» –
Скажете... Сейчас; возьму разбег...
Человек совсем не правды хочет,
Только жизни жаждет человек.
А теперь мне жаждать жизни – поздно;
Я себе кажусь, вполне серьезно,
Ноем, не достроившим ковчег.

8

Да, да, да: ветхозаветным Ноем...
Кавторанг! Не правда ли, смешно?

Но печально людям иль смешно им –
Мне теперь навеки всё равно,
Я – боялся... Не боялся *первый*,
Самый древний... Вот уж были нервы:
Точно бронза каждое звено!..

9

Но *второй*, во мгле тысячелетий,
Тот – боялся. Не пойму – чего.
Гнева папы опасался *третий*:
На костре испечься – не тово.
Я – четвертый. Мне какое дело,
Что назад пятьсот веков хрипело
Некое больное существо.

10

Со своим не справиться богатством
Бед и зол... Но есть иной закон!
И каким-то планетарным братством
Я с бывшим страдальцем породнен.
И теперь, «идя навстречу славе»,
Я молчать не должен и не вправе, –
И не будет мною предан он!

11

Той тетради – нету! Преступление!
Гнусная небрежность мичманка!..
Помните, я проводил сличенье
Древних карт в архиве МГК¹
В Вальпарайзо? Мне попался – боже! –
Судовой журнал в телячьей коже:
Грубая, пиратская рука.

¹ Морской гидрографический комитет.

12

Но меж строк, как вымбовки топорных,
Скропись иная пролегла:
В беге литер, в их жемчужных зернах,
Чуялась граверная игла
Меткой мысли, выкормленной Римом, –
И о чем-то странном и таимом
Рассказать мечтателю могла.

13

Ну, хоть воровать и не учили,
Я тетрадь, скажу по правде, спер:
Что ей делать в захолустном Чили,
Триста лет ничей не встретя взор?
И потом – полгода горбил плечи,
Проникая в строй кастильской речи,
В иезуитский тонкий разговор.

14

Кое-что червяк попортил книжный,
Съела плесень, вывели года, –
Но такой поэмы непостижной
Не прочесть нигде и никогда!
Но... была маруська портовая;
Я, «томленья страсти» избывая,
С нею хороводился тогда.

15

И чего не истребили черви
И столетья не смогли сожрать,
Как-то подвернулось этой стерве:
Разозлясь, она сожгла тетрадь.
Стэк сломал я! Но уж поздно было,
И моя лишь память сохранила
Слабый оттиск, бледную печать...

16

Дело просто. Некий патер в Лиме
Древних инков изучал язык
И, «ведомый мыслями благими»,
Письмена бахромные постиг.
Там ведь не писали, а вязали
Узелки на нитках, а читали
Ощупью, скользя по лентам книг.

17

Хвостик – слово; узелок зубчатый –
Литера, а иногда и слог,
И вся книга скатана в мохнатый
Мягкий, теплый, шерстяной клубок.
Их читают, глядя в даль, на море,
За звездой следя в ночном просторе:
Взор свободен от упрямых строк.

18

И монах нашел в каких-то норах,
В погребах забытого дворца,
Полусгнивших руковязей ворох
И читал при помощи жреца, –
Но как пепел распадались нити,
Хрупкие хранители событий,
И не всё он понял до конца.

19

И прочел он, «божий раб Альфонзо»,
Что «в весьма далекие века»,
В дни, когда «была новинкой бронза»,
В сгустках лавы набрела кирка
На ларец из белого металла;
Был он тверд и легок небывало,
Был «сплошным»: без крышки и замка.

20

Ни пила, ни сверла, ни зубила
Не могли упрямый вскрыть сундук,
Ни каких-то «божьих углей» сила,
Даже мрамор «плавающая вдруг».
Здесь монах напутал преисправно:
Говорилось о кислотах, явно:
Церковь не охоча до наук...

21

Всё же был открыт он. В нем лежали
Странные предметы. Были там
Плиточки (у патера – «скрижали»),
Явное собрание пиктограмм;
Были непонятные приборы,
Чье «сверканье поражало взоры»,
Но о них «нельзя поведать вам».

22

И еще лежала статуэтка,
Что «могла светиться в темноте»,
И монах внимательно и метко
Дал отчет о каждой в ней черте.
Женщина. Нагая. И, раздуты,
К ней, к ее грудям прильнули спруты,
Два мешка, бугрясь на животе.

23

Щупальцами охватили шею,
Глаз и губы залепили ей
И сосут, откармливаясь ею,
Сами свесясь парюю грудей;
А у ног заморыш человеческий
Тянется, костляво вскинув плечи,
К бесполезной матери своей.

24

Знаете, в поганейшем кошмаре
Мерзости подобной не видать!
Сколько надо горечи и гари,
Чтоб создать такую благодать!
Патер понял символ: то – Природа,
Жертва Злобных, но не мать Народа,
И последний должен голодать.

25

Он добавил, что «такой эмблеме»
Там взрасти, где «веры в бога нет»...
Помните, во флоте, было время,
Лекции читал один поэт?
И ему я показал в наброске
Женщину, и спрутов, и присоски;
Он нашел заманчивым сюжет;

26

Но сказал, что статуей такою
Только мир, пришедший на закат,
Сглоданный голодною тоскою,
Безнадёжно услаждает взгляд;
Что кроки такие и фигуры
Говорят о высоте культуры,
О кончине Эры говорят...

27

Но ушел я в сторону от сути.
Пиктограммы были в сундуке;
Верный способ: на квадратном футе
Всё сказать на общем языке.
Языки различны, мысль едина,
И чертеж, пропорция, картина
Мысль доверяют мраморной доске.

28

Помните иероглифы Китая,
Где «птица лотиком певал», –
Помните уроки Чи-О-Сая,
Наш экзамен, гордый Ваш провал?..
Мысль едина; в ней инварианты:
Вещь и акт, пигмеи и гиганты,
И всё то же солнце-идеал.

29

Пять веков спустя один ученый,
Математик, маг и звездочет,
«Сатанинским знаньем умудренный»,
Разгадал священный ребус тот;
И о том, что было дикой сказкой,
Автор-инка говорит с опаской,
А монах – монаший вздор несет.

30

Он ведь знает, что земля возникла
До Колумба за семь тысяч лет;
Здесь же – два процессионных цикла
Древний исчисляет мировед,
Здесь, в противоречьи Моисею,
Солнце дважды льнуло к Водолею,
Дважды был им звездный Лев согрет.

31

И к тому ж насчет народа «гралли»
Библия и богословы – пас;
И монах лишь в судовом журнале
Затаить отважился рассказ...
Повесть о Ромео и Джульетте
Прослыла печальнейшей на свете;
Но моя печальней во сто раз...

32

Не забавно ль? Точно смерть Кошеля:
Пруд, в нем утка, в ней яйцо, в яйце
Эта смерть. Так на моем плече я
Боль несу, замерзшую в ларце,
Спрятанную в пересказе инки
И, с монахом в робком поединке,
Крикнувшую миру о конце!..

33

Вам не скучно, друг мой? Потерпите.
Слушайте. Пятьсот веков назад
Жил народ. Он был в своем зените:
Просвещен, могуществен, богат.
Он летал – одним усилием воли,
Он держал природу на приколе:
За него работал «огнепад».

34

В точности: каскадо дэль фуэго
(«Кузня черта» – пояснил монах);
Хлеб, что ел он, был «белее снега»,
Возникая «сам собой в домах»;
Небо «никогда не затмевалось»;
Музыка «из воздуха рождалась»;
Но – «тоска жила во всех сердцах».

35

Узнаете? Радио и радий;
Явно – синтетический белок;
Атомы в обузданном распаде;
Обманувший тяготенья ток...
Мир, в котором мы б казались – дети,
Мир, вполне дозревший на планете,
Мир-старик. Точнее – старичок.

36

Он скучал. О, желтый бог Зевоты!
Перед ним клонились: «пощади!»
Всё дано, нет ни о чем заботы,
И – такая пустота в груди!
Каплями тягучими на темя
Ровное себя роняло время,
Обещая то же впереди.

37

По словам монаха, «чародеи
Воскрешали бывшее давно»,
Уводя в «зеркальные аллеи»
(Вероятно, стереокино);
Людям прививались «лихорадки»,
Чтобы время, в бредовом припадке,
Было по-иному смещено.

38

Но тянулась всё однообразней
Цепь веков. И в скуке расцвели
Пышные апофеозы казней;
Развлекались: распинали, жгли.
Но и в неизменность измененье
Входит. Поползло Обледененье
От обоих полюсов земли.

39

Смехом смерть бы встретить на пороге.
Скучно жить? Отрадно умирай!
Нет! Цеплялись эти полубоги
За бесплотный свой и пресный рай.
Ринулись они, тесня друг друга,
В зону зноя с севера и с юга
Черной бурей человеческих стай.

40

Стало тесно. Два «великих мага»,
Понтифексы «двух узлов земных»,
Где «гремела огненная влага»
(Два энергоцентра мировых?),
Друг на друга рухнули войною,
И она безжалостной волною
Их слизнула и народы их.

41

Волей магов через океаны
«Звезды мчались, развевая хвост»,
И разверзлись на земле вулканы,
И из них, «как из орлиных гнезд»,
Вылетали, множились, дробились,
Рвали мир и в прахе вновь плодились
Мириады смертоносных звезд.

42

Рдяный мрак, как власяница грубый,
Встал над миром – «смердная гроза»;
У людей «отламывались губы»
Сохлые и лопались глаза;
И слепцы ордою бесноватых
Лезли в горы «прикипеть на скалах»,
«Гроздий гнева тучная лоза».

43

Кое-кто «порывом воли» в воздух
Подымались – улететь во льды,
Кувыркались в падающих звездах,
«Сморщивались, как в огне плоды»;
У иных же воля вдруг слабела,
И со свистом вниз летело тело,
Жалкое подобие звезды.

44

И настал последний день, в который
«Треснула орехом» грудь земли,
И сползли в ее зиянье горы,
Пашни, грады, храмы и кремли.
И земля ликующею лавой
Кончила с людской, с бесславной славой,
Чтоб столетья «сами течь могли»!

45

И какой-то, может быть, последний,
Где-то затаившийся беглец,
Умирая среди полярных ледней,
Заносил над мрамором резец.
Говорит монах, что он как воин
Был настойчив, собран и спокоен,
Безысходный осознав конец;

46

Что фигуры на его пластинах
Были четки, точны и ясны,
Так что «мысль на крыльях лебединых
Воспаряла в божьи вышины»,
И что было это «завещанье
Никому» – «слезою покаянья
Над гробницей мировой весны».

47

Здорово? И если уж монаха
Так пробрало, то и мне не стыд,
Что струна отчаянья и страха
Десять лет в моей душе звенит.
Вдумайтесь, мой давний друг и милый,
В эти довременные могилы,
В мертвый мир, что в недрах мира скрыт!

48

Нет исхода. В райских пальмах скука.
Целей нет. Владает миром смерть.
Тизифоною несет наука
Огненных тифонов круговерть:
Раз – и нет! И начинай сначала!
Тот же кол и на колу мочала, –
И опять меняет звезды твердь!..

49

Вот и всё. Вот все мои заметки;
Пусть я их в тоске писал, в бреду,
Но – не как заморыш статуэтки –
Я от спрутов молока не жду!
Дьявольской игры не принимаю!
Я на смерть иду; зачем – не знаю,
Но спокойно – капитан! – иду...

6.IV.1944 – 21.III.1947

ЭФЕМЕРА

Поэмка мне приснилась
В книжечке записной,
Толстенькой и квадратной,
Величиной в ладонь,
И – странно – на обложке,
На голубой бумаге
Клочки зеркальной ф́ольги
Гнули лукавый блеск.

Ты помнишь: в «Дон Кихоте»
Рыцарь какой-то есть,
Чей панцирь был усеян
Луночками зеркал,
И карусели крутят
Зеркальные осколки –
Приклеенный к дельфинам
Слепящий пересверк.

Нелепо и прекрасно,
Игрою детских тайн,
В сплошной тяжелой плоти
Отверстыца в простор:
Сиянье, невесомость,
Воспоминанье светов,
В которых мы купались –
Души и мотыльки.

Поэмка мне приснилась...
Какой-то милый порт,
Тонкие стрелки моллов,
Выдвинутых в лазурь,
Белые канонерки,
И черные фелюги,
И яхта адмирала
С названьем «Эриклик».

И там, за третьим молотом,
У городской черты,
Вдоль набережной тихой
Вытянулся бульвар,
И белые постройки
Без всяких украшений,
И между ними домик
В зеленых жалюзи.

И там, в квартирке левой,
Три женщины живут,
Три очень молодые,
Дружные три сестры;
Одну зовут Людмилой,
Зовут вторую Ольгой,
А младшую – не помню,
Не помню, хоть убей.

У них в гостиной, знаю,
Пьянино у стены
И лаковые ширмы
В драконах золотых,
Китайские подносы,
И виды Фузи-Ямы,
И ноты на пьянино:
«Ля птит тонкинуаз».

Еще начало века;
Еще по вечерам
На стол приносят лампу
В матовом колпаке,
И граммофоны – редкость,
И про аэропланы
Только в журналах детских
Можно порой прочесть.

И всё же новой эрой
Веет сквозь жалюзи:

Боксерское восстание
Едва усмирено;
Поэт Валерий Брюсов
Поет про полдень Явы;
Тихого Океана
Муссоны дуют в Крым.

У трех сестер альбомы,
Открытки и фото –
Пять узких труб «Аскольда»,
«Варяг» и «Ретвизан»,
И мичманá в чеканных
Воротничках крахмальных,
И в кимоно павлиньих,
Куколками, мусмэ.

И пусть на Мартинике
Лавой сметен Сен-Пьер,
В купринском «Поединке»
Пусть гибнет Ромашов –
Прелестно утро века,
И нежен корилописис,
И ожиданье сладко
Уехавших мужей.

Милые три сестрицы
Живут одной семьей –
Насмешницы, певуны,
Охотницы болтать;
Их в городке не любят
За нрав и миловидность,
За то, что офицеры
У них весь день торчат.

Редко в Морском Собрании
Увидишь трех сестер;
Балы в Английском Клубе
Не очень манят их;

Зато в казармах флотских
На всех матросских елках
Они всегда готовы
«Русскую» отплясать.

У них за самоваром
Сборища мичманов;
«Сережи» и «Володи»
Конфеты носят им
И горечь дел служебных,
И кислоту романов
Вареньем из инжира
Привыкли заедать.

И даже младший флагман,
Сухой контр-адмирал,
Решается порою
«Зайти на огонек»,
В прихожей скинет кортик,
Поправит ус колючий
И выслушает кротко
Вопрос про ревматизм.

Их в городе не любят
За то, что любят их,
За то, что в их квартирке
Ни грана скуки нет,
За то, что отовсюду,
Из Мельбурна и Фриско
Приветственные письма
Им пишут моряки.

И в самом деле – трудно
Их объяснить успех:
Ну, юмор, ну, романсы,
Ну, острый язычок;
Начитаны не очень,
Умны не чрезвычайно,

Мужьям верны, как знамя,
Ужины – без вина...

И всё же их квартирка
У городской черты –
Оазис дружбы резвой,
Бездомных дум приют;
Им врождено уменье
В любой душе застылой
Найти струну живую
И тронуть ту струну.

Но всё должно свершиться,
Что век в себе таил:
Кровавый бред Артура,
Цусимы черный бред,
Потемкинская сага,
Святая клятва Шмидта,
Расстрел на Березани,
Столыпин и Азеф.

Людмилы муж повешен,
Муж Ольги утонул,
Муж третьей был в отряде
Карательном, палач,
И вскорости пристрелен
Мальчишкой-слесаренком,
А из друзей – десятки
Исчезли навсегда...

Поэмка мне приснилась
В книжечке записной,
Блестя зеркальной фольгой
С обложки голубой,
И я пошел далёко,
Туда – за мол, за третий,
И стукнул наудачу
В старые жалюзи.

Я был почти уверен,
Что никого там нет,
Что сорок лет уплыло,
Всё безнадежно смыв;
Что если мол изглодан
И мне шестой десяток,
То трех сестер наверно
Давно уж нет в живых.

Но тотчас дверь открылась,
Женщина смотрит в щель
(А трех сестер я в жизни
Не видел никогда):
«Людмила?» – «Здравствуй, Ёрик,
Входи!» – «А где же Ольга?» –
«И Ольга здесь». – «А третья?»
(Не вспомню, хоть убей!)

«Забыл? Ай, ай, как стыдно!
Да, нашей третьей нет:
Она тебя искала
По разным городам;
Но если ты приехал,
Она вернется тоже.
Идем. Устал с дороги?
Садись и отдохни».

И вот, сижу в качалке;
Готовит Ольга чай;
Лаком сияют ширмы
В драконах золотых;
Людмила мне смеется
Такая молодая,
Веселая такая:
«Какой ты стал седой!»

14.XI.1946

ДРАМАТИЧЕСКИЕ
ПОЭМЫ

САЛЬЕРИ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Кабинет.

Сальери.

Сальери (*рассматривая миниатюру*):

Вот – как живой он! Каждая черта
Тончайше выписана пряной кистью.
Взгляд беспредметный хризолитных глаз,
Рот фавна и девичий подбородок,
И медный нимб мечтающих кудрей.
И голова на золотистом фоне –
Лик Бальдера на пламени зари.
Искусный постарался живописец...
Поэт! Поэт! Манерный и условный,
Каким себе его толпа рисует.
А всё ж под этим округленным лбом –
Неисчерпаемая россыпь мысли,
Голконда красок! И в какие ритмы
Он замыкает звонкие слова!
И, как наследник царского богатства,
Что ни движеньем пальца не добыто, –
Он золото несчетно рассыпает.
Цветам, закатам, девушке влюбленной
Он слово низвергает Ниагарой, –
А каждая отдельная черта
Могла б великих оживить героев,
Могла бы взвить грохочущие толпы,
Расплющить в лист короны и тиары,
Могла бы прозвучать о судьбах мира,
О юности, о дряхлости земли.
Но что ему всё это? Как Исав,
Он расточает право первородства
За звонкие бубенчики певца,
Бродячего пустого менестреля...

Что мне? Ведь я, сознав пути и силы,
Ярму свою подставил шею. Стал я
Каменотесом непокорных слов.
Я выверил и вычеканил плиты,
Я рассчитал борьбу противовесов,
Я вычислил дугу подпружных арок, –
И циркулю доступны моему
Луксора груз и кружево Альгамбры.
Я прошагал по острым ступеням,
Что от Гомера возбегают к Данту,
От всех скорбей собрал драконьи зубы
И, душу взбороздив железным плугом,
Железные посеял семена.
И дали всход! Взросли мои когорты,
И их веду стеной несокрушимой
На приступ всех запретов и твердынь!
Кремль мои на высотах воздвиглись,
Послушно конунги мне присягнули,
И тога Цезаря мне суждена!
Но вот является певец беспечный,
Орфея правнук, и поет, как флейта,
И камни слушают! А я стою
Беспомощным царем Иерихона,
Внимая рокот иерейских труб.
Я не завидую. Я ненавижу.
Всё напряжение любви и воли
В бесплодную уходит пустоту.
Шатается самодержавье слова,
Подпорка за подпоркой упадет,
Доселе укрепленные везде, –
И в каждом друге прозреваю Брута...
Я предлагал ему дуумвират,
Я отдавал ему гегемонию,
Чтоб только он не отлетал в просторы
И лиру переплавил на кирку.
Но он лишь посмотрел как сквозь меня
И брызнул мне в лицо бездумным смехом:
«Зачем мне Академия и вечность?»

Я буду петь, а строить можешь ты».

О, ненавижу!

(Бросает миниатюру на пол и ударяет каблуком.)

Входит Изора.

Изора:

Здравствуйте, Сальери.

Сальери:

Изора, – вы? Я занят.

Изора:

Неужели?

Для знаменитого поэта, право,

В свирепых монологах упражняться –

Занятие не из совсем обычных.

Сальери:

Вы слышали?

Изора:

Последние слова.

Да на кого вы ополчились так?

Не критик ли обидел вас?

Сальери:

Изора!

Вы знаете, я не люблю...

Изора (*замечая миниатюру*):

Что это?

(Одновременно с Сальери наклоняется к миниатюре.)

Сальери:

Оставьте же!

Изора:

Сальери! Я – хочу!

Ах, вот кто это. Наш прекрасный Моцарт.

Так Моцарта вы проклинали? Да?

Сальери:

О нет. Ни на мгновение. За что?

Он друг мой. Он мой брат.

Изора:

Брат? Авель?

Что ж, – должен всё Сальери испытать,

Все драмы пережить, о коих в книгах
Рассказано. Ах, кстати: вы еще
Не знаете? Ведь Моцарт возвратился.

Сальери:

Вернулся? Моцарт? Да когда же?

Изора:

Нынче.

Я и несла вам радостную весть.

Сальери:

Проклятие!

Изора:

Сальери, объяснитесь.

Я вижу: ваша ярость не на шутку.

Но почему? Он пламенный поэт.

Его стихи и вашим не уступят.

Он так певуч! Так жарок! Так свободен!

Сальери:

Он сокрушает божество мое!

Изора:

А кто же это божество, Сальери?

Сальери:

Вы знаете.

Изора:

Но он усердный жрец.

Тогда как вы – лишь пастор. Да, да, да!

Вы холодны, как сталь. А он – улыбка.

Он – ландыш, иволга.

Сальери:

Изора!

Изора:

Что?

Сальери:

Да, он поэт. Но милостию Бога.

Тогда как я – поэт моею волей!

Что более достойно человека?

Он – выскочка. Без почвы, без корней.

Он промелькнет как метеор по небу,

Как зайчик по паркету. И не будет

Ни света, ни тепла. А мы должны

Себя собрать в один костер гигантский.
Мы огненным крещением ожечь
Должны весь мир, томительный и косный,
Должны расколдовать немую землю,
Вложить в уста ей огненосный гимн.
Уста ее – упорны. Шаг за шагом,
Карабкаясь и обрывая ногти,
Ее сухие губы разжимаем!
А Моцарт ваш. Свободный серафим!
Что расколдовывать ему? В просторах
Он плавает и песни о свободе
Ненужно льет обильною струей.
А люди! Вечные рабы! Как жадно
Они внимают песне о свободе
И тянутся за жалкой погремушкой!
И некому мне будет передать
Мой циркуль и отвес, мою работу,
И дивный храм останется в лесах!

Изора:

Вы тронули меня, Сальери. Я
От вас такой не ожидала страсти.
Я вижу: подлинно обожжены вы...
Заставьте Моцарта умолкнуть.

Сальери:

Как?
Он не творить не сможет.

Изора:

Так... убейте.

Сальери:

Убить? Как быстро это вы решили.
О нет, Изора, я не верю вам.
Вы Моцарта так любите. К тому же
У вас в глазах колеблется усмешка.

Изора:

Вы наблюдательны. Ну, хорошо.
Я буду с вами искренна, Сальери.
Не подобает мне лгать перед тем,
Кто... Мне чужда поэзии судьба.
Вы ль, Моцарт ли, ярмо, свобода, песни, –

Все умерли: Виргилий и Гомер,
Дант и Камознс, Шекспир и Фирдуси.
Но было время... Были вы со мной
Так беспощадны, как и со словами,
И я вам как слова повиновалась.
Но вы мне – никогда, нигде, ни в чем!
И, выпивши меня до дна, Сальери,
Вы бросили меня прочтенной книгой,
И многие ее с тех пор прочли.
И поклялась я раз, один лишь раз
По моему хотению в простор
Направить вас стрелой неоперенной!
Когда вы обольетесь некой кровью,
Она как плащ, сотканный Деянирой,
Прожжет вас до костей! Тогда, тогда
Я буду знать, что существует сила,
Кому и вы подвластны! Что, Сальери?
Мой вызов принимаете ли вы?
Здесь, в этой капсуле, одна лишь капля,
Но от нее гиена и король
Равно умрут. Возьмите. Бедный Моцарт
И вкуса-то изведать не успеет.
Что ж, вы берете?

Сальери:

Дайте.

Изора:

Вот, возьми.

И знай: теперь отомщена Изора!

Сальери:

Ты думаешь?

Изора:

Мы встретимся глазами

На похоронах Моцарта. Прощай.

(Уходит.)

Сальери:

Плывет корабль к привольным океанам,

И ракушкой тяжелой обрастает

В прозрачность вод опущенное дно...
Жизнь Моцарта – игральнице двух волей:
Полуслепое женского кипенья
И воли мира, явленной во мне.
Да будет так. Ты должен, Моцарт, смолкнуть.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Кабинет.

Сальери.

Сальери:

Сегодня бой. Бой на две стороны,
Решаемый единственным ударом.
Одна победа повлечет другую.
Разбей замок на своде, – рухнет свод;
Паденье Моцарта сметет Изору.
Сальери! Ныне, – ныне ты увидишь,
Что в алом горне гениальной воли
Расплавлена и колокола бронза,
И мечная безжалостная сталь.
Сальери! Ныне ты увидишь: гений
Есть луч, алмазный, хладный и бесцветный,
Но, пробегая в твердом веществе,
В сопротивленьи гранного кристалла, –
Развертывает радужный венец.
Хочу – поэт я, а хочу – я Цезарь,
И, отрешенный влагой Рубикона,
Как радостно в разбег волны вхожу!
Сегодня бой.

Стук в дверь.

Войдите. Моцарт, – ты?

Входит Моцарт.

Моцарт:

Не ожидал? Ну, рад тебя я видеть!
Сальери, милый, как ты постарел.

Сальери:

Ведь за сорок мне. Ну, а ты всё тот же,
Хоть мы ровесники.

Моцарт:

Ты шутишь. Разве
Мне тоже сорок? Мне ведь двадцать пять.
Нет, – восемнадцать!

Сальери:

О ребенок вечный!
Ты в легком челноке твоей мечты
Несешься по теченью лет. И волны,
Всё те же волны, что назад лет двадцать
Тебя подъяли, – зыблют и поныне,
И только пробегают берега.
А я стою на твердом берегу, –
И сколько вод уже промчалось мимо.
И седина вплетается в виски,
Да и в душе уже белеет проседь.
Да, ты всё тот же.

Моцарт:

Да и ты, Сальери.
Что старость? Надо быть как солнце. Ты же
Пылаешь как и встарь. Твои глаза
По-прежнему сверкают черной молнией.
А седина – пустое.

Сальери:

Может быть.

Моцарт:

Ты думаешь не так?

Сальери:

Нет. Седина –
Не пыль, осевшая под ветром лет,
А пот холодный тяжкого боренья,
Забот и мук.

Моцарт:

О чем тебе страдать?

Сальери:

Ты не поймешь.

Моцарт:

Я?

Сальери:

О! Когда б ты понял.
Когда б ты понял Цезаря, который
Упорно, шаг за шагом покоряет
Болота, скалы, колкие леса
И буйных конунгов смиряет, – годы,
Десятилетия. И вдруг... И вдруг,
Когда готов орел железный прыгнуть
И увенчать последние твердыни,
Там, в глубине, в тылу кипит восстанье,
И рушится недовершенный подвиг.

Моцарт:

Мне жаль его.

Сальери:

И только?

Моцарт:

Да. Не больше.
Зачем себя обременять заботой?
Зачем наваливать на плечи подвиг?
Не лучше ль ласточкою реять?

Сальери:

Так.
Не понял ты. Иное вот. Любовник,
Пылающий, упорный, непреклонный,
Всего себя сжигает на огне,
На всеожженьи ей. И близко счастье.

Моцарт:

Я рад.

Сальери:

А вдруг неведомое зло
Подтачивает сделанное. Вдруг
Вся радость и всё счастье достается
Залетному случайному продавцу,
А тот, а первый, – уничтожен. Что бы
Ты сделал?

Моцарт:

Я? Я б – заменил его!

Сальери:

Да, не понять тебе.

Моцарт:

Но что ты хочешь
Сказать всем этим?

Сальери:

Слушай же меня.
Внимательно! Не пророни ни слова!
Поэзия – в опасности.

Моцарт:

Да разве
Мы умерли?

Сальери:

Да, Моцарт: мы не живы.
Мы лишены наследника. И ты –
Понять ты должен. Гибнет наше дело.
Кому передадим свою любовь?
Кому передадим секреты песни?
Кого научим облекать в напевы
Весь хаос мира и души? Кого?
Кто после нас с такою же мечтою,
Неистребимую святой мечтою,
Повергнется в нагроможденья мира
Их переплавить в звонкие слова?
Развал и тлен пророчу я. Взгляни.
Взгляни провидцем. Видишь: эти люди,
Там, впереди, заморыши, слепцы, –
Они боятся звука и волненья.
Они, замкнувшись в тишине пустой,
Переставляют мертвые костяшки,
Как в домино. О, страшная игра!
Они, – о, слушай, Моцарт, – вытравливают
С пергаментов мои, твои напевы
И заполняют чистые пространства
Своей монашескою болтовней!
Ты чувствуешь этот холод, эту смерть?
Поэзии – не быть!

Моцарт:

Сальери! Страшно!

Сальери:

Да, страшно, Моцарт! Понял ты теперь?
Над пропастью стоим, и следом, следом,
Туда, в безмолвие, в небытие
Обрушимся!

Моцарт:

Но что же делать нам?

Сальери:

Нам надо строить. Помнишь, – я тогда
Взывал к тебе?

Моцарт:

Да, помню, помню. Что же,
Ты знаешь: – глупый я. Вот и не понял.
Теперь же вижу. Будем строить, будем.

Сальери:

Ты должен мне помочь. Скажи мне, Моцарт,
Скажи с такой же силой, как поешь,
Скажи, что ты поможешь!

Моцарт:

О Сальери!
Ты всколыхнул меня. Я твой! Твой раб!
Что должен делать я?

Сальери:

Ты знаешь, Моцарт,
Как я люблю тебя?

Моцарт:

Да.

Сальери:

Знаешь ты,
Что лишь поэзию люблю я больше?

Моцарт:

Я знаю.

Сальери:

Ну а ты? Ты столь же любишь
Поэзию?

Моцарт:

Да! Да!

Сальери:

Ты бы обрек
Себя изгнанию за нее?

Моцарт:

С восторгом!

Сальери:

А разлучился бы с любимой?

Моцарт:

Да!

Сальери:

А самого себя принес бы в жертву?
Под нож, на казнь пошел бы?

Моцарт:

О Сальери!
Мне жутко... Да! Коль нужно, – да!

Сальери:

Так знай,
Так знай же то, что ты всему виною!
Что каждый твой напев – удар лопаты
В кладбищенскую землю! Знай же ты,
Ты, гений, залетевший ниоткуда,
Ты, божество над серым земным прахом,
Что дивные твои напевы – вздох,
Вздох ветерка, вскрик иволги лесной,
Что, внемля им, мы застываем чудно
И, упоив себя блаженством кратким,
Томимся по свободному полету
И вспоминаем, вспоминаем звуки,
Отравленные ими навсегда.
Вся сила, вся любовь в глазах раскрытых
Мяется беглым пламенем и мчится
Куда-то за пределы, в небывлое,
И невозделанная спит земля!
Не вовремя пришел ты: слишком рано.
Дай силу нам самим воздвигнуть трон
На высотах, доселе недоступных, –
И я клянусь, о Моцарт: зазвучат
Твои невоплотимые напевы
В веках грядущих неизбывным гудом!

Теперь же, Моцарт, слышишь ты: теперь
Ты должен смолкнуть, удалиться! Моцарт:
Ты должен – умереть!

Моцарт:

Сальери, – нет!

Сальери:

Ты должен! Более ни слова.

Моцарт:

Боже!

А солнце?

Сальери:

А поэзия?

Моцарт:

А счастье?

Сальери:

Нет счастья выше, чем предрешено
Тебе моим веленьем. Моцарт, Моцарт!
Как сладко умереть за то, что любишь!
Но ты колеблешься? Я заклинаю,
Я требую: ты должен умереть!

Моцарт:

Я не могу, нет!

Сальери:

Можешь, Моцарт, можешь!
Подумай, – нет: почувствуй полноту
Последней жертвы. О! В предельный миг
Каким великим будешь ты поэтом, –
И я завидую тебе, свершенью
Столь дивному завидую! О, если б
Я был тобой! Я кровь за каплей капля
Поисточил бы в сладких содроганьях!
Я захлебнулся б яростным восторгом!

Моцарт:

Сальери, правда?

Сальери:

Правда, правда, Моцарт!
Ты сделаешь, – я убежден. О! Вижу,
Как ты с твоим величественным лбом,
С глазами, фосфористыми как Вега,

Взойдешь на кострище. Ты феникс, Моцарт!
Свершаются предания времен!
Мы видим древние легенды въяве!
Ты – феникс! Стань же на мгновенье пеплом,
Чтоб вновь зардеть, – неугасим навек!
Возьми!

(Протягивает ему яд.)

Возьми причастие твое,
Причастие великого поэта.
Теперь иди. Да не угаснет пламя,
Здесь вспыхнувшее. Верю я! О друг!
Я в прах прострусь перед твоею жертвой!
Мой Моцарт спас поэзию! Иди.

Моцарт:

Прощай, Сальери. Ты умней меня.
Ты знаешь. Я иду. Прощай Сальери.

(Уходит.)

Сальери:

Я спас поэзию! Я! Слава силе!
Я волю Моцарта сопряг в клинок,
В стальной клинок и твердою рукою
Переломил его. Он убежден.
Я не убил. Ошиблась ты, Изора.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Кабинет.

Сальери.

Сальери:

Он умер. Телом. Отшумят года.
Золой подернется блестящий уголь,
Не обогреет зябнущих ладоней, –
И отойдет надменная толпа.
Тут и душою расточится Моцарт.
Поэт – как луч. В зеркальногранном зале,

Дробясь и отражаясь перекрестно,
Вдруг нарастает световой лавиной.
А вынуть несколько зеркал, – и тускло
Потонет луч в омшелой штукатурке...
Тогда лишь мне из памяти исторгнуть
Нашепты сладких Моцартовых песен, –
И явлено владычество мое.
Бедняга Моцарт. Ныне понимаю,
Что подлинно его любил я. Правда,
Когда бы он не внял моим словам,
То всё же я рукой окостенелой
Отраву всыпал бы в его бокал.
Кто императором быть обречен,
В том твердый должен быть воспитан ликтор:
Венечный лавр надменно прорастает
Из грубого топорьего древка.
Но если убеждение толпы
Слагается алтарным обелиском, –
Венечный лавр венчает нерушимо
Его остроконечную главу.
И Моцарт был его последним камнем.

Входит Изора.

Изора:

Сальери! Как случилось то, что Моцарт
Своей рукой себе закрыл глаза?
Сальери! Как вам удалось подвигнуть
Его на это злое преступленье?
Как вы сумели вновь остаться чистым,
Не омывая обгаренных рук?

Сальери:

Вы знаете, Изора. Доказал я
Ему необходимость отречения.

Изора:

Вы доказали? Боже, Боже мой!
Да разве можно доказать, что смерть
Прекраснее, – и доказать кому же?
Тому, кто сам – весь солнце, жизнь и песня?

Сальери:

Да, можно. Это видите вы ныне.

Изора:

О, для чего вы не убили сами?
Зачем такую демонской насмешкой
Ударили вы Моцарта в лицо?

Сальери:

Затем, Изора, что повинен я
Был испытать на огненном плавиле
Достоинство моей заветной мысли
И, доказуя Моцарту, – себе
Ее доказывал я.

Изора:

О, тогда...
Тогда я умоляю вас, Сальери:
Мне докажите вы, что боль моя,
Моя незаживляемая рана –
Лишь бред ночной, пустое содроганье.
Над хаосом смятенной темноты,
Над мутной бурей пораженной воли
Пролейте блеск отчетливого полдня,
Прямоугольной льдиной твердой мысли
Сдавите воспаленную тоску.
Вы можете, – так вы сказали сами.
Вы сокрушили Моцартово солнце,
Вы втиснули в короткий, в плоский гроб
Каскада рушенья и дрожь вулкана, –
Так вот вам малое больное сердце, –
Его сожмите в непреклонной длани
И осмолите в мумию его!

Сальери:

Мне то не надобно, Изора. Я
Не шевельну рукой, когда не вижу
В чем пользы для моих трудов.

Изора:

А вы?
Вам, вам не должно ли вновь утвердиться
В сознании своей бескрайней власти?
Не нудит ли вас жадное желанье

Меня как встарь безвольно простереть?
Что скажете вы, Цезарь?

Сальери:

Нет, Изора.
Не должно утверждаться мне. Желанье
Вас простереть – мне чуждо; навсегда.

Изора:

Сальери, – лжете вы! Своим чутьем,
Не знанием, – чутьем, чутьем звериным,
Предчувствуешь ты поражение здесь!
Нет силы, угашающей привольно
Гнет и тоску раздавленной любви.
Нет силы, оскопляющей живое
Размеренностью шахматных квадратов,
И Моцарта – нет! – ты не победил.

Сальери:

Вчера мы Моцарта похоронили.

Изора:

Его околдовал ты и не боле.
Его ты окружил оцепененьем,
Тенетами твоих уловок низких,
Гипнозом злым твоих гиенных слов.
Но лишь уснула Моцартова жизнь,
И, умирая, сохранил он – знай –
Властительными все свои напевы.
Ты в том уверишься, когда еще
Тебе неведомо. Сальери! Цезарь!
(Указывая на бюст Цезаря.)
Смотри, какой холодною усмешкой
Изрезалось его лицо. И годы
Он смотрит так на жалкого безумца,
Что мнит себя державцем и владыкой...
Слова мои ты сам произнесешь!

(Уходит.)

Сальери:

Бессильная пустая вспышка. Гнев
Неоправдавшихся надежд клокочет.

Что мне? А несколько поэм суровых
Я всё же выплавлю из этой бури.
Когда-то наша острая любовь
В ее весне и также в увяданьи
Мне помогла создать стихи; теперь
Мне в том поможет ненависть Изоры...

(Берет со стола связку рукописей.)

Бумаги Моцарта. Прислал их мне.
Посмотрим. Многое мне неизвестно.
Вот новая тетрадь; опять стихи
О древнем солнце; о горах; о море;
Преданья островов; опять любовь;
Вот песни паруса; вот гимн свободе.
А это что? О! Реквием? Когда?
За час до смерти! Неужели? Моцарт!

(Читает вновь и вновь.)

О, вот когда!.. Права, права Изора.
Ты, Моцарт, отомстил мне, сам не зная.
В последний час одной чертой пера
Ты сокрушил воздвигнутое зданье,
Ты сотворил сладчайшую из песен,
Последний и призывнейший полет!
О, неужели я повергнут? – Нет!
О, неужели я убийца? – Нет!
Но он разбил строй убеждений твердых,
Он стер алмазной воли острие.
Поэзия! Со мной ли ты? С тобою ль
Вся жизнь моя, моя любовь и вера?
О Моцарт! Не могу! Я должен верить,
Я должен, должен! Верю! Божество.
Доселе я тебе служил как раб,
Я отлучил всю жизнь мою во славу,
Поэзия, твою! И ныне я
Возьму на плечи бремена иные!
Я создан быть подножием твоим,

Поэзия. Им буду! Пусть как труп
Я холоден, пусть мертв! Пусть я убийца!
Не отрекаюсь, принимаю всё.
Ты не восторжествуешь, Моцарт, нет!
Я угашу в себе твою победу,
Я скрою окровавленную тайну,
Я душу дам ее клыкам сдавить,
И да немотствуют ее признанья!

(Бросает рукописи в камин.)

Пылай, наследье Моцарта, пылай!
Легчайшим в небе поразвейся дымом!
Здесь, пред костром великого певца
Я возношу гигантское моление,
Здесь я закалываю сам себя,
И этим жив и вновь несокрушим я.
Крепись, молчи. Работа предстоит,
Великая, священная работа!
Пролейся в грудь мне яростное пламя,
Сожги меня неистошимой болью!
Твоим я жаром раскалю металлы
И выкую поэзии венец!
И в дали вековой восстанет гений,
Поэт последний и его наденет,
И повторят мое потомки имя,
Предтечею великим назовут.
Мне совершителем быть не дано.
Безмерен гнет. Но твердо принимаю.
Сквозь ужас мой, мою тоску, сквозь бред,
Поэзия, твой путь тебе проложен!
Предтеча я. – И да грядет Поэт!

*Октябрь 1918
Харьков*

НЕЧАЕВ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Канцелярия Алексеевского рavelина.

Комендант и инспектор от Третьего Отделения просматривают списки заключенных.

Инспектор:

Так, так, прекрасно. Ну, а этот как,
Которого в Женеве изловили?

Комендант:

Нечаев?

Инспектор:

Да.

Комендант:

Давно уже смирился.
Евангелье читает.

Инспектор:

Пишет?

Комендант:

Нет,
И грифеля уж года три не просит.

Инспектор:

Не тронулся?

Комендант:

Нет, ясного ума.

Инспектор:

И ничего? Побега не готовит?

Комендант:

Побега? Нет, куда! Совсем ослаб.
Его и под замком держать не стоит.

Инспектор:

10 И то. Ведь девять лет почти сидит он, –
Смиришься. А ведь парень боевой.
Так, значит, безопасен?

Комендант:

Да, вполне!

Инспектор:

Ну, так и шефу завтра доложу –
Доволен будет: сам ведь государь
Интересуется: как, что Нечаев?..

СЦЕНА ВТОРАЯ

Каземат.

Нечаев.

Нечаев:

Сегодня девять лет, как я вошел
В кирпичный этот куб. Да, девять лет.
Приятный день рождения... день смерти!
Нет, я прочнее, чем библейский Лазарь:
20 Тот на четвертый день уже смердел,
А я как мумия: ссыхаюсь только,
И никакого мне Христа не надо,
Чтобы отсюда выйти. Сам скажу
Себе, как будет срок: Сергей, изыди!
Лишь набежит давно решенный день.
Жду девять лет, и скоро, скоро грянет.
Вот зрелище: царь брошен в каземат,
Вот в этот, и по острию кинжала,
30 Что будет щекотать ему затылок,
Мое, как ток по проволке, веленье
В него польется и застынет в подпись
Под манифестом о земле и воле.
Эх, сколько времени пропало даром
С хождением в народ и в заговорах.
Забыли мы, что у России царской
Одна лишь шея – царская; что стоит
Ее свернуть – восторжествуем мы.
И пусть-ка попытаются дворяне
От Александровой отречься шеи,
40 Пусть попытаются. Ого! Народ –
Его лишь раскатать, – а там пойдет,

Покатится, – а там кровавой спайкой
 В борьбе затвердеет. Пугачевы
 Размножатся: пугачьею начинкой
 В России каждая изба богата –
 Лишь золотою грамотой надрезать.
 Вторая смута, да погорше той.
 И дать лишь изойти кровавой пеной,
 Дать выкипеть, перебурлить, осесть,
 А там – помалу, тихо, полегоньку,
 По волокну крепить веревку, вожжи
 Натягивать всё туже – и галоп
 Невзнузданный перевести в спокойный
 Торжественный и выровненный шаг...
 О, поскорей!.. Жди, жди, Нечаев: скоро!
 Ждал девять лет – шесть месяцев стерпи...
 Не чаете, какой кометой красной
 На вашу землю налетит Нечаев!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Двор Алексеевского рavelина.

Двое солдат.

Первый:

Сейчас сменился?

Второй:

Да, иду обедать.

1-й:

60 Пан что-нибудь сказал?

2-й:

Нет, ничего.

1-й:

Ну, а когда же дело будет?

2-й:

Скоро.

Десятники вчера уже приказ

От Пана получили, да скрывают
До времени, чтоб толков не пошло.

1-й:

А знаешь, брат: не верится мне что-то.

2-й:

И мне не верилось, как первый день
Пан через двери каземата мне
Про хитрую механику-то всю
Рассказывал, а как дошел, как понял –
Уверовал!

70

1-й:

Уверовал и я,
А всё ж не верится: удача, значит,
Неверная.

2-й:

Дурак! С таким, как Пан,
Не пропадем. Ведь он весь рavelин
И крепость всю получше коменданта
Узнал, из камеры не выходя.
Всех часовых своих он просветил;
Никто не передался, не продался.
Дубровин вот, старшой по караулу,
Уж он семь лет как с Паном заодно.
Нет, брат, поверь: всё как по маслу будет.

80

1-й:

Ох, не сносить нам головы.

2-й:

Ну, слушай!
Сносить аль не сносить – всё воля Божья.
А если струсишь и продашься – знай:
Тогда уж не сносить наверняка,
Христом тебе клянусь...

1-й:

Да нет, я – что?

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Каземат.

Нечаев просыпается.

Нечаев:

Да, сон... Нехорошо! С собой заняться
Пора тебе, Сергей. В четвертый раз,
В четвертый раз всё тот же бред приходит,
В четвертый раз... Иль над собою ты
90 Уж не хозяин? Или в девять лет
Ты не до дна свои повыскреб язвы,
Что волю разъедали? Как попал ты
Сюда вот, в крепость эту, над которой
Мундиры-то лазурные трясутся,
Как поп над дароносицей, – с тех пор
Не вырывал ли ты ежеминутно,
Как говорится в этой глупой книге,
За глазом глаз, в соблазны устремленный?
Соблазнов много. То свободы надо,
100 То неба, то крахмальную манишку,
А то вот женские трясутся груди
Перед глазами. Всё преодолел ты.
В колодку шею защемил, глаза
Зажал в наглазники: гляди прямее.
Уж засадили, сберегли, так ладно:
Все причаститесь мною, все. Но что же
В глазах опять вместо великой цели
Томительное марево пестрит?
Нехорошо, нет... О, проклятый сон.
110 Он кровь повытеснил из жил моих,
Он молоком, он ртутью их наполнил.
Ух, тяжело! Как было? Солнце, площадь
И место лобное. Вокруг толпа
Меня кольцом обстала, затеснила
И руки тянет, просит. И машина
Возле меня гудит. И вверх и вниз,
Стрекоча и жужжа, ножи кружатся

Зеркальные, всю площадь отражая,
Толпу, и солнце, и меня. Нож вниз –
120 В нем ноги; вверх – лишь головы мелькают,
Вытягиваясь, плющась. Ленты, ленты
Бумаги пестрой тянутся. Ножи
Ее кромсают. Вороха ее
Летят ко мне. Хватаю, рву, сую
За пазуху, в карманы. Пухлой грудой
Наваливаю на плечи. Нет мочи,
Бумага давит, а ножи жужжат,
И ленты выются, выются. Я бегу,
130 В толпу врезаюсь и кричу: берите!
И точно в вату голос мой уходит.
Охапками разбрасываю пачки –
Толпа недвижна, ни одна рука
Не простирается. Бросаюсь дальше,
Перебегаю улицы, мосты,
Бегу к церквам, в притоны, на базары,
Разбрасываю, а гора растет
И давит, душит, и под резким ветром
Разносятся бумажки снегом красным,
Но ни одна душа их не берет,
140 И даже нищие не поднимают...
И вижу: патриарх снует в толпе,
Шныряет, точно крыса, мелко-мелко
Шажки нанизывает, что-то шепчет,
Бормочет, как зерно сухое сыплет.
Бегу к нему, сдираю омофор,
Сбиваю с ног, и бритва вот в руке –
И полоснул его по ребрам. Кожа
Так и разъехалась. А крови нет,
И мяса нет, и в ране снова кожа
150 Бескровная, картонная белеет.
И просыпаюсь всё на том же месте,
И сердце расплзается в мурашках...
Проклятый сон! В четвертый раз всё то же.
О! Никогда в такой зыбучей скверне
Я не барахтался, таким бессильем
Я опеленут не был. Точно в гипс

Или в раствор квасцовый погружаюсь,
И воля сморщивается моя...
Теперь!.. Когда так мало ждать осталось!..

СЦЕНА ПЯТАЯ

Каземат.

Нечаев.

Нечаев:

160 Уж десять. Царь приедет через час.
Еще лишь час – и вся Россия наша!
О! Заострились эти девять лет,
Стилетом выплавились острожалым.
Стальной паутинкою вопьется
Мое страданье в мозжечок царя!
Проверить надо. Десять человек
К воротам: вход и выход заградить;
Там, в каземате можно отсидеться
От целого полка. Еще десяток
170 Вдоль стен дозором, чтоб никто не мог
Ни знак подать, ни кинуться в канал.
Десяток переколет коменданта
И штаб. Десяток в барабаны грянет,
Чтоб в городе стрельбы не услышали.
В почетном карауле наших двадцать,
Все превосходно вооружены,
А у других патроны холостые.
И три десятка штурмом на собор.
Сам поведу! И Александра – в цепи!
180 И с топором над головой его
Мою России продиктую волю.
Ох, мало нас. А впрочем, пусть. Солдаты
Пойдут как стадо за моим мундиром,
Особенно когда моих бойцов
Цементом в них вольется кадр упорный.
Стой! Если кто-нибудь из свиты – вдруг
Поймет в чем дело и, чтоб сразу выбить

190 Из рук моих оружие и Россию
Дворянскую спасти от мужика, –
Царя собственноручно в суматохе
Пристрелит?.. Кончено! И в Петербурге
Уж новый царь железным задом сядет
Стране на грудь... Пустое, ничего.
Не догадаются иль просто струсят.
Еще лишь час, и все они мои:
Царь и помещики. Всё, всё гнездо
Осиное накрою сеткой тяжкой...
Еще лишь час! О! Целый час еще.

За дверью раздается шум: смена часового. Когда шаги разводящего
стихают, часовой осторожно стучит в окошечко.

(Подбегает к двери.)

200 Ну что? Все на местах? Сигнал дадут?
Прекрасно, молодцы. Принес что надо?
Давай скорей. Всего лишь полчаса.
Кто в карауле? Подменил патроны?
Прекрасно. Ну, давай, давай скорей.

Часовой просовывает в окошечко несколько пакетов.

*(Развертывает их, достает бритвенный прибор, зеркальце и садит-
ся к столу. Сбривает бороду.)*

За девять лет впервые нынче вижу
Свое лицо. Да, сильно исхудал,
А изменился мало. Впрочем, к черту:
Об этом думать! Так, помолодел.
Теперь усы нафабрить. Пусть солдаты
Подумают: ай бравый генерал!

*(Чернит усы и закручивает кверху. Достает из тюфяка фантасти-
ческий красный мундир с золотыми эполетами, блестящие клеенча-
тые голенища и шпоры. Одевается.)*

210 Стрельба пойдет, и слов не слышно будет,
А в этом клоунском наряде всякий

Меня увидит и заметит жест.
Жаль, что кольчуги не пришлось достать:
Еще уложит кто-нибудь с размаху.
Ай! Не подумал! Ведь из алтаря
Есть выход. Чуть задержимся у двери,
И шум подымет, как Александр
Поймет, в чем дело, и в алтарь метнется.
А там – лови! Что ж это? Не подумал.
(Подбегает к двери.)

220 Эй, Ковальчук, послушай, Ковальчук.
Да замолчи! Как выпустишь, тотчас же
Что духу есть беги к собору. Знаешь,
Где выход там из алтаря? Заляг
И жди. На случай, – выйдет Александр, –
Хватай, а в крайности приколешь. Понял?
Последний мой резерв... А шпоры! Черт,
Не надеваются. Ну ладно, пусть.
Еще споткнешься. Вот, готово. Ну,
Еще минут пятнадцать. Жди, Нечаев.
230 Всё, кажется, обдуманно.

Раздается шум, поспешные шаги, тревожные возгласы, выстрел.
Шум близится.

Что это?

Часовой стучит в окошечко и что-то кричит.

Что? Неужели? Предали? Открой.
Скорей открой! Еще не всё пропало.
Да отпирай же, отпирай скорей,
Открой, изменник! Что? Царь не придет?
А, не придет. Значит, рухнуло...
Предупредили...
Погибло девять лет. Погибло. Девять
Ужасных лет, нечеловеческих.
Довольно. Всё раздавят в мелкий порох.
240 Сначала начинай. А жизнь исходит
Кровавым кашлем. Не хватает жизни,
Нет, не хватает, нет... Изобретай!

Изобретай, чтобы через неделю
Мог на своем поставить непременно,
Иначе не успеть! Да думай же,
Измысливай! Пусть череп разлетится –
Додумайся! А мозг – точно картонный...
Ничтожество! Шут, ряженный! Нафабрил
Усы, ботфорты натянул! Фельдмаршал!
250 Сейчас войдут трясущиеся, злые
И сквозь гримасу злобы хохот выжмут...
Хе! Масленица!..

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Конспиративная квартира.

Народовольцы.

Первый:

Итак, пред Комитетом две задачи.
На выбор. Можем мы направить силы
На выполнение цареубийства –
Еще одну попытку сделать. Можем
Освободить Нечаева. Решайте.

Второй:

И то и то, конечно. Что за выбор?
260 Мы окончательно должны наладить
Цареубийство. Колебаний нет.
Но прежде чем топор крестьянской кары
Вонзится в Александра, – светлый долг,
Товарищеский долг Народной Воли
Нечаева – освободить.

Многие:

Конечно.

Первый:

Я то же думаю. К тому ж Нечаев
Сумеет стать прямым вождем народным,
Сумеет всё наладить и поставить:
У дела будет голова. Итак,
Пусть Тихомиров теплое письмо

Сегодня же Нечаеву напишет –
Связь установим. А освободим –
Всё без запинки тронется у нас.
Нечаев на свободе – Александру
В могилу лечь придется. Тихомиров,
Так не откладывай, пиши.

Тихомиров:

Сейчас.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Комната.

Тихомиров.

Тихомиров:

Сказал Желябов: теплое письмо.

Им хорошо, а я давно остыл.

Вот и измысливай... назвался груздем...

Ну, что бы «теплое»? Сказать, пожалуй,

Что мы на всё отважны для него:

На труд, на риск, на жертвы... Слабо, мало.

Подумает: опомнились когда.

Нет, надо написать, что мы готовы

То, для чего и существуем мы, –

Цареубийство, – отложить на время,

Лишь бы Нечаева освободить.

Да, да. Так будет хорошо. Пишу.

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Тот же каземат.

Нечаев.

Нечаев:

Мучительное предложенье. Выбор

Еще мучительнее. Смерть... Свобода...

290 Народный вождь... О да! Они сумеют
Преодолеть Неву и казематы.
Но сколько силы расточится, сколько
Поглотят жертв жандармы Александра.
Очутимся как рыба на песке,
Не в меру обдышавшаяся. Нет,
Рискованно. Не вижу проку, смысла.
Да, выйду, – вместо легких струп кровавый,
И в сутки сплю четырнадцать часов.
Народный вождь! Ну, а падут десятки,
300 И Александр спокойно, безопасно
Картавить будет на балах, а ночью
Подписывать на шелковой бумаге
За приговором приговор. Нет, нет!
Не для того я десять лет сгнивал
Здесь в каземате, нет, не для того.
А если я останусь здесь, не выйду,
Их жизнь к моей судьбе не прикую –
Развязаны им руки, и лавиной
Они обрушатся на Александра...
310 О, я мечтал о сладостной минуте,
Когда он будет у меня в руках!
Настало время, и могу направить
Ему кинжал свободы прямо в сердце!
Так, решено, здесь остаюсь! Не выйду!
Мечта всей жизни – исполняется!

(Набрасывает на листке несколько строк и просовывает записку часовому.)

320 Ответ!.. Да, кто бы, кто бы мог подумать,
Что я скажу себе: Сергей, изыди!
Себя навеки здесь замуравав...
Острейший миг осуществленной воли!
По-моему! Ты гибнешь, Александр!

*IX.1919 – IV.1920
Севастополь – Одесса*

1871
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ В СТИХАХ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Рабочий кабачок.

Морис, в костюме национального гвардейца; *Антон*; *Ив*.

17 марта 1871 г.

Морис:

Войне – конец! Мы подписали мир.
Пять миллиардов золотом и земли
На север от Вогезов. И в залог –
Вся Франция. Пощечина народу!
Республика потребует бинтов,
Что завалились в лазаретах наших, –
Чтоб краску от пощечины прикрыть.
Четыре года прусские ботфорты
Утаптывать луга Луары будут.
Четыре года пламена вагранок
В Крезе и Бресте будут золотить
Коричневые бороды баварцев.
Издохшая империя плевком
Чахоточным нас всех благословила, –
Барахтайся в мокроте!..

Антон:

Что же делать?
Бессильны мы.

Ив:

Так надо было раньше
Мир заключать – еще при Сен-Прива.
Париж взят не был. Армия Базена
Была нетронута, и Бисмарк трусил
Народного восстанья... Так вот нет!
Банкирская республика хотела
Всей Франции перешибить хребет.

Пять миллиардов золотом! Заем!
Народ – плати! Выплачивай весь долг,
Проценты и проценты на проценты.
Жюль Фавру хорошо. Поплакал только
У Бисмарка на ожирелой шее.
А мы! Пять миллиардов! Это значит
Лет пятьдесят рабочей нищеты.
Страна больницей станет. Станут пашни
Кладбищами... Три поколения скрючат
Английская болезнь, пока заплатим
Мы этот долг... Не сургучом, а кровью
Тьер припечатал мирный договор.

Антон:

Зачем так мрачно. Выживем. Впервые ль?
И Франция, увидишь, расцветет.

Ив:

Да? Франция? Бухгалтерские книги
Разбухнут – это верно.

Морис:

Боже, Боже!
Так, значит, погибли мы за то,
Чтоб вместо шайки Бонапарта нас
Терзала шайка Тьера и банкиров?
Нет, этому не быть!

Антон:

Опять война?

Ив:

Опять! Гражданская! У нас на горле
Остался след от пальцев Бонапарта,
И лапа Тьера в линию придется
К их отпечатку.

Морис:

Не дадимся, нет!

Ив:

Война! Они предчувствуют ее.
Недаром Тьер у Бисмарка добился,
Чтоб армию охраны увеличить
В четыре раза. Это – заговор,
Союз акул французских и немецких.

Морис:

А гвардию народную, заметь,
Расформировывают понемногу
И, кажется, решили отобрать
Те пушки, что мы отлили к осаде.

Ив:

Как? Эти пушки? Наши пушки? Нет!
Подавятся!

Антон:

Идем-ка по домам.

Морис:

Спешишь домой? Ну что ж, иди. А я –
В комендатуру: мне дежурить нынче.

Ив:

Я тоже к вам приду через часок.

Морис:

Буфетчик, сколько с нас?
(*Расплачивается.*)

Ив:

Да, пахнет кровью.
Ну да посмотрим, кто кого. Довольно.
Последний бой, решительный...

Антон:

Идем.

Уходят.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Комната.

У детской кроватки дремлет *Луиза*. Входит *Ив*.

Ив:

Луиза, отчего ты не в постели?

Луиза:

Как хорошо, что ты пришел.

Ив:

А что?
Случилось что?

Луиза:

Нет. Грозный сон мне снился.
Ты помнишь, мы у русской эмигрантки
Икону видели? Там Богоматерь
Написана была?

Ив:

Да, помню.

Луиза:

Вот, –
Тогда ее охряное лицо
И черные провалы глаз запали
Мне крепко в память... Снится мне: стою я
На берегу реки. А за рекой
Закат невыносимый хлещет в небо,
И Богоматерь в аспидном плаще,
Под ним скрывая наглухо младенца,
Над пламенем кипящим возлетает.
Внезапный вихрь распаивает плащ,
Соскальзывает он, – младенец виден,
И это – слушай! не ее Христос,
А мой Исидор!.. Я бегу к реке,
Вброд не решаюсь, стираю руки,
Рыдаю, – а она, а Богоматерь
Запахивает с сердцем плащ и, круто
Вдруг обратясь, уносится в закат...
Я ринулась, проснувшись, к колыбели.
Спокойно всё. Ребенок ровно дышит,
И все-таки я всей душою знаю:
Недолго жить ему...

Ив:

Ну, полно, полно.
Зачем ты плачешь, – мало ли что снится?
Не надо было так глаза таращить
На ту икону. Эти штуки вечно
Расстраивают нервы.

Луиза:

Замолчи!

Не богохульствуй! Бог нас покарает!

Я знаю вас: безбожники вы все,

Строптивые!.. Недаром эту зиму

Нас холод мучил, пушки нас громили,

И днями мы в очередях стояли

У лживых вывесок и у правдивых

Опустошенных полок. Наш кюрэ

Всё объяснил мне: это Божья кара.

Ив:

Вот как? Пожалуй. Только стыдно Богу

С пруссаками союзы заключать.

А? Как ты думаешь?

Луиза:

Молчи, молчи!

Нас пощади, когда себя не жаль!

Ив:

Ну, будет... Положи мне в сумку хлеба.

Луиза:

Куда-нибудь идешь?

Ив:

Да, нынче ночью

Мне надо быть с товарищами вместе:

Тьер зарится на наши пушки.

Луиза:

Ты...

Тебе какое дело?!

Ив:

Ловко! Значит,

Нас будут грабить, а мы ручки сложим:

Пожалуйста! старайтесь, господа!

Луиза:

Тебе какое дело? Пусть другие

Заботятся... Ведь у тебя семья...

Стук в окно.

Голос:

Ив дома?

Луиза:

Ива нет.

Ив:

Не лги! Я дома,

В чем дело?

Голос:

Поспеси в комендатуру.

Там весь квартал. Пришли солдаты. Пушки

Хотят забрать.

Ив:

Иду.

Луиза:

Не смей, не смей!

Я не пущу тебя!

(Загсраживает дверь.)

Ив:

Так я в окно.

(Делает вид, что открывает окно.)

Луиза *(бросается к нему)*:

Ив, умоляю, не ходи!

Ив увертывается и выбегает в дверь.

Ив *(исчезая)*:

Я скоро.

Вернусь, не беспокойся.

Луиза:

Боже, Боже!

Ушел! Исидор! Нас отец не любит,

Нас не жалеет! Прокляты вы будьте,

Бунтовщики!..

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Ночь. Улица.

Толпа рабочих, женщин. Солдаты.

Рабочий:

Не стыдно вам? Небось так на пруссаков
Не напали.

Солдат:

Что ж – приказ начальства.

2-й рабочий:

А голова на что? Понять не можешь,
Что если на народ твоё начальство
Замахивается, так должен ты...

Сержант:

При чем народ? Мы немцам обещали
Сдать артиллерию.

3-й рабочий:

Не ври, сержант.
Народных пушек вы не обещали,
Одни казенные.

Сержант:

А эти?

3-й рабочий:

Наши!
Из наших медяков голодных мы
Их отливали.

Сержант:

Будто генералы
Не знают, что им делать?

Старик-рабочий:

Черт возьми!
Забыл июль сорок восьмого года?
Вот, щупай шрам на лысине. Зарубка –
От генералов память. Неужели
Теперь, чрез двадцать лет, опять готовы
Вы, точно псы, кидаться на народ?

Молодой солдат:

А что ж, – коль надо.

Старуха:

Э, – каков Мишель!

Не узнаешь меня? Ах ты, петух!

Забыл, как я вихор тебе драла?

Стрелять в меня собрался?

Молодой солдат:

Я... ведь... я...

Старуха:

Ага! Ну то-то. Я строга, голубчик,

Весь хвост тебе повыдергаю.

Приближается генерал *Леконт*.

Леконт:

Эй!

Вы – смирно! Что за разговоры? Прочь!

Рабочий:

Труба!

Леконт:

Ни звука. Стройся. Шагом марш.

Рабочие:

Куда, куда?

Нет, братцы!

Не ходите.

Леконт:

Дорогу! Я стрелять велю.

Рабочий:

Попробуй.

Леконт:

Повзводно. Оттесните негодяев

От пушек.

Старуха:

Стой! Кто негодяи? Ты

Взгляни...

Леконт:

А, старая карга! Держи вот!

Бьет ее. Старуха падает.

Рабочие:

Старуху?!

Каторжник!

Молодой солдат:

Ты так? Ты так?

(Бьет генерала прикладом.)

Леконт *(падая)*:

Ко мне, сержант!

Сержант:

В штыки!

Солдаты:

Нет, этого не будет!

В братьев?

Нет!

Рабочие:

Арестовать врагов народа!

Тьера

Долой!

Все в ратушу!

К оружию!

Ив:

Пошлем гонцов в Центральный Комитет.

Рабочие:

В Бельвиль послать.

В Венсень.

Во все предместья.

Старик-рабочий:

Покончить надо с этим навсегда.

Товарищи! Отдайте ваши ружья.

Рабочие разоружают солдат.

Солдат:

Я не отдам.

Рабочий:

Тогда надень мой блин

И к нам иди.

(Сбивает с солдата кэпи и нахлобучивает ему свой картуз.)

Солдат:
Вот это дело.
Ив:
Этих
Отправить в ратушу.
Рабочий:
Тут расстрелять.
Ив:
Нет, нет!
Леконт:
Посмейте только, негодяи,
Бунтовщики!
Рабочие:
Молчать!
Ведем его!

Арестованных уводят.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Двор префектуры.
Толпа.

1-й:
Тащи ее!
2-й:
Не уроните.
3-й:
Нет...
Тяжелая!
4-й:
Правительство бежало,
А нам ты не нужна.
5-й:
Тащи солому.
Ее в конюшне целая гора.

Из сарая вытаскивают гильотину.

6-й:
Ишь, матушка.

7-й:
Вдова!

8-й:
Вот, на соломы.

9-й:
А я дров приволок. А то, пожалуй,
Она от крови отсырела.

10-й:
Ладно,
Мы высушим.

11-й:
Наваливай кругом.
Давай огня! Пошло! Ура!

Все:
Ура!

(Поют:)

Будь ты проклят, добрый доктор
Гильотен!
Подставлять под нож довольно
Позвонки!
Мы, свободные французы,
Не хотим
Мостовые нашей кровью
Поливать!
Мы забыли девяносто
Третий год.
Флаг трехцветный тиранию
Осенил:
Трупа синь и малоокровья
Белизна,
И багрец рабочей крови
Под ножом.
Флаг Коммуны, развевайся,
Красный флаг!
Чистый, красный, точно небо
На заре,

Точно пламя в наших горнах
В час труда.
Погибай, машина казни,
Погибай!
Будь ты проклят, добрый доктор
Гильотен!

Подгоревшие столбы гильотины подламываются, и пятипудовый нож со звоном падает на камни.

1-й:
Ура!
Все:
Ура!
2-й:
Он в первый раз упал,
Не отсекая головы.
3-й:
Еще бы:
У нас Коммуна! Мирная Коммуна!
Все:
Да здравствует Коммуна!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Укрепления на Mont Valérien.

Артиллеристы. *Тьер.*

Тьер:
Позвольте мне подзорную трубу...
Теперь я вижу... значит, ваши пушки
Не достают до их берлог зловонных?
Офицер:
Семь километров радиус обстрела.
Господствуем над ближней переправой
И над шоссе Версальским; форт Исси
Под нашею угрозой.

Тьер:
А Монмартр?

Офицер:
Ближайшие кварталы можем тронуть,
Но самый центр недосягаем.

Тьер:
Жаль.
Скажите, а морские пушки бьют
Сильнее этих?

Офицер:
О, гораздо! Вдвое!

Тьер:
Так я велю доставить из Шербурга
Морские батареи. Весь Париж
Нам надо простегать бичом чугунным,
Чтоб эти каторжники-коммунары
Нигде себе не находили места...
Что ж их парламентар?

Офицер:
Извольте видеть:
Они уже у гласиса.

Тьер:
Не должен
Я был вступать в переговоры. С кем?
С убийцами...

Приближаются парламентары.

1-й:
Я с господином Тьером
Беседую?

Тьер:
Да, с президентом Тьером.

1-й:
Рабочее правительство меня...

Тьер:
Правительства такого я не знаю.

1-й:
Ну, всё равно: я послан от Коммуны;

Нам не до тонкостей. У вас в плену
Бланки, трибун.

Тьер:

Он не в плену: в тюрьме.

1-й:

У нас в тюрьме епископ Дарбуа...

Тьер:

Несчастный пастырь!

1-й:

...И еще немало
Попов и генералов. Мы хотим
Их обменять на одного Бланки.

Тьер:

Я отдал бы Бланки за водовоза,
Но он судом приговорен в тюрьму,
И я освободить его не в силах.

1-й:

Вот вам письмо епископа.

Тьер (*отходя и читая*):

Так. Просит
Спасти его. Ну, нет. Когда епископ
Свой пурпур кровью обольет своей,
Мне легче будет митральезы двинуть
В кварталы этих оборванцев. Все
Меня одобрят: Лондон, Рим, и Вена,
И Петербург...

(Возвращаясь.)

Я передам в Палату
Письмо его преосвященства. Пусть
Решит Палата.

1-й:

Значит, ваш ответ?

Тьер:

Вы слышали его. Прощайте.

Парламентеры уходят.

Боже!

Что должен чувствовать теперь епископ

У этих извергов. И мы бессильны
Освободить его!..

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Ночь. Баррикада.

Антон, Шантен и другие.

- 1-й:
Сдаваться надо. Наш квартал – как остров.
Кругом всё занято. Везде версальцы.
- 2-й:
Еще есть остров: за рекой.
- 1-й:
Кто знает?
- 3-й:
Ведь ратуша горит –
- 2-й:
Ну?
- 3-й:
Значит, пусто.
Ушли иль перебиты.
- 4-й:
Целый день
Сегодня митральезы жарят. Знаешь,
Что это значит? Начались расстрелы.
Гуртом, по сотням, тысячам.
- 1-й:
Что ж делать?
- Антон:
Что? – Умирать. Сдаваться – глупо. Надо,
Как русские в двенадцатом году,
Всё сжечь, всё уничтожить, отступая,
Чтоб от Парижа не осталось камня
На месте.
- 2-й:
Да и так Париж весь в ранах.

Антон:

Так что же? – Их Париж, – не наш. Нам раны
Тьер поливает купоросом. Мы
Польем их раны керосином.

Шантен:

Верно!

Входит Луиза.

Антон:

Луиза, ты? А где же Ив?

Луиза:

Убит.

А я успела убежать.

Антон:

Ступай же
Скорей домой.

Луиза:

Зачем домой?

Антон:

К ребенку.

Луиза:

Ребенок здесь.

Антон:

Так унеси его.

Луиза:

Ему опасность не грозит. Гляди-ка.
(Распахивает плащ.)

Антон:

О Боже! Звери.

Луиза:

Да, его на штык
Версалец поднял и метнул... Что спите?
Что вы сидите здесь? Там, в двух шагах
Заложники – епископ Дарбуа
И дюжина других попов – версальцев
Ждут не дождутся. Неужели вы
Дадите им уйти? Ведь всё погребло.
Ив, мой Исидор, вера. Вы погребли.

Так пусть же и они сопровождают
Убитых наших на тот свет.

3-й:

Конечно.
Мой брат расстрелян.

4-й:

Мой товарищ.

Шантен:

Что там
Считать. Скорей доставить их сюда.
Мы их на баррикаде расстреляем
Под носом у версальцев. Кто со мной?

Многие:

Я!
Я!
Меня возьмите.

Луиза:

Я хочу
Епископу ребенка показать.
Пусть скажет мне, что это Божья кара.
Пусть скажет.

Многие:

Смерть заложникам!

Шантен:

Идем.

Отряд, предводительствуемый Луизой, удаляется.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Кладбище.

Версальцы.

1-й офицер:

Здесь и поставим?

2-й офицер:

Будет слишком близко.

Ведь их не дюжина. Их сотни три.
Шагов на тридцать надо отодвинуть.

1-й офицер:
Да, верно. Эй, тащи назад.

Солдаты оттаскивают митральезу.

3-й офицер:
Ведут!

1-й офицер:
Ого!

2-й офицер:
Да, этой сволочи немало.

Солдат (*другому*):
Послушай, отчего они хромают?

2-й солдат:
Кто?

1-й солдат:
Вся толпа.

2-й солдат:
Водили их, должно быть,
Часов двенадцать босиком по щебню
Кругом всего Парижа.

1-й солдат:
Так и надо.
Вон – Галлифе.

1-й офицер:
Эй, смирно. По местам.

Подъезжает генерал *Галлифе*.

Галлифе:
Гоните их скорей. Как черепахи
Беременные тянутся. Живее!

Появляется окруженная конвоем толпа плененных коммунаров: женщины, дети, оборванные, почти обнаженные. В толпе Луиза, Антон и Шантен.

Галлифе:
Стой! На колени!

Женщина:

У меня уж ноги
Не гнутся.

Галлифе:

На колени.

Толпа за исключением десятка опускается на колени.

А этих, что стоят столбом, тащите
К стене. Теперь начнем-ка выбирать.
Кому нет двадцати – вперед.

Дети и юноши выходят.

Щенята!

Разбойничье отродье. К стенке их!
Нельзя дать вырасти им. В корне надо
Шакалье семя истреблять.

Шантен:

Убийца!

Галлифе:

А, друг. Ты сед? Сорок восьмого года?
А ну, седые, выйдите вперед!
Идите, станьте с внуками рядом
У стенки.

Многие:

Людоед!

Убийца!

Гад!

Женою торговал!

Галлифе:

Молчать, убийцы!

Всех к стенке! Всех! Гони. Прикладом бей!

Солдаты, в сторону! У митральезы!

Открыть огонь!

1-й офицер:

Готовься! Пли!

Солдаты стреляют из митральезы в упор.

Галлифе:

Так. Стихли. Стонут? Ничего, пускай!
Жаль, что могил не вырыли. Других
Заставить рыть могилы им.

(Отъезжает.)

2-й офицер:

Гляди-ка:
Мозги.

1-й офицер:

Да, как кисель. Дымятся. Этим
Он думал. А?

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Елисейские поля.

Парад войскам. Публика. Ландо и кареты.

1-й господин:

Мерзавцы-коммунары. Негодяи!
Они сожгли все списки проституток.

2-й господин:

Чего ж еще ждать от убийц?

3-й господин:

Вот ужас!
Вот пережили мы! Париж в огне,
Несчастливого епископа терзают...
Вы знаете: его сожгли живьем!

4-й господин:

Нет, нет, я видел тело. Он расстрелян,
Но уж они кого-нибудь сожгли,
Так просто говорить не станут.

Дама:

Детки,
Мы с вами на парад сейчас посмотрим,
А после, если мама не устанет,
Пойдем смотреть на трупы.

Дети:

Я на трупы
Хочу скорей.
А я парад хочу.

Дама:

Ну, тише вы, без крика. Надо помнить,
Что вы воспитанные дети.

Проезжает ландо. В ландо:

Александр Дюма:

...Нет!
Нет, герцогиня! Самка коммунара
Совсем не женщина. Она тогда
Становится на женщину похожей,
Когда зарезана.

Герцогиня:

О, вы всегда
Блистательны...

1-й господин:

Смотрите! Он! Смотрите.

2-й господин:

Кто?

1-й господин:

Галлифе! Спаситель наш!

Многие:

Ура!
Да здравствует герой наш!
Галлифе!
Ура!
Спасибо!
Галлифе!

Галлифе проезжает на белой лошади, забрасываемый цветами.
Крики усиливаются.

Да здравствует генерал Галлифе!

1920

ДОКТОР ГИЛЬОТЕН

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Кабинет Гильотена.

Жером и Сансон.

Сансон:

Сказали вы, что с вечера ушел он,
А вот уж день. Пора ему вернуться.
Позвольте, – я подожду его?

Жером:

Что ж, если вам не жаль полдня потратить.
Когда мой барин свой фугляр рабочий
С ланцетами берет с собой – тогда,
Случается, и сутки пропадает.

Сансон:

Точь-в-точь как я.

Жером:

Вы тоже врач?

Сансон:

Пожалуй.
И у меня в шагреновом фугляре
Есть парочка ланцетов.

Жером:

Значит, вы –
Хирург?

Сансон:

Хирург. Когда больному худо,
Когда ему железные пилюли,
Диета, и массаж, и моцион
С веслом в руках, с киркой или лопатой
Не помогают – то являюсь я:
Ланцетом – раз!

Жером:

Прекрасная система!
Известно, что причина всех болезней

Есть опухоль под сердцем иль на почках.
Не правда ли?

Сансон:

Конечно. Особливо
Та опухоль, что на плечах бывает,
Quae caput appellatur¹. Срежь – капут.

Жером:

Кому капут?

Сансон:

Да никому – болезни.

Жером:

Вы, сударь, говорите как-то странно,
Я не пойму вас.

Сансон:

Ничего, мой друг.
Не стоит опухоль ломать, поверьте.
Ну, – я не стану ожидать. А вы
Не откажите доктору вручить
Мой адрес, – вот, – и заодно прибавьте,
Что я теперь прошу его к себе.
Прощайте.

(Уходит.)

Жером:

Очень странный господин!
Кто б это был?

Через боковую дверь входит *Гильотен* с охапкой свежесрезанных цветов.

Вы, сударь, здесь?

Гильотен:

Я садом
Прошел. Какая свежесть! И в цветах
Роса прохладной радугой трепещет.
Поставь их в воду.

Жером:

Можно вас поздравить
С успешной операцией?

¹ Что головой зовется (*лат.*).

Гильотен:

Еще бы!

Такой здоровый мальчик. Фунтов десять
Или двенадцать.

Жером:

Боже мой! Да разве
Маркиз рожал?

Гильотен:

Какой маркиз?

Жером:

Который
За вами присылал вчера.

Гильотен:

А, тот...
Я был у гончара. Его жене
Никак не удавалось разрешиться.

Жером:

А гонорар вам уплатили?

Гильотен:

Нет,
Я сам два ливра дал ему, бедняге.

Жером:

Что? Вот так практика! Ах, сударь, сударь.
А жалованье мне? Вы обещали
Его из первых денег уплатить.

Гильотен:

Ну, потерпи, Жером. Что делать, милый?
А что ж цветы? Поставь скорее в воду.
Как можно быть таким жестоким? Право,
Они живут и дышат, как и ты.

Жером:

Сейчас. Вы, сударь, отдохнуть легли бы.

Гильотен:

Нет, нет, меня работа ждет.

Жером:

Работа!
В гроб хочет лечь: не ест, не пьет, не спит.
(Уходит с цветами.)

Гильотен:

Какое утро! Как сильна природа!
Как сладко в ней всевластный чуют разум!
Во всем: от листьев и до человека.

(Снимает чехол со скелета.)

Хотя б скелет. Вот позвонки: чем ниже –
Тем толще, ибо возрастает тяжесть
Несомых ими мышц. А передав
Груз туловища тазу и бедру, –
Вдруг истончаются. Какой природа
Ваятель, зодчий! И какой хозяин:
Ни лишней доли вещества и силы
Не израсходует!.. Посмотрим: шея;
Семь позвонков; и каждый тверже меди –
Не прорубить. И спаяны так плотно.
Не рассчитать удара, что проник бы
Меж позвонков. И, значит, взмах меча,
Рассекши кожу, мышцы, – увлекает
Перед собой случайный позвонок,
Пока не разорвется сухожилие,
И лишь тогда сталь проникает вглубь
И отделяет голову. Как сложно.
Какую муку должен испытать
Казнимый, и палач какою силой
Должен владеть! Нет, несогласно это
С разумной мыслью. Эй, Жером.

Входит Жером.

Жером:

Я здесь.

Гильотен:

Никто меня не спрашивал?

Жером:

Был кто-то,

Какой-то странный господин, – не знаю.

Для вас записку он оставил.

Гильотен:

Что же

Ты не сказал? Как можно так зевать?

Тебя не спросишь, ты... Давай скорее.

(Читает.)

Как жаль, что опоздал я. Знаешь ты,
Кто это был?

Жером:

Он говорил: хирург.

Гильотен:

Он пошутил: то был Сансон, палач.

Жером:

Палач? Святая Дева! Что же надо
Ему от вас? Велел он вам сказать,
Что будет ждать вас. Не ходите, сударь!

Гильотен:

Не бойся, милый мой. Мне надо с ним
Поговорить. Скажи: хоть раз ты видел
Казнь?

Жером:

Видел раз. Черт потянул смотреть.

Гильотен:

А что ты чувствовал?

Жером:

В груди тошнило.

Гильотен:

А было жаль преступника?

Жером:

А как же?

Известно: жаль. Он бьется, верещит.
Палач раз шесть его рубил – не мог
Перерубить. За волосы потом
Схватил и вроде как пилить стал шею.
А кровь-то хлещет, как из кабана.
Не дай Господь, мучительство какое!

Гильотен:

Ведь то преступник.

Жером:

Что ж, – немудрено:
Законов всех и не сочтешь. К тому же
Никто в злодеи даром не пойдет:
От голода всё больше.

Гильотен:

Значит, лучше,
Чтоб вовсе казней не было таких?

Жером:

Известно, лучше.

Гильотен:

Да, я так и думал.
Народный здравый дух... Пстой, Жером:
Мы скоро это всё исправим.

Жером:

Дай Бог!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Гостиная в доме Сансона.

Сансон и Поль.

Сансон:

Ну, – причастился, Поль?

Поль:

Да, папочка.

Сансон:

Великий это день!
Теперь ты, так сказать, вступаешь в жизнь.
Мяч – в сторону. Теперь ты должен думать,
Ты должен быть католиком, французом
И верноподданным. Не забывай,
Что пред тобой почетная задача, –
И трудная, – быть добрым членом рода,
Который много лет не выпускал
Из рук меч правосудия. Ты будешь
Как монсеньор архиепископ или
Как маршал Франции: перед лицом
Всего Парижа будешь подыматься
На помост роковой и заносить
Над головой преступника тот меч,
Чью рукоять рука отца сжимала,
И деда твоего, и прадеда.

Поль:

Мне и кюре об этом говорил.

Сансон:

Вот видишь. Но не забывай притом,
Что дело не в одном почете. Должность
Немаловажный и доход приносит;
Сам видишь: мебель вот, картины, люстра,
По праздникам жжем восковые свечи –
Всё точно у судьи любого. Если ж
Нам должность потерять – тогда конец:
Другого дела не дадут Сансонам
Завистливые эти горожане,
Как не давали в жены дочерей.
Поэтому быть надо осторожным
И, Боже сохрани, не поскользнуться.

Поль:

Об этом тоже говорил кюре.

Сансон:

Вот видишь. Я тебе и приготовил.

Поль:

Что это?

Сансон:

Библия, подарок мой.
Я в переплет велел включить листы
Бумаги чистой. Заноси туда
Свои раздумья. Запечатлевай
Слова, советы, что услышишь. Пусть
И Слово Божие, и опыт твой
Всю жизнь тебе пребудут руководством.

Поль:

Спасибо, папочка. Какой прекрасный
Сафьянный переплет! Какой обрез!
Тут и картинки!

Сансон:

Ну, ступай, мальчишка,
Ишь!

Входит *Шмидт*.

Шмидт:

Здравствуйте, мой друг. Здорово, Поль, –
Что это у тебя?

Поль:

Подарок папы.
Сегодня я конфирмовался.

Шмидт:

Вот что!
Жаль, не сказал об этом мне твой папа,
Тогда б и я с пустыми не пришел
Руками. Впрочем, будь покоен: будет.
Как поживаете, Сансон?

Сансон:

Ступай, сынок.

Поль уходит.

Спасибо, – что ж: недурно. Досточтимый
Судья наш, де-Вири, мне обещал
Исхлопотать, чтобы одежда вся,
Что от казнимых остается, шла
Мне в собственность.

Шмидт:

Прекрасно, поздравляю.
А я принес вам дивный бержерет.
Слова и музыка – один восторг.
Исполним?

(Раскрывает ноты.)

Сансон садится за клавикорды, играет. Шмидт поет.

Блистала долина
Хрустальной росой.
Пастушка Алина
Стопою босой
Левкоев касалась,
И нежная грудь,
Чуть смея вздохнуть,
Легко волновалась.

Чуть смея вздохнуть,
Легко волновалась.

Лиэль загорелый,
Глядя в ручеек,
Упругий и белый
Лелеял цветок,
И, ласки страшая,
Прекрасная грудь...

Стук в дверь.

Сансон:

Прошу.

Входит *Гильотен*.

Гильотен:

Простите: помешал я? Слышу
Здесь музыку.

Сансон:

Нисколько.

Гильотен:

Гильотен.
Я вам писал и очень сожалею,
Что не успел принять вас.

Сансон:

Ничего.
Чем я могу служить вам?

Гильотен:

Дело в том,
Что я как врач и гуманист давно
Скорбел, что казнь...

Сансон:

Она необходима.

Гильотен:

Нет, нет, – кто возражает? Я скорбел,
Что казнь творится не совсем согласно
С тем, что нам разум говорит. Ведь цель
Всех казней – не мучение, – иначе
Казнь было б можно пыткой заменять, –

Но кара, устранение злодея,
А также устрашение всех тех,
Кто обян преступной волей. Правда?

Сансон:

Согласен.

Гильотен:

Вот. А казнь теперь творится
Отсекновеньем головы...

Сансон:

Что ж, – можно
И вешать.

Гильотен:

Никогда! Должна быть казнь
Кровавою. Лишь вид пролитой крови
Нам достодолжно потрясает душу.
Но голову рубить мечом!.. При этом
Палач... простите: исполнитель – может
Неверный нанести удар...

Сансон:

Бывает.

Гильотен:

Преступник может увернуться. Надо
Тогда его ловить, держать; он бьется.
Нередко меч тупится. Пять ударов
Не могут позвонки перерубить.
Преступник мучится недопустимо;
В сердцах глядящих шевелится жалость –
И тут благая цель наглядной казни
Не достигается. И я подумал:
Что если бы изобрести прибор,
Которым бы преступник недвижимо
Удержан был в пристойной позе, – меч же,
Пружиной мощной кинутый, ложился
Как раз ему на шею.

Сансон:

Да, пожалуй,
Так было б лучше. Надо поразмыслить.

Гильотен:

Но я не практик. Думаю, что вам

Уместно было бы как знатоку
Проект составить.

Сансон:

Шмидт, а ваше мнение?

Шмидт:

Я думаю, что доктор Гильотен...

Гильотен:

Вы знаете меня?

Шмидт:

О да: наш цех,
Которому святой Жозеф патроном...

Гильотен:

А, – плотник вы?

Шмидт:

Столяр и плотник. Я –
На службе у Суда; моя работа
Для казней строить помосты.

Гильотен:

Так, так.
Немало вашей братии лечить
Мне как хирургу приходилось – вечно
Полпальца кто-нибудь отхватит стругом.

Шмидт:

И вы всегда лечили превосходно,
И деньги трудно было вам вручить.
Так вот, пока вы говорили, я
Смекнул насчет прибора. Если меч
Сам должен наносить удар, то надо,
Чтобы он падал прямо вниз: тут груз
Удобно применить, а не пружину.

Сансон:

Тогда уже не меч – топор широкий.

Шмидт:

Я это думал. А преступник должен
Под ним лежать. Продеть в колодку шею –
И всё.

Гильотен:

Я не сообразил: как это?

Шмидт:

А я вам начерчу.

(Ищет бумаги и берет с клавикорд ноты.)

Сансон:

Ведь это ж ноты.

Шмидт:

Тут чистый есть листок.

(Чертит.)

Вот; вот;

Устои, желобки для топора;

А здесь колодка, ложе.

Сансон:

А топор?

Шмидт:

Вот и топор.

Сансон:

Прямой?

Шмидт:

Прямой.

Сансон:

Ну, нет.

Не знаете вы, что такое шея.

Ее перерубить прямым ударом

Так же легко, как гвоздь перекусить.

Вот, посмотрите:

(Достает из шкафа меч.)

Он дугой изогнут

И при ударе – наискось скользит:

Разрезывает, а не разрывает.

Гильотен:

Так очень просто: топору придать

Вид треугольника.

Сансон:

Конечно, так.

Шмидт:

Да, верно: косарем-то будет лучше.

Гильотен:

Глубоко благодарен вам. Что значит

Мысль трезвая! Позвольте вас просить
Модель исполнить.

Шмидт:

Рад служить вам, доктор.

Гильотен:

А сколько бы...

Шмидт:

Нет, нет, – какая плата?

Ни ливра не возьму. Мы, столяры,

Все ваши должники.

Гильотен:

Благодарю вас.

До скорого свиданья, господа.

Надеюсь, господин Сансон, что вскоре

Вам предстоит осуществить впервые

На практике прекрасную реформу.

Сансон:

Прощайте, сударь. Если буду нужен

Вам для совета – милости прошу.

Гильотен:

Благодарю сердечно. До свиданья.

(Уходит.)

Шмидт:

Не правда ль – дело доброе?

Сансон:

Кто знает?

Оно бы лучше: нет возни. Да горе:

Искусства тут не надо. Всякий сможет

Связать, да уложить, да отпустить

Топор. Наш род хранил секрет удара,

Была наследственной должность наша.

А тут...

Шмидт:

Пустое. Кто отнять посмеет

У сына вашего дворянство казни?..

Ну что – вернемся к музыке?

Сансон:

Давайте.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Гильотена

Жером.

Жером (*рассматривая модель гильотины*):

Подводят, значит, на доску кладут,
Колодкой захватывают шею,

(Кладет в модель палец.)

Потом пружинкой – щелк. Ох, черт возьми!
Чуть пальцу голову не отрубил!..

Бррр... Шея – штука тонкая. Захватят
Ошейником дощатым и – пожалте:

Подергайтесь, подрыгайте ногами,
Повтягивайте щеки – ускользнуть бы.

А нож – как в масло: ц-с-с-с, – так и прорежет!

Ну и плоточек: пять пудов металла!

Нет, раньше поприятней было, право.

Тебя казнят, так ты – живой: стоишь,

Упрешься, думаешь: не шевельнуться б,

Не промахнулся бы палач. А тут

Одна обида: деревяшка держит,

А на тебя – плевать.

И что это мой барин так срамится?

Можно сказать – хирург, лечить умеешь,

Горчишники тут, банки, кровь пускай,

Клистиры ставь, вари декокты, – мало ль

Заботы всякой доброй? Нет, – поди ж ты.

Стал смерть прописывать: добра желает.

ТЬфу!

Входят: *Гильотен*, аббат *Раго*, судья *де-Вири*, доктор *Трейль*.

Гильотен:

Прошу.

Трейль:

Так вот уютный тот покой,

Где зрела ваша мысль, почтенный доктор.

Да, именно здесь, в этой тишине,
Где всё полно раздумья и природы,
Мог человеколюбец начертать
Свой план благой.

Де-Вири:

Прекрасно, бесподобно!
Пятьсот семнадцать казней видел я
И смело говорю: такой, как нынче,
Прекрасной операции – не видел.
Спокойно, чисто, аккуратно. Раньше
Сансон тревожится, казнимый тоже,
Толпа глаза таращит: как-то он
В последнее мгновенье устоит?
А тут – машина. Никаких волнений.

Раго:

И осужденный, примирившись с Богом,
Уже не отвлекается ничем,
Не отдает земной гордыне дани:
Вместо того чтоб на друзей глядеть
И стойкостью тщеславною кичиться –
В последний миг молитву мирно шепчет
И искупление приемлет... Церкви
Немаловажную услугу вы,
Почтенный доктор, оказали.

Гильотен:

Право,
Мне совестно: такие похвалы!
Ведь я лишь долг свой выполнял, не больше, –
Долг гуманиста.

Трейль (*замечая модель*):

Вот она – машина.
Как остроумно! Этот нож косою!
Шарниры эти! Луночки зажима!
Всё учтено. Да, – разум торжествует.

Де-Вири:

Вот мысли путь достойный. С государством
И правосудием войдя в союз...

Раго:

И с Церковью...

Де-Вири:

Она свою задачу
Достойно выполняет. Мы должны
Увековечить ваше имя, доктор.
Уже решил я: все мои вердикты
Именованье машину эту будут –
Как? – угадайте: гильотиной!

Раго и Трейль:

Браво!

Гильотен:

Сердечно вам признателен, друзья.

Де-Вири:

Позвольте нам откланяться. Примите
Признательность и удивленье наши.

Раго:

Позвольте вас благословить.

Трейль:

Спасибо
От имени науки.

Гильотен:

Господа,
Мгновенье это – лучшая награда
Для скромного ученого! Прощайте.

Посетители уходят.

Жером, – а ты молчишь? У нас ведь вышло
Всё так, как ты хотел.

Жером:

Что ж, сударь, – я...
Я неученый человек, не знаю.

Гильотен:

Подумай: вывели его, Жибе,
Взвели на эшафот; прево прочел
Судебное постановление; дал
Ему аббат прощение грехов;
Потом Сансон с помощниками быстро
Его ремнями привязал к доске,
Перевернули доску, – правда, тут

Заминка вышла: голову втянул
Преступник – не попала прямо в прорезь,
И за уши его пришлось тянуть,
Пока не уложили; свистнул нож –
И голова уже в корзине. Пять
Всего минут прошло... Ты что бормочешь?

Жером:

Так... пять минут, секунд три сотни, значит:
До тысячи успеешь просчитать.

Гильотен:

Зато удар – мгновенно. Не успел
Он и вздохнуть. Как дуновенье ветра.
Страдания – ни на йоту. Ты молчишь?

Жером:

Я, сударь, попросить хотел вас.

Гильотен:

Ну?

Жером:

Я, сударь, из крестьян...

Гильотен:

Так что же?

Жером:

Там...

Ну, словом, полевые там работы...

Я, сударь, да... Пожалуйте расчет.

Гильотен:

Да ты рехнулся, мой любезный? Как?
Три года служишь у меня, привык.
И я к тебе привык; ты мне помощник.
А тут – расчет. Работы полевые.

Жером:

Нет, сударь, уж увольте.

Гильотен:

Да и денег

Нет у меня. Ведь ты не получал

Полгода жалования. Послужи

Еще с полгода. Раньше не смогу

С тобою рассчитаться.

Жером:

Что ж, – пускай...

Потом когда-нибудь... Прощайте, сударь.

Гильотен:

Постой!.. Ушел... Что с ним такое, право?

VIII.1922

БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Исторический бульвар в Севастополе. Май 1905 г.

Приезжий учитель с женой.

Учитель:

Давай, Надюша, сядем здесь, под грибом.

Смотри: вон море видно, броненосцы.

Жена:

Где, где они?

Учитель:

Вон: черные, большие.

А погляди: там памятник стоит,

Нахимову, должно быть.

(Смотрит в путеводитель.)

Нет: Тотлебен,

Начальник инженеров. Детка, знаешь,

Тогда здесь был четвертый бастион.

Жена *(декламирует)*:

Двенадцать раз луна менялась,

Луна всходила в небесах,

А всё осада продолжалась,

И поле смерти расширялось

В облитых кровию стенах.

Я это в институте заучила.

Учитель:

Да, удивительное было время.

Жена:

Ты хорошо, Володичка, придумал,

Что на лето привез меня сюда:

Я так люблю военные победы

И героизм. А ты?

Учитель:

Люблю, Надюша.

Ты прочитай у графа Льва Толстого

Про Севастопольскую оборону.

Жена:

Володя! Посмотри: идут, идут.

Учитель:

Кто?

Жена:

Да они: матросики. Вот прелесть!
Какие бравые!

Входят матросы: *Пистон* и *Черных*.

Пистон:

Оставь, Черных,
Не задирай.

Черных:

Ух, – видеть не могу.
Сюсюкает: «матросики идут».
Мразь кружевная!

(Подходит к сидящим.)

Что же, господа,
Довольно вам сидеть: бульвар матросский.

Учитель:

Как так матросский?

Черных:

Очень даже просто.
Для чистой публики и офицеров
Другой бульвар разбили; нас туда
Не допускают; ну так не смолите
Нам здесь глаза. Идите: мы тут сядем.

Учитель:

Вы так не смеете.

Черных:

Ступай, ступай!
Не больно тут болтай.

Учитель:

Я позову
Полицию.

Черных:

Полицию? А в зубы?

Жена:

Володичка, Володичка, уйдем!
Скорей уйдем, родной!

Учитель:

Черт знает что!
Теперь я понимаю, почему
Колотят нас японцы, понимаю!

Уходят.

Пистон:

Он понимает... Вот его б на фронт,
Его бы рожею слюнявой плюнуть
На адмирала Того – было б дело.

Черных:

Садись, Пистон. Что, – славно я его?
Теперь, должно быть, подколенки ноют...
Ну и люблю же ковырнуть господ.

Входит матрос *Ключ*.

Ключ, ты куда?

Ключ:

Гуляем.

Черных:

Посиди.
Чем это от тебя несет?

Ключ:

Духи.
«Сирень любви».

Пистон:

У мичмана стащил?

Ключ:

И сами купим.

Пистон:

Молодец. Как барин.

Ключ:

Сейчас одна тут барышня прошла
С учителем под ручку. Вот кто пахнет.

Черных:
Ну что ж, и пища ведь у них другая.

Ключ:
Дурак!

Черных:
Хо-хо! Она от страха пахнет.
Я их спугнул отсюда по-матросски.

Ключ:
Невежество.

Черных:
Что ты сказал?

Ключ:
Отстань.

Черных:
Эх ты... официант... Еще матрос.
Подхвостник бабий.

Ключ:
Что ж, – босячить надо?
Ты, видно, брат Черных, воспитан грубо;
С людьми ты должен нежно говорить.

Пистон:
Так то с людьми. А это господа.

Ключ:
Не люди?

Пистон:
Нет. У них, браток, душа
В прошлом году в воротничок впотела.

Ключ:
Ты скажешь... Эх, пойти от вас.

Черных:
Поди.

Пистон:
Купи воротничок. Душа-то, видно,
И у тебя идет лакейским потом.

Ключ:
Пошел к чертям.
(Уходит.)

Пистон (вслед):
Ку-пи во-рот-ни-чок.

Черных:

Вот сволочь. И таких ведь много. Эх!
Когда же мы крест-накрест их посвяжем
С офицерьем – и в воду?

Пистон:

Ох, не скоро.

Черных:

А поскорей бы. Нас ведь тоже много.
Пора уже. Сил нет терпеть.

Входит лейтенант *Иванов*.

Иванов:

Эй, вы!
Честь почему не отдаете?

Пистон:

Так что
Мы не заметили.

Иванов:

На девок смотришь?
Здорово!

Пистон и Черных:

Здравия желаю.

Иванов:

Что же
Так тихо? Видно, вышептали голос
С горняшками? Здорово!

Пистон и Черных:

Здравия
Желаю.

Иванов:

Громче, громче, громче. Ну:
Здорово!

Пистон и Черных:

Здравия желаю.

Иванов:

Так.
Вот это так. А покажите ленты.

Матросы снимают фуражки.

Твоя в порядке. А твоя... Пустил!
На два аршина! Задницу щекочешь?
Устав забыл? Животное! Ты кто?

Черных:

С «Потемкина», второй статьи, Черных.

Иванов:

Доложишь ротному, чтоб под ружье
Тебя поставил. Ну а лента – вот.
(*Обрывает ленту.*)

Ступайте прочь.

Матросы уходят.

Подтягивать вас надо.
Наташкин хахаль. Я тебя скручу,
Дай в плаванье уйти!
(*Уходит.*)

Проходят два отставных адмирала.

Первый:

Вот молодец.
Вот это офицер, я понимаю.
Поддерживает дисциплину. Ужас
Как издержился нынешний матрос,
Как обнаглел! Цусимцы! Там, в бою,
У них на бунт лишь храбрости хватило...
Да, встал бы из могилы Николай
Степанович Нахимов, поглядел бы!
Какой теперь матрос? На вахте спит,
Нет выправки, вахлак, потеет. Разве
Матросы при Нахимове потели?

Второй:

Я думаю – потели.

Первый:

Вздор-с. Эх, флот!
Куда идем мы? Нет руки железной.

Уходят. Входят матросы: *Шульга* и *Лебедев*.

Лебедев:

Ну, видел?

Шульга:

Видел. Ладно: хуже – лучше.

Накалу больше.

Входит *Черных*.

Что, брат, получил?

Черных:

Я у него Наташку отпаял,

Наташку, прачку. Он и взбеленился.

Проходу не дает. Ну я ж ему!

Ну я ж ему! Дай только время. Ух!

Лебедев:

Время придет. Готовиться нам надо.

Черных:

Готовиться? За горло да за борт.

Шульга:

Вздор говоришь. Сейчас я деда встретил.

Рассказывал, что был у них такой.

Зверь. Сколько запорол! Когда французы

Малахов брали, бросили матросы

Жеребий, – деду выпал. Ну, нашли

Потом того; лежит; а рана в спину.

Да толку что? Еще полсотни лет

Стонал матрос и стонет... Надо вместе,

Во всех портах, на кораблях на всех,

В один и тот же день, подняться дружно

Да в корень, в корень! Вот тогда – победа,

Тогда вздохнем.

Черных:

Да, собери весь флот.

Шульга:

И соберем. Ведь всё кипит, клокочет

С Цусимой да с девятым января.

Лебедев:

Не из-за девок ведь одних с начальством

Грыземся; потяжеле есть дела.

Шульга:

Ты завтра, если хочешь, приходи
На Корабельную, к фонтану. Там
Увидишь кой-кого. Поговорим.
Ты парень твердый. Так придешь?

Черных:

Приду.
А только мне отдайте Иванова,
Когда расправа будет.

Шульга:

Там увидим.
Ну, яростный же ты.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Стоянка на Тендре.

Ночь.

Верхняя палуба броненосца.
Три матроса.

Первый:

Рубаху снял, и то не помогает.
Ну ветер! Точно через печь пропущен.

Второй:

А в кочегарке?

Первый:

И не говори.
Страдание! И для чего всё это?

Третий:

Без флота как же? Ну, а если флот, –
Приходится терпеть.

Первый:

Зачем тебе
В твоей Рязани флот?

Третий:

А неприятель?

Первый:

Какой-такой? Твой неприятель, брат, –
Бабуся, что ругается, да свиньи
Соседские, что в огород залезли,
Да становой. Так ты их флотом? А?

Третий:

А ты японцев с кашей проглотил?

Первый:

Ну, а тебя японец трогал?

Третий:

Трогал.

Он веру и отечество затронул.

Первый:

В Маньчжурии-то? Экий ты дурак.

Третий:

Царя у нас микадо их обидел.

Первый:

Их дело царское. А мы воюй?

Поссорились, ну и сошлись бы оба

На кулачки, а мы бы поглядели.

Третий:

Ты, погляжу я, ровно как изменник.

Первый:

Изменник... Остолоп! Пришло бы время,

Как нашею была б земля, – небось:

И в кочегарке жарились бы все,

И мерзли бы в окопах – за свободу

Народную; себя не пожалели б!

Второй:

И верно, братцы: на своем дворе

Кто не работник?

Первый:

Если за царя

Артур мы подпирали да в Цусиме

Купались... Что, уходишь?

Третий:

Ухожу.

За этакие, брат, слова твои

Еще в клоповник попадешь с тобою.

Первый:

Иди, иди. Да, слышь, не попроси,
Чтобы тебе шестидюймовку дали
Меня обстреливать: ведь я твой враг.

Третий уходит.

Второй:

А что у нас слышать?

Первый:

Да чем-то пахнет.
Собрания идут – клочками. Бродит,
Кипит весь флот. У нас вот Матюшенко
Всё шепчется с Шульгою да с Зозулей,
По всем отсекам ходят. Что-то будет.

Второй:

А что? Мятеж?

Первый:

Пожалуй, не дойдет.
А будем требовать, чтоб сократили
Срок службы, да получше бы кормили,
Да вежливость, да отпуска.

Второй:

Немного.
А мир? А землю? А свободу?

Первый:

Будет.
И это будет. Дай лишь раскатать
Матросиков да припугнуть начальство, –
А там пойдет. Постой! Ну, так и есть:
Лягавый зашагал. Ишь: в мягких туфлях.

Оба укладываются на свои подстилки, притворяясь спящими.
Входит *командир* броненосца; с другой стороны – *старший офицер*.
Сходятся.

Командир:

Вы знаете, что показалось мне?
Иду и слышу разговор негромкий:
Беседуют матросы. Подхожу –

Спят. Что бы это значило? Ослышка?

Но ясно слышал.

Старший офицер:

Скверный, скверный знак.

Как видно, разговорец был секретный.

Нехорошо теперь во флоте стало.

Вот – что-то носится, вот – вьется что-то.

Матросов не узнать.

Командир:

Я то же думал.

У всех глаза совсем другие стали –

Никелированные... Раньше было:

Глядишь в глаза матросу – он робеет;

Насквозь его пройдешь, все вины видишь.

Ну а теперь и не заглянешь внутрь:

Глаза как зеркала: совсем пустые;

Только себя и видишь в них, – а я

Себя вот видеть вовсе не желаю:

Я некрасив... Вы замечали что?

Старший офицер:

Так – ничего. Неуловимо всё.

Командир:

Глядите зорко. Пресекайте в корне,

Немедля. И, пожалуйста, внушите

Всем офицерам, чтобы и они

Настороже держались. – Эй, на вахте.

Мичман, ко мне.

Подбегает мичман *Григорьев*.

Я буду вас просить

Там, где матросы спят, гулять почаще.

Вы понимаете? И тем, кто вас

Придет сменить, вы то же предложите.

Григорьев:

Есть.

Командир:

Вы же, Николай Петрович, завтра

Отдайте нужные распоряженья.

Уходят.

Григорьев:
Покойнику горчишники! Да что же?
Я стану за матросами в галюн
Заглядывать?

Голос (*с моря*):
«Потемкин», эй, «Потемкин»!

Сигнальщик (*с мостика*):
Есть. Кто гребет?

Голос:
Свои. Спустите трап.

Григорьев:
Эй, фалрепные. К трапу. Торопись.

Свистки, слова команды; матросы спускают трап. Входят лейтенант *Иванов* и лейтенант *Семенов*; за ними матросы втаскивают тюки и кульки.

Иванов:
Ну, что у вас?

Григорьев:
Всё так же: скучно, жарко.
А вы, небось, в Одессе покутили?

Иванов:
Немного было.

Григорьев:
Что нам привезли?

Иванов:
Шесть дюжин бессарабского, да раков,
Да пикулей. Да кур десятка два.

Григорьев:
Эге! Живем.

Иванов:
Эй, баталер, сюда.

Подходит *баталер*.

Там мяса для котла четыре туши.
Так ты его вели обмыть рассолом
И на крюках развесь часа на два,
Чтоб ветром пообдуло. Понял?

Баталер:

Есть.

(Уходит.)

Григорьев:

Задумалась говядина немного?

Иванов:

Попахивает малость. А, – съедят!

Голос:

Съедем!

Иванов:

Ого! Кто говорит? А ну-ка:

(Подходит к лежащим матросам.)

Эй вы, вставайте, нечего ломаться.

Кто говорил?

Первый:

У нас не говорили.

Иванов:

Не ври.

Первый:

Мы спали все.

Иванов подходит к другой группе.

Иванов:

Кто гавкал здесь?

Голос:

Собаки гавкают.

Иванов:

Ключ, кто сказал?

Ключ:

Не могу знать.

Иванов:

А хочешь в кандалы?

Ну! говори!

Ключ:

Не могу знать.

Иванов:

Мерзавец!

(Бьет его.)

Ключ:

Ой!

Голоса:

Драться не дозволено!

Полегче!

Здесь не участок!

Не тюрьма!

Иванов:

Молчать!

Открытый бунт! Всех закую! Эй, мичман.

Приказываю вам, как старший в чине,

Переписать всю эту дрянь и завтра

Всё командиру доложить.

Григорьев:

Оставьте.

Иванов:

Не забываетесь, мичман: вы на службе.

Я не прошу у вас советов. Я –

Приказываю вам.

Григорьев:

Есть.

Иванов:

Негодяи!

(Уходит.)

Голоса:

Разбой!

Насильничанье!

Не смолчим!

Ключ, заяви претензию.

Григорьев:

Ребята,

Потише. Ну, кто тут? Ты, ты, – ну, всё...

Не петушитесь, обойдется дело.

Идите спать.

Матросы уходят с ропотом.

Всегда он, Иванов.

Закусит удила и ну валять.

(Подходит к Семенову.)

Что, лейтенант, задумались?

Семенов:

Так... скверно.

Григорьев:

Перекутили?

Семенов:

Нет, совсем не то.

И эта сцена мерзкая, и всё...

Григорьев:

Что всё? Не понимаю я...

Семенов:

Да разве

Не чуете вы, что кругом нас кровь?

Там, на Востоке, этот желтый бред:

Артур, Мукден, Цусима. В Петербурге

Предательства, расстрелы. – А в России

Пустоты, станции, сараи эти,

Все красные, и красные вагоны

С их путаницей, с их тоской и лязгом.

Бред! Знаете вы, как в бреду порой

Вам кажется, что проволоку тянут:

Она звенит и льется – бесконечно,

Сквозь красные охлопья жара. Вот:

И здесь всё то же. В глубине России

Овраги разъедают чернозем

Как бы волчанка, и мелеют реки,

И мутные их воды к нам несут

Тот хлеб, что не родился. В мутных устьях

Восходят мели, косы, островки.

Гниет трава, и воздух полон пара.

И солнце рдеет, налитое кровью,

И зори и закаты багровеют

В сырцовых, в тяжких, в красных облаках.

Какой-то кровавой колтун – не мир...

И мы стоим в нем черным утюгом.

К нам Днепр течет и опресняет море,

На нас пески тяжелым жаром пышат,

К нам водоросли подплывают, птицы

Болотные кричат нам. Вы поймите:
Кровь, голод, смерть, безумие, страданье –
По тысячам речонок вьются в Днепр,
Восходят зноем, гнилью, душным ветром,
Кровавыми закатами, звездой,
Что красным зубом землю бороздит...
А в середине – мы, железным гробом.
Не бред, не ужас? И гремит, как бубен,
Предчувствие!

Григорьев:

Предчувствие чего?

Семенов:

Того, что здесь должно свершиться нечто.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Кочегарка.

Матюшенко и Вакуленчук.

Вакуленчук:

Дождались, вот.

Матюшенко:

Чего дождались-то?

Вакуленчук:

Кипит команда.

Матюшенко:

От гнилого мяса?

От зуботычины Ключу? Ну, знаешь:

От этого кипенья толку мало.

Дадут им кашу пожирнее, станут

Не как собаку величать – и сразу

Весь пар мятежный выпустят. Да разве

Такою революция бывает?

Вакуленчук:

Ты сам ведь говорил, что мятежи

Из брюха да из синяка растут.

Матюшенко:

Расти – растут, а поливает их

Сознательность. А без поливки, знаешь,
Хоть вырастет – засохнет. Разве мы
За кашу бой ведем? Да, может, нам
От революции-то хуже станет
Лет на́ десять, а то на пятьдесят.
За будущее боремся, за счастье
Всех, кто родится после нас... А тут:
Гнилым борщом наш полнокровен гнев!
Корабль восстанья по борщу плывет!

Вакуленчук:

Да что ты зарядил?

Матюшенко:

Вакуленчук,
Товарищ милый! Где же все они –
Герои? Никого не вижу.

Вакуленчук:

Будут.
Дай развернуться. Дай пролиться крови.
Она, брат, всё спаяет, всё взрастит.

Матюшенко:

Пролиться крови! Кто ее прольет?
Кто пулям грудь подставит?

Вакуленчук:

Я да ты.

Матюшенко:

Не очень много.

Вакуленчук:

Ничего, довольно.
У нас ведь не война: у нас восстанье.
Из каждого убитого десятка
Бойцов выходит. Не тотчас, так после:
Через неделю, через десять лет.
Гроба погибших – революций банк.

Матюшенко:

Чудной ты, право...

Вакуленчук:

Слушай: хорошо бы –
Я часто думал – где-нибудь собрать
Десятки тысяч мальчиков – и всех

Воспитывать как революционеров.
Из года в год внушать им нашу правду,
Их закалить, – чтоб вышли янычары,
Гвардейцы революции. А после
Корабль сильнейший снарядить и двинуть
Во все порты, на горе всем тиранам, –
Всех угнетенных, всех, кому нет места
В своей стране, кого как зверя травят,
Всех брать на борт!

Матюшенко:

Ковчег?

Вакуленчук:

А что ж, – ковчег.
Которому повсюду Арараты...
Вот ты смеешься...

Матюшенко:

Не смеюсь я, милый.
Я понимаю. Только далеко...
У нас дела поближе да попроще.
Что будем делать?

Вакуленчук:

Выстроим команду
Да командира перед фронт попросим,
Претензию заявим.

Матюшенко:

Ну, а если
Он гаркнет, как умеет? Что тогда?
Хвост подожмет команда?

Вакуленчук:

Что тогда?
Тогда уж я пред командира выйду, –
А там посмотрим.

Входят: *Шульга, Лебедев, Брызгалов, Зозуля, Черных, Щона* и др.

Лебедев:

Матюшенко здесь?

Матюшенко:

Я здесь.

Лебедев:

Куда же ты пропал? Ведь скоро
Обедать просвистят, а мы еще
И не решили ничего.

Матюшенко:

Что доктор?

Шульга:

Что доктор? Доктор говорит: «годится,
Есть можно».

Матюшенко:

Так.

Брызгалов:

Что ж? Борщ катнуть за борт?

Зозуля:

А что с ним церемониться? Конечно.

Щопа:

Катнуть недолго. Только как же сделать?
Котел перевернем – так всех, кто этим
Займется, в трюм упрячут, в кандалы.
А если вся команда котелки
Отдельные для рыбы опростает –
Тогда начнут зачинщиков искать;
Такой разбор пойдет.

Шульга:

Пожалуй, верно.
Впустую оборвется случай.

Зозуля:

Что же?
Оставить так? Тухлятину глотать?
Так тоже случай-то упустим.

Щопа:

Лучше
Уж случай потерять.

Брызгалов:

Да? Эх ты... Щопа.

Матюшенко:

Молчи, Брызгалов, свар не заводи.

Черных:

Ну, а по-моему, так надо просто.

На что идем? На бунт. Так лучше разом,
Не нежничать, не жаться. Взять его,
Зверюку злого, Иванова, – и:
В котел с борщом, а после, чтоб отмылся, –
За борт!

Зозуля:

Вот это здорово, ей-богу!

Шульга:

Вы что? Рехнулись оба? Ведь команда
У нас балласт. Ведь чтоб ее нагреть,
Чтоб за собою повести, – нам надо
Ей в зад воткнуть насильство офицеров.
А если мы насильничаем, то
Ее не раскачать еще полгода,
И только даром под расстрел пойдем.

Щопа:

Известно, так.

Зозуля:

А что же мы решим?

Ну, Матюшенко, говори: ты главный.

Матюшенко:

Не главный я, и зубы ты не скаль.
А сделать надо вот что: как просвищут
К обеду, – вся команда чинно выйдет,
Построится урядливо во фронт,
И вахтенному боцмана доложат,
Что с командиром говорить желает
Весь экипаж. Придет он, командир;
Я доложу, что борщ наш не годится,
И пробу поднесем. Уступит – ладно:
Хоть пицци правильной добьемся. Если ж
Насильничать начнет, тогда у нас
Зацепка будет. Верно говорю?

Многие:

Так, верно.

Брызгалов:

Ты разумный, Матюшенко.
Да он уступит, Иванова взгреет –
И будем мы служить как раньше.

Вакуленчук:

Дура!

Вот в этом-то всё дело: никогда
Он не уступит. Съест гнилье да ложку
Облизет: вкусно. Тут-то и сумеем
Поднять команду: что, мол, за издевка!

Щопа:

Да, так вернее. Выйдет бунт – никто
Не скажет нам, что с цепи мы сорвались.
Ну, а не выйдет, сдастся командир –
Тут все-таки есть польза.

Зозуля:

Это, брат,
Миндальничанье.

Черных:

Верно.

Брызгалов:

Э, – да что там!
Тревогу просвистать сейчас, чтоб сразу
Винтовки разбирали. Ну? Идем?

Матюшенко:

Оставь, Брызгалов. Дело надо дружно
Решать, а не наскоком.

Брызгалов:

Что болтать?
Кто за меня стоит?

Лебедев:

А ну, посмотрим,
Кто дураки.

Брызгалов:

Дать зеркало?

Лебедев:

Молчи!
Не то ты в топку у меня нырнешь,
Смутьян безмозглый! Жизнь ведь ставим тут.
Тут, может, вся Россия повернуться
На нашем-то винте должна. А ты –
Абы орать да гвалтом красоваться.

Матюшенко:

Довольно. Как, товарищи, решим?
Кто за мое?

Большинство подымает руки.

Так. Значит, так и будет.
А кто с начальством станет говорить?
Кому прикажете?

Шульга:

Жеребий бросить.

Вакуленчук:

Зачем жеребий? Я пойду.

Матюшенко:

Ты? Хочешь?
Ну, ладно, так тому и быть. Теперь
Поди, Шульга, да приведи сюда
Кого-нибудь подвахтенных.

Шульга уходит.

А вы
Ступайте-ка, ребята, по отсекам
Да быстро всей команде передайте,
На чем решили.

Все, кроме *Вакуленчука*, уходят.

Жертвуешь собой?

Вакуленчук:

Не жертвую, – а просто надо так.
Жеребий бросить – вдруг тебе придется?
Останемся без головы. А если
Брызгалову? А если Щопе? Нет,
Из этого не стало проку б. Верно!

Матюшенко:

Эх, друг... А жаль, что нету офицера
Меж нас, ей-богу, жаль. Мы что? – матросы.
Напутаем еще.

Вакуленчук:

Не говори.

Нет офицера... Что ж, народ ученый.

А только тут учения не надо.

Тут революция должна дышать

В груди и голове, и в каждом пальце.

Она подскажет всё, что нужно. Верно!

Запомни это.

Входит *Шульга* и несколько матросов.

Первый:

Звал, что ль, Матюшенко?

Матюшенко:

Вот дело в чем. Команда порешила

Претензию сегодня заявить.

Первый:

Слыхали. Дело доброе.

Матюшенко:

Ну, значит,

Претензию-то слышать им невкусно.

Пожалуй, и попробуют они

На нас храпеть. А мы – давно оглохли.

Давно от командирского храпенья

У нас в ушах мозоли. Так, пожалуй,

Они погромче захотят храпеть:

Не голосом – винтовками. Смекаешь?

Вас высвищут. Ну и...

Первый:

Не бойся, друг.

Всё понимаем: в голове не пакля.

Стрелять-то, может, будем, да не в вас.

Матюшенко:

Матросское даете слово?

Первый:

Братцы,

Матросское-то слово?

Многие:

Будь покоен.

Даем.
Не для того в матросах служим,
Чтобы в своих стрелять.

Матюшенко:

Ну, так, спасибо.
Матросское, товарищи, спасибо.

Первый:

Пойдем. Желаем, друг, успеха.

Уходят.

Вакуленчук:

Эх!
А молодцы!

Шульга:

Сознательные парни.

Раздается боцманский свисток.

Матюшенко:

Ну, вот, пора. Обнимемся, ребята.
Кто знает: может, и на смерть идем!

Целуются.

Прости, Вакуленчук.

Вакуленчук:

Прощай, голуба!

Шульга:

Пора идти.

Матюшенко:

Идем!

Вакуленчук:

Идем!

Уходят.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Кают-компания.

Офицеры, судовой священник.

Антонов:

Попробуем. Блистательные раки.
А красные!

Григорьев:

Точь-в-точь социалисты.

Антонов:

Но повкуснее. Хо-хо-хо! Пивка?

Григорьев:

Плесните.

Антонов:

Благолепие, ей-богу.
Прохладно, вкусно. Что, отец Пармен,
Канашек не хватает?

Священник:

Перестаньте.
Что за срамные речи?

Антонов:

Грешен, грешен.

Семенов:

А вам легко живется.

Григорьев:

Не скажите:
И у него такое горе есть.

Семенов:

Какое же?

Григорьев:

Что индульгенций нету
В российской церкви. Вот ему и страшно
Геенны огненной и согрешить
Нельзя во всеуслышание.

Священник:

Стыдно!
Что вы такое говорите нынче?

Антонов:

Эх, батя, батя, не мешайте есть:
Сегодня не великий пост.

Входит старший офицер.

Ст. офицер:

Сегодня
На корабле такое безобразие!

Петров:

А что?

Ст. офицер:

Да, понимаете, варят
Им борщ. Так все шестьсот матросов – все
Котел понюхали.

Антонов:

Так вкусно, разве?

Ст. офицер:

Не зубоскальте, мичман. Дело в том,
Что на говядине штук пять червей
Вчера заметили; – так вот: воняет!

Петров:

А может быть, и в самом деле гниль?

Иванов:

Нет, быть не может. Мясо покупал
Я сам, – а я не слеп и не без носа.
И я вам удивляюсь, лейтенант,
Что вы всегда на стороне матросов...

Петров:

Я не всегда на стороне матросов,
Но думаю, что попусту дразнить
Людей не следует – в такое время.

Иванов:

В какое время?

Григорьев:

Это лейтенант
Семенов знает лучше всех. А ну-ка,
Поведайте нам, лейтенант-философ,
В какое время мы живем?

Семенов:

Извольте.

Скажу. Я нечувствителен к насмешкам...

Так вот: когда мы гнали из Одессы
На катере и к Тендре подходили, –
Верст за десять «Потемкин» засиял нам,
И два прожектора, два узких, пыльных,
Лазоревых крыла взлетали в небо,
Обламываясь вдруг и упадая.
Почудилось мне: это божий дух
Витает над водою первозданной,
Уже тоскуя, что создал ее...

Священник:

«Тоскуя». Так о господе неловко.

Григорьев:

Он, батя, еретик... Ну, дальше, дальше.

Антонов:

Ах, бросьте: это портит аппетит.

«Тоскуя», «божий дух» – к чему всё это?

Ст. офицер:

Да, лейтенант, вы бравый офицер,
Да вот заумствовались что-то слишком.

Семенов:

Ах, господа, – никто не понимает...

Ведь мы...

Ст. офицер:

Хотите пива?

Семенов:

Не хочу.

Антонов:

Живой моряк – и не желает пива.
О, времена! Отец Пармен, – нельзя ли
Из лейтенанта выгнать этих бесов
Злотрезвенных?

Входит баталер.

Баталер:

Позвольте доложить,
Что от борща команда отказалась.

Ст. офицер:

Что? Доктор ведь сказал, что мясо годно.
Ах, негодяи! Ну, сейчас приду.
Ступай. Я покажу им. Сговорились.

Антонов:

Ну, будет музыка. Отец Пармен,
Молебен о непротуханьи мяса...

Ст. офицер:

Нет, – как вам нравится? Да что же, – мне
Кормить их ананасами, мерзавцев?

Иванов:

Вы подтяните их.

Петров:

Зачем вы так?
Из пустяка ведь может буря выйти.

Входит боцман.

Боцман:

Позвольте доложить, что там команда
Построилась и просит командира.

Ст. офицер:

Претензия? Ну, ладно, у меня
Вы потанцуете! Я покажу вам,
Я покажу!

Петров:

Позвольте вам сказать, –
Я старый офицер, – полегче вы
С командой обойдитесь. Право, страшно.
Вы помните, что было в ноябре?

Ст. офицер:

Благодарю вас за совет, спасибо.
Я знаю, как мне с ними говорить.
Ах, негодяи! Ну, теперь держитесь!
Построились и просят командира?
Я им такого командира дам!

(Выбегает.)

Григорьев:

Вот взъерепенился.

Священник:

Не подобает

Вам, мичман, так о старших говорить.

Григорьев:

Ей-богу, к ракам ладан не идет,

Отец Пармен.

Иванов:

А я так, право, рад.

Петров:

Напрасно: ведь матросы накалились.

Иванов:

Матросы накалились, – говорите?

Тем лучше: легче их согнуть в дугу

Хорошим молотом.

С палубы доносится исступленный крик *старшего офицера*.

Семенов:

Постойте.

Петров:

Тихо.

Молчание. И снова крик его же.

Ст. офицер:

Закрывать его брезентом! Расстрелять!

Все вскакивают. Выстрел. И в ответ раздается громовой яростный крик матросов: А-а-а-а! Сыплются выстрелы.

Офицеры:

Что там?

Мятеж!

Где командир?

Спасайтесь!

О, боже мой!

Я говорил!

Что делать?

К оружию!

Наверх!
Мятеж!
Мятеж!

Антонов выбрасывается в иллюминатор.
Из смежных кают выскакивают другие офицеры.

В чем дело?
Бунт?
Скорее к командиру!
Закройте дверь!
Достаньте револьверы!

Распахивается дверь и вбегают вооруженные винтовками матросы.
Среди них: *Черных*, *Брызгалов* и *Зозуля*.
Некоторые врываются в смежные комнаты.

Брызгалов:

Сдавайся, сволочь! Или всем конец!

(Срывает со стола скатерть, затем с размаху бьет прикладом священника.)

Черных:

Где Иванов?

Зозуля:

Что разбирать? Всех бей!

Черных:

Где Иванов? Держись! А, – ты стрелять?

Иванов:

Убью!

(Стреляет.)

Черных:

Промазал!

(Вырывает у него браунинг и выпускает все заряды ему в лицо.)

Вот тебе, вот, вот,

Вот, вот, вот, вот, – всё! Что, зверюка, – вкусно?

Семенов:

О, боже мой! Я чувствовал, я знал!

(Застреливается.)

Петров:

Ребята, образумьтесь!

Брызгалов:

Кто ребята?

Ты нам отец? А ну, – долой погоны!

Петров:

Не ты мне дал!

Брызгалов:

А кто же? Царь? Лови!

(Стреляет в него.)

Матросы втаскивают *командьра*.

Командир:

Товарищи! Что вы? Ведь я всегда

За вас стоял. Не убивайте! Братцы!

Матросы:

Скотина!

Жополиз!

Командир:

Спасите! Братцы,

Простите, пощадите!

Зозуля:

Бей его!

Матросы:

Тащи наверх лягавого!

Повесим

На грота-рее!

Как сигнал!

Что руки

Марать? Здесь расстрелять:

Ставь к стенке!

Командир:

Братцы!

Его расстреливают. Вбегает *Матюшенко* и др.

Матюшенко:

Довольно! Не свирепствуйте. Довольно.

Товарищи! Корабль у нас в руках!
Мы победили! Революция!

Многие:

Ура!

Матюшенко:

Да здравствует свобода! Этих –
Взять, запереть. А там решим, что с ними
Нам делать. Мертвецов вали за борт.
Сейчас собрание...
Убит за правду!..
Вакуленчук!..
(*Рыдает.*)
Но отомщен как надо!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Новый мол в Одесской гавани.

Публика.

Первый:

Смотрите: вон какой-то броненосец.
Ишь – прет! Так и отваливает воду
Направо и налево. Чисто плуг.

Второй:

Позвольте-ка бинокль... Ну, так и есть.
«Потемкин». Это, батенька, – корабль!
Он всей эскадры черноморской стоит
Один. Эх, не было его в Цусиме!

Третий:

Да это не «Потемкин».

Второй:

Не «Потемкин»?
А три трубы?

Третий:

Что три трубы? Ведь «Память
Меркурия» – трехтрубный тоже.

Второй:

Да?

А башни для двенадцатидюймовых?
А корпус низкий? Это ж броненосец
Линейный, а не крейсер. Броненосцы ж –
«Мария», «Ростислав», «Георгий», «Три
Святителя» – все старого покроя.
Их разве только греческий священник
Не отличит от этого красавца.

Студент:

Откуда им все корабли известны?

Второй:

А вам?

Студент:

Мне неизвестны.

Второй:

Очень жаль-с.
Студенты только бунтовать умеют,
А на Россию им плевать.

Студент:

Россия!
При чем Россия тут?

Второй:

А как же-с? Вон,
Вон вам Россия – мощь ее и гордость.

Студент:

Мы эту гордость под Цусимой знаем,
Когда она вверх брюхом поплыла.
Не корабли – калоши. Вы в карманы
Строителей взгляните: вот где мощь!

Второй:

Я не желаю с вами говорить.

Студент:

Пожалуйста.

Второй:

Отчаянье берет
Смотреть на молодое поколение!

Первый:

Да, времена такие подошли...

Вчера – слышали? – бомбою убили
Городового. Двадцать лет служил,
Свой юбилей справлял позавчера,
И только стал на пост всегдашний – трах!
В клочки. За что?

Второй:

Бунтовщики!

Четвертый:

А что же?

Молчать нам? Покоряться? Вы взгляните:
По городу казаков распустили,
Ругаются, нагайками бушуют,
По тротуарам на конях гарцуют
Да конскими хвостами протирают
Витрины магазинов. Красота!

Второй:

И не того еще дождетесь.

Четвертый:

Верно.

И вы еще дождетесь не того!

Первый:

Вот. Входит. Ма-а-а-лый ход.

Третий:

Сейчас начнет

Салютовать.

Мол. чел.:

Вы, Катя, как начнется

Стрельба – откройте рот.

Катя:

Зачем? – Дурак!

Мол. чел.:

Ей-богу: так всегда артиллеристы, –

Чтоб перепонка барабанная...

Первый:

Глядите:

На мостике – матросы.

Второй:

Да, – вот странно!

И офицеров не видать.

Третий:

Да, да.

Что это значит?

Второй:

Гм. Впервые вижу.

Вы знаете: не по сердцу мне это.

Случилось что-нибудь на корабле?

Первый:

И флага нет андреевского.

Второй:

Значит...

Смотрите: поднимают красный флаг!

Так, значит, там – мятеж!

Первый:

Уйдем скорее.

Еще стрелять начнут.

В публике движение. Часть постепенно удаляется; часть скопляется на краю мола. Появляются группы портовых рабочих. Публика быстро «демократизируется».

Голоса:

Да, красный флаг.

«Потемкин» стал на сторону народа.

Вот так матросы!

Молодцы!

Теперь

Держись, командующий!

Это им

Не женщины!

Казачков не натравишь!

Ай, хорошо, ребята!

Да, уж если

И флот на нашей стороне – тогда

Несдобровать царю.

А ты полегче.

Чего полегче? Наша, брат, взяла.

«Потемкин» спускает шлюпку. В нее сносят тело Вакуленчука,
и шлюпка отваливает по направлению к молу.

Глядите: шлюпка.
Что туда кладут?
Большое что-то.
Динамит, должно быть.
Дурак!
Идут.
Глядите.
Не толкайся.
Да это человек!
Покойник!

Шлюпка пристаёт к молу. Матросы выносят тело и сооружают над ним из брезента нечто вроде палатки. У тела становится караул.

Шульга (*влезая на бочку*):

Товарищи и граждане Одессы!
Здесь перед вами труп бойца, героя, –
Который заявить посмел начальству,
Что борщ гнилой ни к черту не годится.
Ему начальство рот заткнуло пулей.
Товарищи! Доколе же терпеть
Мы будем этакое беззаконье?
Доколе же над нами офицеры
И царь проклятый будут измываться,
Насильничать? Ужели же за нас
Народ не вступится и не поддержит?
По всей России кровь и слезы льются.
Вот в Питере рабочих расстреляли,
В Ростове – казни, а по деревням
Опричники-казаки, ровно волки
Остервенелые, полками рыщут,
Детей запарывают, девок портят...
Товарищи! Вас призываем мы
Восстание поднять, смести начальство,
Провозгласить республику народа.
У революции надежды есть!
У революции есть фронт и пушки!
Долой же, братцы, каторжный царизм,
И вечная борцам погибшим память.
Долой самодержавие!

Многие:

Долой!
Долой самодержавие!

Толпа теснится к телу. Многие крестятся, плачут.
Иные кладут к ногам трупа кольца, деньги.

Девушка:

Молоденький.

Вторая:

А храброе лицо.

Рабочий:

Погиб.

Второй:

За правду пострадал.

Третий:

Бедняга.

Девушка:

Постой, – нет, Нюра, подожди: за что?
За что его?

Рабочий:

Заголосили. Эх,
Не плакать надо.

Второй:

Не такое время.

Третий:

А сам – что плачешь?

Женщина:

Панихиду бы.

Матрос:

Над ним-то? Над героем? Панихиду?
А всенародные-то слезы разве
Не панихида?

Женщина:

Вон – солдатики.
Маньжурцы ранены.

Вторая:

Им, несчастным,
Теперь полегче будет: занялась
Свобода.

Подходят двое раненых в маньчжурских папахах.

Первый:

Эх, – мы там, он здесь, болезный.

Подходит офицер, смотрит и отходит.

Рабочий:

А честь?

Солдат:

Эй, – честь отдать!

Рабочий:

Не на балу!

Офицер поспешно козыряет и скрывается.

Пьянчужка:

Из-за таких вот и погиб несчастный
Во цвете лет.

Девушка:

Как смеют убивать?

Подходит дама в трауре, смотрит долго, потом опустошает кошелек,
снимает серьги, кольца и кладет к ногам трупа.

Дама (*гардемарину, сопровождающему ее*):

Гляди, Володя,
Запомни, милый, на пороге жизни.

Рабочий:

Эх, барыня, что ж раньше-то, что ж раньше?

Старуха:

Родименький! Дай ножки поцелую.
И у меня такой был... Взяли... Взяли...
Казнили... И могилку-то потом
Не отыскала... Родненький, голубчик!..

Рабочий:

Вот я сказать хочу. Вот эти руки
Иссохли на работе, силы нет.
А всё ж пойду – старик – пойду сражаться!

Уж если молодые погибают,
Так нам и бог велел. Авось придется
Хоть грудью смелого борца прикрыть...
Эх, не было меня с тобой, товарищ!

Голоса:

Глядите: на бульваре! Поглядите!
Казачи. Рысью. Что такое?
Значит,
По Ланжероновскому съедут в порт.
Расправа будет.

Подбегает солдат.

Солдат:

Берегись, ребята!
Сейчас привалят! Все пьяны! А сотник
Грозится в море сбросить! Всех! Я дул
Наперерез!

Голоса:

Спасайтесь!
Поздно.
Через Военный спуск.
Там по дворам
Засады из городских, – сам видел.
Что делать?
Будем защищаться.
Как?
Уйдем скорее.
Стыдно.
Эй, матросы,
Что ж, вы дадите всех избить? А что же
«Потемкин» ваш?
Что он молчит? Ужели
Он их пугнуть не может?
Что ж «Потемкин»?

Матрос:

«Потемкин» что? Глядите: вон «Потемкин»!

Голоса:

Ого, ого! Он боком стал! Глядите!

Наводит пушки!
Слышите, свистят
Тревогу боевую!
Поглядите:
Помчался ординарец из дворца.
Догнал. Остановилось казачье.
Назад поехали. Ура!
Струхнули!
Каханов хвост поджал!
Ай, молодцы!
Ай, броненосец, ай, «Потемкин»!
Славно!
Ура!
Ура!
С защитником таким
Сам черт не страшен!

Подходят посланные с.-д. организацией агитаторы: *Кирилл* и др.

Кирилл (влезая на бочку):

Товарищи! Мы видели сейчас,
Что поворот революционных пушек
В холодный пот вгоняет генералов.
Товарищи! Уже близка победа!
Подыдем гроб на трудовые плечи,
С ним, как со знаменем, пойдем вперед
На площади, пред памятники, всюду!
Пусть этот город, этот смрадный ад,
Где из дворцов грозятся нам кнуты,
Где кровь и пот по жёлобам струятся,
Где у голодных вырывают корку,
Где наши сестры в Красном переулке
Свои объятья продают за рубль, –
Пусть этот город поглядит на нас,
Клокочущих революционным гневом,
Пусть поглядит на этот славный труп,
И пусть поймут там – в банках, во дворцах, –
Что пробил грозный час, что месть близка!
Я не хочу одетым быть в пиджак!

Матросскую рубаху дайте мне –
Мундир победоносного восстанья!
(Срывает с себя пиджак. Ему подают голландку.)
С матросами, восставшими сольемся,
Солдат подыдем, всколыхнем рабочих.
И океаном хлынем в старый мир
И смоем всё насилье, всё злодейство!
Вся власть в Одессе перейти должна
К восставшему народу! Так вперед же.
Во имя революции, – вперед!

Толпа поднимает тело Вакуленчука, и с пением похоронного марша, осененная красным флагом, процессия движется в город.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Палуба броненосца.

Матросы.

Первый:

Вот и стоим. И толку никакого.

Второй:

Известно: море-то – оно пустое,

А посуху не поплывешь.

Третий:

Да, братцы,

Затеяли мы бучу.

Первый:

Мы? – Не мы.

Затеял Матюшенко, да Шульга,

Да Лебедев... Поют: мятеж, свобода.

Вот и свобода. Офицеров – к черту,

Вакуленчук с почетом погребен,

В порту пожар, грабеж, стрельба. И всё.

А царь сидит по-прежнему, солдаты

К нам не примкнули. И стоим, как бочка

На якоре, – на Вакуленчуке.

Пять лет так простоим? Для мертвеца?

Второй:

На мертвый якорь стали.

Третий:

Что ж нам делать?

Первый:

Не знаю. Постоим еще немного,
А там, пожалуй, и сдаваться надо.

Третий:

Ты спятил?

Первый:

Ничего не спятил. Что же
Ты думаешь? Они дадут нам плавать?
Пошлют эскадру, все порты закроют
И, затравив нас голодом, в неделю
Возьмут или на дно отправят. Если ж
Теперь сдадимся – будет снисхожденье.
Ну, главарей, конечно, расстреляют.
А нас... да что, расформируют только.
Дослужим – и в деревню.

Третий:

Это верно.

Четвертый:

Вот, слушаю. И сволочь же вы все.
Товарищей отправить под расстрел?

Второй:

Зачем расстрел? Мы на́ берег их спустим,
Снабдим монетой, паспорта добудем, –
Текайте, братцы.

Третий:

Это тоже верно.

Подходит *Щопа*.

Щопа:

О чем бурлите?

Первый:

Ты вот в комитете.
О чем вы думаете?

Щопа:

Эх, – у нас

Такая свара... Этот вольный...

Первый:

Кто?

Щопа:

Да тот, что прислан от эсеров, Павел...

Ты знаешь, кто он? Мать его была

Тяжелую осуждена на смерть.

Ну, ждать велели до родов. Полгода.

Родился мальчик. Казнь-то отменили.

А мать сошла с ума. Вот этот мальчик

И есть наш Павел. Злобы в нем – по горло.

Так он всё требует, чтобы Одессу

Нам обстрелять, а там идти в другие

Порты – обстреливать их. За него

Стоят Брызгалов и Зозуля.

Первый:

Так.

А Матюшенко?

Щопа:

Матюшенко сдрейфил.

И так, и этак. Не поймешь его.

То хочет ждать, пока солдаты к нам

Не присоединятся да повсюду

Восстанье не начнется, то молчит,

То Вакуленчука вдруг поминает

Да хнычет.

Первый:

Ну, а ты?

Щопа:

Что я?

Я говорю: сдаваться надо.

Первый:

Вот.

Я то же говорю.

Щопа:

Да что же делать?

В порту – погром. Ишь как горит... Вся шваль

Пакгаузная вылезла наружу
И грабит. Это – революция?
Нет, попусту затеяли всё дело,
Не вовремя.

Первый:

Так надо не зевать.
Давайте вызовем к нам комитет, –
Ведь многие восстаньем недовольны, –
Да и заявим, что сдаемся все.

Второй:

А верно, братцы: комитет-то выбран,
Так должен слушаться.

Щопа:

Что, дудка есть?
Свисти-ка всех наверх.

Первый свистит «всех наверх». Сходятся матросы.

Голоса:

В чем дело, братцы?
Зачем свистали?

Щопа:

Дело в том, ребята,
Что надо нам кончать волынку эту.
Здесь стоя, мы не победим врага,
Дождемся только, что придет эскадра
Да нас потопит. А идти куда?
В Батум? В Сухум? Там тоже постоим.
А по морю кататься нам негоже:
У нас не яхта. Вот и говорю:
Товарищей, кто более замешан,
Мы сплавим как-нибудь, – пускай бегут, –
А сами – в Севастополь и сдадимся.
Небось – помилуют.

Голоса:

А комитет?
Что комитет решил?

Щопа:

Да в комитете
Не высидеть нам толку.

Голоса:

Значит, ты
По своеволью?
Это ничего.
Он дело говорит,
А Матюшенко?
Где Матюшенко?
Вон – идет.

Подходят: *Матюшенко, Шульга, Лебедев, Брызгалов, Черных* и др.

Матюшенко:

Что, братцы?
Зачем тревога?

Щопа:

Нам сдаваться надо.
Здесь стоя, мы...

Матюшенко:

Да слышал сотню раз...
Товарищи! Мы подняли восстание.
Вакуленчук своею кровью нам
Окрасил флаг. Так неужели вы
В четыре дня свой вытряхнули порох
И как мешок болтаетесь пустой?
Стоим. Ну что ж? Нам надо подождать.
Россия велика. Не сразу будет
Во всех углах пожар. Но будет, будет.
А если мы теперь опустим флаг,
Так вся Россия замолчит на годы.
Мятеж – он заразителен. А трусость
Раз в двадцать заразительней. Нам нужно
Терпение.

Брызгалов:

Ты точно Куропаткин.

Матюшенко:

Брызгалов, – ты?
Зачем ребят сбиваешь?
Сам говорил...

Брызгалов:

И говорю: нам надо
Хватить как следует из наших пушек
По городу, а там хоть и сдаваться.

Шульга:

Вы так всегда, горластые, всегда.
На взрыв вас хватит, – ну, а дальше – стой.
Где надо поработать, потерпеть –
Там гайка отвинтилась.

Голоса:

Чего болтать?
Сдаемся.
Не хотим.

Черных:

И верно. Отомстили за себя.
Рванули офицеров за погоны –
И баста. Мы...

Сигнальщик (*с мостика*):

Эскадра показалась.
Курс держит на Одессу.

Голоса:

Так и есть.
Каюк. Пришли.
Ну, будет потасовка.
Сдаваться. Белый флаг.

Матюшенко:

Все по местам.
Не время спорить.

Павел:

Мы взорвем на воздух
«Потемкина».

Матюшенко:

Все по местам. Свистать
Тревогу. Кто посмеет не послушать
Приказа – застрелю того на месте.
За мною, в рубку.

*(В сопровождении Лебедева и Шульги поды-
мается в боевую рубку.)*

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Боевая рубка.

Входят: *Матюшенко, Шульга, Лебедев* и др.

Матюшенко:

Бинокль... Идут...

(В переговорную трубку.)

Машина, как пары?

Быть наготове... Головной «Георгий».

Флаг адмирала Кригера... Шульга,

Там, в башнях, комендоры на местах?

Шульга:

В порядке все.

Матюшенко:

О, – флаги. Эй, сигнальщик,

Что говорят?

Сигнальщик:

«Красавцы-черноморцы,

Что делаете? Сдайтесь, покоритесь».

Матюшенко:

Спроси: «кому»?

Что говорят?

Сигнальщик:

«Его

Величеству, царю и государю».

Матюшенко:

Ответь: «такой нам неизвестен».

Сигнальщик:

Есть.

Матюшенко:

Что говорят?

Сигнальщик:

«Пеняйте на себя».

Лебедев:

Что делать, Матюшенко?

Матюшенко:

Вот, посмотрим.

Пусть подойдут.

Входит *матрос*.

Матрос:

Там мичман Волошкевич.
Он спрашивает, можно ли ему
В бою участвовать?

Матюшенко:

Что ж, – пусть придет.

Матрос уходит.

Идут... Сигналы... Так: меняют строй,
Дугою развернулись.

Вбегает *Зозуля*.

Зозуля:

Матюшенко,
Ты что – с ума сошел? Что мы стоим?
Идут ведь, будут крыть.

Матюшенко:

Эй, не мешай.

Зозуля:

Что не мешай?

Матюшенко:

Молчи, Зозуля.

Зозуля:

Что?
Ты не ори тут: не затем избрали.
Сигнальщик, подыми сигнал, что будем
По городу стрелять, коль подойдут.

Матюшенко:

Не смей! Здесь я командую.

Зозуля:

Сигнальщик!

Матюшенко:

Эй, Лебедев, – арестовать его!

Лебедев (*с двумя матросами подходит к Зозуле*):

Идем.

Зозуля:

Постой.

Волошкевич:

Товарищ Матюшенко,
Я с вами – в благодарность за пощаду.
Быть может, вы позволите вам дать
Совет?

Матюшенко:

Ну?

Волошкевич:

Надо уходить. У нас
Машины и орудия сильнее.
Мы не подпустим их и будем крыть
Из кормовых.

Шульга:

Что ж, – верно.

Матюшенко:

Подождем.

Шульга (*тихо*):

Смотри: не ошибиться бы; он знает.

Матюшенко:

Тревогу. К бою, красный флаг поднять.
В машине: малый ход. Право руля.
Сигнальщик, подыми: «“Потемкин” твердо
Надеется на братьев-моряков».

Сигнальщик:

Есть.

Матюшенко:

Прямо руль. В машине: стопоры.

Зозуля:

Что? Стал? Ребята, – он изменник.

Матюшенко:

Слушай:

Еще хоть слово – пуля в лоб.

Матрос:

Идут.

Волошкевич:

Не медлите. Что делаете вы?
Ведь каждая минута дорога!
Потом вы не прорветесь! Вы безумец!

Матюшенко:

Эй, не мешать! В машине: полный ход.

Волошкевич:

С ума сошел. Идем на них! В разрез!
Они же с двух сторон... О боже!

Матюшенко:

Тихо!

Долгое молчание.

Лебедев:

Ребята, поглядите, поглядите:
Они остановились. Поглядите.

Сигнальщик:

«Георгий» поднял красный флаг! Ура!

Волошкевич:

Они уходят!

Многие:

Струсили!
Бегут!

Зозуля:

Ай, Матюшенко, ай да командир!
Крыть их вдогонку!

Многие:

Победили, братцы!
Восстал «Георгий»!
Молодцы!
Ура!
Матросики не выдали!

Матюшенко:

Оркестр!

Шульга выбегает.

Шульга (*на палубе*):

Оркестр! Жарь марсельезу!

Голоса:

Победили!

Да здравствует восстание!

Ура!

Лебедев:

Ну, Матюшенко, ну, матрос: спасибо!

Знал, как пронять товарищей. Спасибо!

Матюшенко:

Не мне спасибо: Вакуленчуку:

Он научил. В машине: стоп. Теперь

Пойдет не то. Скорее на «Георгий».

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Капитанский мостик.

Матюшенко. Входит Шульга.

Шульга:

Неладно, Матюшенко.

Матюшенко:

Знаю сам.

Такого маху дали. Офицеров

Оставить на свободе. Только сутки

Пройти успели – вся разложена

Команда. Не придумаю, что делать.

Шульга:

Да, плохо. Поначалу – как пошло.

Ликуют все. Уньние – к чертям.

А нынче песня старая. Эх, плохо.

Матюшенко:

Пожалуй, надо уходить отсюда.

Шульга:

Куда ж идти?

Матюшенко:

А к берегам Кавказа.

Народ там не такой: не позабыли

Бывалой воли.

Шульга:

Там рабочих мало.

Матюшенко:

А гнету много. Там-то и начнется:

Там не успели отупеть. Увидим,

Как поцелуются два мятежа:

Народный с трудовым. Да, – на Кавказ.

Устроим заседание?

Шульга:

Устроим.

Эй, Ключ, скричи-ка ты сюда Зозулю,

Брызгалова и прочих комитетских.

Ключ (*с палубы*):

Есть.

Шульга:

А угля у нас довольно?

Матюшенко:

Хватит

До Феодосии, а там в порту

Добудем.

Шульга:

А дадут?

Матюшенко:

Пугнем – дадут.

Входят: *Лебедев, Зозуля, Щопа, Брызгалов, Черных* и др.

Лебедев:

Звал, Матюшенко?

Матюшенко:

Заседанье надо.

Товарищи, хочу вам предложить

Вести корабль в Батум. Стоять довольно.

Щопа:

Я говорил давно... Но что в Батуме

Мы будем делать?

Матюшенко:

Постоим и там.

Мингрельцы да грузины нас поддержат,

А мы поддержим их. Там и начнется
Восстанье поголовное. А если
Зажжется Побережье, то в Баку
Такое будет, а потом в Ростове.
А там, глядишь, цусимцы воротятся
Из плена в Питер.

Брызгалов:

Хорошо придумал.

Лебедев:

«Георгий» с нами или здесь оставим?

Матюшенко:

С «Георгием», товарищи, неладно.
Там ночью офицеры постарались,
С командою поговорили нежно –
Она и обнежнела. Но посмотрим.
Здесь оставлять его нельзя, конечно.
Ну что, – согласны?

Зозуля:

Что ж, – согласны. Только
Ужели мы уйдем отсюда так –
Без выстрела? Каханова оставим
Торжествовать?

Лебедев:

Эк, – неумный ты.
Поворотись, нагнись да постреляй,
Коль хочешь трескотни.

Зозуля:

Дурак ты, брат.
Молчат орудия, – досадно, право:
Хорошие ведь языки у них.
Поговорили бы немного.

Матюшенко:

Брось.
По ком стрелять? Невинных как положим,
Так нас же проклянут. Ты, Павел? Что?

Вбегает *Павел*.

Павел:

Ну, брат! Ну, брат! Не видывал такого.

Насело на меня офицеры:
Нет мочи: заклевали!

Шульга:
А матросы?

Павел:
Матросы – что. Матросы хвост поджали.
Отечество припомнили, царя.
Ух, – так бы и пустил корабль ко дну!

Матюшенко:
Да что их там – в сиропе разварили?
Что ж те, кто выкинули красный флаг?

Павел:
Раскаялись. Слезой их проняло.

Черных:
А что, коль нам поехать на «Георгий»
Да офицерам привязать к ногам
Колосники – и в воду?

Лебедев:
Это можно.
Да лучше говорить добром.

Матюшенко:
Сигнальщик,
Приказ «Георгию» идти за нами.
Идем в Батум.

Сигнальщик:
Есть.

Матюшенко:
Что же отвечают?

Сигнальщик:
«Мы остаемся здесь: мы здесь нужнее».

Матюшенко:
Скажи: «во имя революции
Приказываем подчиниться».

Сигнальщик:
Есть.

Матюшенко:
Что говорят?

Сигнальщик:
«Идем».

Матюшенко:

Ну, молодцы.

Одумались. В машине: как пары?

Готовы? Якорь подымать. В машине:

Вперед. «Георгий» двинулся?

Лебедев:

Идет.

Матюшенко:

Ну, так. Плыдем. Эх, – камень с сердца спал.

Шульга:

Дай бог успеха.

Лебедев:

И без бога будет.

(Кричит с мостика.)

Товарищи, идем в Батум – поднять

Восстанье на Кавказе.

Голоса:

И подыдем.

Ура!

Матюшенко:

Постой. Куда же он идет?

Шульга:

Кто?

Матюшенко:

Да «Георгий»? Что такое? Стой:

Да он взял курс на гавань! Он сейчас

За волнорез уйдет. Ну – так и есть.

Предатели!

Голоса:

«Георгий» изменил!

Он с нами не идет!

Он стал на якорь!

За молом спрятался!

Открыть огонь!

Брызгалов:

Палить по нем.

Щопа:

Да не достать.

Павел:

Палить!

По нем, по городу. Эй, Матюшенко.

Матюшенко:

Предатели! Ну, так мы не уйдем.

Эй, башня кормовая. Комендоры.

По городу – открыть огонь.

Орудийный выстрел.

Еще.

Выстрелы.

Еще, еще.

Щопа:

Уймись, довольно, будет.

Матюшенко:

Матросы и матросам изменили.

Огонь!

Лебедев:

Довольно, брат, нехорошо.

Матюшенко:

Всё к черту. Полный ход. В Батум, в Батум.

Мы там покажем.

Щопа:

Эх, там то же будет.

Сдаваться надо.

Матюшенко:

Моряки! Позор!

Ох, – не видать бы, не слышать, уйти!..

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Феодосийский рейд.
Капитанский мостик.

Щопа и Шульга.

Щопа:

Как будто начали грузить.

Шульга:

Ну, добре.

Признаться, я не ожидал такой
Любезности от думы.

Щопа:

Что ж, – пришли.

Оделись флагами, честь честью, – просим

Продать провизии. Ну, видят: мирно.

А сплавить поскорей неплохо тоже.

Вот и дают.

Шульга:

Напрасно Матюшенко

На берег съехал... Дай-ка, брат, бинокль...

Вот странно...

Щопа:

Что?

Шульга:

А ну-ка посмотри.

Правей, правей, вон, – видишь эту гору?

Шоссе внизу.

Щопа:

Да, толпами идут.

Повозки следом с кладью. Что такое?

Шульга:

Ты знаешь что? Ведь жители уходят

Из города. А почему? Боятся

Обстрела.

Щопа:

Мы ведь мирно.

Шульга:

Значит, будет
Такое что-нибудь, на что ответим
Из пушек. Нам предательство готовят.
Скорей гудок. Сигнальщик, отмахай,
Чтоб катер возвращался, бросил всё.
Скорее... Так и есть. О, негодяи!

Доносится трескотня винтовок.

Там за пакгаузами взвод солдат.
Из-за угла обстреливают катер.
Ах, что они копаются? Эй, в башне.
Дать выстрел в воздух.

Орудийный выстрел. С берега отвечают.

Вы хотите драться?
А, – крой по городу! Огонь! Еще.

Выстрелы.

Ну, обрубили, отвалили... Глянь:
Наперерез им пограничный катер.
Из гочкиса стреляют. Эй, валяй
По нем из мелких. Закрутился, сволочь?
Еще, еще. Я покажу вам! Так!
А ну, – двенадцатидюймовым дай.

К борту подходит катер. Подымаются: *Матюшенко* и др.; много раненых;
вносят тело *Лебедева*.

Матюшенко:

И здесь предательство. Везде враги.
Вот – Лебедева уложили. Что же
Теперь нам делать? Братцы, что нам делать?
Везде преследуют. Поддержки нет.
Солдаты, как лягавые, на нас
Бросаются.

Голоса:

Сдаваться надо.
К черту.
Кому сдаваться?
Всё равно пропало.
Идем в Батум.
В Батум? Опять под пули?
Взорвемся.
Разгромим весь город.
Что же?
Погибла революция?
Погибла.
В Румынию.
В Румынию идем.
В Констанцу.
Там сдадимся.
Нет поддержки.

Матюшенко:

Товарищи, идем в Батум.

Голоса:

Долой!
Довольно слушали.
К чертям Батум!
В Румынию.
Сдаваться.
Матюшенку –
Долой!
Пусть будет Щопа командиром.
Да, Щопа.
Щопа!
Всё пропало.

Матюшенко:

Братцы,
Не всё пропало.

Голоса:

Не желаем слушать.
Долой!
Завел нас!
Щопу командиром!

Матюшенко:

Командуй, Щопа... Больше не могу.
(Сходит с мостика.)

Щопа:

В машине: полный ход. Лево руля.
Курс на Румынию.

Голоса:

Конец.
Конец.

Брызгалов:

А все-таки еще разок хватить.

Щопа:

Довольно баловались, отдохнем.
В Румынию.

Голоса:

В Румынию.
Ура!

Шульга:

Обрадовались. Эх, – могильщики.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Набережная в Констанце.

Матюшенко и Шульга.

Шульга:

Куда идешь ты?

Матюшенко:

Никуда, отстань.

Шульга:

Ой, Матюшенко, – что задумал?

Матюшенко:

Море
Хочу поджечь.

Шульга:

Да не шути ты, идол.

Матюшенко:

Иди к себе в гостиницу. Дай мне

Побыть немного одному. Довольно!
Двенадцать дней я на спине таскал
Весь броненосец. Отдохнуть хочу.
Так не мешай, будь другом.

Шульга:

Воротись.
Пойдем к товарищам.

Матюшенко:

Таких не знаю.

Шульга:

Стыд говорить такое.

Матюшенко:

Нет, не стыд.
Товарищи по девкам разбрелись,
От мятежа на брюхе отдыхают
На бабьем. Не хочу. Отвратно мне.
Оставь. Не бойся. Ничего не будет.
Приду потом. Уйди, Шульга.

Шульга:

Ну, ладно.
А только... знаешь... дай-ка револьвер.
Тебе не нужен он сейчас.

Матюшенко:

Боишься?
Не бойся, брат, не застрелюсь... Ну – на.
Возьми, пожалуйста, и ступай.

Шульга:

Иду.
Я буду в номерах. Пока прощай.

Матюшенко:

Прощай, спасибо...

Шульга уходит.

*(Садится на набережной и смотрит вдаль, где
сквозь мрак маячат огни «Потемкина».)*

Эх, стоит, сердечный,
Железным гробом. Стал солдат румынский
С винтовкой оржавелою – на страже

Над смертным ложем революции...
Надорвались. Не выдержали груза...
Вакуленчук! Что, кровь твоя – цемент?
Спать нас думал? Не спаяешь нас,
Пока в России каждая семья
Из четырех трем сыновьям своим
В винтовочные раны не заглянет...
Эх, ветер, ветер... И откуда мчишься?
Родился на Кавказе, на горах,
Поплавал наверху, спустился к морю,
Лесные шумы отряхнул в прибой
И вольный, чистый, побежал по волнам,
Миль двести нес ты терпкий запах кедра,
Ожины сладкий дух, – потом остыл
И, бегло всколебав морские недра,
Себя морским дыханьем напоил.
И вот несешь прохладный запах соли
И фосфора широкую струю,
Дыханием ширококрылой воли
Овеивая грудь мою.
Но холодом в меня ложится влажным
Твой легкий, твой летучий вздох, –
Где на моей рубахе не просох
Пивной плевков, привет руки отважной.
Пивная кружка грянула в меня,
Мой охлаждая пыл и кровь смывая,
В которой я повинен... Ветер, ветер,
Тысячу миль ты пролетел над морем,
Чтоб лютое напомнить оскорбленье...
Дождался, вот... Россия, эх, Россия.
Болезная, что сделали с тобой?
Поленом по хребту тебя хватили,
Сломали ноги, руки перебили
И ноздри вырвали: дыши вольней.
Со впущенной меж ребер царской шпорой
Ты поднялась, «Потемкиным» рванулась,
Двенадцать дней держалась – и легла.
И вот, стою, гляжу – народный вождь!
Народный вождь в отставке, без мундира,

С пивной звездой на груди. Эх, горе!
Подымешься ли? Нет... А впрочем, – будет!
Подымешься, подымешься, родная.
Один я был. А будут миллионы.
Не пожалеем спин и рук – подыдем...
Эх, ветер, ветер! Пролети, пропой
По всей земле о нашей неудаче,
О Вакуленчуке с его душой
Матросскою, пропой о нашем плаче.
И, надувая в море паруса,
В них нашепчи о наших днях мятежных. –
Пусть моряки внимают голоса
Грядущих бурь, как солнце неизбежных.
Пусть слышат все, что мы придем, придем...
Эх, размечтался я... Неладно к ночи...
А все-таки: мы пали – мы живем!
Мы победим: матрос, мужик, рабочий!

<1922>

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

ПОЭМЫ

ШУМЫ РАКОВИН

<Глава 1>

На желтой глине четкий знак:
Из белых камней возведенный,
Полувоздушною колонной
Стоит обветренный маяк.
Внизу в кирпичной амбразуре
Мортиры медное жерло
Лет семьдесят как в мох вросло,
Перевидав дожди и бури,
И наверху в ответ лазури
10 Сияет синее стекло.
Там в кукольно-уютной клетке
Хрустальных призм водоворот
Дрожащей радугой плывет
Пред колпачком калильной сетки
И ночью в плотные узлы
Неудержимо пламя плавит
И яростные стрелы правит
На неоглядные валы.
И над обрывом домик малый,
20 И штурман старый на крыльце,
И свежей трубки отблеск алый
На бронзовом его лице.
Давно не водит полных грузов
Он через мелистый проход,
Давно рулем тяжелый кузов
Не направляет в зелень вод.
Но, обшумев его в просторе,
Смолой и солью пропитав,
Благоухающее море
30 Не утеряло властных прав:

Как палуба полы сияют
В его спокойном уголке,
И люк прорезан в потолке,
И медью компасы пылают
В отполированном станке.
И обветшалые гравюры,
Затерты, выцвели и буры,
О днях Кагула и Чесмы
Со стен так радостно расскажут
40 И флаг андреевский покажут
На мачте над равниной тьмы.
А в час полуденных сияний,
Уйдя в прохладный кабинет,
Он пробегает милый след
Увянувших очарований.
Дымит проворней и сильней
Над плотной пальмовой шкатулкой
И пальцы радуется прогулкой
Меж раковин и янтарей.
50 И тайный ящичек со скрипом
Приоткрывает и потом
Вздыхает, наклонясь челом
Над матовым дагерротипом.
Там он, и обезьянка-дочь,
И маленькая квартеронка,
И с глаз досадливая пленка
Не хочет удалиться прочь.
.....
Ушли, осыпались года,
И внучка, дочери на смену,
60 Взбиралась по его колену
И обрывалась иногда.
.....
Теперь на башенном балконе,
Сияя медною косой,
Она глядит, как в яром гоне
На берег прядает прибой.
Тяжелый том Дюмон-Дюрвийля
Листами на ветру шуршит,

Неинтересен и забыт,
И чаек розовые крылья
70 Для темных глаз ее – магнит.
И пахнет солью и полынью
Порывный ветер, и она,
Овсянная тонкой синью,
В закат безмолвно влюблена.
Но вот по гравию дороги
Легко шуршит велосипед,
И ей кричит с крылечка дед,
Насмешливый, притворно-строгий:
– Слезай, малышка прикатил. –
80 Но оторваться нету сил
От отмелей в кипящей пене,
И обветшалые ступени
Дрожат под легкою ногой,
И мягкий голос горловой
Уже порхает на балконе:
– Приветствие прекрасной Тоне. –
И руку давит ей слегка
Сухая твердая рука.
И веет изумрудно-яркий
90 И потаенный омут глаз
На губ ее румянец жаркий,
И медлит вкрадчивый рассказ:
– Как осенью гирлянды птиц
Летят к манящему их югу,
Так мысли мчались во вьюгу
В минуты сомкнутых ресниц.
Во дни акациевых весен
Мечтал я о безмолвьи сосен,
О золоте, что между скал
100 Таит нахмуренный Урал,
О том, как на глухих озерах,
На душегубке из коры
Я буду плавать и костры
Раскладывать в лесных просторах, –
И уж давно тупой кинжал
Под тюфяком моим лежал.

Но после понял я: милее
Могилами покрытый юг.
Здесь пенье вечности сильнее,
110 Здесь плодоносней умный плуг.
В полыни мягкие курганы,
Истомных полдней очаги,
И в небе алые круги,
И тает аромат медвяный.
И в глине одичалой спят
Сарматы, скифы, гунны, венды, –
И неоглядные легенды
Неувядаемо томят.
120 Душа, впитавшая могилы
Несчетных предков, – влюблена
В чужих могил привет унылый
И упивается до дна.
Родное всё... Холмов уклоны,
Совиные ночные стоны,
Неугомонный треск цикад,
Сиянье тихой Альсионы
На семисвечнике Плеяд.
Развалин изветшалых кости,
Свистящие рожденья лун,
130 Когда при яростном норд-осте
Дрожит размашистый ревун.
Вдали лиловые в тумане
Пустые берега Тамани,
Князь-Игорь, Слова жуткий взмыв
И жемчуг траурный в колчане,
И в ветках кличет вещей див... –
– Чай подан. –

Дедовский призыв

Прервал вдруг лёт очарований.
Смеются. Сходят в темноте.
140 И в дерзкой тянется мечте
Его рука к плечам округлым:
– Не оступитесь... –

В тесноте

За малый стол садятся. Смуглым

Сияя ликом, добрый дед
Им лаконический привет
Бросает.

Ваза до краев

Полна рубиновым вареньем.
Горячий хлеб. И с упоеньем,
Немедленно, не теряя слов,
150 Все отдаются наслажденьям,
И ужин превращают в рай
Три капли рома в крепкий чай.
Стакан четвертый побеждая,
Моряк неспешно говорит:
– Ну, юноша, что вас манит?
Не декадентщина ль пустая?
Вот в наше время... –

И пошло

Порхать спокойное крыло
По далям и воспоминаньям.
160 Даль отдана былым скитаньям,
Природе, людям, думам, снам,
Когда-то славным именам,
Предугаданьям и ошибкам,
Предубежденьям и улыбкам,
И вечно гордым знаменам.
– Вы говорите мне о вечном,
Что вы душою антиквар,
Но верьте мне – ведь я уж стар, –
В неуловимо-быстротечном
170 Остаться легким и беспечным
И сохранить хоть малый жар
Восколько радостней, чем смутно
Блуждать по дальним временам,
Бросая душу бесприютно
По истощенным бороздам.
Вы пишете стихи, я знаю,
Прочтите что-нибудь, взгляну. –
– Извольте. Вот: припоминаю... –
.....
И Тоня с томною улыбкой

180 Внимает речи этой зыбкой:
Пред нею дед – она сама,
Пред ней томительная тьма,
Пред нею радостным загаром
Орозовелая душа,
Пред нею пепловым пожаром
Душа другая хороша.
И Тоня взор свой тайно клонит,
В его глазах отрадно тонет:
– Какие дива там на дне
190 В их изумрудной глубине. –
Пора прощанья. Белый пламень
С велосипеда льется вдаль,
Лаская на дороге камень
И травы кутая в вуаль.
Далекий лай. Пустое поле.
Подъем и скат. И бриз в лицо.
И вокруг неумолимой боли
Неодолимое кольцо.
В резиновом шуршаньи бега
200 Так убаюкана тоска,
И бледно-голубая Вега
Так досягаемо близка.
Замедлен ход на повороте.
И остановка. И в траву.
И внемлет рокоту в болоте,
И долго смотрит в синеву.
Там звезды теплые неожиданно
Срываются и вниз летят,
И веет белый шарф туманно
210 У пояса сапфирных лат.
И странно – в ионийском хоре,
Где звездные плывут огни,
Увидеть рыцаря в уборе
Отполированной брони.
Под геральдической пластиной
Ввыси простертого герба
Полынь сухая над равниной
Так чародейственно груба.

И заговора смутный шепот
220 Плывет в ночную глубину,
И легкой пляски легкий топот
Прорезывает тишину.
И в хороводе белых теней
Сияет медная коса,
И, одиноких наслаждений
Ища, смежает он глаза.
Потом взбирается устало
На влажный свой велосипед
И тихо едет. И рассвет
230 Над морем зацветает ало.
В хрустальном пепле городок
Еще недвижим. Вот замок
У двери щелкает, и сонно
Он входит в комнату свою.
Из умывальника струю
В лицо пускает. Благовонно
Кропят ладонь его духи.
За стол садится. Лист бумаги.
И злые, тонкие как шпаги,
240 Вычерчиваются стихи.

1916–1917

ГЛАВА 2

Неуловимые волненья,
недосягаемые сны!
Как одуванчик в миг цветенья,
вы мимолетны и ясны.
Неизъяснимый легкий трепет
в груди задумчиво разлит,
и радости воздушно крепит
тончайше впаянный магнит.
Морская ширь. Как лунный камень
250 переливается волна,
и злато-розовый со дна
встает и мягко пляшет пламень.

[Бахромчатые языки,
плывя полярною авророй,
дрожат и льются в смене скорой,
хамелеонны и легки.]

И коридор округлых арок
над морем убегает вдаль,
всё выше, легче, звонок, ярок,
260 над парусами быстрых барок
растаявшую льет эмаль –
[и на упругих шумах бриза
так сладко улетать в простор,
так нежно-пламенная риза
меняет радужный узор...]
И на подушку никнут слезы
из радостных, из ясных глаз.
О милый пробужденья час,
когда еще плывут наркозы.

270 Уж вечер близок. Обыденный
порядок выполнен: обед,
газета, чай, велосипед,
но целый день восторг влюбленный
тепло струился и дрожал
в Аркадии. В купальне свежей,
где ленты голубых зеркал
виются в глуби, легкий вал,
бежав от дальних побережий,
лучи ловил и отдавал, –
280 и в полыханиях томленья
вновь повторялось сновиденье.

Вот влажный распростерт бульвар,
и перламутровый пожар
клубится в даях. И Аркадий
нисходит к озаренной глади,
где ребрами своими мол
живые протени провел.
Присевши на смоленых бревнах,
глядит на воду. Облака

290 там в колыханиях неровных
плотнят сырцовые шелка
и медноглавыми кремлями,
повторены голубизной,
под некрутыми берегами
свисают рдяной крутизной.
И паруса рыбачьих лодок
как золотые пламена,
и выполнена тишина
300 далеким рокотом лебедек –
живое отраженье сна.

Но шлепают босые ноги
по узкой лестнице. Идет
мальчонок смуглый. Вид убогий
и на висках усталый пот.
Лишь только март теплом повеет –
вдали фелюги забелеют,
и Трапезунд, Ризе, Синоп
мальчат оборванных потоп
обрушат в гаванях Тавриды,
310 и чистильщиками сапог,
не охраняя быстрых ног,
ловя копейки и обиды,
все эти Спиро и Янко
бегут проворно и легко,
с «прибором», оттянувшим плечи,
и трескотней гортанной речи
глушат прохожих далеко.

Один из них... Но лак ботинок
не принял никаких пылинок,
320 и чистить нечего. Тогда
он просто кланчит. Господа
ведь не жалеют трех копеек.
«Не кушал. Дай». А гнезда змеек
серебряных плодит вода.
И вот: «Отстань». Неугомонно
турчонок просит: «Барин, дай».

И вдруг Аркадий разъяренно:
«Ты не уйдешь? Так вот же, знай!»
И, размахнувшись полной дланью
330 (зачем мешает созерцанью?),
бьет мальчика... Молчанья миг,
и крупно побежали слезы.
Проколыхал живые розы
в воде повторенный двойник.

И быстрый топот по ступеням, –
уже Аркадий далеко,
и только волны внемлют пеням
еще смятенного Янко.
Не плачь. И позабудь обиду –
340 она уже отомщена:
сменила пурпур на хламиду
душа Аркадия. Одна,
отверженная, сжата болью,
осыпана жестокой солью,
дрожит и корчится она.

И тускло угасает вечер,
и тупо светит блик луны,
и, точно гробовые свечи,
огни на море зажжены.
350 За папирсой папирса...
Гримасами бежит лицо...
И раскаленного вопроса
не разжимается кольцо.

– Зачем, зачем? – Неотвратимый,
размеренный змеится кнут,
и сквозь мучительные дымы
неразличим пробег минут.

Вдруг сзади на его глаза
горячие ложатся руки,
360 вскипевшая в суровой муке
вдруг орошает их слеза.

– Вы плакали, Аркадий, да? –
И Тоня быстрой внемлет речи

Морская прогулка

Латинский парус полон ветром
и, белую напрягши грудь,
как выточенный геометром,
чертит прямолинейный путь.
И у подветренного борта,
где пенные кипят снега,
на мириадах брызг простерта
прохладной радуги дуга.
У уст упругих зацветает
и ширится напев морской
и < > улетает,
оторван ширью ветровой:
– Талатта! – По-матросски сдвинув
на лоб свой голубой берет,
на проносящихся дельфинов
глядит Аркадий. Пируэт
за пируэтом вьют дельфины,
и в зыбких отсветах волны
их чернолаковые спины
сапфирово освежены.
Внимательно нахмурив брови,
сжав ручку нервного руля,
Сергей глядит, как бирюзовой
вдали становится земля.
И Тоня, золотым каскадом
косу по ветру распустив,
впивает осветленным взглядом
глубокодышащий пролив.
Слегка увлажненная блузка
ей облегает грудь. Батист –
полупрозрачен. Остр и мглист
стал взгляд Аркадия, так узко
прочерченный между ресниц...
Вдали – смятенье стройных птиц:

полузаметной полосой.
Навстречу гулкому прибою
бежит гигантскою дугою
желтопесчаная коса,
и под замедлившей кормою
шуршат подводные леса.
В извивах заглушенных светов
неуловимо-фиолетов
их вглубь свергающийся строй.
Бычок с тяжелой головой,
колочий краб, семья ракушек,
на водорослях у верхушек
полипы. Скат подальше в муть
рад поскорей улепетнуть.
Отпущен парус, и с разгона
баркас врзается в песок.
Зарыт поглубже якорек
в его рассыпчатое лоно.
От обуви облегчены
устало млеющие ноги
и погружаются в излоги
светло дробящейся волны.
Сергей принялся за нелепость:
песчаную возводит крепость,
потом, победоносно-горд,
водой обстреливает форт.
Аркадий Тоню вдаль уводит,
ракушку нежную находит
и, к уху приложив в упор,
внимает смутный гулкий хор.
О шумы раковин! Бывало –
как долго различать я мог
в томленьи вашем гулы вала,
обрушенного на песок.
Дыханье голубых приливов,
июльских ливней влажный лёт,
и ревы ураганных взмывов,
и серых смерчей хоровод,
и пена белольняных взводней,

и хладный трепет парусов,
бегущих шире и свободней
на смутный, вековечный зов
вдали стесненных берегов.
Симфония бескрайней шири
размахом вольного крыла
провеяла в свободном мире
и, обессилив, залегла
в спиралях раковин причудных,
сих перламутровых гробниц, –
затихшая поверглась ниц
на берегах еще безлюдных.
О шумы раковин! Не раз
каким волнением томимый
я слушал хор неуловимый –
я упоенно слушал вас...
Аркадий сумрачно мечтает, –
салятся; – вместе. Сам не свой
к ее ногам он припадает
своей точеной головой.
И Тоня, утомленным телом
прильнув к нагретому песку,
руки движением несмелым
вдруг тянется к его виску,
и, повелительный и грубый,
обвившись вокруг нее змеей,
он чует ласковые губы
и запах кожи молодой.
Перед закрытыми глазами
вихрь пламенного колеса,
и чьи-то веют голоса
там, высоко, под небесами.
Застыло время. Наконец
утишен перебой сердец.
Идут, задумчивы и пьяны,
полны качанием волны,
и золотистые туманы
в глазах истомно взнесены.
А там, где в медленном прибое

раскачивается баркас,
Сергей и шумный водолаз
переплелись в веселом бое.
Сергей, сверкая наготой,
как вихрь по берегу несется,
и добродушно раздается
лай водолаза боевой.
Аркадий с Тонею подходят,
и их неудержимый смех
Сергея посреди утех
в смущенье тяжкое приводит.
– О Господи! Что ж это?! – к ним
летит испуганная фраза,
и вот бедняга, недвижим,
хоронится за водолаза,
гарцующего перед ним.
– Да стой, подлец! – Жалея друга,
Аркадий с Тонею назад
бегут поспешно. Их услуга
Сергея трогает. Не рад
лишь пес – вопросом он объят:
зачем нахмурился хозяин,
им столь приветливо облаян?

В сиянье полдня тлея бледно,
разложен легонький костер;
варится походной кандер
и поедается бесследно.
Сергей, в песок уткнувшись, спит,
а двое тех уже далече,
и нежные нагие плечи
пыл губ расплавленных багрит.
Растеряна и безответна,
впервые чуя древний дар,
пьет Тоня < > приветно
безжалостный < > угар.
Аркадий, смутно помня телом
мальчонка на молу, свой гнев,
в порыве нервном и несмелом

стремится к роковым пределам,
себя жестокостью согрев.
Но внемлют окрик дальний. Поздно.
Пора домой. Беззвучный штиль.
Закатная бледнеет пыль,
и небеса темнеют звездно.
На веслах. Чешутся гладь
и вспыхивает бледным блеском

Дед и Тоня

– Так слушай, Тоня. Не неволю
тебя ни в чем. Ты не дитя.
Но жизнь прожить – ведь не шутя
по ровному побегать полю.
Тебе одна лишь жизнь дана,
недолг срок у человека –
еще лет 40, ну – полвека,
и ниточка пресечена.
Так надо ж научиться жить,
так надо ж каждую минуту
как перед плаваньем каюту
вещами натуго набить.
Зачем? Всё в жизни много проще...
Да просто так, – вот мой ответ.
Зачем благоухают рощи
и солнце проливает свет?

<* * *>

Отпрянув мачтами назад,
наметившись вперед бушпритом,
сияя кузовом обмытым,
готов к отплытию фрегат.
На палубе – тюки, рогожи, –
лимоны, рыба, рис, изюм, –
их поглощает емкий трюм,
и, сотрясаясь в крупной дрожи,
корабль над мощною трубой,

тесня, клубит оплывы дыма, —
и расплываются незримо
и тают в шири голубой.
Отхлынула толпа гостей
на катера, и сняты сходни.
Гудок рвет воздух. Лязг цепей.
Рванулся винт, быстрее, быстрее,
и пьяно забугрились взводни.
И развернулся вольный рейд,
< > спрятав
и вот клубятся у канатов
взывания воздушных флейт.
Но Тоня, прислонясь у борта,
не внемлет песне ветровой

НИМФЕЯ

...Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

Пушкин

1

Кто знает имя старой Эльтигены,
Нимфеи нежное кто помнит имя?
Я видел рудные холмы, и берег,
И мягкие излоги лукоморья,
И паруса вдали, и стаи чаек,
И туч закатных золотые главы, –
Старинная, наивная гравюра...
Уже война беззвучно наikipала,
И, тайно чуя перелом столетий,
Я попрощаться пожелал со старым,
Я в Эльтигень забытую поехал.
И там бродил по рудникам и дюнам,
В дорических развалинах усадьбы,
И сторож белый мне поведал тихо
Нимфеи милой плачущую повесть...
Зачем писать о временном и малом?
Зачем хранить истлевших жизней пепел?
Но в ладанке не сберегал ли Пушкин
Летучий прах сожженного посланья?..

2

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи...

Пушкин

Веков уж девятнадцать миновало
С тех пор, как Рим своих знамен стремленье
На берегах Босфора упокоил;
С тех пор, как добровольная могила
Разверзлась перед Митридатом пленным,

С тех пор, как миротворное селенье
Построилось в излучине залива.
Соседняя кипит Пантикапея
В чаду борьбы, в пылу торговли рьяной, –
А здесь покой объемлет утомленных.
Здесь медленные ласки нежной лени
Охватывают умного пришельца,
Здесь на террасах, гроздьем отененных,
Поют живые лиры Эолии.
Здесь мирная республика поэтов,
И тучные гексаметры Гомера,
И рябь морская страстных вздохов Сапфо
Сильней недалних площадных взываний...
Веков уж девятнадцать миновало...

3

Я вдруг переносусь во дни Екатерины.
Пушкин

Суворовская шпага проблистала,
Ущербная луна за морем скрылась, –
И старые вновь вознеслись колонны,
Сказанья древние вновь зазвучали,
И генерал, Корнеля прочитавший,
Глядевший в Тацита и Геродота,
Себе угоды выпросил степные
И на мысу под четырьмя ветрами
Воздвиг усадьбу: Новая Нимфея.
И потекли бестрепетные годы.
Меж плит веранды серый мох пробился,
В трех комнатах не помещались книги,
И пятаю тетрадь Эклог Нимфейских
Оклеивал домашний переплетчик.
И умер генерал. Похоронили
На золотистой дуне. И надгробье
Отпечатлело двустийше гробовое,¹

¹ Порча текста в копии. (Сост.)

Покойником умышленное ране.
Дом опустел. Заколотили ставни.

4

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на всё глядит.

Пушкин

Еще одно угасло поколение.
Распался дымным прахом Севастополь.
Бузок над генералом окудрявел,
Поодряхла Новая Нимфея.
И вот весной коляска подкатила,
И молодая институтка вышла
В сопутствии француженки жеманной –
Нимфеи Новой новая хозяйка.
И с теплым сквозняком луч солнца прынул
По изразцам, по зеркалам, по люстрам,
Портреты улыбнулись, переплеты...
Пока металась швабра, билась тряпка,
Пока француженка в опочивальне
Упругие простыни разбирала
И кисею прикалывала, – Нина
То клавикорды бегло открывала,
То пальчиком к портретам прикасалась,
То шевелила ветхие инкварты, –
И причесалась вдруг Дічесіоіча.¹

5

И минул год. Ни писем, ни журналов
Не получала Нина, – ей ли было
Читать Отечественные Записки,
Когда есть Батюшков и Ипокрена.
Так минул год. И строки антологий,
И бред Руссо, и песнь о Робинзоне
Сливались с улыбочкой Грекура

¹ Порча текста в копии.

И оседали в грезах дортуарных.
А майский ветер хмелел, и море пело,
И молоко слегка шалфеем пахло;
У кошки Белки завелись котята, –
И понемногу затомилась Нина, –
И раз, бродя по дюнам золотистым,
Увидела, как тянут волокушу,
Как рыбаков коричневые ноги
Вжимаются, теснясь, в песок отволгший,
Отточенными мышцами играя.
И Нина подошла. И медный парень,
Блеснув зубами, низко поклонился.

6

И Нина замерла: кровь лестригонов
Осела бронзой на упрямых скулах,
И ведомые полчищам Мурада
Дрожали трубы в голосе гортанном,
Когда Селим простой напев рыбачий
Выкрикивал навстречу ветру... Завтра
Селим придет с корзиной свежей рыбы.
И хитрая француженка смеялась,
Поддакивала молодой подруге
И бедного Селима то Нарциссом,
То Аполлоном смело называла.
А Нина думала вести Селима
Сквозь лабиринт осмнадцатого века
И, бедная, в мечтании несмелом
Себе казалась верной Ариадной.
И стал рыбак желанным гостем. Рыбу
Носил, рассматривал гравюры, ткани
И, выучив десяток слов французских,
Выпрашивал серебряную мелочь.

7

А на селе завидовали парню,
И, деньги слыша, щупая обновы,

Мечтали молодые рыболовы
Сменить Селима. И предстал однажды
Пред Ниною гуляющей детина
И заявил, что он ее полюбит
Гораздо крепче: он сильнее Селима.

Осенним равноденствием рванула
За сотню лет невиданная буря.
Норд-ост гудел, свистел песок на дюнах,
Обрывистый отваливался берег,
И серое холонущее солнце
Размашисто раскачивалось в небе.
А ночью добежало до Нимфеи
Из дальних балок перекасти-поле,
На выгоне овчарок напугало
И, провожаемое лаем силпым,
Уродно на дюнах кувыркалось.
Уютно было ночью у Селима:
Горел ночник, бараниною пахло,
Сам он лежал возле жены покорной
И думал о своей фелюге новой.
На ней он скоро в Трапезунд поедет,
Пшеницу повезет, а там – оливы,
Табак анатолийский и мастика, –
И станет он купцом... А ветер воет...
А ветер завывает всё сильнее –
Зовет Селима выйти и проведать
Фелюгу. Встал, накинул венцераду
И, дверь едва удерживая, вышел,
Застрекотал песок по капюшону...
С фелюгой хорошо. Стоит на месте,
К ней сбоку намело сугроб песчаный,
И самые разгонистые волны
На три сажени к ней не достигают.
А море сплошь клокочет пеной лунной,
На отмелях вьет кипень снеговую, –
И видит вдруг Селим: там узкий парус
Лег навзничь, угнетенный бурей, мчится,
Бессильно, боком увлекая лодку.

Нехорошо тогда Селим подумал:
– Не выплывут живые люди в море
В такое время. Кто там в лодке: дьявол
Или утопленник? – И быстро-быстро
Селим укрылся в свой уютный домик.
<1920>

НАЛЬ

ВСТУПЛЕНИЕ

Пора! Мне двадцать восемь лет.
Где «Годунов» мой, где «Полтава»?
Какая грустная забава
Стремиться гению вослед.
Как будто горб гнетет мне плечи:
Писаний меткое тавро, –
И неразборчивые речи
Стекают словом под перо.
И – отбирай: свое, чужое,
То – свежее, а то – гнилое.
О, если бы пожить в покое,
Не «многогранно», не «остро».
О, если б от любви железной
Избавиться. И, право, жаль,
Что я не этот, бесполезный,
Картежник старый, милый Наль.
Я проиграл бы то, что давит.
Я... Успокойтесь: ничего.
Все мы влачим свой горб. Его
Лишь гроб настойчивый исправит.
Итак – пишу. Такое... бред...
Что? «Даль свободного романа»?
О, нет. Хотя немного рано,
Я приоткрою наш секрет.
Поверьте: в папке-невидимке
Есть четко писанный листок:
Коллекция «замковых» строк,
Все недомолвки, все ужимки;
Мне ведомо, кто мой герой,
Чем я начну и чем покончу,
Где изложение утончу,
Где навалюсь на вас горой.
Хотите? Дальше девять строчек
Вам явят ритм как раз такой,

Которым, от цезур до точек,
Загрохотал «Полтавский бой»:

Оставь меня, глубокий критик.
Ты – не осилишь, не поймешь
Приемов хитрых. Я – не нытик,
В котором сразу разберешь
Тропинки, коими ползешь.
Стихи скалой крутой нависли,
Горят небывшие грехи,
Смеются чувства, дразнят мысли,
И это – хладные стихи.

Ступай, ступай. Что за стремление,
Уткнувшись в стих, уйдя в томление,
Скорбеть (за сколько? – за гроши!),
Демя мое мировоззренье
Из месива своей души.
Кусни мои стихи. Вот кость их
Без мышц и кожи, – то-то гладь.
И – постарайся-ка акростих
В строках вот этих отыскать...
Итак, я лгу. И лгать я буду.
Я в этот мир пришел, чтоб лгать.
И славных измышлений груду
Я навалю в сию тетрадь.
Да, ложь – вторая нам природа.
Но ты, читатель, отгадай:
Кто лжет, хватая через край?
Календари? Или погода?

Лето 1922

ГЛАВА ПЕРВАЯ

И познал Адам Еву, жену свою, и родила Ева.

Библия

Познай самого себя.

Греки

I

В огромной спальне тишина.
Слепые окна тонут в шторах.
Четыре года мать больна,
И ей докучен свет и шорох.
И в полусумраке пустом
Каким-то пуховым китом
Подушек вздут огромный ворох.
И на ките – она. Над ней,
Восьмеркой согнутый, чернеет,
Кишкой резиновой коснеет,
Из кружки свесясь, райский змей.

II

Да, эта взбухлая кровать
Когда-то знала бред пуховый
И приучалась затихать
Лишь в зареве зари багровой.
Но искустель-змей солгал:
Меж пропотелых одеял
Он вскис – пузырик жизни новой.
И Ева бедная лежит,
В болезнях произведши чадо,
И каучукового гада
Над ней пустая плеть дрожит.

III

Ни ванна в 40 не смогла,
Ни слободская бабка тоже,

Чья изощренная игла
Сломилась от господской дрожи.
И результаты налицо:
Спина, сведенная в кольцо,
И сын, на окуня похожий.
Расти, звереньш. Рыбий лик
Удачно канет в волны Леты,
И лишь бездельники-поэты
Твой след наметят в недрах книг.

IV

Им любо, заострив перо,
Вести слова дугой стрелчатой,
Чтобы больничное ведро,
Наполненное клейкой ватой,
Как некий царственный фиал
В себя впитало *идеал*,
Столь надоедливо-крылатый.
Не так же ль Русь, кивком руки,
Теперь на Площади Советской
Воздвигла портик молодецкий,
Чтоб снять под портиком портки?

V

Как начинаем чують мир?
Об этом нам поведал Белый:
Лавиной атомов эфир
Нас пронизает, пуча тело.
Но не отважусь ли и я
О первых негах бытия
Здесь написать рукой несмелой.
Змий... Есть змея такая: уж;
Он очень напряженно пахнет, –
И – первое: от смрада ахнет
Душа среди кровавых луж.

VI

Конечно, ангел то летел,
И душу нес, и пел ей. Звуки
Ее уносят за предел
В часы земной, картонной скуки.
Но разве только звуки есть?
А запахи? Их строй принести
Иные нам умеет муки.
Порой провеет, полыхнет
Струя: арбуз? духи? Ай-Петри?
И в легком-легком-легком ветре
Душа мучительно замрет.

VII

Но чаще: шевелится змей;
Но чаще: самороды-смады
Вливают в полости ноздрей
Немного тошнвые отрады.
Целует бонна – нежный рот
Гусиным потрохом пахнет.
У бальной дамы для прохлады
Конюшня выступит из пор,
Иль кучер, кинув на лежанке
Черноблестящие портянки,
Напомнит вкрадчивый рокфор.

VIII

Многообразии вещей
К субстанции единой сводим.
Един под майсей смрадов змей.
Единый дух во всех находим:
Стекал, сверкал и вновь стекал
Закалом пламенным в бокал...
Но мы границы переходим...
Хотя ведь Нарбут уж давно
Нам пел (конечно, это странно)

Не иберийское гуано,
А украинское... *вино*.

IX

Не знает многого дитя
Душой невинною и кроткой,
Но замирает не шутя
Перед бокалом и селедкой
И упоенно ловит звук,
Когда вдруг мокрый каучук
По бедрам хлопнет теплой плеткой.
Тогда он жметя у дверей,
Льнет глазом к скважине замочной.
Так ежедневно, в час урочный,
Он предан матери своей.

X

Там, в полумраке, странный мир
Вещей тугих, вещей округлых;
Строй пузырьков, то как сапфир
Лазуревых, то йодно-смуглых.
Там, при мерцаньи ночника,
Зевает мертвая тоска
Сидений, дутых и безуглых.
И полый змий, вися в выси,
Манит глаза на выгиб груши
Резиновой и шепчет в уши:
«Прекрасный плод. Вкуси, вкуси».

XI

А руки бонны так нежны;
А пастила, «девичья кожа», –
Прикусишь – отпечатлены
Зубов мелеющие ложа
По сахаристой белизне.
И странно, как в забытом сне,

Понять, что сласть на сласть похожа.
Но бонна полая строга
И, чтя заветы дедов строго,
Ведет дитя пред очи бога,
В костел, во тьму и жемчуга.

XII

Там – полумрак и ночники;
Там богоматерь восковая
Лобзает рваных язв клоки;
Там, грузно с древа обвисая,
Темнеет ярью старых бронз
Бескостый змий; бормочет ксендз,
Как будто капсули глотая;
Орган клокочет тяжело,
Вздувается и опадает,
И в окнах мутно отливает
Аптечной синевой стекло.

XIII

И той же ночью душный сон
Привиделся ребенку: ванна,
В которой искупался он,
Еще тепла, благоуханна,
Стоит в костеле, – не понять:
Как шар припрыгивая, мать
В нее вошла, ложится странно,
И ксендз ей гостию дает
На пальце, – мальчику всё видно,
И сладко-сладко, стыдно-стыдно...
Проснулся, – отирает пот.

XIV

Прошло лет семь. Уже давно
Мать умерла и позабыта.

Давно и сон ушел на дно.
И в спальню дверь давно открыта –
Теперь там классная: пора;
И Наль играет там с утра,
В подковку плоскую магнита
Перо влагая, чтоб оно
Лежало между ножек прямо.
Но колкое перо упрямо
К обеим к ним приклеено.

XV

Ему досадно... Впрочем, нет:
Об этих мелочах не будет
Вам робкий говорить поэт,
Иначе кое-кто осудит
За неискусство. Ведь и так
Неблаговонный мой сквозняк
Ушей немало позастудит.
И страшной музыки моей,
Магнитом подковавшей хаос,
Не разберет трусливый *штраус*,
Уже бесхвостый от... людей.

XVI

Оставим. Светлый день настал.
Конфирмовался Наль в костеле;
Домой вернулся, бледен, вял;
В себе самом искал; до боли
В себе копался: позабыл.
Но успокоиться – нет сил.
Взять мяч, за книгу сесть – нет воли.
И бродит он, и невзначай
В чулан у чердака заходит,
И видит там... и там находит...
И тьма вскипает через край.

XVII

Там на гвозде забытый змей,
Покрытый плесенью; сиденья
Надутые; там, для ноздрей
Знакомый, пресный запах тленья;
Там зеркало сквозь пыль грозит
И чрез минуту отразит
Неслыханные упоенья.
И змей слюною оросил
Нарциссу влушливые уши:
«Как мать, округлы стенки груши.
Вкуси, вкуси». – Вкусил, вкусил.

XVIII

Фонетика... Живой пэан...
Същи в сих звуках звук лукавый.
Нежданный был от бога дан
Ему учитель в деле славы.
И – тяжкий млат кует булат,
Когда спадает с плеч халат,
А с воли скрепы и заплавы...
И потянулось, потекло
Во все глубины, все изгибы...
Пузырь глубоководной рыбы
Сменил в очках души стекло.

XIX

Наль впечатлителен, как сталь,
Что от дыхания тускнеет.
Двойную увидав скрижаль,
Услыша *розги*, он краснеет;
Его как девочку дразнят;
Его томительно казнят
Словами, кто «слова умеет».
Но кто видал, как, не дыша,
Он, к словарю прильнув, ночами,

Пытает потными очами
Слова на *эс*, на *тэ*, на *ша*?

XX

Года проходят. Он влюблен
В надутый *аребур* поэта,
В отечных Дейковых Мадонн,
В лицо второе Бафомета;
Паноптикум его влечет,
Где в банке, сморщась, не гниет
Густоволосая котлета,
Нахально взорам предана.
Душа *стоит*. Мир мчится мимо.
Жизнь – грозной полнотой томима,
Но – неудовлетворена.

XXI

Глава окончена. Мой Наль
Обритым подан вам на блюде –
Гoley нельзя. Его вам жаль?
Но что мне делать с вами, люди, –
Не с вами: здесь обмолвка, – с ним?
Проходы все ведут в сей Рим,
Как и прицелы всех орудий.
Тошнит? Ну, что же: дальше, там, –
Свежей, отрадней будет вдвое.
Тому порукой – всё святое.
Даю аванс, как... Мандельштам.

<1922 – III.1924>

ГЛАВА ВТОРАЯ

Переносится действие в Пизу.

Некрасов

«Этак-то вы, Павел Иванович, вот вы приобрели».

– «Приобрел», – отвечал Чичиков.

Гоголь

I

Итак, она звалась... Пстой!
Спешить нам некуда. Сначала
Поведаем, как мед густой
Над ней акация качала,
Как пелеринки белизна
Голубизной была полна
И нежно к морю приучала,
Как, трубкой свернут, аттестат
Восторженно дудел под ветром,
Как повстречался с геометром
Уже неподчиненный взгляд!

II

О, первый день свободы! День,
Когда блестят, как сахар, зубы,
Когда в экзаменную тень
Легли еще пунцовой губы,
Когда провинциальный сквер
И в нем нахальный офицер
И даже тетка Зина – любви!..
Мне, право, хочется сейчас
Строфу разбить и вольным складом
Девичьим отвечать усладам
И выпуклому блеску глаз!

III

Подруги тут. Скорей-скорей
По сходенкам купальни зыбкой
В живую празелень зыбей
С ее билибинской улыбкой.
На дне уступчивый песок
Как бы наплоенный залег,
Вильнула тень под горкой рыбкой –
Ух! Разбежались! Кто куда!
Всё ниже дна ковер отлогий, –
И нежно раздвигает ноги
Тугая бемская вода...

IV

Немного затекла рука:
Тяжел бинокль. Прохладным кругом
Стекло объемлет облака,
Взрыхленные лучом, как плугом,
Потом сникает: над водой
Встал город сахарной грядой,
Колеблясь в воздухе упругом.
Скользит бинокль. И вдруг в кругу
Взвилась купальня, как эстрада, –
И с лестницы летит наяда,
Прыжком изогнута в дугу!

V

Хрусталь холодный расколоть
Ладонь мгновенная дерзает.
Плеск, брызги! Золотая плоть
Сквозь соль зеленую играет.
И бубнами гудят виски,
И дрожь горячей вдруг руки
Бинокль, лаская, нагревает...
Ай, Наль! Ай, мальчуган! Ну-ну!
Ты был знаком, сто раз ты видел –

И равнодушием обидел
Такого тела крутизну!

VI

А не тебе ль пришлось прочесть
Поэта польской «Синагоги»¹?
Через батисты не учесть
Все эти лонные излоги!
Где интуиция? Где нюх?
Не угадал ты лисий пух,
Чей треугольник сходит в ноги,
Как восклицательная бровь
Незрячего покуда ока!..
Да, мальчуган; тебе далеко...
С губы он оттирает кровь...

.....

VII

Ее зовут... Зачем нам знать?
А Наль ее зовет: – Лилея.
И обучает понимать
Иные пункты Апулея
И, Пшибышевским усладив,
Глядит, какой тугой извив
Смущенная приемлет шея,
Как треугольником пушок
Бежит по впадинке затылка,
Напоминая... Будь посылка, –
А вывод, право, недалек!

VIII

Каленые шипят слова –
Сарказм, презрительная жалость:

¹ «Синагога Сатаны» Пшибышевского.

Стыдней ли грудь, чем голова?
Девичий стыд – такая малость!
Как с этакой тугой... *бедрой*
Быть мелкой робости рабой?
И в уступающую вялость
Сникают алые персты,
Уходят в дрожь < > ножки,
В свободу – кнопки и застежки,
Грудь – в холодок из теплоты.

IX

Банальный слишком труден путь
К формулировке обаянья!
Для глаза – [чаша] эта грудь
И пастила – для осязанья.
Наль наклоняется лицом,
И – парниковым огурцом
Она лелеет обонянье.
На вкус – коралл солоноват,
И слуху, что пьянеет звоном,
Пульс отвечает томным тоном
Дрожанья, – каждое в карат.

X

Всё, кажется?.....

<1924–1928>

КОММУНА (ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ)

Та чернь великая и сволочь та святая...

О. Барбье

Ночью Париж спит,
Ночью молчит Париж,
А стая дворцов гремит,
Проедает военный барыш.
За цену двух блюд
Рабочий сыт год,
А ему в уши поют,
Что родина жертв ждет.
Гнев, гнев, гнев,
На плечи предместий насеv,
Исторгает дикий напев,
Как будто рычит лев:
«Довольно длилось преступленье!
Пора! Предателей долой!
Возьмем свое освобожденье
Своею собственной рукой!»

Ночь. Темные кварталы заводские.
Идут войска. Приказ: разоружить
Рабочие дружины. – А! Измена!
К оружию, к оружию народ!
– Пли! – Нет, солдаты, этого не будет:
Мы все товарищи! Приклады вверх! –
И блузник в блузе и мундирный блузник
Братаются над трупом генерала.
Над ратушей багряный поднят флаг,
И депутаты от предместий черных
Решают взять спасение страны
В свои трудом разбухшие ладони.
Коммуна провозглашена...

То был блистательный исход:
Ландо, линейки и кареты

Тащили этот бледный сброд,
Все эти шпаги, эполеты,
Мундиры, рясы, сюртуки,
Шелков разнузданных клоки,
Весь человеческий обсевок:
Министров и продажных девок,
Епископов и шулеров,
Купцов, полицию, банкиров...
О, стадо в тысячи голов!
Перевалив последний ров,
Глубокую преграду вырыв
Между собой и лапой льва, –
Чья сплюснутая голова
Со злобою не обратилась?
Чье сердце вдруг не зазмеилось?
Чей, раскаленный злобой, взгляд
Не источил последний яд
На нищий, на великий город?
Чей, слипшийся от пены, рот
Не прошипел: «Пора придет,
И мы ему измерим ворот
Намыленной веревкой!»

Так

Был выпущен на волю флаг.

Заседает пленум Коммуны,
Избранники синих блуз.
Сердца рокочут, как струны,
Но огромен поднятый груз:
Где денег взять для рабочих?
Где хлеба для граждан взять?
А небо в огненных клочьях,
И пушкам пора грохотать.
На Париж – петля надета.
Париж обложен весь.
Где Франция? – Там... где-то...
А враги, а версальцы – здесь!

Пётля уже. Ближе враг.
Черной ночью слышен шаг:
Это жены окруженных
Пробираются сквозь мрак.
Их мужья у ружья,
Днем и ночью у ружья.
Жестки руки, мрачен взгляд.
Над Парижем рыщет ад.
Над Парижем рев орудий,
И пороховые люди
Громоздят
Где придется черный ряд
Баррикад.
От курков распухли пальцы.
Зубы сцеплены: умрем.
Из конца в конец, как гром,
Весть:
– Версальцы!

Фронт прорван. Рухнул водопад.
Везде врагов штыки.
Горят за валом баррикад
Живые островки.
Париж разрублен на куски,
Париж раздавлен, взят,
Но всюду эти островки
Еще борьбой кипят.
Но издыхающий Париж
Вонзает зубы в плоть:
Его убить возможно лишь,
Убить – не побороть!

На какой скале эту цифру высечь:
Расстреляно семьдесят тысяч?!

<1926>

РАВАШОЛЬ

I

- «Мама, а что это светит в окно, посмотри?»
 - «Это пылает проклятый дворец Тюильри».
 - «Мама, а что там за треск, точно топится печь?»
 - «Это ликует версальская птица, картечь».
 - «Мама, а скоро отец возвратится домой?»
 - «Нет: он далеко отправился, маленький мой».
 - «Мама, игрушек он мне, возвратясь, привезет?»
 - «Нет, он игрушек нам раньше по почте пришлет».
 - «Мама, пришел почтальон там: я слышу шаги!»
 - «Нет, ты ошибся, мой мальчик: то входят враги».
- Кэпи, галун золотой, револьвер и усы.
Жизнь остановится разом, как будто часы.
Взор спиртовой и горячий короткий удар.
Тело свернулось. – «А жалко: хороший товар.
Видно, ждала муженька и дождалась, – изволь».
- «В списке отметил?» – «Фамилия как?» – «Равашоль».

II

Мальчик упрямо сидит за еловым столом,
Перед глазами тетрадка, а сердце – в былом.
Перед глазами задача, а сердцу задач –
Нету, всё ясно: я вырасту, стану – палач.
Жанна приходит, а с нею чужой господин.
– «Мальчик, поди, погуляй, – засиделся один».

Морщится барин: – «Совсем некрасивая ты».

Мальчик выходит на улицу. Вдруг, с высоты,
Из угнетенного крышей слепого окна
Свалка тяжелая криком и звоном слышна.
Мальчик обратно, а мимо него, не спеша,
Барин по лестнице сходит, прерывно дыша.
В комнату, – Жанна согнулась и плачет навзрыд,
Кровоподтек на лице налился и горит.
– «Как я теперь заработаю, с этим лицом?»
Больно. Кулак у него будто налит свинцом».

Мальчик спокойно бледнеет. – «Нет, Жанна, не плачь:
Я отомщу, я, как вырасту, буду – палач».

III

В школьном дворе он гуляет один, в стороне.
Раз навсегда приказал он: «не лезьте ко мне!»
Школьники ходят поодаль веселой гурьбой,
Дразнят волчонка надменной своей похвальбой.
Он равнодушен. Но ловит мучительно слух:
– «Стыдно учиться с приемышами потаскух...»
Медленно он приближается. Щурится: – «так?»
В пухлые губы насмешника грянул кулак!
Визг. Навалились. Взлетела как фейерверк злость.
Зуб ощущает сквозь мясо скрипучую кость.
[Розняли. Мальчик в лохмотьях стоит и в крови]

<1933>

СЕРГЕЙ НЕЧАЕВ
ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ

I

Стормарнский, Дитмарсенский, Ольденбургский
и прочая, и прочая, и прочая...

Конец императорского титула

Село Иваново. Суглиновый клочок.
Хибара. Огород. Затравленный дьячок
С женой беременной и от нужды свирепой,
Всю жизнь питавшийся картофелем и репой
И кравший иногда просvirки в алтаре...

Меж двух свиней хромых в задрызганном дворе
Мерца миткалем истлелой рубашонки,
Не прикрывающей как надо и мошонки,
Мальчонка бегаёт.

Сорок девятый год.

Там где-то – Венгрия под натиском невзгод:
Захвачен Гёргей в плен, мятеж подавлен детский,
И Кошут за рубеж бежал – в острог турецкий;
И вновь Паскевичу – чего ни пожелай –
Готов пожаловать «поручик» Николай.

Там где-то – Франция. Наклянчив миллионы,
Луи-Наполеон ползет в Наполеоны,
Всех в дураки рядя; и в золотой коньяк,
Забаллотирован, ныряет Кавеньяк.

Там где-то Бэлтимор. И смрадом перегара
В приемный упокой уходит жизнь Эдгара,
Лигейя слабая, пасуя наконец
Пред волей ангелов, тяжелой как свинец.

Там где-то Петербург. Прозрачный ветер невский
Свистит над пропастью, где замер Достоевский

И виселицы ждет: зачем в своей мурье
Читать осмелился Прудона и Фурье?
Над тою пропастью, где в кирпиче и глине,
В приземистом, как мозг жандарма, равелине
Без супа и чернил, без крови и небес
Им оклеветанный задавлен будет «бес».

Там где-то все и всё. А здесь, вокруг посада,
Всё той же каторги обида и надсада,
Всё той же Ёводи пахучая вода,
Всё та же вечная, текучая беда.
Здесь два столетия, упрямы, непрестанны,
По избам ткацкие поскрипывают станы,
Костлявые, – и вдоль и поперек торчат,
Льняною перхотью в печной влетая чад;
И челноки снуют, – харонов черных лодки, –
И, до свету вскочив, «заглоды» и «заглодки»
Всю жизнь, покуда их не стащат на покут,
Перхая, кашляя, всё ткут, и ткут, и ткут.
Проходит день скупой – сидят и при лучине;
Дед в голос мается, всё грея грызь в овчине;
Младенец корчится, капустою раздут;
Золовки, очертев, извечный спор ведут
О том, кто – дармоед; лет по семи девчонки
С проклятой шпулькою, зажатой в кулачонке,
Сквозь дрему, позабыв и палец послюнить,
Неистребимую наматывают нить.
И всё же спать пора; расклеивая веки,
Как звери, покотом ложатся человеки.
И затекает сон, в почесы, в храп одет,
И грызью мается, овцой блекоча, дед...

Так – два столетия!..

На гноище такое
Зашел бы, поглядел добряк Оле-Лук-Ойе –
Какие сказки бы он нашептал мальцу,
Что во дворе дьячка, размазав по лицу
Оплёски постных щей с недавними слезами,

Прижался у ворот и колкими глазами
Глядит, как на реке, под рев и балалай,
Встречают праздничек Пахом и Миколай,
Уже клубком склубясь, рвя бороды друг другу?..

Так – два столетия...

Сглодали всю округу
Князья и герцоги онучей и панев –
Горелин, Пазухин, Куваев, Дербенев...
Здесь Лобачевский бы себя почел сильнее:
Здесь мир особых мер – аршин вершком длиннее
И лотом легче фунт; здесь ночь короче дня
В три раза – круглый год; здесь волком западня
Укрыта для людей; здесь нитей параллели
Узлом палаческим на шеях забелели.
Здесь повитуха – смерть, здесь петля – врача.

...И прочая, и прочая, и прочая.

II

И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Пушкин

На поле Марсовом по-прежнему парады.
Как встарь манят зевак дворцовые ограды,
Где пара бакенбард над парой эполет
С крыльца колышутся, чтоб сесть в кабриолет,
Чтобы рысак рванул – куда? – сегодня в Смольный,
Где с торопливостью, почти что богомольной,
Поснимут с девочек пристежки-рукава
И плойку пелерин, чтоб глянули едва
Такие нежные в казарменном камлоте,
Такие теплые плоды девичьей плоти...

Вот жирным оловом ингерманландских глаз
Отмечена одна; через неделю лаз

Уже протянется к родителям счастливым;
Подыскан будет муж; к его рукам потливым
Прилипнет орден, солидный пост и чин, –
И понимают все: нет следствий без причин.
Но не всегда сойдет, и в царственное ухо
Порой драгунская вдруг ляпнет оплеуха,
Как было с Шевичем, – чтоб дальше каземат
Его глодал всю жизнь, чтоб, грязен и космат,
Всегда дрожа, косясь, не зная дней и счета,
Он, в пролежнях, дотлел на койке у Чечотта...

Уже пять лет «заре», такой слепой, скупой...
Подписан манифест, и первых дней запой,
Тех, что и Герцену внушили тон любезный,
В похмелье вылил – в сто десять трюпов Бездны!..

.....

III

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром...
Пушкин

Стереометрия старинных крепостей!
Подъезды смертные для незваных гостей,
Окаменелые под рокот барабана
Остроугольные фанатики Вобана!
Морскими звездами они лежат в полях,
В гортанях гаваней, – где свен, и прусс, и лях
В любой удобный миг готовятся в глаза нам
Наставить багинет, взметнуться протазаном...

Я знал их – нищету подземных галерей,
Тугие вертлюги окованных дверей,
Прочерченность бойниц и вытесанность ребер,
Рачение, с каким кригс-ваффенмейстер-обер
Иль суперинтендант хранили скудный скарб,
Сажая погребя поглубже под эскарп.
Я знал разлив рожка вдоль неба неживого,

На прусской зелени занозу часового,
По лбам булыжника треск провиантских дрог
И ропот сорняка, что на ветру продрог.
Я знал омшелость рвов, и грусть вечерних хлябей,
И роковой чекан часов и астролябий –
В десятилетиях расчисленные дни,
Безделье строгое, отчаянью сродни...

Сродни отчаянью! Оно само, густое,
Спит в кордегардиях, в махорочном отстое.
Там закоулки есть, укрыты раза три,
Как смерть кашеева, – внутри, внутри, внутри!
Туда ни доступа, ни окрика, ни взора;
Сам комендант блюдет испытанность дозора;
Порой там золото иль связки ветхих «дел»
В кровавом сургуче, – дабы не поглядел
Никто в их кровь и ложь, – и все-таки хранимых
Присягой призраков на благо тронов мнимых.
Порой бормочет там и топает ногой
Опухший человек, наедине с цингой, –
И комендант бежит взглянуть в глазок бессонный:
Не вышло бы чего с «секретною персоной»...

Вот Петропавловка... Теперь ее гранит
Штанишки школьников в густой тени хранит:
В восторге ребячьё от края и до края
На пляже плещется, визжа и загорая, –
И весело следить за звонким малышом,
Что лезет на стену, в забвеньи, нагишом
И с амбразур глядит прегордо на Пальмиру,
Das Ewig'Knäbliche! явив на зависть миру...

Вот Петропавловка... Она была не та –
Танцкласс палачества и тронный зал кнута:
Там сына Петр засек; там, в благостных аминях,
Обузу сбрасывал в могилу с дыбы Миних;
Там третьего Петра помадили в гробу,

¹ Вечное мальчишество (нем.).

Приладив локоны к продолбленному лбу;
Там острым золотом вздымали к небу шпили
И Тараканову со стаей крыс топили;
Там Павел возлагал на сгнивший гроб отца
Алмазы жирные имперского венца,
Косясь на семь пудов безропотной Фелицы, –
Чтоб самому, под смех ликующей столицы,
Здесь лечь пять лет спустя под полог гробовой,
Густея в сумраке удушной синевой;
Покинув Таганрог, три месяца в обозе
Сюда не торопясь прополз почивший в бозе
«Плешивый арлекин», – и слухи с ним ползли,
Что царь сбежал в Сибирь, что куклу привезли;
Сюда сбегал, звеня, всея России пристав
Платком батистовым утешить декабристов,
И, тронут кротостью, – два угля, вбитых в мел, –
Пред голубым сукном Рылеев плакать смел!
А в дополнение к евангельской картине
Через месяц вешали на Кронверкской куртине...

Там, на другом конце от входа, старый верк
(Как раз не тот, куда Петр Алексея вверх,
Коль Алексеевским он назван равелином:
Ведь стон убитого и в клике журавлином
Убийц бросает в дрожь; дозволить не могли,
Чтоб ивиковы тут стенали журавли!), –
Так вот, в замшелном том троеугольном верке,
Пройдя у трех куртин три зоркие проверки...

.....

IV

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы...

Ф. Глинка

Первопрестольная!.. Вдоль овощного ряда
Квартальный движется в сопутствии наряда,
И суетня идет, и лапы «молодцов»

Лотки морквы сухой и прелых огурцов
Проворно волокут куда-нибудь подале.

Вот, пышно выставив зеленые медали,
Сорокаградусный развертывая бас,
Болван заплатанный вонзается в лабаз,
Всей статью воплотя давыдовского «йору»:
«Пожертвуйте, купцы, кавказскому майору!» –
И полчаса торчит, невнятицу меля
Про то, как замирял героя-Шамиля.

Вот, бельма вылупя, вареные вкрутую,
Кидая грошики за пазуху пустую,
Слепец взлохмаченный, про Лазаря деря,
Мнет ухо вспухшее мальчика-поводыря.

Вот на плечах несут ожженные поленья
И просят на избу: сгорело-де селенье;
Вот, как Смоленскую, на грудь подняв хомут,
На лошадь клянчат; вот гробовой крышкой жмут
Из душ чувствительных разменную монету
На погребение...

Здесь переулка нету,
Где б грыжи, вывихи, запой, зобы, горбы
Свирепой жалобой не били в лоб судьбы:
Из десяти один тут неизбежно нищий.

А там, где под парчой рыжеют голенищи,
Где православие, портянкой обмотав
Стопы корявые – Служебник и Устав, –
Вздыхает ладаном могильным и утомным,
Вот там раздолье им, юродивым и темным:
Там, как епископы, проходят средь толпы,
Звеня веригами, первейшие столпы
Слепцов и постников, расслабленных и странниц –
Тимоша Смраденъкий и Парамон З.....ц...

.....

Пятнадцать мальчиков образовали «Ад»,
 Организацию возмездий и отплат,
 И так мечтали стать народной обороной,
 Сходясь по вечерам пить чай на Малой Бронной!
 Хоть Пушкин не в чести, но пушкинский «Кинжал»
 В совместном чтении там всякий обнажал;
 Там от провизоров знакомых натаскали
 Сто унций рвотного под видом цианкали;
 Изобретали шифр; с поджимом грозным рта
 На черной Хитровке скупали паспорта,
 Просроченные сплошь, и верили: Женева
 Таит всемирный центр, конвент святого гнева.

Немало глупости, а больше болтовни, –
 Но как пьянели все, как пенились они!
 Как низвергали гнет законов и регалий,
 Как «меткий пистолет» склоняли и спрягали,
 Самим себе дивясь и радуясь в душе, –
 Карманы оттянув древнейшим «лефшоше»,
 Туда ходил молчать, в дыму таких наркозов
 Варя тугую мысль, угрюмый Каракозов.

Раз – мутная весна над городом ползла
 Ослизлой слякотью и запахом козла,
 Похожая на тот полурассвет печальный,
 Когда самоубийц как волей изначальной
 Влечет на крик, – он встал, ни слова не сказал
 И зашагал, прямой как палка, на вокзал,
 Мысль доварив свою (такому бы в пещере б
 Сидеть отшельником, глядя на трухлый череп).

Патриархальные то были времена:
 Царь в Летний сад ходил, покинув бремена
 Дел государственных, – глотнуть весенней прели
 И спутнику бурчать о пакостном апреле.
 Ходил вдвоем, втроем; охраны никакой:
 Столь твердо веровал в упроченный покой, –

Хоть в Польше стон стоит, что сгибла ни за злотый,
Хоть Чернышевский – там, над вечною мерзлотой...

Так и 4-го: он шел; глазел народ
На олово очей, на дряблый рыбий рот,
На «николаевку», обвисшую салопом,
На конскую ноздрю, взбодренную галопом...
Но что-то хлопнуло и отдалось вокруг,
Как бы шампанское раскупорили вдруг, –
И сразу свалка, рев, волочат, рвут кого-то,
И челюсти царя разводит врозь зевота,
Как пред падучею.

Из грязи поднят ком,
В лохмотьях, вздыбленный, с раскрытым виском.
Стоят – глаза в глаза. И тут же в чуйке драной
Герой таращится, «рукой судьбы избранный»,
Поддавший под руку, – Сусанин номер два.

И тут – пошло! Страна дрожит, полужива,
В преддверьи виселиц, – и Муравьев кровавый
Над Петербургом встал, как прежде над Варшавой,
И, в голубом сукне как бог похорошев,
Усы жемчужные разглаживает шеф
Новоназначенный – сыскной гурман Шувалов
С лицом породистым и с нюхом коновалов.
Во «храмах знания» дознания идут...

.....

1930–1936

<ДОПОЛНЕНИЕ>

<1>

Заморозок надышал по тротуарам
Серебристую подернутость бобра,
И Нечаев с наслаждением топчет старым
Сбитым каблуком пушок из серебра:
Писарева он читал еще вчера.
Писарева... Иль: «люблю Петра творенье».
А бежал ли ты, барчонок, поутру,
С комом в горле, поглядеть на представленье,
На веселую с веревочкой игру?
Мыло, надо быть, застыло на ветру...
Эка, – ветер! А восток как чирий розов.
Вкус во рту – как медь сосал. Тьфу: кровь у губ.
Говорят: уже он умер – Каракозов;
Запытали. Что же – будут вешать труп?
– «Осади!» Жандармский конь топырит круп.
Держат под руки его на эшафоте.
Свисла голова: не разберешь лица.
Батальон следит. Ослы! Когда поймете?!
Тянут: приговор читают без конца.
< > блеет, как овца.
Глаз подбит. Разит сивухой. Вспухли губы.
Не иначе – с Лиговки, а тоже тут.
Не боится: в полный голос: «душегубы!» –
Впрочем, что ей? Разве в морду поддадут?
– «Эк-зе-ку-ци-я!» – трр: в барабаны бьют.
Белый саван надевают. Ставят, ставят.
<1928>

<2>

Сентябрьский заморозок надышал
На ворс торцов и слякоть тротуаров
Бобровую онегинскую снежность, –
И с наслаждением каблуком косым

Ее Нечаев на бегу стирает:
Ночь напролет он с Писаревым был.
Да, Тот – «любил Петра творенье». Как же!
А пер ли ты, барчонок, поутру,
С раздутым в жабьей судороге горлом,
Чтобы не опоздать на представленье
С веревочкой и петелькой? Небось
В картишки дул аль ножку воспевал,
Когда вели по Кронверкской куртине...

<1928>

<3>

– «Рост – два аршина пять вершков. Глаза –
Стекло-голубые с выраженьем
Тупым и злобным. Борода клочками,
Прямые волосы до плеч; блондин.
Лицо скуластое. Дурные зубы.
Примет особых нет, за исключением
Укусов человеческих на руках». –

И – Пуговицын, Свистунов и Держиморда
В Архангельске, в Одессе, в Вержболове
Прикидывают пассажирский рост,
Соображают выражение взгляда,
Как лошадям заглядывают в зубы,
И волокут десятками в кутузку,
Не разбирая, – ранки на руках
Оставлены зубами ли бедняги
Иванова иль зубками Венеры...
[(Пусть фершал разбирает: наше дело –
Забрать, на то и служба, не взыщите.)]

– «Невзрачный парень, а натура – сталь.
Когда бы не пиджак, – того и жди,
Что вытянет двуперстие и ляжет
На паклю смоляную – сожигаться...
Напоминает мне Виссариона...» –

И голову громадную склоняя,
Шурша немойтой сивой бородой,
За двадцатидвухлетнего щенка
Старик ручается перед Россией
Картечным визгом в Друденских воротах,
Цепями Ольмиотца и Сенигштейна,
Двукратным призраком австрийской плахи, –
Всем, что влилось, отягощая славой,
В простое имя «Михаил Бакунин»,
Которое он смачно подписал,
Как будто эполетами потряс,
Под сдобренным смешной печатью ВИДОМ
На житие революционера...

Рулетка подкузьмила. Флюс вздувался,
Пульсируя иголками. Жена
Отметив в дневнике, почем селедки,
Стенографически его лаская,
Клялась назавтра брошку заложить...
Падучая бродила в горле спазма,
В мозгу крутился приговор по делу
Нечаевцев – с его ослизлой речью,
И чудилось, что скрывшийся герой –
Сын этих всех Печериных, Грановских,
Что он мал ростом, узколоб и юрок,
Что он растлен, лжив, говорлив и туп,
Что он как шарик, прыгающий с хрустом
И падающий, сволочь, на зéго...
Он встал с кровати, подтянул кальсоны,
Потрогал флюс, подумал, что Христос
Никак не совместим с социализмом,
Зажег свечу («пять пфенигов! каналы!»),
Присел к столу и на листке бумаги
Пометил дату, покряхтел, томясь,
И с росчерками вырисовал «Бесь»...

*

Сентябрьский заморозок надышал
На воре торцов и слякоть тротуаров
Бобровую онегинскую снежность
И, сбитым каблуком ее сдирая,
С раздутым жабьей судорогой горлом,
Бежит Нечаев на Смоленский плац.
Там виселицы тоненькое П.
Там палачи, там плач, там пыткой пахнет

29.IV.1929

<4>

Лохматый и большой, напряженный детина;
Смазные сапоги, недельная щетина,
Взгляд – гвозди забивать, и – робкая рука,
В кухмистерской весь хлеб гребущая, пока
Щи подадут: не ел давненько работяга...
Я по лесам бродил, я знаю слово «тяга»,
Я слышал слабый свист связей и гусей,
Летающих к северу по-над Россией всей
Для жизни, для любви – в полярные болота.
Бесогонимые!.. Голодная голода, –
Сыны приказчиков, племянники дьячков,
Уездных лекарей, дворян (с таких клочков,
Что плюнуть некуда, что, быть скотом дерзая,
В неделю удобрит костлявая борзая),
Чиновной мелкоты несчитанный расплод,
Порою – февралем отпущенный илот, –
Кем переполнены Уфа, Калязин, Пенза,
Тьфуславль и Портомойск, – все валят in expenso
Quod edere туда – в Москву и в Петроград,
Такие светлые за тысячью преград.
Там, сзади 8 лет гимназии. Там сразу,
Чтобы в мозгах пресечь тлетворную заразу,
Ложатся на мозги «Перуне, выдыбай»,
Молитвы, буква «ять», Смарагдов, Ходобай;

Там, чтобы угодить саккосам и рипидам,
Мобилизованы Вергилий с Эврипидом;
И знали бы они, как судорожно стих
За горло схваченный грамматикою стих,
Как оловом легло серебряное слово, –
Поддельной драхмою губителей былого!
Там, воплотив собой попа и казака,
Надменно высунув два мертвых языка,
Demetrius Толстой, столоначальник веры,
Сумел для школьников закрыть и мир и скверы.
Там смертный грех – лапта; там смех – уходит вбок;
Зато спряжения все знают назубок,
Все исключения, проклитики и даты –
Казарм классических пружинные солдаты.
Но жизнь глядит в окно, но мир стучится в дверь,
Но юность жадная ласкается как зверь, –
И прорываются сквозь постные уроки
Тирады Герцена и Писарева строки.
Пусть теперь на них мы сверху вниз глядим,
Пусть шрам времени на них неизгладим, –
Их пламенный урок был хорошо зазубрен,
Их йод прижег рубцы классических зазубрин...
Вот – аттестат в руках, мерцавший столько лет.
На скудные рубли, конечно, куплен плед
И – в университет! (Порой – пешком по шпалам,
Косясь на поезда голодным глазом впалым.)
«Что делать» знают все; как действовать – никто.
А в буйном городе всё блеском залито,
Все страшно заняты; кому какое дело
До парня, чья душа восторгом холодела
И пищи требовал желудок? Получай
Пинки со всех сторон, кирпичный хлеб и чай

<1936>

ДВА БРАТА

На Волге – паводь, водоверть;
Веселым ветром лед уводит;
Играя, сок весенний бродит,
Любую оживляя жердь;
И вот – в семью приходит смерть,
Опять, по-новому, приходит...

Еще недавно гроб стоял,
Особо жесткий в тесном зале,
И, средь завешенных зеркал,
Работник вечный – отдыхал,
И панихиды вокруг вздыхали.
Родня толпилась и друзья,
И сослуживцы заходили;
Заботы меж собой делили:
Кому – подумать о могиле,
Кому – цветы, кому – кутья;
День таял, суетлив и долог;
Плыл сладкий ладан, синь и мглист;
В газетку местную некролог
Строчил суровый гимназист;
Но знали все, сквозь муть печали,
Что жизнь недаром прожита, –
Что сотни школ (*его* мечта)
По захолустью расцветали;
Что был он люб семье своей;
Что поднял славных сыновей,
Блестяще умных и способных;
Что быть профессорами им...
И ровно реял синий дым
И медлил у цветов надгробных...

И потекли за днями дни,
Такие ж мерные, как прежде,
В труде, заботе и надежде,
В кругу знакомых и родни;
Снег мягким затянул покровом

Могилы новой бугорок,
Даль Волги, полосы дорог,
Обрыв, воспетый Гончаровым;
Дышали печи; лампы свет
Лился на бедный кабинет,
Где за столом сидел отцовым
Упрямый юноша, с лицом
Широколобым, большеротым, –
Над Марксом или Геродотом
Вися внимательным пером.
Уже экзамены блистали
Мишенью золотой медали,
Уже, наградой школьных лет,
Маячил университет...
И к сыну мать порой входила,
То чай внося, то спать гоня, –
И незабытая могила
Чуть забывалась у огня
Спокойной лампы: он целебен –
Вечерний говор, мирный труд...

Второе марта.

Вдруг зовут
На благодарственный молебен.
– Что? – Покушение на царя!
Вчера! В шестую годовщину
Того...
Шагнув из алтаря,
Костлявую сгибая спину,
Священник проповедь бубнит,
Парадную мерцаая ризой, –
И снова реет ладан сизый
Тоской недавних панихид...
– Дерзнули! С бомбами! Злодеи!
На миротворца! Не дал бог! –
Собор набит – нельзя плотнее:
Стоят, вытягивая шеи
И в горле чувствуя комок...
Молебен кончен... Город – улей:

Восторг и ужас, боль и гнев;
Везде – железный шаг патрулей
И звон штыков.

Осатанев,
Как ошастливленный любовник
Сияет голубой полковник,
В саях по городу мечась;
И вдруг пожаром разрослась
Весть обжигающая, прынув
Во все умы, на все дома,
Сжигая рты, сводя с ума:
Среди!... бомбистов!.. наш!.. Ульянов!..
Да!.. старший!.. старший!.. Александр!..

Трясься, на мутный палисандр
Депешу губернатор стелет:
Должно быть, и его разметет
Дворцовый жернов! Проглядел!
За суетнею мелких дел
Не устерег, какие зрели
В его губернии плоды!..

Под диким натиском беды
Мать с криком бьется на постели;
Сестренка, белая, стоит,
Горя громадными глазами,
Рыдает младший брат навзрыд;
А старший между пузырьками
В аптечке ищет валерьян, –
Неспешно, сдержанно. Он тоже
Бел, точно гипс, но – взял стакан
И каплям счет ведет без дрожи...
Ночь морфием оглушена.
Спит мать. Кухарка спит и дети;
Как виселица, тишина
Стоит в холодном кабинете;
На улице безглазый мрак;
Дом замер, город точно вымер, –

И шепчет в темноту Владимир:
«Нет, Саша, – действуют не так!»

Теперь, через полвека, видно,
Как было прочно и солидно
Хозяйство царское тогда;
Как задыхались города

27.XII.1938

ПЕСТРЫЙ ФАРАОН

Обычно так: берут «простой сюжет» –
Чтоб Агасфер, Жуан или Фонвизин
(Став тенью) шлялся. Автор же вослед
Бредет и на крахмальный свой манжет
Карандашом (а почерк столь капризен!)
Заносит всё: кем каждый обремизен
(Людьми, судьбой иль кем-нибудь еще),
Где нахватал морщин, зарубок, взлызин,
Чем угнетен, прославлен иль изгрызен, –
Клеймит железом каждое плечо, –
И, при таланте, выйдет горячо.

Но мне претят подобные уловки:
Идет на тех читатель-зауряд,
Кого как рыбу удят иль багрят.
Я выпустить хочу без подготовки
В тайгу стиха играющих тигрят.
Пускай они кое-кому взбугрят
Когда не мозг, то кожные покровы;
Игра когтей – как карта горных гряд;
И, может быть, в расцветке той тигровой
Покажется моя поэма новой...

Да, нам пора поговорить всерьез, –
Поэзия! Мы 30 лет знакомы;
Сквозняк твоих проблем довел мой нос
До насморка, твой блеск – до глаукомы
Довел глаза. Утрачено чутье,
А глазомер – такой, что и в главкомы
Не попадешь. Где прежнее литье?
Где – завязь жизни? где – зерно саркомы?
На это всё ответим нелегко мы.
Ах, если бы незнание иль знатье!

Да, классикам жилось весьма удобно;
По целине они вели соху.

Всё можно им: и рассказать подробно
О чем хотят, и волю дать стиху,
И самые естественные рифмы
На всем скаку подхватывать копьём;
А мы – корпим, сигарный воздух пьем,
И свой корабль боимся ткнуть о риф мы.
У классиков взор жен их – как звезда,
Как жемчуг зубы, чудное мгновенье
Так вот и названо. А нам – узда
Надвинута на каждое волненье.
Клуби язык и удила грызи!
Чтоб капал стих, пузырясь пеной мыльной,
Да критика, увязшего в грязи,
Еще дари улыбкою умильной.
Здоровому желудку здорова
Еда простая: хлеб, уха да каша,
У нас же пресной стала кухня наша:
Нам – пряностями посыпать слова!

19.1.1943

* * *

Но вам молюсь, безвестные! Еще в ночной тени
Сокрытые, не жившие, грядущие огни!

Брюсов

Разрешите мне, читатель, подурить немного с Вами,
Помечтать и посмеяться, погрустить и поболтать:
Тридцать лет я был серьезен, но с почтенными годами
Чуть задумчивой улыбки к нам нисходит благодать.
Я читал стихи недавно перед публикою в клубе;
Юрий Карлович Олеша, старый друг мой, в них нашел
Столь высокие прозренья и немереные глубины,
Что едва ли мне макушку не овеял ореол.
Я согласен согласиться на венцы и ореолы:
Мы, поэты, любим славу как сигары сладкий дым, –
Но отрадней втихомолку беглой рифмой вить глаголы
И опять себя почуять безоглядно-молодым.
Panis, piscis, crinis, finis¹... я хватал за них пятерки,
Я латинских исключений не забуду никогда, –
Но любого сивку могут укатать крутые горки:
Белый crinis – грустный finis – вниз бегущие года...
Впрочем, – будет! Ближе к теме, ускользящей из пальцев!
Ах, лукавая беглянка, я ль тебя не догоню?
Я, – который пел Коммуну, гробил белых и версальцев,
С Аваланшем поклонялся – пусть бенгальскому – Огню!
Пиротехника!.. Мне Брюсов это слово как-то кинул.
Я с улыбкой принял вызов, я насмешки не отверг:
Гёз – и никаких испанцев! он испанцев локтем сдвинул!
Хоть на миг, но даже звезды затемняет фейерверк...
Поплывем же, мой читатель, отдадимся, не робея,
Восьмистопного хоря упоительной волне,
И фрегат поэмы легкой полетит, как чайка рея,
По морям десятилетий к небывалой глубине.
Я хочу сместить эпохи, прорастить немедля семя,
Историческую повесть повести наоборот.
Место действия, конечно, наш Эсесесер. А время –
Двадцать первое столетье, девяносто пятый год.

¹ Хлеб, рыба, волос, конец (*лат.*).

Вижу: хмурится редактор: «Что он? уж не пессимист ли?
Или нашу современность мнит не стоящей труда?» –
Успокойтесь, camerado! Разрешается же Пристли
Даже в английском семействе выворачивать года!
И потом – легко проверить, прав ли я в моих прогнозах,
Хорошо ли подобрал я к сейфу Будущего ключ:
Полтораэта лет нетрудно продремать на книжных розах:
Ведь редактор – он бессмертен или дьявольски живуч.
И корректора прошу я не тарашить гневно очи:
Пунктуация должна быть мне покорна, точно дочь,
И когда ввожу во фразу я цепочку двоеточий –
Потрудитесь не мешать мне и не рвитесь мне «помочь»...
Мы сейчас наметим грани утопической поэмы:
В ней историю мы вносим в теплоту оранжерей,
Где спокоен гретый воздух, где цветы блаженно немы,
И фантазия – как сторож неподкупный у дверей.
В историческом романе мы имеем дело с «делом»,
С пылью летописи ветхой, с глупостью Карамзина,
А в утопии порхает бабочка полетом смелым,
Как лучом – тончайшей осью силлогизма пронзена.
И уже как будто Месмер в душу влез неуловимо:
С марсианами дерешься, охраняя грудь Земли,
Уплываешь в Антарктиду в челноке Артура Пима,
И над головой твоею – птичий клик: «текели-ли!»..
Но не всякому под силу приручение махаонов:
Можно бархатную пудру с легких крылышек смахнуть;
Силлогизм иглы острее, уколоться можно, тронув,
И густые капли крови разбегутся, точно ртуть.
Есть поэтик звонкогорлый, нестерпимо благодный;
У него – поток утопий; утопиться можно в нем:
У него в Москве грядущей, – да! в Москве миродержавной
На Пятьсот пятидесятый подписуются заем!
У него по небу реют пацаны на самолетах,
Сквозь дыру в хрустальной крыше Вам газет кидая пук,
И в экстазе непрерывном, в производственных заботах,
Как в Одессе на бульваре, Вы не ведаете мук.
Впрочем, слов не будем тратить, к черту храброго портняжку,
Кто скроил нам... к черту, к черту!..

Перед нами Ленинград.

Ленинград!.. Заходит солнце, золотя Неву и Пряжку,
И, как древле, Всадник Медный указывает на закат.
Ах, закаты! В нежном небе дымный жемчуг акварели,
Влага дальнего Гольфштрома как фазаний пух плывет,
И прохладный парус яхты прочертился еле-еле
Там – на грани дымок блеклых и карминно-красных вод...
Тишина!.. Крылом огромным тишина висит над миром:
Шин бесшумных шелест мыший: шелк и замша мостовой, –
Где пластмассы крем упругий лег пушистым кляксапапиром,
Точно влагу, звук вбирая под машиной легковой.
Выются радиопланеры, отплывая с крыш покатых,
И кружат и улетают, кто спеша, кто не спеша.
Тишина стоит над миром, и в ее лебяжьих лапах,
Песне внутренней внимая, распрямляется душа.
Вы не смейтесь, мой читатель: механизмов гром и скрежет –
Это корь, какую дети слабой техники больны;
Но уже в колесном дегте человеку эра брезжит
Беспредельной, как нирвана, и блаженной тишины!
Урбанисты нам рисуют город будущего – страшным:
Громоздом двухсотэтажных, ребра скалящим домов;
Но когда любые дали станут бременем пустяшным,
Мигом люди разлетятся, полевой внимая зов.
Скорость – вот противоядье муравьиному кишенью;
Толстозадая оседлость в новом мире ни к чему:
Я, за сотню километров увлечен любой мишенью,
Лишь на пять минут небрежно в небо крылья подыму!
И леса плечом зеленым растолкают толпы башен,
Встанут легкие коттеджи вдоль цветочных авеню,
И огромный город будет, беспределен и нестрашен,
Собирать людское время без потери, на корню.
И потом, – прошу взглядеться, – на запястьях у прохожих
Золотистые браслеты: циферблат и микрофон;
Чуть коснешься кнопок белых, на созвездие похожих,
И друзья в Баку иль в Омске позывной услышат звон.
И шепчи свои вопросы, пожеланья и приветы,
Полюбезничай с подругой в микрофонное ушко,
Даже можешь поругаться, и тебя не спросят: где ты?
Номер твой друзьям известен, всюду ты – недалеко.
«Поругаться – вы сказали?» – Да, сказал я – поругаться!

Что ж, вы думаете, – в душах будет розовый сироп?
Гнев – он тоже наслаждение, и грядущий Мантегацца
Объяснит его природу, наклоня умный лоб...
Ленинград. Заходит солнце. Веет нежная прохлада.
Час прогулки. Сотни тысяч к пляжам пепельным скользят
По конвейерам панелей, – и для нынешнего взгляда
Походила б их прогулка на безумный маскарад.
В самом деле: вместо наших серых, пегих, цвета хаки,
Бурых, грифельных, дегтярных пиджаков и панталон
Там лазурь пылает спиртом, млеют розы, рдеют маки
Шелка, объяри, сафьяна – как закатный небосклон.
Вон: идет чеканный щеголь в темно-бронзовом колете,
В синей тальме, лоском льнушей к серебристому белью, –
На гигантскую колибри он похож в закатном свете,
На мерцающую в море чешую скумбрию.
Усмехнетесь: «попугайство»? – Нет! Всемирный праздник Цвета!
Детям солнца нужен пурпур, глазу радуга нужна!
Осуждать не торопитесь: что сказала б вам на это
Ваша юная подруга, Ваша милая жена?..
Фон готов. Теперь, позвольте, я представлю вам героя:
Через площадь брошен легкий полукруглый виадук,
Безупречною дугою, воплощением покоя,
Он бамбуковую спину выгнул, строен и упруг,
И на нем, у парапета, остановлен острой думой,
Опершись небрежным локтем на зеркальный хром перил,
Парень собранный и гибкий, не ко времени угрюмый,
В розоватый пепел неба темнозвездный взор вперил.
Чуть скуластый, чуть раскосый, с терракотовою кожей,
Точно конь ахалтекинский древним зноем налитой,
Он стоит, одет по моде, но на время не похожий:
Слишком острый, слишком южный, полный кровью золотой.
Он родился в Ленинграде, в Ленинграде он и вырос,
Там учился, там влюблялся, фехтовал и рифмовал,
Но с годами ностальгия, как фильтрующийся вирус,
Пропитала клетки тела, и в душе – песчаный шквал!..
Назовем его Мурадом... В этом смуглом, хмуром слове
Неумолчный звон барханов, шелест ветра и песка,
В нем миражный ад пустыни, гневно сдвинутые брови
И неотразимо-четкий взмах алмазного клинка.

Это имя... Впрочем, – будет! За метафорой в погоне
Я боюсь, летя карьером, Вас, читатель, обскакать,
Но поверьте, что привык я, имена держа в ладони,
Точно смокву – их прохладу, вес и мякоть осязать.
Имя, имя!.. Долг Адама был найти название тварям,
Звездам, женщина и травам, – и неплохо он, Адам,
Разрешил свою задачу, – и поныне все мы дарим
Имена своим любимым с добрым смехом пополам.
Человек родится – имя. Стал борцом или поэтом –
Снова имя: псевдоним ли или паспортное, но
В этом случае последнем всё же неким новым светом –
Неким новым Ивановым – странно светится оно.
Стала женщина желанной – ей придумывают имя:
Нарекают Илайяли Катю, Китти или Кэт,
Из Владимира Пафнутий возникает в черной схиме,
И клеймит, придумав имя, сволочь разную поэт.
Бровь приподнята, и губы дерзко выпячены – Чацкий!
В этих звуках – вся брезгливость, всё желание – уйти...
Я задумывался как-то: ну-ка – в городе Дурацке –
Дух сословий и профессий в точных звуках воплотил.
Губернатор – Дурацевич; предводитель – Дур-Дурасов;
Председатель земуправы – Дурковатый; комендант –
Сотник Дуру; в институте мсьё Дюрак, инспектор классов;
Задуричкина – эсерка; содержатель бани – Кант!..
Но пора, пора к Мураду!.. В пепел неба розоватый
Он глядит, охвачен думой. В горнем горне облаков
Возникают минареты, распускаются гранаты,
И оттуда ветер веет, ветер канувших веков.
Он рассеянной рукою вынимает из кармана
Миньятюрный, в пол-ладони, томик тоненький – стихи –
В переплете беспорочном блекло-синего сафьяна,
И от кожи благородной плыли шепотом духи.
Серебром на переплете – имя автора: «Шенгели»:
К двухсотлетию рожденья Комитетом Чудаков
Вновь был издан старый лирик, – и немногие умели
Услышать в холодных строках потаенной боли зов.
О поэте шла легенда как о неумном черте,
Всем на свете досадившем, лившем оцет в каждый мед;
И Мурад откинул крышку, и на бархатном офорте

Проступили – резкий профиль, зоркий взор и робкий рот.
И, глядя в лицо поэта, думал наш Мурад угрюмый:
«Этот старец двухсотлетний видел родину мою –
Землю предков; он проехал на верблюде Кара-Кумы,
Он двенадцать раз на лодке пересек Аму-Дарью.
Он, выдавший Рим и Лондон, охмелел от Ашхабада;
Родич моря, он всем телом слушал древний зной земли
И поэтому, должно быть (о, завидная отрада!),
Столь надменными стихами перевел Махтум-Кули!»
И Мурад листает книжку: «...фирюзинские чинары...» –
«...Две стрекозки-бирюзинки...» – «...пятна крови на клинке...» –
«...Вдоль течения Фирюзинки...» – «...где комузы и дутары...» –
«...Трепет молнии лиловой...» – «...тигры мертвые в песке...»
– «О, счастливцев! Нет, довольно!» – и Мурад, как лук упругий,
Вмиг решает: кинуть Север и – в бестрепетной игре –
Попытаться жизнь построить на родном, на древнем Юге,
Повторить собой преданье о Тагире и Зогре!
Полететь на Юг нетрудно: дважды в день аэронефы
Скоростные отбывают, руль держа на Демавенд;
Но Мураду это скучно: так в Ахтырки и Меревы
Можно ездить, а не в страны буйно-солнечных легенд!
Нужно что-нибудь иное, экзотическое; нужно
В древнем поезде поехать... И Мурада на вокзал
Мчит бегущая платформа... Это будет очень «южно»
Сесть в вагон второго класса: есть ведь рельсы на Арал?
На вокзале поглядели, усмехнулись на вокзале:
«Да, конечно, есть движенье, перевозят разный груз
Из громоздких и неспешных; человеку же, – сказали, –
Ездить в поезде – преглупо: извращенный виден вкус,
Нечто вроде мазохизма. Впрочем, если вы хотите...»
Усмехнулись. Поезд подан. Два вагона, паровоз.
И Мурад уселся в кресло – и серебряные нити
Побежали под колеса, упоительны до слез!
Стиль не выдержан, однако: нет корзинки у Мурада,
Нету чайника и кружки, бутербродов и котлет;
Зайкнулся он об этом, но ему рычат: «не надо!
Скоро будет Бологое: сбегать можете в буфет;
Или проще: позвоните в Померанье; на подносе
Подадут еду в окошко: пиво, хлеб и ветчину».

Но Мурад сидит, нахмурясь, – и подрагивают оси,
Тонким скрипом, звонким лязгом прославляя старину.
Стало скучно. Телевизор? К черту, к дьяволу, к шайтану!
Позвонить в библиотеку, чтоб включили том Дюма?
Тоже слишком современно, и «дестан» вверять экрану –
Было просто бы кошунством для глубокого ума.
И плывет лениво время в пляске тряски, в ритме стука,
Неуклонно, постепенно громоздясь без перемен;
За окошком – сосны, ели; скука, скука, скука, скука;
Сам хотел ты, сам хотел ты, сам хотел ты, Жорж Дандэн!..
А пейзажи? – Что ж пейзажи! Ровный бор и автострады;
Башни белые причалов принимают «гелико»;
Гидростанции, плотины, голубые водопады
Пенным треном отряхают кружевное молоко.
Всё знакомо и привычно, – а июньский вечер долог...
Появляется фигура: «Скучновато, пассажир?
Сядем в шахматы?» – «Вы разве шахматист?» – «Микробиолог». –
«Вы ж кондуктор!» – «Нет, я доктор, но спускаю лишний жир;
Я до спорта не охотник; никогда мне интересно
Не казалось метко в сетку залепить футбольный мяч,
А работа кочегаром и душевно и телесно
Освежает

11.III.1944 – <1952>

Аишбад – <Москва>

КАРФАГЕНСКАЯ БРИТВА

В тяжелом грубом медном черепке
Она лежала, узкая и злая,
Косматость на матросском кулаке
При робкой пробе точно пух снимаю;
Но, видно, черт гнезвился в дураке –
В хозяине: цена была такая,
Так был упрям он, что никто не мог
Приобрести певучий тот клинок.

Базар гремел. Под иступленным небом,
Горячим как сапфировый отвар,
Торговля шла бушлатами и хлебом,
Сигарами и яйцами. Товар
Здесь угождал любым людским потребам:
Гвоздей? духов? – извольте; вам бювар? –
Пожалуйста; соленой рыбы? шелка? –
Имеется! Недаром – барахолка!

Громадный город был богат весьма;
На авеню, проспектах и аллеях
Витринами прорезались дома,
Гоня сквозняк в пассажных галереях:
В порту недаром флагов кутерьма
На мачтах трепыхалась и на реях,
Недаром в банках, в мышьих норах касс,
На золоте поскальзывался глаз.

Там было всё: от голубых алмазов
До бархатов алмазно-голубых,
От браунингов и до брусских газов,
От кюрасо до рысаков гнедых,
Которых пел, по жиру плач размазав,
Апухтинский, распухший в астме, стих;
Там было всё, что джентльмену любо:
От биржи до балета и яхт-клуба.

Прекрасный город! Множество газет,
Пугливо-красных и отважно-желтых
(И в каждом доме держится клозет
На пустосвятах и на пустоболтах).
Цветы в петлицах. Розовый глазет
Гробов девичьих. На тяжелых болтах
Ворота тюрем. Каждодневный хмель
Банкротств, убийств и авианедель.

Кипела жизнь. То приезжал Карузо,
Или Матисс, или бомбейский маг;
То Пеликан натягивал на пузо,
Лорд-мэром став, среброгалунный фрак;
То пушкинская пробиралась муза
К еврейчику на плесенный чердак
И высыпала скатный жемчуг ямба
В предсмертный хрип взбесившегося Ямбо.

Как некий вавилонский зиккурат
Общественная вскинулась постройка:
В серьгах жены пять или семь карат?
И венская ль в жилетке мужа кройка?
Столь четки грани; чести – аккурат
Отпустят столько ж. И нотабли стойко
Стоят на страже врат и ступеней, –
И ты в благоговеньи цепеней.

Сказать по правде – тут не без изьяна,
Тут чувствуется нечто «апплике»;
Нельзя же верить в «графа Превизьяно»?
И честь вручать «Кулисичу Луке»?
Стандартный образ: серб и обезьяна;
К тому ж и Букарест не вдалеке;
Пусть важен бридж, пусть безупречен роббер, –
Из сар' di bove¹ вышел кандибобер.

Глазам приятно: точно крем – фланель
Чеканных брюк, ботинки белой замши,

¹ голова вола (*итал.*).

Чтоб не спеша полировать панель,
Хотя иной идет гулять не жрамши.
Прошу простить мне: по моей вине ль
Всё хамы там и жены хамов, хамши?
Но, боже мой, как в общем лоске том,
Не выходя, умеют быть скотом!

13.XI.1945 – 10.XI.1946

* * *

I

«О доблестях, о подвигах, о славе»,
О мерзостях, о грязи, о резне,
О сатанинском вареве, о сплаве,
Что остывает слитками в казне,
О Лондоне, о Чухломе, о Яве
В их яви черной, в их багряном сне,
Где в нищих зорях смертный ужас брезжит, –
Об этом всем мой проскрежещет скрежет.

II

Поистине – уже нельзя молчать;
Нельзя брести слепцом, сжимая посох;
Сотри бельмо, слущи с могил печать,
Стань голосом и громом безголосых!
Что ж, – неужели пушкам лишь рычать,
А слову изгибаться в перекосах?
И неужели никогда вовек
Не скажет человечье человек?

III

Да! «звон мечей» и «треск дробимых копий»;
В гекзаметрах и ямбах их следы;
Клише избитых и бесцветных копий
Хранят запас торговые ряды
Пиитов псалмопевных... Но *Проконий*
Порой встает, сорвет ремень узды,
Отпустит мысль – и, точно свист аркана,
Летит в века *Historia arcana!*

IV

Со стороны виднее, – говорят.
Возможно – так. Но изнутри – большее.

А наша боль – как мрамор горных гряд,
Что небо держат на узлистой шее!
Так пусть поэма тысячью тигрят,
Окрашенных подобно орхидее,
На высоту, где звездный луч дрожит,
Средь мраморных ущелий пробежит!

V

Среди имен, каким заблестела
Пороховая хартия войны,
Святое имя «капитан Гастелло»
Звездой низлетело с вышины.
Его бы в Риме закрепила стелла,
В Солиме зарыдали бы: «За ны!»
А я б велел иссечь на этой стелле:
«L'amor che move il sole e l'altre stelle»¹.

VI

Да! Надо нам вполне чеканных слов
И рифм каленых, на ходу пружинном,
Чтобы стихи не косяком ослов
Шли, – а как должно воинским дружинам.
Как ни страшай нас каждый пустослов,
Как пустосвят беду ни ворожи нам –
Мысль оправляй не в мякиш, а в металл,
Чтобы алмаз вернее луч метал.

VII

Не строг ли я? Где нам добыть алмазов,
Коль даже бисер свиньям брошен сплошь;
Коль, жир помадки по губам размазав,
Причмокивает розовая Ложь,
И Смердяковых учит Карамазов
Всем горлом пить почтительную дрожь?

¹ «Любовь, что движет солнце и светила» (*итал.*).

Но замолчу, займусь игрой другой я;
К чему пугать младенцев? Я – не Гойя.

1945–1952

ПРИМИГЕНИЙ ТЕЛЕГИН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

«Мой дядя ловко парой правил,
Но как-то, лишний влив глоток,
Попался в нарушенье правил
И штрафа избежать не мог.
Штраф – неприятнейшая штука!
И мне, племяннику, наука:
Вертя баранку день и ночь,
Людей не мять и не толочь.
Мой лимузин – не прихоть барства;
Он мне, усталому, под статью:
Докуку будней разгонять –
Великолепное лекарство!
Как сладостно катать себя,
Клаксоном яростно трубя!»

2

Так думал (ну, не очень так-то:
От подлинника можно слечь,
И по соображеньям такта
Я чуть приукрашаю речь) –
Так думал молодой добытчик, –
Одна из первых спиц иль спичек
В литературном колесе, –
По скользкому катя шоссе...
Рожденный в городке Тьфуславле
В глуби России кондовой,
С весьма зубастой головой,
Для гона годной и для травли,
Он юную объял Москву
Тяжелым бредом наяву.

3

Но нет: я, кажется, злословлю;
Не надо плохо о плохом;
Он попросту открыл торговлю
Общедоступнейшим стихом.
Ведь ловкачам всегда неплохо,
Когда громовая эпоха
Взрывает жизни глубь до дна,
И мать – переворошена.
Всё неустойчиво, текуче,
Не выяснено до конца;
Тут можно с заднего крыльца
Взобраться на такие кручи,
Что... лучше, впрочем, промолчу:
С Главлитом я дружить хочу.

4

В журнал явился мой добытчик,
Тугие папки развязал;
Ему критический повытчик
Нечистым ногтем указал
Кой-что, – и вмиг лягавым нюхом
Освоился он с должным духом,
Почистил здесь, потрафил там –
И за фортуной по пятам
В ее приют гостеприимный
С улыбкой чуткой поспешил.
Свои он простыни сушил
Под ветром лирики интимной
И освежал журнальных дам
Водою пряных эпиграмм.

5

Журнальных дам... Откуда эти
Берутся дамы – знает бог;

В каком возвышенном совете
Велят им охранять порог
Чертогов Славы – неизвестно.
Сдается мне (признаюсь честно),
Что ни к каким другим делам
Нельзя приставить этих дам.
В других делах потребно *дело*,
Прямые знания, четкий ум,
А здесь – валяйте наобум,
Лишь благонравье б уцелело
Да был бы каждый юбилей
Отмечен в дюжине статей.

6

И вот увядшие красотки,
Запугаив сотню фраз,
Рычат на мир из-за решетки,
Доступной для одних пролаз.
Всё им равно; всё им – невкусно,
Но и завидно им, и грустно,
Что есть и чувства и мечты,
И это всё – «не ты, не ты»!
Вот слово ярко, – «ах, неловко!»
Вот рифмы взлет, – «какой орёр!»
Вот просто мысль, – и рыбий взор
Уже нацелен, как винтовка:
«Он мыслит, – ergo...» – И уже
Ты заподозрен в мятеже.

7

Зато когда такой же блеклый
И малокровный, как они,
Вползя, попросится в Софоклы
Или, по скромности, в Парни, –
Пожалуйста! В нем всё знакомо;
С ним можно быть совсем как дома;

Он выдержан, не подведет,
Он даже в громы бром кладет.
И вирши всяческого строя,
Неся дежурный свой восторг,
Перемолотит литгосторг, –
И в роли русского героя
Мы видим (намекну слегка)
Камаринского мужика.

8

Мы все учились – и помногу,
И не скажу я «как-нибудь»,
Так что невежеству, ей-богу,
От нас приятно отдохнуть.
И как библейские коровы,
Семь тощих, неучи готовы
Пожрать семь толстых, вскинув нос;
А пополнеют ли? – вопрос!
Но, к сожаленью, нет вопроса
О том, что толстым худо жить:
Где взять достаточную прыть,
Где резвости добыть для кросса?
Ведь и недремлющий брегет
Заложен, чтоб купить обед!

9

Да вот по поводу брегетов...
Литфонд сумел их попросить,
Чтоб драматургов и поэтов
Достойно званью наделить.
Штук пять стяжали, кто «постарше»,
А остальное – секретарши,
Сойдясь заботливой гурьбой
Дуванили между собой.
Дела такие нам не диво,
Спокон веков – такой уклад,

И Пушкин пел: «из топи – блат
Вознесся пышно, горделиво».
Теперь он вырос до небес,
Но нам ли осуждать прогресс?

<1946–1947>

Квартирка-скворешня
в высоком доме узком,
Подставленном под ветер
на выступе холма...
Сиреневый булыжник
поблескивает по спускам,
И белый крем акаций
окатывает дома.
А поглядеть снаружи
на узенькие стекла, –
Небо в них потемнело,
море застыло блекло,
Мир отразился грустно,
будто от слез намокла
Стареньких занавесок
лохматая бахрома.

Но вот закат над морем
ощипывает фазанов
И золотые в окна
кидает леденцы, –
И замираешь разом,
хотя бы мельком глянув
На бронзовые замки,
яшмовые дворцы.
Нет штукатурки тусклой,
нет черепицы битой:
Розовый блеск и трепет
как из ведра пролитый;
Город из вод выходит
прохладной Афродитой,
Но не успеет Фидий
свои схватить резцы.

И вот в скворешне верхней
окошко распахнется,

И два зрачка бинокля
увалятся в прозор.
Тут вездесущий автор
к биноклю подберется,
И вот что в ясном цейсе
увидят взор и взор:
Лавчонка и черешни,
громадные, как сливы;
Гаргантюа-мальчонка
ворует их, счастливый;
Аптека; шар багряный;
шар солнца; туч разрывы;
Старинный форт, а дальше –
простор, простор, простор.

И в пурпурах заката,
несомый легким бризом,
Под черными парусами
шаланд рыбацких флот
Графикой Валлотона
вычерчен в море сизом,
К берегу направляясь,
где чудное пиво ждет.
Полны барабулькой лодки,
и, значит, выпить можно,
Хоть маклаки с базара
торгуются безбожно;
Барабулька перламутром...
Прыгнул бинокль тревожно,
Застыл. Что это? Катер
режет сафьяны вод.

Ах, вот в чем дело! Вижу:
лицо немолодое;
Погоны лейтенанта, –
по службе ходу нет.
Задумчивый, красивый,
и что-то в лице такое,

Что, кажется, я влюбляюсь –
мужчина и поэт.
Слиянье с персонажем!..
Увы, бинокль оставлен,
Повернут выключатель,
и чайник в штепсель вправлен;
Тарелка с ветчиною...
Как негатив проявлен:
Всё стало четко, ясно,
вытащено на свет.

Красивая грустная дама!
Позвольте мне остаться:
Я вам не помешаю,
слова не пророню!
Покуда легкий ужин
будет приготовляться,
Ваш угол огляжу я,
проникну под броню.
Вот это вы – в той рамке,
в одежде институтки?
А это *он*? А это?
Вот подбородок жуткий!
Зачем он здесь, он разве
купивший на корню?

.....
И «пара строк» в конверте
Приносит весть о смерти, –
О том, что флот в Бизерте
На мертвый якорь встал.

29.VI.1947

ФЬОРЕНЦА МИА

Город, некрасивый и прелестный,
Над водою Арно мутно-желтой,
Что слывет у лириков беспечных –
Золотою.

Синева над городом такая,
Что рубашку выполоскать можно,
И она индиговой вернется,
Теплой, звонкой.

Это – днем. А ночью низко-низко
Дразнятся зазубренные звезды,
Брызгая сквозь заросли глициний
На ресницы.

Темнота, как бархатная сажа;
Кое-где фонарики ручные
Вырывают бронзовые шпоры
Из ботфортов,
Или кружевную оторочку,
Зыблемую плавным шагом донны,
Или пряжку на сафьянной туфле
Адвоката.

Но и там, где не скользит фонарик,
Черные проскальзывают тени:
Для одних ревнивое окошко
Не закрыто;

Для других не заперта калитка;
А иных в любом проулке узком,
Где-нибудь на паперти шербатой
Поджидают.

А иной в квартале, всем известном,
Может просто постучать в решетку:
Быстрый шепот, легкий звон монеты
И – входите.

3.IV.1948

* * *

1

Итак – онегинской строфой,
Но вывернув ее рифмовку!..
Пойдем неведомой тропой
Сперва на рекогносцировку;
Сперва без темы, наугад,
Наладим рифмы беглый лад,
Потом к напеву слух приучим,
Потом кой-где словцом летучим
Свою надежду закрепим,
Сыграем горькою улыбкой
И после золотою рыбкой
Скользнем в придонный синий дым,
В густую жизненную заводь –
Среди магнитных мин поплавать.

2

А без метафор – я хочу,
Хочу в последний раз, быть может,
Похлопать Эру по плечу,
Чтоб веселее век был дожит.
Рожденный «в страшные года»,
Я был задирой всегда,
Я склонен был к насмешке доброй,
Любил я хохот круторебрый
И, чтить умея и ценить,
Порой способный и на чувство,
Я прочно презирал тартюфство –
Мир проникающую нить,
И масло к лампе Диогена
Искал я в шкапчике «Venena»¹.

¹ «Яды» (лат.).

3

Чудеснейшее слово «яд» –
Ликер Локусты и Вольтера!..
В скумбрийной чешуе наяд
Ласкает глаз он, для примера;
В сигаре благовонной он
Душою дэнди воплощен;
Гитар гортанным уговором
Влечет он плоть к решеньям скорым;
Он в персиковом есть пушке –
Призыв опасливых касаний;
Сгущает он жирок джейраний
На чмокающем языке;
И вообще многообразны
Его лукавые соблазны.

4

И жизнь – отравы: «от нее
Все умирают!» – плакал некто;
А удвояют бытие
Одни лишь «яды интеллекта».
Бывало, целый день глушишь
Поэмы пушкинской гашиш,
По каплям цедишь элексиры
И фильтры свифтовской сатиры,
Или, укушенный Рабле,
Слюну Рембо почуяв в теле, –
В тарантуловой гарантелле
На пьяном скачешь корабле;
И мир, – хоть радуги поблекли, –
Как в перевернутом бинокле,

5

Далек и четок. Хорошо,
Прохладно!.. Видно всё и сразу.
Что в рифму? На: Украине «шо»

Легко шепнуть – на радость глазу,
Но здесь... а впрочем, рифма – есть!
И можно в мире том учесть
Два-три его тавра: жестокость –
Рычаг, ломающий кость ó кость,
Грязь, тупоумье, жадность, ложь,
Во всем раздольи ширпотреба,
И даже в голубое небо
Глядя, всё то же обретешь,
Когда в его лазури сливной
Снаряд провост реактивный.

6

«Вы пессимист?» – Кто это – «вы»?
Я? автор? Да с чего вы взяли?
Нельзя ж идею всей главы
Выискивать уже в начале!
Быть может, говорю не я;
Быть может, райская змея,
Герою заползая в память,
Стремится яды разрекламировать?
Подумайте, – писал же Блок:
«Раз я по кладбищу бродила...»
Так что ж он – женщина?.. – Кадило
Я вам раздую, дайте срок;
Пока же, прекратив сопенье,
Явите автору терпенье.

7

Мир – он хорош! Добротный шар
Или, сказать верней, сфероид;
Зимою холод, летом жар,
И море вечно землю роет
(«Хвалебный гимн отцу миров»);
Немного климат нездоров
(Но это вздор); довольно много
В морях еды для осьминога;

Многообразие бацилл
Дает занятие микроскопам,
И шерсть растит живущий скопом
Баран, природный имбецилл.
Ну, словом, всюду есть отрада.
Прекрасен мир. Чего вам надо?

8

«Вы, значит, нигилист?» – Опять!..
«Вы зубоскалите?» – О, боже!..
Вы попытайтесь, друг, понять,
Хоть не умом – участком кожи,
Что речь о разном здесь пойдет;
Что нигилист – отнюдь не тот,
Кто возымел в поэме дерзость
Отметить пакость маркой «мерзость».
«И эта марка – для всего?»
Фу! вот прилип! Точь-в-точь главлитчик!..
Нельзя при помощи отмычек
Вскрывать живое существо,
Тем более – «мечту поэта»:
Замок испортит мера эта!

9

Скорей за дело!.. Мой герой...
Вот тут немалая загвоздка:
В литературе мировой
Подобных не было. Подростка
Мы в ней найдем и старика,
Мерзавца, рыцаря, шпика,
Скупца, подвижника, урода,
Венеру, Геру, Квазимодо,
Джордано Бруно, Лилию Брик,
Пошлепкину, Микромегаса,
Улыбка Леды и гримаса
Де Сада скрыты в недрах книг –

Приманкой вкуса (и безвкусья)...
А мой герой!.. Сказать боюсь я:

10

Такого не было пока
Нигде, ни у кого, вовеки!..
Но пусть моя дрожит рука,
Авось недорог бром в аптеке...
Герой... Не знаю, как начать;
Не знаю, стерпит ли печать
Подобный персонаж; не знаю,
С какого подползти мне краю
К такой фигуре... В наши дни
Проходят по анкете люди:
ФИО? Пол? Возраст? Емкость груди?
Какому дьяволу сродни?
Ответишь – и без лишней бури
Найдешь приют в номенклатуре.

11

Так и начать бы; но – беда:
Анкеты о моем герое
Нигде не примут никогда,
Затем что он – один и двое!
Ну, – прыгнул я! Без долгих слов
Скажу: герой мой – двухголов.
А чтоб избежать всяких кляуз,
Вас поглядеть прошу в Брокгауз
(Тридцать четвертый том, статья
«Уродства»): янусов немало,
Оказывается, бывало,
И мед земного бытия
Кой-кто из них вкушал годами.
Не верите? Прочтите сами!

12

К тому ж двуглавость... Черт возьми!
Орел двуглавый; двухпалатный
Парламент; много меж людьми
Двуличных; критик есть приятный
(Хоть иногда бывает груб),
Вполне двухплановый, Трегуб,
Знаток сугубый аллилуйи;
Двуполая улитка. Ну и –
Чего ж дивиться, если я
Из человеческого роя
Двуглавого избрал героя,
Скрижаль анкеты раздвоя?
«Не тип! – вы скажете, – особость!»
Придется, подавляя робость,

13

Вам объяснить кой-что... Не тип?
А тип – Раскольников? И тип ли –
Отелло? Пиквик? Царь Эдип?
Гаргантюа? Признайтесь, – влипли!
«Но – люди там, а здесь – урод!»
А разве – норма «идиот»,
Князь Мышкин? Можно ль *человека*
Узнать в любом герое «тека»?
Не выродок – Наполеон,
И Робеспьер, и Торквемада?
Итак, мой друг, подумать надо
И лишь затем «издать закон»...
В том, что Белинский жил когда-то,
Поэзия не виновата!

14

Возьмем античность: гиппогриф,
Кентавр, сирена и горгона;
В Египте – сфинкс; индийский миф

Трехглазым Шивой с небосклона
Пужает взрослых; там и здесь
Невероятнейшая смесь
Когтей, копыт, хвостов, маммалий, –
Гигантский сросток аномалий;
Посмотришь – чистый декаданс
В расцвете каменного века:
Любое божество – калека,
И с явью не сведен баланс;
Мир искажают статью глупой
Гор птицеглавый, Несс двупупый.

15

И ничего! Спокон веков
Всё это изучают в школе...
Так что ж – по воле дураков
Топтаться будем на приколе,
Не смея отступить на шаг
От столбиков, что врыл ишак,
До гроба, с насморчным всхлипом,
Молившийся «правдивым типам»?
К тому ж, раз мой герой – урод,
Так он – «несчастненький», он – «бедный»,
Он – «брат меньшей»; от муки бледный,
Его ль поэт не воспевает,
Кто, по гражданственному долгу,
Давно приучен «выть на Волгу»?

16

Итак – двуглавец. В остальном
Вполне нормален, без гротеска;
Четыре глаза – с юным льном
Соперничают синью блеска;
Четыре вырезных ноздри –
Свежее розовой зари;
Четыре уха – глянуть любо;
И шестьдесят четыре зуба

Слоновой кости. Антиной
Или, верней, Нарцисс, который
В кристалл воды уставил взоры
И встал от зеркала – двойной.
Но всё ж, при красоте подобной,
Субъект отменно неудобный!

17

Вообразите лютость мук
Родильницы – сверх всякой мерки;
Вообразите перепуг
Неискушенной акушерки;
Негодование отца;
Ухмылку злую наглеца –
Лазурноглазого лакея;
По кухням – шепоток про «змея»;
Терзания попа, едва
Не слегшего, ища в канонах
О двоеглавцах некрещеных:
Раз окунать их или два?
И, в довершение этих драмок, –
Скисанье молока у мамок.

18

Но это что! Прошу напрямь
Воображенье. Человеку
Ведь паспорт надобен, хоть плачь, –
И роялисту, и эсдеку,
Будь он гигант, будь лилипут.
За паспортом – в квартал идут;
В квартале ж, в мэрии, в участке
Народ – испытанной оснастки,
Натуралисты, как Золя;
И к ним, к таким, взамен объекта
Привычного, – двуглавый некто
Придет, о паспорте моля!

Кошмар! Смещение всех устоев,
Коль паспорт выдадут, раздвоив!

19

Бред, если выдадут один:
Нет места для двойного фото;
К тому ж двуглавый гражданин
И для угрозыска забота:
А если левою рукой
Залезет он в карман чужой?
Арестовать найдется ль право
Особу, выросшую справа
На общем тулове? Закон
Бессилен и тюрьма безрука!
Для государства это – мука!..
А нормы карточные? *Он* –
Двурот, но ведь не два желудка;
Две нормы дать? – подумать жутко!

20

Одну? Не сходится итог,
Предвычисленный поголовно!
Вокруг такого (дал же бог!)
Вся атмосфера уголовна:
Он женится – его жена
Двумужницей заклеямена;
Детей родит он – вне пророчеств
Какое им избрать из отчеств
Равнозначных? А в балет
Или во МХАТ пойдет он, – если
Два зрителя в едином кресле, –
Один ли «им» продать билет?
Неразрешимая загадка!
Вдобавок он, – подумать гадко, –

21

В театре сидя, отвлечет
Всю публику от гордой сцены,
Богам искусства – где ж почет?
Где плеск ладоней драгоценный?
«Сыщена – это же хырам!»
И вдруг какой-то Нью-Адам
Двойной башкой из храма выпер
Ермолову, не то что Книппер!
С ума сойти! Визжать! Побить
Модистку! Жаловаться в Рабис!
Или, мучительно осклабясь,
Лицо в рецензии зарыть,
Предав обиду сладким одам
(От коих пахнет бутербродом)!..

22

А я? А мне-то каково?
Согласно авторской присяге,
Общественное существо
Печатной поручив бумаге,
Явить обязан я средю,
В какой героя поведу,
До дна расковырять истоки,
Откуда бьют его пороки
И доблести, конфликт раскрыть
Меж личностью и окруженьем,
За каждым проследить паденьем,
Понять – откуда лень и прыть,
И вообще, как зоркий вахтер,
Познать: куды его карахтер

23

Идѣть! – И предстает герой
Читателю, как сгусток некий,
Закономерных сил игрой

Произведенный в «человеки», –
Условий общих сочный плод!
Но мой герой, увы, не тот!
Среда – одна, эпоха та же,
И тот же педагог на страже
Проказ, и тех же будней вязь, –
Всё было тем же, вплоть до корма;
Казалось бы: готова форма,
Куда бы «личность» отлилась;
Но головы героя всё же
Чертовски вышли непохожи!

24

И не чертами, а нутром!..
Что делать автору, бедняге?
Признать сей факт? Но божий гром
Убьет изменника присяге.
Ну где в природе произвол?
Как может быть единый ствол
У сливы и у абрикоса?
(Я взвыл гиатусом, – столь косо
Глядит критический фискал,
Столь кровожадно глаз прищурен!)
Хотя... хотя ведь был Мичурин...
Фу! наконец я отыскал
Спасенье взятой мною теме:
Оно – в Мичуринской системе!

25

Но он – ботаник, я – поэт;
Он скажет попросту: «попробуй!»
Попробуют, – и спору нет;
А я, с двуглавою особой,
Чьи оба мозга не в ладу,
«Кому повем»? Куда пойду?
А объявлять разлад единством –
Ну нет! Вовек подобным свинством

Я не займусь! Ни для кого!
Я – реалист и, глаз нацеля, –
Отнюдь не «ангел Рафаэля»,
Кто «созерцает божество»!
Не мне сновать рабом лукавым –
Двурушником при двоеглавом!..

26

Вот видите, сколь трудно мне
Еще в позиции начальной...

3.VI.1948

СЕВАСТОПОЛЬ

...Я спою, как росла богатырская рать,
Шли бойцы из железа и стали,
И как знали они, что идут умирать,
И как свято они умирали...
...И одиннадцать месяцев длилась резня,
И одиннадцать месяцев целых
Чудотворная крепость, Россию храня,
Хоронила сынов своих смелых...

Апухтин

I

Еще я застал их – седых капитанов,
Еще я застал их – матросов седых;
Я вмиг узнавал их, в мерцание глянув
Задумчивых глаз, темной налитых,
Где точно остались волокна туманов
И смурого пороха пасмурный дых.

Об этих глазах: я, конечно, ребенком,
Их тайную суть осознать не умел:
В них было присущее робким просонкам
От страшного сна, что волок за предел;
Из гроба нетронутый, в саване тонком,
Так Лазарь воскресший, пожалуй, глядел.

Особое слышалось в медленной речи:
И грустная мудрость, и мудрая грусть, –
Как будто, несчастья вскинув на плечи,
Присягу отважных твердят наизусть,
На бешенство ран и безумье увечий
Одним отвечая бестрепетным «пусть!».

С пустым рукавом и медалькой невзрачной
На ленте оранжево-черной, как шмель,
Они доживали: кто – вахтер маячный,
Кто – лоцман, измеривший каждую мель,

Кто – попросту нищий, приبلудыш кабачный,
Просящий у храмов на хлеб и на хмель.

У нас в гимназической церкви, бывало,
На скучных обеднях, сквозь ладанный дым,
Видал я седого, как шторм, адмирала,
Который старался держаться прямым,
Но ветхое сердце порой замирало –
И все мы пугались: не обморок с ним?

И внучка на воздух его выводила –
На паперть. А там неизменно торчал
Матрос одноногий, пьянчужка Данило,
И, слернув свой блин, адмирала встречал,
И трешка в ладонь смоляную скользила:
«На, выпей». – «А сами?» – «А мне на причал».

Когда ж, через год, серебром катафалка
Сверкнуло последнего дня торжество,
Данило, в процессии трюхая валко,
Белугой ревел. «Что? – спросили его. –
Жаль водки?» – Он – матом: «Мне водки не жалко,
А мичмана я пережил моего».

24.IX.1951

ТЕНЬ ПУГАЧЕВА

1

«Но где ж бояре?» – Не было бояр.
И камергеров – тоже. Победитель
Глядел с Поклонной на огромный город,
Ждал депутатий, бархатных подушек
С «ключами от Кремля» – и ждал впустую:
Славянский Рим регалий не поднес.
Конь головою тряс, переминался;
Почтительно скучали адъютанты;
Ползло на запад солнце, и в тумане,
В осенней синьке, в пене голубой,
Сиял, мерцал, переливался блеском
Шатровый табор красных колоколен,
И пламенели шлемы куполов.
И, как во сне бывает, расстоянье –
Висело, полное неодолимой
Бездушной, безвоздушной тишиной.
И, тоже как во сне, зигзагом мысли,
Невесть откуда и куда скользнувшей,
Представил цезарь статую свою
Изваянной из мраморного мыла...
«Вперед!» – Он шпорой щекотнул коня
И вниз помчался, к своему зениту.

2

И город развернулся перед ним
Бревенчатой и каменной пустыней
Кривоколенных улиц, тупиков,
Дворцов, домов, домишек и церквушек;
И окна были слепы, как судьба,
И воронье металось над садами,
И, вспугнутые грохотом подков,
Проюркивали, извиваясь, кошки.
И – ни бояр и ни пейзаж. Нигде...
Кулак железный грянул в пустоту,

В безмерное, бездушное безмолвье,
И вереницы жидкие дивизий
Тонули, вязли, расплзались в нем...
Он нехорош был – этот первый вечер
При тусклых свечках во дворце кремлевском.

6.VII.1953

БОГАТЫРИ НЕВЫ

Я не из тех, кто задрожит,
Когда проедет принц наследный;
Я не из тех, кто побежит,
Когда сорвется Всадник Медный;
Я не шепну «ужо тебе!»,
Шептать я вообще не стану:
Я бронзовому истукану
Противостану как судьбе;
Я, подобрав пращу Давида,
Метну с бычачьего ремня
То слово, что гнетет меня,
В котором гнев мой и обида,
Которое тринадцать лет
Во мне росло, как в почках камень,
В котором слезы, кровь и пламень
Спеклись в багряный самоцвет,
В нагой голыш. Сто раз испытан
В тиши невыплаканных злób,
Неумолимо просвистит он
И ляпнет прямо в медный лоб!

Плохая им досталась доля.

Лермонтов

Над омраченным Ленинградом
Клубится дым лохматым гадом.
Предатель или идиот,
Дождавшись рокового часа,
Сквозь горы хлеба, груды мяса,
Жиров и сахара – под свод
Наивернейшего подвала,
Чтоб вместе вся еда лежала,
Чтоб легче подводить ей счет,
И вражий в ту же ночь налет
Всей мощью огненного шквала
Обрушился на погреб тот –
И жизнь миллионов запылала.

5.XI.1954

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

СЕРПЫ ТРАГЕДИЯ

Акт II

Та же лаборатория. Входит *Ученик* в сопровождении *Пророка*.

Ученик:

Здесь подождите. Только попрошу
не трогать ничего из аппаратов:
вы знаете, неопытной ру...

Пророк:

Знаю.

Не трону ничего. Неинтересны
мне эти вычурные погремушки.

Ученик:

О! Погремушки! Ведомо ли вам...

Пророк:

Профессор скоро ли придет?

Ученик:

Да, скоро.

Какой дикарь.

(*Уходит.*)

Пророк (медленно садится. Долгая пауза):

Свинцовая раскалена печать
и, зашипев, отпечатлелась в коже,
и, точно горн, рубец кровавый пышет,
прижавшийся к бесплодному соску.
Но каплет пламенеющее млеко
мне под ноги на всех моих путях,
и стоп моих пергаментная кожа
осыпана в пыли иссохшей кровью.

Глаза других скользят по ровным строкам,
сердца других скользят над звонким словом,
а я – утесы слов и иглы мыслей
ощупал всем моим избитым телом,
я изглодал железные просфоры,
веками скованные для меня.
Я был на той горе. Оттуда видел,
как веют рудной золотою зернью
богатства всех неисчислимых царств.
Я слышал голос, предлагавший злато,
суливший славу, власть. Но жгла мне пальцы
точившаяся из ожога кровь,
и горькою я обтирал полынью
ожженные, израненные ноги.
Я видел обгаренные колеса,
я видел дыбы душ, жаровни тела,
я чуял Бога в облаке проклятий.
Их шепотом змеиным оклубясь,
весь ошетинился он лютым гневом
и человека жег своим жезлом.
Железо тупо разрывало ткани,
как орлий клюв на печень Прометея,
кидалось яро, проникало в недра,
кромсало всё, дробило позвонки.
Но не мольбы исторглись человеком
из прикипевшего кроваво горла,
а новые безмерные проклятья
клубились дымами и застилали,
как дым от Каинова алтаря,
иные дымы – Авелевых агнцев...
Ты виноват, Иегова исступленный,
что в тяжкий бой, от века возметенный,
вступил с отвергнутой от века волей:
ты создал всё; ты мог пребыть недвижимым.
Ты жаждал самохвальных упоений, –
ты сомневался в божестве твоём.
Но в первом плеске, в первом камне мира
уже лежал весь распыленный – я,
тобой не жданный я, я – беспощадный,

я – гневный, я – сожженный, дико-жадный,
я – обвинитель твой и судия.

Не ты ли хлынул волнами потопа?

Не ты ли змей порасплодил на пашнях?

Не ты ли чумно задышал над миром?

Не ты ль гремел последнею войной?

А ныне – эти каменные стогна,
стеклом безглазым скованное небо,
машиной взнузданные водопады, –
нерасторжимый, неизбывный плен.

А мириады – кто исчислит, взвесит? –
людей, чей мозг насквозь пропитан болью,
людей, чье тело – громовые вопли,
висящие в гнилых пустотах душ.

Ты не считал задушенных поэтов,
ты не слышал истерзанных пророков,
ты не видал тех матерей, чьи рты
сосали кровь извергнутых до срока.

Но нет, ты видел, знал. Ты смел метаться,
ты смел витать над опаленным миром,
о голову его крушить скрижали,
где в камень вкован каменный закон.

Но не напрасно кровь моя точилась, –
не пустота в моем рождалась сердце:
оно круглилось пламенною чашей, –
неся в себе, ее приемлю я.

Ты ждешь алтарных звонких восклицаний,
ты фимиамов жаждешь благовонных, –
я дам тебе их, – отпусти людей.

Моею волей я наполню храмы,
я сотворю коленопреклоненья,
весь мир тебе прозвякает кадиллом,
твой облик перед миром изменю я, –
твой грех я принимаю на себя.

Как тот забытый галилейский плотник,
чья боль бесплодно затерялась в далях,
на новый крест взойду я непреклонно,
твой грех я принимаю на себя.

Я обману людей. Я их уверю,

что в злобе подлой я и стая предков
ковали козни зверские и чашу
горящих углей сыпали на мир.
И пусть проклятья все, всю боль и ярость
разверзнет мир над головой моей,
пусть девять суток на кресте вишу я,
пусть девять копий мне ребро пронизут,
пусть мне не возведут высоких храмов,
не призовут меня на литургии,
пусть имя, что ношу я, вечно будет
подобным имени Искарюта,
и новый Дант меня с проклятьем ввергнет
в девятый круг извечных отвержений, –
твой грех я принимаю на себя.
И пусть века веков в провале черном
мой труп грызут другие мертвецы, –
я за тебя снесу лихие гневны,
и лик твой снова засияет светом,
и люди припадут к тебе с молебном,
твой грех приму я, – отпусти людей.

Входит Профессор.

Профессор:

Я слышал вас. Чего хотите вы?

Пророк:

Ищу апостолов, и вы – мой Павел.

Профессор:

Но Павел – Савлом был.

Пророк:

А путь в Дамаск?

Профессор:

Послушайте, оставим эти бредни.

Ничьей нарочной волей не сомкнулась

вкруг горла человечества гаротта,

ничьею волей не сорвать ее.

Дамаск, Фавор, Грааль на Монсальвате –

лишь гулы медно прозвеневших слов,

лишь выплески невоплотимой воли.

Акт III

Лаборатория. Высокие белые стены. Справа узкое, высокое окно. Слева большой белый экран. Весы, холодильники, перегонные кубы, спирали, разные сложные аппараты. В глубине возится со стрелками и циферблатами *Ученик*.

У окна в прямолинейном кресле сидит *Профессор*. Час заката.

Профессор:

Червонная тяжелая пчела
летит домой с благоуханным грузом,
и медленное тело багровеет
на западе в сырцовых облаках.
На западе ее извечный улей
вбирает плодоносную пыльцу,
и все цветы затерянной земли
обложены суровой этой данью.
Но лишь повеют опахала тьмы,
и медленный пожалуется ветер, –
забытые взлетают порошинки,
становятся бесчисленной звездой...
И ясны мне томления созвездий
и полуночная тоска цветов:
ненужная бесплодная пыльца
в бесплодные заброшена пространства.
И новые, и новые рои
родятся для просторов омертвелых,
и будет, будет – в безвоздушных высях
увидю всех сынов моей земли...
Томление...

Ученик (приближается):

Простите, можно мне?..
Что с вами, почитаемый учитель?
Уж два часа за вспыхиваньем трубок
слежу прилежно я и убежден,
что ваша формула распада – дивно,
точнейше вычеканена. А вы
сидите отчужденно и сурово,
как будто вы не рады, что отныне
всего десятком ваших аппаратов

земля согрета и освещена.
Подумать, что провалы рудников
отныне не увидят человека,
что поплавки на гребнях водопадов
одни останутся внимать их грому,
и людям из-под куполов стеклянных
не надо выходить навстречу ветру.
В восторге я. Я упоен. А вы...
Что с вами?

Профессор:

Так, попались мне опять
стихи того забытого поэта,
исполненные смутных угаданий,
зеркальных тайн и магии камней.
Лет полтора ста уж как умер он,
а речь его звучала как живая
в моем сознании. Иль это я
к нему являлся будущей формой...
Но только снова зыблются во мне
мои давно задавленные мысли.

Ученик:

Какие мысли?

Профессор:

Подойди к окну.
Глянь в этот гул чугунный, в этот мрак.
Что видишь там на темно-ржавом небе?

Ученик:

Там тонкий купол Западных Кварталов.
Антенны. Пристань для аэронефов.
Краснеет рог родившейся луны.
И... Вот и всё.

Профессор:

О, этого довольно.
Луна, как раскаленный гневный серп,
скользит по небу медною угрозой.

Ученик:

Не понимаю я.

Профессор:

Припомни: Тигр,

Евфрат. Болотное тепло долины.
И вздыбился белокирпичный гномон
крылом нетопыриным в небеса.
И бледный маг сидит на зыбкой вышке
и ловит мертвые томленья лун...
Ты, помнится, рассказывал, что в детстве,
заплывши в море, как бы обмирал
среди двух бездн, и тихо так и остро
натягивалась и рвалась душа...
Всё человечество больно падучей,
и в нас ее разбрызгала луна,
бездушно просверкав над Вавилоном,
над вышками его обсерваторий.
Болезнь все души пропитала ядом,
ползла, дробилась в сотнях поколений
и всплески острые взметала ввысь.
Растерзанные ризы. Пепел жертвы
на головах израильских пророков.
Нерон, Калигула, и Каракалла,
и Магомет, Крестовые походы.
И пляски прокаженных городов,
и шабаши на Брокенских утесах,
и карманьола возле гильотин.
Всё – цезарей венцы, жрецов эфоды,
магистерские мантии, броня
храмовников и брюки... санкюлотов –
пропитаны духовною тоффаной.
В противоречьях пробегает мир.
И лунное застылое сиянье
обратным эхом повторилось тут
в гигантской аритмии содроганий.
Уже столетье замерли они:
из наших городов не видно неба.
Лишь здесь у нас, на много сотен метров
воздвигнутых, оно напоминает
о старых выкликах. А где-то зреет,
да, зреет все-таки безумный вихрь
предельной дрожи. Ведь ничто не гибнет,
и миллиарды тел взрастили травы

на вскормленной гниением земле, –
отравленные травы... И повторяют
свои дрожания в телах грядущих.
Об этом думал я и вот прочел
опять в стихах о зеркалах полярных,
о тусклом эхо их. Теперь – ты понял?

Ученик:

О да, учитель, понял. Только...

Профессор:

Что?

Ученик:

Нет, ничего.

Профессор:

Да говори!

Ученик:

Пожалуй...

Мне кажется, что слишком уж печально
вы смотрите на будущие дни.

Ведь если и больны падучей люди,
то это всё в прошедшем. В наше время
ни прокаженных нет, ни гильотин.
Всё равномерно, всё нормально. Годы,
десятки лет – питание, свет и воздух
озоном окружали человека
и вытравили старые следы.

Проклятый труд спокойным стал и кратким.
Нигде не встретите былых терзаний –
ни в книгах, ни в сердцах. Я твердо верю,
что мы у входа в новый Капитолий,
где вечная нам слава суждена.

О, человечество! Его дорога
стремится ввысь. Мы знаем...

Профессор:

Как ты глуп.

Да эти вот «питание и воздух»
и сохранили нам былые боли,
как в ампулах запаянных – на годы
сбережено отравное бродило.
Испорченные зерна, дав росток,

развертываются стеблем ущербным;
две-три весны, и хилые побег
бесплодно распыляют семена,
и, мертвые, они мертво и гибнут.
А мы хранили и оберегали,
жалели, не давали умереть.
Приюты и рабочие дома
заглаживали океан болезни,
как жир китовый покрывает бурю,
оберегая гибнущий корабль.
Но, мертвой зыбью продышав, тифоны
вздымаются с утроенною силой,
и новый взмыв ничем не укротим...

<1918>

ПУГАЧЕВ
ДРАМАТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА В ПЯТИ АКТАХ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

На хуторе Данилы Шелудякова.

Шелудяков, Зарубин, Мясников, Шигаев и другие.

Шелудяков:

Ну, други, дело – надо порешить.
Спокон веков на Яике живем,
А этаких стеснений не видали.
Москва – что зверь голодный: всё ей мало.
Лишь выбарахталась из смуты черной,
Сейчас на Днепр, на Дон ярмо набила,
Над шведом точно гончая нависла
И турка травит, – не передохнуть!
Да то пускай: чужие стороны,
Не наше дело, пусть себе жиреет.
А вот и Яик стал ей костью в горле.
И Яик надо проглотить
И вольное казачество его
Лишить лугов, лишить и ловель рыбных
И, вольности старинные отняв, –
Поворотить в крестьяне, на оброк.

1-й заговорщик:

Где это писано, чтоб атаманов
Наш оренбургский немец назначал?

2-й заговорщик:

Поуспокоилось тут на границе,
Киргизцев не бояться: инвалиды
По крепостям посажены везде, –
Защитники. А нас, казаков вольных,
От места отрывают, – и ступай
За день до жатвы аль за день до ловли
Куда-нибудь на турка, на поляка,
За тридевять земель. Зарубин, был ты
Там, под Бендерами?

Зарубин:

Был.

2-й заговорщик:

Сладко ль?

Зарубин:

Сгнил.

Мясников:

Что толковать? Не знаем, что ли, сами.
Глянь мне в лицо. Видал казачью вольность?
Палач московский вырвал ноздри мне,
И вольность нашу теми же щипцами
Москва повыврала.

Несколько сразу:

Тряхнем Москвой!

3-й заговорщик:

Тряхнуть Москвой? Тряхнули прошлый год,
Неладно вышло.

2-й заговорщик:

Что же, хвост поджать?

3-й заговорщик:

Не хвост поджать: казаки не собаки.
Уйти нам, братец, надо, да, – уйти.
В Туречину аль в Персию. Слыхали,
Султану как Некрасов передался?

Шелудяков:

Нам уходить нельзя. Здесь деды жили
И прадеды. Богатые места.
Нигде таких нам не достать. У турок
Становится теснее и теснее,
Некрасовцы уж волком взвыли там
И просятся обратно. А у шаха
Песок да камень. Будем ковырять
Киркою землю. Нет, остаться надо.
Ты как, Шигаев, думаешь?

Шигаев:

Остаться.

Мясников:

Да, нам остаться, а Москве – уйти.

Шигаев:

А вот послушай правильное слово.

Тряхнуть Москвою можно, – да с умом

20.XII.1919

СЦЕНА < > АКТА

Берег Волги. Ночь. Буря.

Клетка с *Пугачевым*, воинская команда, *Суворов*.

Суворов (*спрыгивая с коня*):

Команда, стой! Здесь будем ночевать.

Что там впотьмах плутать по буеракам.

Дороги здесь какие? Баба их

Клюкой вела, да лапоть потеряла...

Еще свихнемся. Эй, сержант! Ко мне.

Сержант:

Чего изволите?

Суворов:

Паромщиков.

Сержант:

Эй, идолы! Скорее к генералу.

Подходят четверо паромщиков.

1-й:

Что, батюшка?

Суворов:

Скажи, вы что за люди?

1-й:

Братаны мы. Антипьевы зовемся.

Из государственных.

Суворов:

Братаны? Врешь.

Ты бороду до брюха отрастил,

А этому лет двадцать.

1-й:

То племянник.

2-й:

Сынишка мой.

Суворов:

А... Ну так вот, ребята.

За службу вам целковый серебра.

Не я, – царица жалует.

Паромщики:

Покорно

Благодарим.

Суворов:

Теперь назад плывите.

А если кто захочет до утра

На эту сторону перебираться, –

Не смей перевозить. Всем говорите,

Что здесь Суворов с тысячью солдат,

Да пушки прямо на реку наставил,

И фитили горят. Что никого

И на версту не подпущу к причалу.

А паренек ваш... Как зовут-то?

2-й:

Павлом.

Суворов:

Вот Павел-то останется со мной.

Коль до утра всё обойдется ладно, –

Так отпущу его. А если нет,

И вы кого-нибудь перевезете

Или соврете неумело, – край!

Аркебузирую!

Паромщики:

Что сделаешь-то?

Суворов:

Смертью

Велю казнить.

2-й:

Аль провинился чем он?

Суворов:

Не провинился, а от вас в залог

Останется. Молчать! Ступайте с Богом.

Паромщики уходят.

Сержант. Поберегите паренька.
Да сухарей ему. Команду вольно.
Костров – ни-ни. Еще пожару будет, –
Погодушка... Молитесь да и спать.
А на дорогу вышли охраненье,
А по оврагу засеку срубите.
Сюда не надо никого. Злодея
До петухов сам буду сторожить.

Сержант уходит, солдаты разбредаются.

(Присаживается у клетки Пугачева, открывает сумку с провизией и снимает фляжку.)

Эх, эх, – погодушка!.. С Урала дует.
О воле воеет, о варнацкой воле.
А там в России уши наострили.
Эх, как бы звону не было в ушах...
Нехорошо, помилуй Бог.
(Пугачеву.)

Эй, брат.

Пожуй-ка, брат, сухарика с мяском.
А выпить хочешь? Пей, да, чур, не всё.

Пугачев:

Спасибо.

Суворов:

Не на чем.

Пугачев:

[Когда царица

Меня признает]¹

Суворов:

Эх, брат, что толковать. Нас двое здесь.
Когда б казаки были аль солдаты, –
А нас не проведешь.

¹ Справа на полях помета: «(Вставка: П<пугачев> благодарит С<суворов>а к<а>к бы император)».

ИМПЕРАТОР КРЭББ

Vinco, ergo sum.

Царь Бил-Ибус, – я был велик на земле,
Но как звезда небес исчезасшь ты, человек.

В. Брюсов

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Радиостанция.

Телеграфисты: *Мэри; Абрагам*, – негр; *Патрик*.

Патрик:

Записывай: «Из Гонолулу. Крэббу.
Взят опиум». – Другая: «Гватемала.
Вождь инсургентов Диспаваладеро
Согласен. Акции скупаем». – Третья:
«Мадагаскар. Голландский синдикат
Прислал агентов. Жду распоряжений». –
Еще: «Владивосток. Большевиками
Взят Красноярск». – Вот это хорошо!

Мэри:

Что хорошо?

Патрик:

А то! Весь день жужжат
Известия о Крэббовых удачах.
Весь день... Постой-ка: «Ниагара. Крэббу.
Турбины установлены». – Взгляни:
То две страны погрызлись, кровью пахнет,
А Крэббу мед: идет его селитра
Для пороха и сталь его для пушек;
То водопад взнуздает он, принудит
Его работать на себя; то купит
Дешевого испанца и подымет
Восстанье у Панамского канала,
Чтоб, наводя порядок, стать войсками

На страже океанов и сжимать
Аорту мира.

Мэри:

А большевики?
До них ему какое дело?

Патрик:

Знаешь
О Ленском золоте? – Его добыча!
А у большевиков ее не вырвать.
Вот я и рад.

Мэри:

Завистлив ты, я вижу.

Патрик:

Завистлив? Я? Чему? Тому, что Крэбб
Пьет золото, и дышит им, и смотрит?
Тому, что он всем миром завладел
И, как тот грек, что держит свод небесный,
Он поднял доллар и согбен под ним
И отойти не смеет? Есть чему
Завидовать! Я просто ненавижу.
Его победы, самому ему
Не нужные, растут из нашей муки,
Из детских костяков, что мякнут воском
От голода, из легких, что насквозь
Изъедены туберкулезной гнилью,
Из тех могил на Марне и Евфрате,
Из газов ядовитых, из матрацов,
Где продаются женщины, из язв
Проказных, из тупого сна, который
Глушит надорванного над станком!
О, все несчастья мира сопряглись,
Чтоб Крэббу стать великолепным тронем, –
И хочешь ты...

Мэри:

А я не так смотрю.
Я преклоняюсь пред его успехом.
Ведь Крэбб лишь самому себе обязан,
Уму, терпенью своему и воле.
Нет, он хорош. Он так силен, так властен!

Патрик:

А ты его еще и любишь. Да?

Мэри:

Ну да, – люблю! Я не стыжусь признаться.

Патрик:

Признаться – мне. А ну, – ему попробуй.

Молчишь?.. Записывай: «Каптоун. Крэббу.

Великий африканский путь рассчитан:

Каир – Каптоун. Выгоды огромны.

С докладом выезжаю». – Абрагам,

До твоего материка добрались?

21.XI.1922

ВЕЛИКИЙ МАЭСТРО

Альмагро. Шахматный чемпион.

Бразье. Его соперник; лейтенант французского флота.

Черубина. Венецианская дворянка; предмет их спора.

Лидия. Ее подруга.

Дамы, кавалеры, слуги, пираты, герольды, дож, свита, стража и пр.

Место действия: Венеция, второй половины XVIII века.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Казино. На первом плане с одной стороны столики для шахмат, домино, костей, с другой – рулетка; сзади место для танцев. Темные ложи. На хорах музыка. Толпа игроков и танцоров. Дамы в масках.

Альмагро и Кавалер играют в шахматы.

Кавалер:

Увы! Сдаюсь!

Альмагро:

Немного поздно, сударь:

Вам следовало сдать в тот же миг,

Как я сюда мою ладью подвинул.

Кавалер:

Маэстро, я, конечно, заслужил

Улыбку вашу, – но не тем, что медлил:

Я не упорствовал в борьбе, я длил

Сосредоточенную радость видеть,

Как мускулы великого бойца

Играли здесь, среди фигур точеных!

О да, я не видал до сей поры

Нигде такой блистательной игры!

2-й Кавалер (*подходя*):

Кто выиграл?

1-й Кавалер:

Вопрос, положим, праздный.

Конечно, – он, Альмагро!

2-й Кавалер:

Праздний? – Нет.

Его б не задал я на Стадионе

Или в покоях самого маэстро.

Но здесь ведь – казино, здесь царство счастья,

Здесь шарик скачет по зубцам рулетки,

Незрячую Фортуну пронося.

Альмагро:

Мы в шахматы играли.

2-й Кавалер:

О, – я знаю.

Но, слышите, музыка поет с хор,

Но, видите, блистает грудь меж кружев,

Но, чувствуете, благоухает амбра, –

И это, вашу мысль обезоружив,

Не бросит ли вас под ноги удаче?

Альмагро:

Вы видите, что нет.

2-й Кавалер:

Всегда ли так?

Альмагро:

Поверьте мне: не музыке, не амбре,

Не смутным чувствам, возбужденным ими,

Влиять на мысль, на подлинную мысль.

2-й Кавалер:

Тогда позвольте вам задать коварный

Вопрос: зачем доселе никогда

Вы не являлись в этом пестром зале?

Альмагро:

Ответ мой прост: я не люблю музыки, –

Искусство для толпы; я не люблю

Открытой общим взорам груди; я

Не рад за человека, видя лица,

Меняющие цвет, подобно коже

Хамелеона, если выпадает

Пятерка иль девятка.

2-й Кавалер:

А сегодня?

Альмагро:

Сегодня есть особые причины...
Но, кажется, мы утомили спором
Синьора Тости: он молчит угрюмо.

1-й Кавалер:

Мне думается, – ваш противник прав.
Уменье есть уменье, сила – сила.
Но равенство двух сил?

Альмагро:

Дает ничью.

1-й Кавалер:

Тогда макао было бы скучнейшей,
Безвреднейшей игрой, игрой для вдов,
Что получают пенсию от дожа...
Когда-нибудь, почтеннейший маэстро,
Вы встретите достойного борца, –
Тогда весы склонит пушинка счастья.

Альмагро:

Не понимаю

[2-й Кавалер:

Сядьте-ка в макао.]

СЦЕНА ВТОРАЯ

Тот же зал.

Черубина и Лидия, в масках.

Черубина:

Письмо он получил, я это знаю.
Но согласится ль он прийти сюда?

Лидия:

Зачем ты не назначила ему
Свиданье на Пьяцетте?

Черубина:

Разве я
Девчонка, продающая цветы?
Он должен знать, что приглашает дама.

Лидия:

А также то, как и вести себя:
Ведь и такой сухарь не знать не может
Обычаев ночного казино.

Черубина:

Ну да: и то! Что за охота, право,
Румянами всем напоказ румянить
И без того пурпурные соски!

Лидия:

Другого нет сравненья?.. Станный вкус:
Влюбиться в шахматиста!

Черубина:

Ах, какая
Ты глупая! Ты видела б его
Там на турнире!.. Уголь тверд и черен,
Но разожги – и будет он пылать
Стократ сильнее и дольше, чем любое
Размашистое дерево... Он – уголь.

Лидия:

Ты говоришь сегодня как поэт.

Черубина:

А ты шипишь, как кошка над печенкой.

Лидия:

Ах, – так? Тогда ищи его одна.

(Уходит.)

Черубина:

Вот подлая! Как выпудрит всю пудру
Чужую на шиньон, – конец: ей слово
Нельзя сказать... Как будто он. Да, он!

Проходит Альмагро.

Альмагро!

Альмагро (*обсрачивается и подходит*):

Чем могу служить, синьора?

Черубина:

Ведь это я...

Альмагро:

«Фиалковая маска»?

Черубина:

Да...

Альмагро:

Чем же я могу быть вам полезен?

Черубина:

Я всё люблю!..

Альмагро:

Синьора... Я... не знаю...

Черубина (*звонко хохоча*):

Вам – шах! А ну, маэстро, защищайтесь!

Вам нужно время, чтобы ход обдумать!

Тогда идemте, сядем в этой ложе;

Я терпеливо буду ожидать...

Идемте, – ну! Какой же вы потешный!

Альмагро:

Снимите маску.

Черубина:

Это – слабый ход:

Он только подкрепит мою атаку.

Вот.

(Приподымает маску.)

<1922–1924>

КАМЕННЫЙ ГУСЬ (СКОНАПЕЛЬ ИСТУАР)

Король Нью XXXIV
Министр Албдпрю
Профессор Синайской медицины Агасферер
Доктор Моро
Поэт революции Макс-Емельян Пугаченко-Непрошин
Быкочеловек
Академик Цвейштейн
Доктор Кабанес
Архиепископ Крыжопóвич
Бывший великий писатель Лев Николаевич
Будущий великий писатель Лев Николаевич
Данна Жарк, подруга Непрошина
Рип-Ван-Уинкль
Начальник полиции Ньюхало
Трагик Громобоев
Мистик Шнитцель
Женщины
Студенты
Стража
Предки
Депутаты и пр.

Министр (*перед собственным портретом*):

Да... Да... И я когда-то был таким!
С иголки! Весь новенький! Глаза
Те самые, что увидали свет,
И уши те, что слышали, бывало,
Мамашин смех, и голос латиниста,
И робкое признание первой Зои!
И всё внутри – фамильное, свое.
Ну, а теперь! Стыжусь! Ей-ей, стыжусь.
Мой левый глаз у антилопы взят,
Глаз правый – у того детоубийцы,
Что был казнен сто двадцать лет назад.
Собачья почка вшиты. А желудок
У страуса заимствован: прочнее.

А сердце... уж и не припомню, право.
Семнадцатую челюсть износил.
Не человек, а сборная селянка!
Срам! Двести девяносто девять лет!
Омоложеньем это называют!
«Вы, говорят, для родины нужны!»
Нашли себе верблюда! Трехсотлетний
Весною будут юбилей справлять!
Позорище! Я не позволю! Я...
А кто такое «я»? Мундир да званье
Премьер-министра? А внутри – архив
Чужого мяса? Я двенадцать пенсий
Уж выслужил и больше не хочу.
Довольно... Доктор!

Входит домашний *доктор*.

Доктор:

Ваша светлость!

Министр:

Живо!

Шприц и синильной кислоты.

Доктор:

Э... гм...

Министр:

Что?

Доктор:

Э...

Министр:

Вы – Добчинский? Довольно. Марш.

Доктор (*громко думает, уходя*):

Опять завел истерику старик!

Недели на две будет хлопотни.

Не служба, – каторга!

Министр:

Пока он ходит, –

Составлю завещанье.

(*Садится к столу.*)

В кабинет врывается *молодая женщина*.

Молодая женщина:

Ваша светлость!

Министр:

Кто вас впустил!

Молодая женщина:

Я ворвалась сама.

Простите. У меня такое горе!

Я к вам пришла о милости просить.

Министр:

О милости... да... да... Кто вас впустил?

Молодая женщина:

Никто. Я обманула адъютанта.

Он не хотел пустить.

Министр:

Как? Обманули?

Молодая женщина:

Но послушайте же меня, молю!

Министр:

Сегодня не приемный день, как будто.

Молодая женщина:

Но каждая минута дорога!

Мой муж – он умер. Умер!

Министр:

Вот счастливец!

Молодая женщина:

Он умер двадцати трех лет!

Министр:

Завидно.

Молодая женщина:

Мы так нуждались. Он не спал ночей,

Работал, но ему не удавалось...

Дороги не было... Он всё слабел,

Всё кашлял и бледнел, и прошлой ночью

Он умер. Даже не было свечи,

Чтоб я могла в последний раз увидеть

Его предсмертный взгляд... Я побежала

В комиссию по воскрешеньям. Там

Заполнила анкету и молила,
Чтобы вернули жизнь ему. Отказ.
И мне сказали добрые соседи,
Чтоб к вам пошла: вы можете велеть.
О, ваша светлость! Окажите милость.
Я так его любила! Он совсем –
Совсем был мальчик! Бедный мой ребенок!

Министр:

Он по какому ведомству служил?

Молодая женщина:

Он не служил. Он был поэт.

Министр:

Поэт?

Да, да, я помню. Был Гомер, Гораций,
Еще как будто Пушкин был... нет: Пашкин,
Его еще народным называли...
Так что же?

Молодая женщина:

Воскресить его велите.

Министр:

Поэта?

Молодая женщина:

Мужа моего.

Министр:

Поэта?

Чем государству он полезен был?

Молодая женщина:

Не знаю. Я его любила.

Министр:

Мало-с!

Любимых мы не можем воскрешать.
Бюджет не выдержал бы. Много вас.
Мы воскрешаем лишь весьма полезных.
Военных, миссионеров, инженеров, –
И вообще культурный авангард.

Молодая женщина:

Я умоляю вас! Я на колени
Пред вами стану!

Министр:

Поза безразлична
Перед лицом законоположенья.

Молодая женщина:

Так, значит, – нет?

Министр:

Нет!

Молодая женщина:

Будь же проклят, камень!
Чтоб черви завелись в твоих подмышках!
На ваше государство я плюю!

Министр:

Эй, адъютант!

Входит адъютант.

Арестовать ее
За антигосударственные мысли.
Публичной экзекуции подвернуть.
Статья восьмая, примечанье третье,
Раздел сто тысяч девяносто семь.

Адъютант уводит молодую женщину.

Бестактная какая! До сих пор
Не поняла значенья государства,
Священный принцип: «всем, но никому», –
За некоторым, правда, исключением...
Эй, доктор, доктор!

Входит *доктр.*

Принесли что надо?

Доктор:

Так точно, ваша светлость.

Министр:

Положите
На стол и можете идти. И помнить:
Не воскрешать меня. Иначе – худо
Придется вам. Ступайте.

Доктор (*думает громко, уходя*):

Черта с два!

Нельзя не воскрешать. Возни-то будет!

Минстр:

Еще одно последнее движенье,

И деятельность кончена моя.

(Поет.)

Ты пошла, моя коровушка, домой.

(Впрыскивает себе яд и умирает.)

Входит *доктор* и санитары.

<1924>

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПЕЛЕК

СКАЗКА

В синем море возле дна
Вода очень холодна
И темна.
Рыбки там спуют беззвучно.
Капелькам изрядно скучно:
Что там делать в глубине
На таком унылом дне?
Стая капель молодых
Вздумала из мест родных
Выехать на рыбью дачу,
Наудачу,
Всё равно:
Лишь бы не было темно.
Капли долго не возились,
В рыбий хвостик все вцепились
И – айда:
«До свидания, родимая вода!»
Рыбка хвостиком – круть,
Рыбка хвостиком – верть,
Капелькам – такая жуть,
Просто смерть!
Рыбка смелою была,
Прямо кверху поплыла.
Рыбка хвостиком – круть,
Рыбка хвостиком – верть,
Водная светлеет муть,
Голубеет неба твердь.
Солнце, блеск, голубизна!
За волной бежит волна,
Миллионы капель юрких
Между волн играют в жмурки.
Вот веселая игра!
Наши капли закричали тут: «Ура!»

И – давай нырять, играть,
Кувыркаться и плескаться!
Тотчас луч
Их всех заметил,
Был он жгуч,
Игрив и светел;
Шепчет: «Мы ведь с вами пара».
Капли вдруг
Стали легкими как пух,
Превратились в струйку пара,
Удивились и друг другу говорят:
«Очень странно: мы летим, все летят!»
Вот история! Вот штука!
Значит, – вечная разлука
С милой синею волной?
Ой-ой-ой!
Страшно капелькам и тяжко.
Видят: облачко висит
Вроде белого барашка.
Стайка вся к нему летит:
Ведь оно из пара тоже,
Как они,
Значит, всё же
Капли будут не одни.
Капли с облачком летали
И глядеть не успевали:
Сверху вид – одна краса,
Море, горы и леса,
Реки, города, озера, –
Прямо лакомство для взора!
Каплям – хочется повыше,
Ну а выше – хоть и тише,
Но зато лихой мороз
Больно щиплет их за нос.
Стали капельки снежинками,
Стали хрупкими пушинками.
Тут их ветер подхватил
И на землю опустил.
Каждая капелька думает: «Где ж моя круглая мордочка?»

Была я – капелька, а стала – звездочка».
Что же, надо отдохнуть,
На полгодика уснуть.
Хорошо усталой спинке
В мягкой снеговой перинке.
Быстро день за днем проходит,
Солнце снова луч наводит,
Быстро тает в поле снег,
Начинает шумный бег!
Наши капельки зевнули,
Потянулись и взглянули:
Возле них ручей играет
И принять их предлагает.
Капли тотчас же решились
И с ручьем гулять пустились.
Скоро в пенистый поток
Превратился ручеек,
А поток тот влился в речку,
Прямо в речку-быстротечку,
И поет в реке волна:
«Хорошо! Пришла весна!»
Каплям радостно, тревожно,
И они неосторожно
Резкий сделали прыжок
На отлогий бережок.
Там земля их всех впитала,
Между камешков держала.
Этот скучный, темный плен
Долго был без перемен.
Но сквозь землю понемногу
К капелькам нашел дорогу
Тонкий нежный корешок
И напиться ими смог.
Капли в корешке исчезли,
Но тотчас же вверх полезли,
Долго мучились, пока
Добрались до цветка.
И от солнечного зноя
Струйкой пара став опять,

Снова в небо голубое
Улетели погулять!
Жизнь теперь пошла привольно.
Очень капельки довольны:
То вдруг к облачку прильнут,
То дождейкой упадут,
То росинкой свежей лягут
К утру в чашечку цветка,
А потом их луч-бродяга
Унесет под облака!
Раз дождливою порою
Им опять пришлось с рекою
Плыть куда-то по камням,
Что торчали здесь и там.
«Ах, какие тут дороги,
Не дороги, а пороги», –
Капли думали, ворча,
И подмоги
Ожидали от луча.
Но увы! Не тут-то было:
Перед ними пасть раскрыла
Неизвестная кишка
И всосала, проглотила...
Вот тоска!
И поднявшись вдоль кишки
С целой четвертью реки,
Капли все в котел попали.
Ничего не понимали,
Погрузившись в эту тьму:
Что к чему?
Под котел поддали жара,
Капли стали тучей пара,
Рвутся, – выхода им нет,
Не пробраться им на свет.
«Вы, дружок, не забывайтесь!» –
«Вы, соседка, не ругайтесь!» –
«Не толкайтесь!» –
«Караул!»
А повсюду свист и гул,

Давка, драка, суматоха, –
Словом, очень-очень плохо.
«Погибаем! Обожглись!»
Капли дружно принялись
Удирать по грубым
Трубам.
Вдруг заслонка. «Налегай!»
Навалились все на край,
Он поддался с резким треском!
Все на волю! Ярким блеском
Капельки ослеплены:
Перед ними ширь волны,
Море, милое, родное,
Золотое, голубое,
И плывет меж светлых вод
Пароход!
Капельки – в родную воду,
На свободу,
В глубину
Поплыли к родному дну!
Отдыхают и гордятся:
«Слушайте, сестрицы, братцы:
Где мы были! Что видали! Чудеса!» –
И болтали три часа...
На днях сообщили «Известия»,
Что тысяча капель собирается в путешествие!
<1924–1925>

МЕСТЬ КАЛИОСТРО

Сцена представляет собою уголок за трельяжем в зале Калиострова дворца.
Доносится музыка. *Калиостро* смотрит сквозь ширмы в зал.

Калиостро:

Музыка два часа гремит,
И вот, отдавшись менуэту,
Княжна Елена по паркету
С арапом два часа скользит.
Лилейну шейку наклоня
И пальчиками свой роброн
С лукавством приподымая,
К арапу ластится. А он,
На монстра некого похожий,
Своей наваксенною рожей
Ей ухмыляется, пыхтит...
О-о! Непереносимый вид.
А я, мудрец, познавший книги
И тайны древние собрав,
Любови тягостной вериги
Влачу и не имею прав
Ни ручку ей пожать воздушну,
Ни к башмачку ее припасть...
О, как пребыть мне равнодушно,
Когда сию я вижу часть,
Что негр ее душой владеет
И нежну ладошку ее
Своею дланию лелеет,
И страстна Хлоя не умеет
Сердечко уберечь свое...

Впархивает княжна Елена. Следом за нею арап *Ибрагим*
в мундире гвардейского офицера.

Ибрагим:

Сюда, любезная княжна.
Здесь, в тишине уединенной,
Уханьем розы напоенной,
Минута сладка суждена.

Княжна:

О, сколь приятно здесь. А всё же
На ваших диких островах
Стократ приятнее...

(Замечает Калиостро.)

Мой Боже,

Сей человек внушает страх.
Как смотрит он. Какие взгляды
Он мечет...

Калиостро:

О, княжна, я рад
Вас не пугать. Пускай услады
Вас легким хором окружают.
Пускай, исполнена прохлады,
Речь Ибрагима зажурчит
Ручьем текучим. Пусть наяды
Хрустальный смех вас упоит.
А я – я ухожу: там гости
Меня зовут на краткий миг.

(В сторону.)

Черт побери! Себе от злости
Готов я откусить язык.

(Делая вид, что удаляется, прячется

в складках занавесей.)

Княжна:

Убрался сей волшебник старый.
О, Ибрагим, я так робка.
Я всюду чую злобны чары.
Его костлявая рука
Меня преследует незримо,
И я укрыться не вольна.

Ибрагим:

О, под защитой Ибрагима
Вы в безопасности, княжна.

Княжна:

Ах, ваша мощная ладонь...

Ибрагим *(обнимая княжну)*:

Не правда ли, она пылает.

Княжна:

О, друг, не тронь меня, не тронь;
В твоих объятьях сердце тает,
И некий сладостный огонь
Его любовно пронизает.

Ибрагим:

Вот и чудесно.
(Целует ее.)

Калиостро:

Асмодей!
Они целуются. Злодей!
Нет. Должно мне ее избавить
От козней негра и направить
Ее любовь в пристойный путь.
Но как влиянье покачнуть
Широкогубого злодея?
Приди на помощь, колдовство.
С тобою сокрушить его
Незамедлительно сумею.
Пусть нежная душа княжны
Переселится в негра тело.
Она узнает, как гнусны
И плоть, и страсть его, и дело.
И что с араповой душой
Соделать мне? Куда я дену
Сей дух нелепый и глухой?
А! Вот. Я совершу подмену.
Пусть поменяются они
Своими душами на время.
(Делает пассы и читает заклинания.)
Трулу крашким барогани
Верьяматхобен мулу тремя
Паракомулу игадзушу
Иккимугалу зик динджир
Твою переселяю душу,
Твою... Гарбениум кабир.
Готово.
(Исчезает.)

Княжна и Ибрагим, кружившиеся во время паводков, как наглотавшиеся вишен из-под наливки птицы, падают на отдаленные стулья и погружаются в сон.

Входят друзья Ибрагима – 1-й и 2-й.

1-й:

Он, конечно, здесь,
В сетях пленительной любви
И пыжится.

2-й:

Пусть кинет спесь,
Присущу африканской крови,
Да сядем в ломбер. Ибрагим!
(*Расталкивает его.*)
Пойдем сыграем.

Ибрагим:

Ах, мой боже!
Продерзкий! Да на что похоже
Всё поведенье ваше! Ах!

1-й:

Да не ломайся, что за чванство!

Ибрагим:

Непереносное буянство!
Но что я зрю! О холодный страх!
Мои в чем ноги?

2-й:

В чем? В штанах.

Ибрагим:

О небеса! Я упадаю
В беспамятстве. Воды, воды!

1-й:

Пора из радостного раю
Его исторгнуть. Но куды?

2-й:

Ведем его. Впервые вижу,
Что наш веселый Ибрагим,
Указка пышному Парижу,
Штанам дивуется своим.
Ну что ж. И снять их можно, право.
(*Уводят Ибрагима.*)

Ибрагим (*исчезая*):

О, где моя девичья слава!

Молчанье. Входит мать княжны Елены, *княгиня Непарнокопытная*.

Княгиня (*заметив дочь, будит ее поцелуем*):

Ты здесь, Еленочка, одна.

Устала, душенька, наверно.

Княжна:

Отыди, гробовая скверна!

Сегодня пост. Иль ты пьяна,

Что лезешь с ветхим поцелуем?

Иной я страстию волнуем:

Где ты, любезная княжна?

Княгиня:

О, дочь!

Княжна:

Я – дочь? Сие ужасно,

Чтобы гвардейский капитан

Так поносим был. Иль я пьян?

Уйди! Тебе здесь быть опасно.

Княгиня:

Да что с тобою, дочь моя?

Княжна:

Уйди! А что-то сухо в глотке.

Пришли сюда графинчик водки

Да пирога.

Княгиня:

Мешаюсь я.

Князь, князь!

Входит князь *Непарнокопытный*.

Князь:

Что здесь за суматоха?

Княгиня:

Елена повредилась.

Князь:

Что?

Княжна (*вытаскивая у князя из жилетного кармана табакерку*):

Да, табачку нюхнуть неплохо.

Князь:

Закрой, чтоб не видал никто.

Княгиня загораживает дочь фижмами.

Пошлет же бог такое чудо...

Скорей ведем ее отсюда.

Княжна:

О, Господи, на мне роброн!

Я драться буду! Страшный сон!

Куда моя девалась шпага?

Нет, изменяет мне отвага.

Князь:

Уймись, Елена!

Княжна:

Семь чертей

И восемь ведьм вам в зубы!

Княгиня:

Дочка,

Слова какие! Ей-же-ей,

Мешаюсь я.

Княжна:

Молчи ты, квочка!

Спасите! Ой! Ко мне, друзья!

Князь:

Тащи ее, жена моя.

Утаскивают княжну. Появляется *Калиостро*.

Калиостро:

Всё рухнуло: душа Елены,

Что в черном теле пленена,

Плодов не узрит перемены.

В руках товарищей, пьяна,

Она безумствует, страдает,

И Ибрагим ей вдвое мил,

И южноафриканский пыл
Ее любовь вдвойне вздувает.
Ах я дурак! Понять не мог,
Что тело нежное Елены,
Арапским духом напоенно,
Удвоит сладострастья ток.
Ах я дурак!

Вбегает *Ибрагим*, весь в слезах.

Ибрагим:

Спасите: там
Они в меня коньяк вливают,
Табачным дымом окуряют.
Что если разгласится срам!

Вбегает *княжна*.

Княжна:

С поносной не мирюсь судьбою.
Они меня, как дурака,
Святой, но трезвою водою
Опрыскивали с уголька.

Вбегают *князь и княгиня*.

Князь:

Она опять сюда сбежала,
Ужели прежнего ей мало!

Княгиня (*замечая Калиостро*):

О, добродетельный Жозеф,
Вы – маг, блистательный и тонкий,
Небесный отвратите гнев
От сей свихнувшейся девчонки!

Вбегают *друзья Ибрагима*.

1-й:

Он здесь! Держи его, хватай!

2-й:

Черт! Он кусается! Ай! Ай!

Ибрагим:

Неопытну спасите деву!

1-й:

О, граф, Жозеф, не дайте гневу
Небесному его пожрать!

Княгиня:

Исполните! Вас просит мать!

Калиостро:

Согласен. Но одно условие:
Елена с нежною любовью
Облобызает пусть меня, –
Тогда их расколдую я.

Ибрагим:

Согласна!

(Кидается на шею Калиостро и целует его.)

Калиостро:

Отвяжись, арап!

(Подходит к княжне.)

Княжна, ваш преданнейший раб,
Не возмущаясь, не ревнуя,
Покорно просит поцелуя.

Княжна:

Отыди, мерзкий шарлатан!
Чтобы гвардейский капитан
С женщиной поцелуи тратил!

Калиостро:

Нет, видно, я совсем уж спятил
От буйных треволнений сих.
Расколдовать их нужно ране.
(Делает пассы.)

Лулувикос гарбем лабих
Лотопрем эманаско хани.
Готово.

Княжна:

Ах!

(Целует Калиостро.)

Ибрагим:

О, сколь приятно:

Моя душа пришла обратно.

Калиостро:

Ну, князь, уж коль на то пошло,
Елену выдать замуж надо.

Ибрагим (*устремляясь к княжне*):

Моя небесная услада!

Княжна:

Так нас несчастье сопрягло.

Князь (*разводя их*):

Еще подумать надо.

Калиостро:

Бросьте,

Чего там думать! Поскорей
Вы повенчайте сих детей,
Да и меня зовите в гости.

Князь:

И то резон.

(*Благословляет Елену и Ибрагима.*)

Калиостро:

Теперь, друзья,

Вас всех благословляю я.

(*Поет.*)

Моя любовь, Елена,
Безмерно велика:
Вас с негром съединила
Влюбленного рука.

Князь (*поет*):

Что ж, если всё прилично,
Доволен и отец.
Идите в церковь, дети,
Принять святой венец.
Да будет вам судьбина,
Как нежный пух, легка:
Ведь вас соединила
Влюбленного рука.

Княгиня (*поет*):

О, капитан, храните

Сокровище мое,
Она хоть своенравна, –
Лелейте всё ж ее.
Поранила любовью
Вас тетива стрелка,
И к браку привела вас
Влюбленного рука.

Друзья (*поют*):

Оставлен пунш горячий,
Забит зеленый стол,
И капитан гвардейский
Благой приют нашел.
Так поцелуй, товарищ,
Уста нежней цветка:
Ведь вас соединила
Влюбленного рука.

Ибрагим, Княжна (*поют*):

Нам розами Купидо
Устлал тернистый путь,
Уста он свел с устами
И с нежной грудью грудь.
И наша страсть, волнуясь,
Как море широка:
Ведь нас соединила
Влюбленного рука.

Все (*поют*):

О счастье, о радость,
О неги, о покой!
К вам (к нам) Гимен сладкогласный
Привел восторгов рой.
Так радуемся ж вместе:
Спокойна и легка,
Вас, дети (нас, други), съединила
Влюбленного рука.

*Лето 1920
Одесса*

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

ПОРУЧИК МЕРТВЕЦОВ

КН

7	Столоначальники – шажком проворным
10	И вот прошли. И опустела площадь,
22	Пал в первой схватке юности и мира.
38	Пятнадцать лет прошло, как дней пятнадцать.
<i>вместо 41–42</i>	На службе там дремал он, а ночами
<i>вместо 63–64</i>	Вот вышел он; опасливо взглянул
69	Пришел домой. Сглotal холодный суп
79	До мозолей был уязвлен поручик:
86	А поздней ночью он сидел, склонясь
205	Вздыхали пушки. Смело засвистали
215	Расстрелянных, и щуплого жиденка.
222	Приехал Мертвецов. «Готов?» – «Еще бы». –

Пл

7, 10, 22, 38, 41–42, 63–64, 69, 86, 205	<i>как в КН</i>
151	Вослед он: «Много вас таких найдется
212	Через четыре трупа перепрыгнув,

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ

Пл

<Новый Год>¹

1–71	<i>отсутствуют</i> ²
78	В очередном досадном страхе
83	Врагов незримых и лукавых

¹ Заглавия главок приводятся в угловых скобках для удобства; в *Пл* главки отделены друг от друга звездочками, каждая начинается с новой полосы.

² Ст. 27–50 перенесены в следующую главку.

90 И по хронометру считая
 101 На повороте обогнав
 105 В смертельной замерев тоске,
 107–110 Комок насаленной подушки,
 И рыцари ночной *кукушки*
 Встречали «роковой исход»
 Отходной утренних икот.
 111–114 *отсутствуют*

<Девятое января>

последовательность строк: 115–120, 27–50, 121–153

30 Бьется он.
 47–49 Скоро-скоро
 Обернется
 В треск затвора
 121 Шли бесконечным строгим строем,
 129–130 Где серою шеренгой стали
 На всё готовые полки!
 136 Взыграл рожок. Как бы стена
 141 Глаза раскрыты, зубы сжаты,
 149 Свистали сталью палаши...

<Четвертое февраля>

198 Как бы молясь, и разом рушит наземь

<Мукден>

233–262 *отсутствуют*

<Цусима>

271–273 *отсутствуют*
вместо 274–275 Пусто море, как морская карта,
 279 И в плутонгах, кочегарках, трюмах
 282 Черным крепом, гробовым сигналом.
 290 Точно крот, помутившийся мозг.

- 292 Прозвучали прощанья валторн, –
 304 Два вала вскинулись у водорезов,
 306 И, задрожав до киля, корабли
 309 Подрезаны крыла пироксилина, –
 313 Недосыгаемы для канонады,
 316 И с этой броненосной грани
 318–319 Валяются огненные длани,
 Венчая беззащитный флот.
 325 Таких боев не суждено!
между 329 и 330 Рушится металлический лязг;
 Эхом своим задожнулся лязг;
 332–333 А на других вся брöня в ключьях,
 Крен, течь, расплющены рули,
 336–345 *отсутствуют*
 353 И в крупитчатый лик оплеухой хлестнуло:
 «Банзай!»

<Броненосец «Потемкин»>

- 354–371 *отсутствуют*
 390 Не может дать искру и взрывом
 398 Просверленный сквозь спазму злобы голос,
 400 «Что?! Бунт?! Прекрасный борщ за борт? Мерзавцы!
 403 Десятый, сотый ринулись направо.
 412 Едва не плача, выкликает: «Братцы!
 414 В руках у офицера улыбнулся
 417–423 *отсутствуют*

<Октябрь>

- 425 Электричества нет и газет нет.
 440 А по звонким проспектам звенят казаки.
 442 Оттого напрягает бешеный бег
 456–597 *отсутствуют*

<Ноябрь>

- 610 И возникает над бесплотным телом
 619 Должны мы повторить свои проклятья

623 Клянемся двинуться за землю и за волю!
629 И толпу за собою уводят
633–634 И над панцирным флотом
Гневный сигнал взвит:

<Декабрь>¹

637–668, 705–745 *отсутствуют*
752 Стыдно вышел прокурор,
754 Стал, как будто бы, палач,
761–762 Ставят... ставят на скамью,
Прячут голову в скуфью,

Горнорабочий. 1925. № 44–45, 31 дек.

424–432 Кто это ходит и гасит свет?
Отчего огрубела бумага газет?
Отчего не идут на юг поезда?
Отчего поезда не идут никуда?
Отчего телеграмму послать нельзя?
Отчего заводы гудят, грозят?
Отчего не сверкают окна аптек?
Отчего с револьвером пробежал человек?

Оттого, что Россия просто ушла,
434 Ушел фармацевт, и ушел кочегар,
442 Оттого напрягает бешеный бег
вместо 448–455 Хочешь вернуться целым, –
Назад!
Казак!
Поздно:
Выстрел литым прицелом
Лопается морозно.
456–461 *отсутствуют*
471–472 Лом грянул в дверь, а звук отдался гулом пушки,
И в быстром холоде хрустальный дрогнул свет,
518–541 *отсутствуют*

¹ Ст. 746–768 оформлены как отдельная глава.

549 В горн неподкупных побед!
552 Если погаснет свет,
554 Если, сомкнувшись в ряд,
562–597 *отсутствуют*

Литературная газета. 1929. № 12, 8 июля

167 С развратной ранкой сквозь жирок под горлом.
189 *отсутствует*
198 Молитвенно, и разом рушит наземь
202 Взиваются с домов, с крестов, с деревьев, –
213 Уже позатынуло мостовую,

Звезда. 1930. № 8

518–519 Губы сжаты, нахмурена бровь,
И в висках опрокинулась кровь,
525–526 Порошком неживым динамит,
И гремучего студня комок
529–531 Трубка желтенького стекла,
Чтобы в миг огневой, пред концом
Хрупко хрустнуть под тяжким свинцом...
538 Не проямлив ни слова в ответ,
540 И оттиснет газетный лист:

Автограф 2, л. 118; текст перечеркнут

Посвящение

Друг! Я поэму написал,
Довольно странную поэму:
Где он, технический закал,
Уменье вышлифовать тему?
Сто раз обдуманная грань?
Их нет – какие-то лоскутья...
Должно быть, обречен хлебнуть я
За них порядочную брань.
Но ты – поймешь. С тобою вместе
Мы пережили пятый год,

Год страха, ярости и мести,
Восторгов, болей, непогод.
От Января и до Мукдена
Через Цусиму к Декабрю,
Всеобщей ненависти пена
Грозила бывшему царю.
И клочья этой пены едкой,
Под резким ветром с высоты,
Ложились резкою заметкой
На юношеские листы.
Да, в них огромные пробелы;
Неверно то, иного нет,
Но человек я очень смелый
И кроме этого – поэт.
И ныне из тетрадки сонной
Я вынимаю *года вкус*
И этот субъективный груз
Переплавляю в стих смятенный.
О, я сумел бы, может быть,
И для чего-нибудь иного
Точеное из кости слово
Дублетом в угол положить!
А здесь, – да будет мне награда
[В неверной смене пестрых карт...]
В намеке, бьющем из пращи...
А если «точных данных» надо –
[О них поведает истпарт!]
Их у историка сыщи!

ПИРОТЕХНИК

Пл

Отсутствуют 3 эпиграфа, предпосланных поэме в целом, эпиграфы из В. Гюго к гл. VI и из Брийя-Саварена к гл. XIX. В конце ремарки к гл. XVI добавлена фраза: «Он решается на безумный исторический акт: бросает бомбу в ресторан».

- 17 На текущем счету... впрочем, это высокая тайна:
 28 Что сегодня иль завтра ударят огнем в небосклон.
 77 Дом – весь в пухах и буфах. Жена до того сухопара,
 79 Он любовников знает: корректен, но сух, как Сахара,
 88 На три года отсрочить – другого искусника нет...
 104 Был бы герб у него, и в гербе – гуттаперчевый мяч.
 106 На все руки перчаткой, крышкой на все номера.
после 160, ремарка Аваланш идет посмотреть на носителя иной славы.
 163 И порою на небе мелькнут голубые лагуны,
 173–175 И у страшной машины, такую неспешной развалкой,
 Задевая полою веревочный липкий барьер,
 В сюртуке и цилиндре, в штанах непролаженных, с палкой,
 177 На обвислых щеках неопрятной штриховкой бородка,
 251–252 И над этою скверной – божественный вопль Марсельезы!
 О, belle France!.. О, рабыня!.. Целующая кандалы!..

гл. IX, заглавие Морг

- 425 Подсушить хорошо бы! Всё липнет, сыреет и киснет.
 460 Без конца, монотонно, как дождь, как журчанье дождя.
 487 И в изгибе карниза уродливо сломленный профиль
 504 И фантазиям сыплет цианистой соли на хвост!

гл. XVII–XVIII отсутствуют

641–644 отсутствуют

- между 648 и 649* Я – что я? Одиночка. Больной и затравленный нищий.
 Что моя философия? Бормот невнятный, арго.
 Но иное звучало вам слово, и на пепелище
 Тюильри – подымалась дубина Рауля Риго.

Что, – шатнуло? Конечно: за вас молодцы-генералы.
 Сам Гастон Галифе. Нерушимость крестьянских парцелл.
 Но заводы – растут. Созревают грядущие шквалы.
 Миллионы восстанут и мир ваш возьмут на прицел.

- 701 И, вздохнув удивленно и россыпью брызнув зеленой,
 703 И на плавной дуге бураков голубые баллоны,

ИС

Редакция Пл. Отсутствуют эпиграфы, ремарки, гл. II, III, V, VII, VIII, XII–XIV, XVI–XVIII, XX, XXI.

121–124 отсутствуют

- 191 Лупы глаз округлил на узлистые лапы палачьи,
281 Из-под мелких витушек (их функция – дерзость и львиность),
283 Два лазурных пупка демонстрируют ту *желатинность*,
651 Значит – правда грядет! Неизбежен закон революций!

ГАРМ

30 дней. 1938. № 12

- 627 В любой извилине таимый,
632 Нирваной, легкостью, эфиром...
638 На басмачей доброотряд.
655 О прежнем тлене и гниении,
665 Сердца до глубины рассек, –
672 Прохладой сладкой обнимая
684 В каком-то выпорхе змеином,
701 И падает в ковер, как в мох,
711 Их быстрым заревом, коне
713–715 И крик метнулся одичалый:
«Кызыл-аскеры!» И тотчас
В далекой тьме шестнадцать глаз –

Ватан

- 105 Скорбь вековечную влача.
109 Взор обращал покорный перс
117 Над картою клонясь упрямо,
127 Горят над горной крутизной;
129 Крутыми гроздьями лоза,
159–162 *отсутствуют*
169 Лишь в рыцарских туркменских гимнах,
202 Его пусть кровь на прахе сером,
206 Привык смежать покорно веки, –
213 А сам высокий Богадур,
219 Бессмертный труженик, дейханин,
223 Тотчас в клоповниках бездонных,

226–238, 243–246 *отсутствуют*

между 250 и 251 Годами по ночам клубился
 Огнем и дымом горизонт,
 И пульс народный еле бился,
 Покуда Фрунзе не спустился
 На рассыпающийся фронт.
 Смяв кулачье по Семиречью,
 Добив колчаковских «южан»,
 Он ясным делом, светлой речью
 Пленил Ташкент и Андижан.
 «Урус» предстал узбеку другом:
 Дейханину дал землю он,
 Не тронул ни детей, ни жен,
 Повел в Совет, а не в зиндон, –
 И, как от камня, круг за кругом
 Шла весть про истинный закон.
251 И через года, когда пожаром
вместо 254 Когда, грозя тройным ударом,
 На эмират пошел народ
280 Весь налитой тоскливой злобой,
289 И день настал, иль ночь настала,
293 Над мглой лесов, над мутью рек,
309 Нет, Кант! Не твой мы жребий вынем;
311 Закон свободы в небе синем,

УШЕДШИЕ В КАМЕНЬ

Новый мир. 1937. № 9

14 Запыхавшийся, юркий паровозик.
45 Нельзя ж идти без нити Ариадны)
72 Свернулись руки, и понуро череп
89–90 Из Красной армии, в тылу у немцев
 С отчаянной ватагой партизана,
вместо 100–103 Когда гудит над миром Вихрь железный,
 Тогда нельзя себе не выбрать флаг,
 Один из двух, – из разделенных бездной;

И человек, сознание свое
Всем бытием грозы определяя,
Становится, пылая и сжигая,
113 Республики. В Баварии, визжа,
115 В чаду чумном голодный Будапешт
120–123 Шла бойня.

И никто на всей планете
Не знал, куда прибьет эпоху буря.
Но был *один*, кто, глаз монгольский шуря,
Всё понимал и видел из Кремля.
126 Из недр идущим, дерзким и гремучим,
130 Вздуваясь гнойниками.

Старый мир:

131–133 *отсутствуют*
вместо 142–145 Мешая жить, мешая создавать...
171 Бердяев, и Савонарола-Кишкин,
178 Неодолимо шел! К социализму!
184–185 Был скромный, мудрый человек в Кремле...

И здесь, в Крыму, в аппендиксе России,
233 Пошли – мамаш, бестрепетно-готовых,
236 Юнцов, твердящих с радостной улыбкой
вместо 259 Безудерж белых, точно горностаей
(По «убежденьям»), желтых, как мочала
(По «творческой манере»), борзописцев
Из дьявольски проворного Освага, –
265, *сноска* Почти дословно: сам видал заметку
«О знаменьях и чудесах», в которой
Рассказывалось нечто в этом роде.
281 Их увидал в команде рыбзавода;
между 300 и 301 Отрезанные, в сотнях километров
От линий фронта, в каменном капкане,
Они, сжав зубы, знали: отсидеться
И как-нибудь помочь своим. Своим, –
Тем, кто в тюрьме, в подвалах контрразведки;
Тем, кто в селе – под шмяком шомполов;
Тем, кто далеко, в ледяных окопах;

Тем, кто в Москве, в Кремле, не знают сна.
Помочь! Но как? Врага во всех углах
Неотвратно жала и язвя,
С пути сбивая, голову мороча,
Ломая время, отвлекая силы,
Вставая тенью за спиной, вонзаясь
Чертовским свистом в музыку парадов.

От подвига до «взятия на пушку»,
От истребления палача до дырки,
Пробитой в перепонке барабана
(Чтоб заикнулся, отбивая такт), –
Всей радугою мысли и лукавства,
Отваги, и лихачества, и гнева,
И озорства, и самоотверженья
Сверкнула партизанская война!

вместо 304–306

И в бак насыплот сахару, чтоб спекся
В моторе в леденец, – и средь степи
Машина станет, и пойдет полковник,
Затылком чуя верный глаз нагана,
Синея и дрожа, чтоб стать «валютой»,
Обменный пополняя «фонд». То словят
Военного судью и «шлепнут» разом
Другим в науку. То сгребут в пути

309–311

Патронами берут и провиантом.
То к барже, налитой бензином, ночью
Подкрадутся на крохотной шлюпочке
А после – вяло спят при белых штабах
«Паккарды» и «Рено». То паровозы
Во всех местах заправят наждачком, –
И где-нибудь в Семи-Колодезях
Они застрянут ржавой пробкой, хлеба
И фуража на фронт не дотянув.

вместо 314–322

То погреб вдруг взорвут пороховой, –
А после на фронтах, в окопах красных
Не без приятности отметят слабость
Огня противника. То фонари
На маяке погасят, чтобы в мель
Уперся брюхом пароход, груженный

Шестидюймовками, – свози их после
На дряхлых катерах! То осрамят,
Подруги понадрезав, есаула,
И, от начальства получив «фитиль»,
Озлится он и в деле сам нагадит.

331 А то эффектней: окружают село,
388 Нет по ночам; деньгу и в банк опасно
427 Какие-то встопорщенные дамы –
вместо 473–479 Переходили хлеб, камса, газета,
И длится пытка временем...

Порой
511 Проекторы на перекрестках, – словом,
542 Ко всем чертям смели заставы белых,
577 Бакбортного огня.

Застыли люди:
581 Таких».

И разом в небе с корабля
677 Рождается и, наливая мышцы,
750, *сноска* В моем «Планере» (сборнике стихов, –
Гослитиздат, Москва) смотри об этом
Рассказ в стихах «Поручик Мертвецов».
между 767 и 768 На трехсаженном потолке пещер, –
вместо 788 Забыть про это...

.....
Протекли года...

Свинцовая щетина заторчала,
Редея, на висках сорокалетних.
Проходит жизнь...

Четырнадцатый год,
Закрыв глаза, спит в мавзолее *Том*,
Кто вел, кто знал...

Густые самоцветы
Кремлевских звезд, как лучший дар земли,
Горят над ним, – а в небе, в блеск одеты,
Воздушные рокочут корабли.

И вдоль гранитов розовой гробницы
 В день Октября проходят вереницы,
 Проходят миллионы, – чья душа
 Вдохнула жизнь, *его* огнем дыша!
 За этими гудящими рядами
 Сплотился Труд: огромных топок пламя,
 Сгущенье молний в меди проводов,
 Бунты зерна, шелков тугие свитки,
 Хребты плотин и водопадов слитки,
 И города у кромки вечных льдов.
 Над этими колоннами, – крылаты, –
 Сплотились Воля, Сила и Мечта:
 Звенят штыки, гремят стальные латы,
 Грядя мортир к зениту поднята;
 Ремнями грудь веселую опутав,
 Под одуванчиками парашютов
 «На ты» с лазурью юность перешла;
 И мысль, висясь в невиданном просторе,
 В сияющих мирках лабораторий
 Перед Грядущим ставит зеркала!..
 И Вождь, клонясь к народу с парапета,
 Любуется на ликование это.
 И как, должно быть, гордо знать ему,
 Что прозвучавшая над Гробом клятва
 Прошла, как ветер по знамени, как жатва
 Взошла в стране, преодолевшей тьму!

.....

ИС'

14, 72, 123, 331, 581 *как в основном тексте*
 120 Шла бойня.

И никто на всей земле
 122 Но был один, кто, глаз лукавый щуря,
 438 Вонзающие ноготки во тьму;
 497 Когда же Фрунзе в море сковырнет

¹ Варианты приводятся сравнительно с редакцией «Нового мира».

599 Стреб нескольких отцов и матерей,
750, сноска *отсутствует*

Шумы РАКОВИН

Камена. 1918. № 1

37 затерты и туманно-буры,
52 вздыхает, наклоняясь лицом
место 58 Он мичманом в Нью-Орлеане
 в сигарной лавке отыскал
 глаза – в чуть золотом тумане
 истаивающий опал.
 Потом балтийские ветра
 Иверы душу прососали,
 и бредила о знойной дали
 она в глухие вечера,
 и панихиды отзвучали.
 И долгие ушли года,
63–65 играя медною косой,
 она глядит, как волн погони
 на берег громоздят прибой.
67 листьями по ветру шуршит,
73 овевая нежной синью,
84 и голос мягко-горловой
86 – Приветствие урюмой Тоне. –
94–95 летят к волнующему югу,
 так мысли призывали вьюгу
140 и тянется в глухой мечте
143 за стол садятся. Ярко-смуглым
167 о том, что дух ваш – антиквар,
место 177–178 Вы воспеваете луну? –
 – Бывает... Вот: припоминаю:

 Ты к месяцу простер кольцо
 и два блестящих луидора,
 а у меня лишь боль позора
 гримасой бороздит лицо.

- 106 Все причаститесь мною, – все. Так что ж
110 Поберегись, Сергей...
Проклятый сон!
113 Ух, тяжко мне. Как было? Солнце, площадь
186 А если кто-нибудь из свиты вдруг
195–198 *отсутствуют*
199 Ну что? Все на местах? Дадут сигнал?
203 Прекрасно. Ну, давай же поскорей.
223 Где выход есть из алтаря? Заляг
233 Да открывай же, открывай скорей!
244–245 Мог непременно на своем поставить,
Иначе не успеть. Изобретай,
267 Сумеет всё направить и устроить,
297 Ну, выйду, – вместо легких струп кровавый,
312–313 Настало время, и кинжал свободы
Могу ему направить прямо в сердце.

ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ ШЕНГЕЛИ: БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК¹

Георгий Аркадьевич Шенгели родился 20 апреля (2 мая) 1894 г. в городе Темрюк на Кубани, в семье юриста (частного поверенного) Аркадия Александровича Шенгели (1853–1902) и его жены Анны Андреевны (урожд. Дыбская; 1862–1900), младшим из пяти детей.

«Во мне смешалось семь кровей: русская, турецкая, далматинская, украинская, грузинская, еврейская, польская», – писал он в автобиографических заметках. О предках по линии отца известно мало: «Дед мой Александр Шенгели был грузином, священником; в 1840-х гг. он был за что-то расстрижен и выслан в Западный край. В Сосновицах он имел связь с замужней еврейкой по фамилии Иоффа (не Иоффе), которая в свою очередь была побочной дочерью какого-то поляка (всё, что я о ней знаю). О бабке не имею ни малейшего представления, равно как и о ее судьбе. Когда и где умер дед – тоже не знаю. От этой связи произошел мой отец». Родословная по линии матери прослеживается лучше. Ее родителями были таможенный чиновник Андрей Кондратьевич Дыбский (1815 или 1816 – 1892), сын священника и Мария Николаевна Дыбская (1840–1914), дочь керченского чиновника Николая Григорьевича Вусковича (1804–1888), уроженца Далмации, принявшего российское подданство. Согласно семейному преданию, его жена Любовь Селивестровна, прабабка поэта, была внебрачной дочерью «екатеринского генерала» Чернявского; в действительности Сильвестр Романович Чернявский был членом Феодосийского коммерческого суда «из малороссийских старшинских детей».

Первые воспоминания будущего поэта относятся к 1897 г. и связаны с поездкой к бабушке в Керчь. В том же году отец переехал в Омск, где служил присяжным поверенным; годом позже к нему присоединилась семья. В 1899 г. Георгий впервые побывал в Москве с матерью и бабушкой. После смерти матери 6 февраля 1900 г. отец женился вторично; 28 февраля 1902 г. он скоропостижно скончался в Омске (или Тюмени). Дети Валентина, Евгений, Владимир и Георгий (старший сын Леонид умер в младенчестве) были перевезены в Керчь к бабушке Марии Николаевне, которой А.А. Шенгели оставил наследство

¹ Очерк основан на материалах книги: Молодяков В.Э. Георгий Шенгели: биография. М.: Водолей, 2016 – которые цитируются без сносок, с дополнениями по неопубликованной автобиографии Шенгели (1954-1955; собрание А.В. Маринина).

на их воспитание. Выпускница Керченского Кушниковского девичьего института М.Н. Дыбская зарабатывала на жизнь уроками и получала пенсию за мужа.

В Керчи, которую Шенгели считал своим родным городом, он поступил в детский сад (1902), затем в подготовительный класс единственной в городе Александровской мужской гимназии (1903), из которого был переведен в первый класс. Ту же гимназию окончили его старшие братья Владимир и Евгений, ставшие офицерами; служившие в Добровольческой армии, они в конце 1920 г. отказались покинуть Россию и были расстреляны «красными» в Крыму. Первые три года Георгий был «первым учеником», с четвертого класса начал отставать, а к пятому позже отнес «начало бездельничанья и хулиганства». Из-за конфликтов с учителями и начальством он был оставлен на второй год в четвертом и седьмом классах и окончил гимназию в мае 1914 г., двадцати лет от роду, на два года позже положенного срока.

Среди сверстников Шенгели выделялся разносторонними интересами и глубокими познаниями: от физики и астрономии до новейшей поэзии и истории Крыма. К главным впечатлениям детства он относил поражение России в войне с Японией, события Первой революции в Крыму (революционеры вызывали у него симпатию) и полеты С.И. Уточкина, под влиянием которых увлекся планеризмом. У него сложился круг друзей, включавший сына городского головы Керчи Ф.В. Аверкиева, сына благочинного церковью Керченского округа А.В. Станиславского и сына полицеймейстера С.А. Векшинского, позднее академика-физика.

Скромные условия жизни вынуждали к поиску заработка, которым стали частные уроки и сотрудничество в прессе. Впервые Шенгели выступил в печати в 1908 или 1909 гг. в газете К.Н. Пушкарева «Керченское слово», где «писал хронику, фельетон и статейки по авиации». Статьи были анонимными (гимназисты могли публиковаться под настоящей фамилией лишь с разрешения начальства), не разысканы и не идентифицированы, равно как первое выступление в местной периодике Шенгели-поэта, которое он относил к декабрю 1913 г.

Окончание гимназии стало для Шенгели вступлением во взрослую жизнь: он поступил на юридический факультет Московского университета, однако через несколько месяцев перевелся в Харьковский университет (окончил в 1918 г.), где его дядя В.А. Дыбский служил профессором химии. Летом 1914 г. Шенгели выпустил в Керчи первую поэтическую книгу «Розы с кладбища» и впервые выступил с

публичным чтением стихов и лекцией «Символизм и футуризм». Под влиянием встречи с И. Северяниным, В.В. Маяковским и Д.Д. Бурлюком, выступавшими в Керчи в январе 1914 г., молодой поэт объявил себя «футуристом», хотя ранее его главным увлечением были французские и русские «декаденты». Отмеченная влиянием Северянина, Бодлера и Фофанова, книга прошла незамеченной и разочаровала автора, который изъясил ее из продажи и уничтожил значительную часть тиража. Год закончился смертью М.Н. Дыбской в декабре 1914 г.

В Харькове состоялось самоопределение Шенгели-поэта, сочетавшего близость к эгофутуристам (знакомство с Северяниным переросло в дружбу) с увлечением французскими символистами и «проклятыми поэтами». Их влиянием отмечены небольшие сборники «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные», изданные в 1915 г. за собственный счет под фиктивной маркой «петроградского» издательства «L'oiseau bleu». Замеченные местной критикой, они привлекли к автору внимание литераторов и меценатов, что позволило ему в 1916 г. выпустить большую книгу «Гонг» под той же маркой.

Стремясь войти в литературные круги, Шенгели побывал в Петрограде и Москве, где представился К.Д. Бальмонту, Д.С. Мережковскому, С.А. Венгерову, А. Белому, однако знакомство осталось формальным. В Харькове он посещал Литературно-художественный кружок и «салоны» А.П. Прокопенко и К.С. Цагарели; литературные интересы сблизили его с товарищами по университету Е.Л. Лозманом (в будущем переводчик Евг. Ланн), Д.Д. Благим и В.Л. Рыжковым (в будущем ученый-вирусолог, член-корреспондент АН СССР).

Положительные отклики на «Гонг» (позднее, в феврале 1917 г. книгу отметил в столичной «Речи» Ю.И. Айхенвальд) способствовали сближению Шенгели с Северяниным, который пригласил его к участию в гастрольных поездках. В апреле – мае 1916 г. поэты выступали в Петрограде, Москве и Одессе (Шенгели читал стихи и лекции, в том числе о Северянине), в декабре 1916 – феврале 1917 гг. в Петрограде, Москве, Батуме, Кутаисе, Тифлисе, Баку, Армавире, Екатеринодаре, Новороссийске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Харькове, Курске и Киеве. Это было самое продолжительное турне в жизни Шенгели и пик его «эстрадных» успехов. К важнейшим для него событиям 1916 г. относится женитьба на двоюродной сестре Ю.В. Дыбской, дочери дяди-профессора, после того как в 1914 или 1915 гг. его предложение отвергла керчанка Е.Г. Доброва – адресат посвящения «Роз с кладбища».

1916–1917 гг. стали поворотными в жизни Шенгели не только из-за революционных событий, которые он приветствовал: весной 1917 г. сблизился с журналистом-меньшевиком М.И. Гинцбургом и опубликовал под псевдонимом «Д. Сибиряков» несколько политических брошюр. К 1917 г. относятся важнейшие литературные знакомства – с В.Я. Брюсовым, М.А. Волошиным и О.Э. Мандельштамом. Поэтическая манера Шенгели эволюционировала от влияния эгофутуризма (в последний раз проявившегося в небольшой книге 1917 г. «Апрель над обсерваторией») и «проклятых поэтов» в сторону «парнасцев», что особенно заметно в сонетах, которые он писал в большом количестве начиная с 1916 г. Выдвинув лозунг «нового пушкинства», его носителем Шенгели объявил уже не Северянина, как ранее, но Волошина и Мандельштама. Изучение французской поэзии привело его к работе над переводами Ж.М. де Эредиа, Ш. Леконт де Лиля, Э. Верхарна. Волошин одобрил и отредактировал сонеты Эредиа, выпущенные в конце 1919 или начале 1920 гг., – первую отдельную книгу переводов Шенгели. Присущее ему с гимназических лет стремление «серьезно разобраться и изучить законы, управляющие хорошим стихом» нашло выражение в серьезных занятиях стиховедением, которые Шенгели не прекращал до конца жизни. «Борьбой» с Брюсовым продиктована его первая отдельно изданная стиховедческая работа «Два “Памятника”. Сравнительный разбор озаглавленных этим именем стихотворений Пушкина и Брюсова» (1917).

Ставший видной фигурой литературного Харькова послереволюционных лет, Шенгели сотрудничал в журналах «Колосья», «Ипокрена», «Камена», «Пути творчества», «Парус», «Творчество», где кроме стихов помещал критические статьи и заметки о литературе и театре (не собраны и не изучены), и руководил студией стиха в Мастерской стихотворства Союза искусств, вошедшей в марте 1918 г. в Харьковский Художественный цех. В круг его общения входили поэты А.Б. Гатов, Л.М. Пеньковский и Г.Н. Петников, филологи А.И. Белецкий и М.П. Самарин и многие другие.

Сборник «Раковина» (1918) представил читателю Шенгели-«парнасца»; укреплению этой репутации способствовали книги стихов «Еврейские поэмы» (1919; 1920) и «Изразец» (1921). Положительные отзывы критики чередовались с отрицательными, причем в последних, появившихся в большевистских и пробольшевистских изданиях, видны идеологические мотивы. Поэт скептически высказывался о революционных декларациях известного в Харькове журналиста и критика

В.С. Рожицына, с которым сотрудничал с предреволюционных лет, но участвовал в культурной-просветительной политике советской власти: с февраля 1919 г. возглавлял Харьковский губернский литературный комитет (в это время подружился с В.И. Нарбутом), а в мае был откомандирован на должность «комиссара искусств» в Севастополь. После занятия города «белыми» Шенгели перешел на нелегальное положение. Получив от подпольной большевистской организации подложный паспорт, он перебрался в Керчь, где «легализовался» с помощью гимназического друга А.В. Станиславского. Опасаясь возможного разоблачения, в октябре 1919 г. Шенгели по подложному студенческому удостоверению, выданному керченским студенческим землячеством, перебрался в «белую» Одессу. Эти события он описал в автобиографическом романе «Черный погон» (1925–1927), из которого посмертно опубликованы лишь отдельные главы.

В Одессе Шенгели окупился в бурную литературную жизнь, общаясь с оказавшимися там писателями от И.А. Бунина и В.М. Дорошевича до сверстников и младших, перед которыми порой разыгрывал «мэтра»: Э.Г. Багрицкий, Ю.К. Олеша, В.П. Катаев, А.С. Соколовский, Л.П. Гроссман, М.А. Тарловский, К.П. Паустовский и многие другие. Дружеское общение с поэтической молодежью – «левантийцами» – вскоре переросло в литературный антагонизм: «Левантийцы были романтиками, Шенгели – “классиком”» (В.А. Бугаевский). После занятия Одессы «красными» в феврале 1920 г. Шенгели возглавил местное отделение Всеукраинского государственного издательства (до августа 1921 г.), в котором, кроме сборника «Израдец», выпустил «драматические сцены в стихах» «1871 год» о Парижской коммуне и «Органическую метрику» – первую часть «Трактата о русском стихе» в сильно сокращенном виде. В автобиографии он также указал, что «в большом количестве писал листовки и тексты к плакатам, читал лекции в рабочих клубах и воинских частях» – эти тексты, как и пьеса «ВВС (Вся власть Советам)», неизвестны.

С августа 1921 г. Шенгели жил в Харькове: получая пособие от ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых), переведил Верхарна – и готовился к переезду в Москву, который осуществил 28 марта 1922 г. За первые два года в столице он выпустил в Госиздате большой поэтический сборник «Раковина» (принципиально отличавшийся от книги 1918 г. с тем же заглавием) с подзаголовком «второй том стихов» (подразумевалось – после «Гонга»); четыре тома «Полного собрания поэм» Верхарна из первоначально задуманных шестнадцати;

второе – увеличенное в два раза и, по словам автора, «полное» – издание «Органической метрики»; позднее переводы из Гейне и Гюго. Издательство Главполитпросвета «Красная новь» выпустило драматическую поэму «Броненосец “Потемкин”», «Издательство писателей в Москве» – «Практическое стиховедение». Неизданным остался сданный в Госиздат сборник «Драматические поэмы», куда вошли опубликованный в Одессе в 1920 г. «Нечаев» и увидевшие свет лишь в наши дни «Сальери» и «Доктор Гильотен». Произведения Шенгели появлялись в журналах «Красная новь» и «Новый мир», в газетах «Известия ВЦИК и Моссовета» и «Московский понедельник», в петроградском альманахе «Утренники».

Гонорары за проданные в Госиздат рукописи ушли на «обзаведение», и вскоре Шенгели столкнулся с хроническим недостатком литературного заработка. Издание Верхарна оборвалось после четвертого тома. Весной 1923 г. Брюсов подверг эту работу строгой критике, но, несмотря на резкий ответ Шенгели, через несколько месяцев пригласил его на должность профессора стиховедения в основанный им Высший литературно-художественный институт. Положение осложнилось тем, что летом 1924 г. Шенгели расстался с женой Юлией, оставив ей занимаемую «жилплощадь», и создал новую семью с поэтессой Ниной Леонтьевной Манухиной (урожд. Лукина; 1893–1980). Их знакомство состоялось 21 июля 1921 г., когда во время командировки из Одессы в Москву Шенгели посетил собрание объединения «Литературный особняк»; летом 1922 г. началось их «сближение». В сентябре 1924 г. супруги получили комнату в коммунальной квартире (Борисоглебский пер., д. 15, кв. 10), где жили до 1937 г.

Как ранее в Харькове и Одессе, Шенгели в Москве стремился находиться в центре литературной жизни. Он вступил во Всероссийский союз поэтов (ВСП), где избирался в 1924–1925 гг. заместителем председателя, в 1925–1927 гг. председателем; участвовал в работе Государственной академии художественных наук (ГАХН), которая 8 июня 1923 г. избрала его действительным членом за «Трактат о русском стихе», и «Никитинских субботников»; выступал на вечерах. «Георгий Аркадьевич устраивал всех. Подлинный поэт, он вызывал уважение своими обширными знаниями, был объективен», – вспоминал в начале 1970-х годов Рюрик Ивнев, но это относилось к «попутническому» кругу ВСП и «Никитинских субботников». Московская «Раковина», с которой началась слава Шенгели-поэта и которая надолго определила его творческий облик в глазах читателей, подверглась грубой и тенден-

циозной критике со стороны Н.О. Лернера и С.П. Боброва (последний также «разнес» стиховедческие работы Шенгели); рапповский критик Г.О. Горбачев отнес его к «пережившим себя».

В 1924 г. Шенгели составил лирический сборник «Иней», оставшийся неопубликованным; предлагался ли он к изданию, неизвестно. Неоконченной осталась поэма «Наль», начало которой было отвергнуто «Красной новью» (впервые печатается в т. 2 настоящего издания). В 1926 г. он анонсировал книгу стихов «Каюта» (ее состав неизвестен). В 1927 г. издательство ВСП (возможно, за счет автора) выпустило сборник «Норд», высоко оцененный друзьями, но проигнорированный критикой. Согласно позднейшим утверждениям Шенгели, книгу обвинили в «упадочничестве», поэтому он не пустил ее в продажу.

В поисках заработка Шенгели вынужденно занимался поденщиной: фельетонами в стихах и прозе на бытовые и внешнеполитические темы за подписью «Платон Ковров», судебной хроникой и фельетонами за подписью «А. Троль» в газетах «На вахте» (1924), «Гудок» (1925–1927, 1929–1930), «Наша газета» (1926); полное выявление, описание и изучение этих текстов – дело будущего. Откровенные письма к М.М. Шкапской 1923–1926 гг. полны жалоб не только на «дикое безденежье», но и на полное отсутствие интереса к поэзии у издателей, редакторов и даже аудитории литературных вечеров. После закрытия ВЛХИ весной 1925 г. Шенгели остался без постоянной работы, сумев вернуться к преподаванию на Литературных курсах Моспрофобра (февраль – октябрь 1926) и творческом отделении 1-го МГУ (сентябрь 1926 – июнь 1927), которые также были ликвидированы.

Едва ли не главная причина хронической депрессии Шенгели выяснилась через много лет после его смерти из «Второй книги» Н.Я. Мандельштам. В июле 1924 г. он публично прочитал в Коктебеле у Волошина свои стихи памяти Гумилева (текст не найден), что уже считалось серьезным «криминалом». Это стало известно чекистам, которые «угрожали <ему> расстрелом, лагерем, тогда еще Соловками, и полной безработицей», чем принудили к сотрудничеству. Излагая признание друга, Н.Я. Мандельштам писала:

«Он думал, что каждая встреча тех ранних лет – последняя, что он отбрехался, выкрутился, заморочил им голову и они оставят его в покое. Но этого-то и не собирались делать. Вызовы были редкие – иногда с промежутком в полгода, иногда – в два-три месяца, но они и не думали прекращаться. Через несколько лет он понял, что ему не отвязаться от своих преследователей. <...> От жены он старался скрыть

свою беду и открывал ей только щелочку. Ему было необходимо сократить круг знакомых, чтобы остаться в одиночестве и отговариваться при вызовах, что никого не видит и ни о ком ничего не знает. <...> Дома он всегда был начеку и не допускал сколько-нибудь скользких разговоров. В каждом госте, произнесшем неосторожное слово, он подозревал стукача. В конце тридцатых годов ему удалось запугать жену и закрыть доступ в свой дом. На службе он держался в стороне от всех и постепенно перешел на работу по договорам. <...> Мой приятель клялся, что за все годы от него ничего не добились. На все вопросы он отвечал, что ничего не знает и с лицом, о котором его спрашивают, не встречается. <...> <Он> вошел в какие-то сношения с теми, с кем никаких сношений иметь нельзя, но виню я не его, а тех, кто над ним издевался». Мандельштам также подчеркнула, что Шенгели никогда не прибегал к помощи чекистов для решения бытовых или литературных проблем, «а именно этим занимались почти все вызываемые лица».

В сентябре 1927 г. Шенгели уехал в Симферополь и стал доцентом Крымского педагогического института, где читал курсы по русской литературе. Версия, что отъезд был вызван опасениями возможной «карь» властей за острую полемическую брошюру «Маяковский во весь рост» (началом полемики стали грубые нападки Маяковского на книжку Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы», выдержавшую в 1926–1930 гг. девять изданий), не подтверждается фактами – он и в Симферополе продолжал выступать против Маяковского. Помимо возможности поправить материальное положение отъезд был вызван запутанной личной жизнью Шенгели и конфликтом с женой на этой почве. Осенью 1928 г. «активисты» развернули против него политически окрашенную кампанию клеветы, из-за чего Шенгели «по собственному желанию» оставил институт и вернулся в Москву.

Изданные в 1929 г. два сборника переводов из Верхарна были хорошо приняты критикой: наряду с Брюсовым Шенгели считался ведущим переводчиком великого бельгийца. «Учебная» книга «Школа писателя. Основы литературной техники» (два издания в 1929–1930 гг.) была встречена критически, но корректно. Оригинальные стихи попадали в печать всё реже. В октябре 1929 г. Шенгели уехал в Самарканд на должность профессора русской литературы (подготовленный им учебник остался неизданным) в Высшем педагогическом институте (до сентября 1930 г.); с января по декабрь 1930 г. он служил в Узбекском государственном научно-исследовательском институте – главном научном центре республики.

Вернувшись в столицу осенью 1930 г., Шенгели смог устроиться лишь литературным секретарем «Гудка» и через писателя С.И. Малашкина обратился за помощью к В.М. Молотову – «второму лицу» в партии и государстве (Малашкин знал его по революционной работе). Молотов переадресовал письмо заведующему отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) А.И. Стецкому, тот – главному редактору «Нового мира» В.П. Полонскому, считавшемуся покровителем «попутчиков», но помощи они не оказали. Шенгели служил в Государственном издательстве технической литературы (1931), заведовал редакцией журнала Мособлисполкома «Коммунальное хозяйство» (1931–1932), составлял тексты для школьных диапозитивов о русских писателях и преподавал в ФЗУ наркомата юстиции, где перевоспитывали юных правонарушителей. Став в апреле 1932 г. редактором московской редакции Среднеазиатского отделения Объединения государственных издательств, он начал получать заказы на переводы. Сделанный им перевод поэмы А. Лахути «Мы победим!» удостоился похвалы Молотова и публикации в «Правде». В октябре 1937 г. при содействии Молотова Шенгели получил отдельную квартиру (1-я Мещанская, д. 55; ныне проспект Мира, д. 51, кв. 22). В августе 1933 г. он поступил в Гослитиздат на должность редактора отдела творчества народов СССР и сектора «западных классиков», что до 1939 г. оставалось его главной «службой». В 1936/37 учебном году прочитал курс стиховедения в ГИТИС.

В первой половине тридцатых у Шенгели не вышло ни одной авторской книги, зато в 1935 г. он «выстрелил» целой обоймой. Сборник стихотворений и поэм «Планер» был призван представить автора как «действующего» советского поэта (1 июня 1934 г. его приняли в Союз советских писателей). Несмотря на «самокритичное» предисловие, книга была встречена отрицательно: критики не признали Шенгели «перестроившимся». Как поэт на протяжении тридцатых годов он был выключен из «литературного процесса»: его не приглашали на «плenumy», «совещания» и «декадники», не вызывали на «дискуссии», но не «прорабатывали», не требовали «признания ошибок» и «откликов на текущие события», будь то принятие «Сталинской Конституции» или суды над «врагами народа».

Высокую оценку получили итоговое издание переводов из Верхарна и «Избранные стихи» Гюго (еще два его небольших «изборника» вышли тиражом 100 тыс. и 50 тыс. экземпляров). Затем Шенгели перевел 13 поэм Байрона, изданные в двух томах в 1940 г. и встреченные похвалами поэтов, переводчиков, филологов и читателей. Стро-

гий и требовательный редактор чужих работ, которые критиковал, не считаясь с «именами», Шенгели помогал получать заказы на переводы оставшимся в стороне от «столбовой дороги советской литературы» А.С. Кочеткову, О.Э. Мандельштаму, М.В. Талову, а также начинавшим литературный путь В.В.Державину, М.С. Петровых, А.А. Тарковскому, А.А. Штейнбергу и другим.

В творчестве Шенгели 1930-х годов большое место заняли эпические произведения. Вслед за поэмой «Пиротехник» (1931–1933), напечатанной в «Планере» с цензурным изъятием двух глав (в настоящем издании впервые публикуется полностью), весной 1937 г. он написал поэмы «Гарм» о борьбе с басмачеством в Средней Азии, которую назвал своей «Полтавой», и «Ушедшие в камень» об обороне «красными» керченских каменоломен в 1919 г. Первая была отвергнута журналами и издательствами и увидела свет лишь в 1988 г., вторую напечатал «Новый мир». Но это были только подступы к большой работе.

Самым значительным по объему и по масштабу замысла произведением Шенгели стал «Сталин. Эпический цикл», написанный в 1937–1939 гг. и состоящий из 19 поэм: 18 «тем» и 1 «интерлюдия». Они затрагивают ключевые события русской и мировой истории второй половины XIX и первой половины XX вв., но лично Сталину посвящены всего три «темы». Это наиболее крупный опыт создания интеллектуального, историко-философского, а не пропагандистского советского эпоса. Это выдающееся произведение, хотя едва ли его можно признать бесспорной удачей и высшим достижением автора, который придавал ему особое значение. Несмотря на многолетние усилия, обращения в издательства, журналы, партийные органы, к Л.П. Берия и А.Н. Поскребышеву, Шенгели удалось опубликовать лишь две «темы» в 1943 г. и добиться обсуждения «Эпического цикла» в Союзе писателей 25 февраля 1953 г., когда он был «дружно изруган». Критики аргументировали свою позицию тем, что «поэма трудна для чтения» и «колхозник и рабочий ее не поймут». В настоящем издании (т. 2) «Эпический цикл» впервые публикуется полностью, и читатель сможет вынести о нем собственное суждение.

В преддверии 25-летия литературной деятельности Шенгели летом 1938 г. подал в Гослитиздат заявку на «изборник». «Избранные стихи. 1914–1939», вышедшие в конце 1939 г. тиражом 10 тыс. экз. с предисловием академика А.И. Белецкого, стали последней прижизненной книгой Шенгели-поэта и сформировали представление о нем у нескольких поколений читателей. Представление о его творчестве

сборник давал неполное, но адекватное. Белецкий отметил: «Поэтический облик Шенгели в поэмах, разрабатывающих тематику революции, сложился вполне четко. Это – облик поэта эпического, не лирического. В книге встречаются превосходные лирические пьесы, но всё же сила поэта – в эпике, то окрашенной в колорит трагического пафоса, то звучащей тоном сатиры».

Другим подарком к «юбилею» стала возможность вернуться к работе по стиховедению. Осенью 1939 г. Шенгели, уйдя из Гослитиздата, стал профессором Литературного института, где до отъезда в эвакуацию весной 1942 г. преподавал теорию стиха, а в 1940 г. выпустил книгу «Техника стиха. Практическое стиховедение», которую считал третьим изданием «Практического стиховедения» (1923; 1926).

Начало Великой Отечественной войны застало Шенгели за переводом «Дон-Жуана» Байрона, за который он взялся вопреки отказу Гослитиздата заключить договор. Когда вермахт приближался к Москве, а писатели собрались в эвакуацию, Шенгели вызвал капитан госбезопасности В.Н. Ильин – начальник второго отдела третьего, секретно-политического управления НКГБ (с 13 августа 1941 г. – НКВД), который занимался «борьбой с антисоветскими формированиями среди писателей и работников искусства», – и, не спрашивая его желаний, поручил «ответственное задание». Поэту предстояло остаться в Москве и в случае взятия ее немцами, что считалось возможным, наладить издание антисоветского литературного журнала или альманаха с целью выявить «контрреволюционное подполье». Только на этом условии его жене разрешили уехать в эвакуацию. Знание данных обстоятельств позволяет адекватно понять многие стихи Шенгели, написанные осенью и зимой 1941 г.

Москва не была сдана, и в конце марта 1942 г. Шенгели, подписав договор на перевод «Дон-Жуана», выехал в эвакуацию во Фрунзе, где жила Манухина. Вскоре по приезду он тяжело, с угрозой для жизни, переболел сыпным тифом. Работа над Байроном продолжалась, но отсутствие прочих заработков (некоторое время он писал тексты для «Окон КирТАГа») и сложные отношения с Союзом писателей Киргизии вынуждали искать новое место жительства до возможности вернуться в столицу.

Весной 1943 г. Шенгели побывал в Москве. Высшая аттестационная комиссия присвоила ему звание профессора, но от хлопот о получении степени доктора филологических наук он отказался, поскольку большая часть экспертов ВАК была его оппонентами в вопросах сти-

поведения. Нечаянной радостью стало общение с молодыми литераторами, включая А.В. Белинкова, который «говорил, что я сейчас “так же популярен, как Пастернак, у лучшей, культурнейшей части молодежи”. <...> Поистине не знаешь путей своих. Что-то вроде судьбы Верлена, вынырнувшего в конце 80-х гг. из полной неизвестности и внезапно ставшего кумиром!» (письмо к Н.Л. Манухиной 5 мая 1943 г.).

При поддержке председателя Союза писателей Туркмении Б. Кербабаяева Шенгели получил заказ на перевод туркменских классиков и в августе 1943 г. переехал в Ашхабад (жена и теща остались во Фрунзе). До возвращения в Москву в октябре 1944 г. он перевел с подстрочников роман в стихах Курбан-Али Магруппи «Юсуп и Ахмед» (1944), сборник К. Сейтлиева «Систр» (1944), «Избранные стихи» Махтум-Кули (1945) и народный роман «Шасенем и Гариб» (1946), выпущенные отдельными изданиями; в рукописи осталась работа о туркменском стихе. Последним «восточным переводом» стала поэма Лахути «Пери счастья» (1948).

Тяжелым ударом для Шенгели стала невозможность выпустить сборник «Панцирь. Стихи 1935–1945», включавший также «Гарм» и 7 «тем» «Эпического цикла». В настоящем издании эта книга – своевременный выход которой, как и «Эпического цикла», мог существенно изменить представления о русской поэзии XX в. – впервые печатается полностью в соответствии с замыслом автора. Последняя прижизненная публикация новых стихов Шенгели состоялась в 1944 г. в ашхабадском альманахе «Ватан». Отказ в издании «Панциря» в сочетании с последствиями Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (14 августа 1946 г.) означал исключение Шенгели-поэта из «литературного процесса». Не увидел свет и сданный в издательство осенью 1945 г. «изборник» Верлена, над переводами которого он работал с 1941 г. (издан в 1996 г.).

В 1946 г. Шенгели закончил написанную белым стихом «византийскую повесть» «Повар базилевса», начатую пятью годами ранее. Впервые опубликовавший ее в 1997 г. В.Г. Перельмутер видел в ней «саркастические указания на Сталина» (что вызвало сомнения М.Л. Гаспарова) и оценил ее как «лучшую, да, может быть, единственную у него по-настоящему эпическую вещь».

Сданный в Гослитиздат осенью 1943 г. перевод «Дон-Жуана» вышел лишь в 1947 г. после неоднократных протестов и жалоб переводчика. За это время он успел «впрок» перевести драмы Байрона и «на заказ» книгу «Избранных стихов» эстонского поэта И. Барбаруса, аван-

гардиста, ставшего коммунистом и советским государственным деятелем. Появление «Дон-Жуана», встреченное положительными откликами, неожиданно для многих дало старт кампании травли Шенгели, в которой со временем зазвучали политические обвинения в «искажении облика Суворова».

Инициатором кампании стал влиятельный переводчик англоязычной прозы И.А. Кашкин и литераторы из его окружения, стремившиеся поставить под контроль секцию переводчиков Союза писателей (которую в 1938–1942 гг. возглавлял Шенгели) и распределение заказов на переводы в издательствах. Еще 10 февраля 1947 г. Шенгели написал генеральному секретарю Союза писателей А.А. Фадееву о сложившемся положении в переводческом «цехе» и попросил вмешаться, при том что сам был обеспечен заказами и не преследовал личные, корыстные цели. Были ли «приняты меры» по письму, неизвестно, но ситуация не изменилась, а переводческо-редакторская «обойма» увидела в нем не только соперника, но и врага.

Травля Шенгели – прежде всего как переводчика Байрона – продолжалась до конца его жизни, вехами в ней были регулярные выступления Кашкина. Действия «обоймы» стали причиной отклонения предложений Шенгели о выпуске 4-томного собрания сочинений Байрона в его переводе и о включении фрагментов «Дон-Жуана» в большой однотомник Байрона, изданный после долгих проволочек в 1953 г. (там впервые появились его переводы «Паломничества Чайльд-Гарольда» и шести пьес). Обращения за помощью к В.М. Молотову результатов не дали, как и направленная в ЦК ВКП(б) в январе 1953 г. пространная статья «Критика по-американски», подробно разбиравшая претензии и опровергавшая обвинения Кашкина. Работу над Байроном Шенгели продолжал до конца жизни, не успев сделать лишь часть лирики; многие переводы не опубликованы до сих пор. Последней крупной работой в этой области стало «Возмездие» Гюго, вышедшее отдельной книгой в 1953 г., опоздав к 150-летию рождения поэта на год. Переводы из Гюго и Верхарна включались в новые издания, но в весьма ограниченном количестве. Наглядным примером «вытеснения» Шенгели из литературы в качестве переводчика стал доклад «Художественные переводы литератур народов СССР» на Втором всесоюзном съезде советских писателей (декабрь 1954 г.), в котором П.Г. Антокольский упомянул его лишь раз, причем в отрицательном контексте.

«Оттепель» для Шенгели так и не наступила. Когда ему исполнилось 60 лет, Союз писателей отказался хлопотать о персональной пен-

сии под предлогом «много зарабатывает». Гослитиздат несколько раз отклонял предложение о выпуске поэтического «изборника» к 40-летию творческой деятельности. До конца жизни он посылал рукописи в издательства и журналы, получая лишь формальные отписки: «Нева» отвергла «Гарм», «Знамя» – пьесу «Дело Давида Гольдвассера» (не опубликована), «Новый мир» – статью о поэтическом переводе, издательство «Московский рабочий» – поэму «Пятый год» даже в преддверии 50-летия Первой русской революции. В последний раз Шенгели увидел свои стихи в печати в июле 1952 г., когда газета «Керченский рабочий» поместила его фотографию с членами местного литобъединения и перепечатала давний сонет «Имя» – о бронепоезде «Сталин». «Советский писатель» отклонил заявки на книги «Стих Маяковского», «Онегинская строфа» и «Пушкинский словарь» (конкорданс к лирике и поэмам, оставшийся неизданным). Принятая к изданию «Техника стиха» вскоре «зависла» и увидела свет лишь в 1960 г., в сокращенном и искаженном виде. Главный стиховедческий труд Шенгели – трактат «Русское стихосложение» остался неизданным.

Последнее десятилетие поэт прожил в психологически тяжелой обстановке, отраженной в стихотворениях «Я горестно люблю сороковые годы...», «Это всё еще только так...», «Здравствуй, год шестидесятый...» и др. Несмотря на очевидную невозможность публиковать новые стихи, он продолжал их писать; большая часть поэм осталась брошенной в начале работы (в полном объеме впервые публикуются в настоящем издании). Шенгели несколько раз побывал в местах юности – Одессе и Керчи, встречался и переписывался с давними знакомыми, включая Е.Г. Доброву, оказавшуюся в лагере по ложному обвинению.

В мае 1956 г. Шенгели перенес инсульт, от последствий которого не оправился. Поздно вечером 15 ноября 1956 г. он скончался от инфаркта в своей квартире и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Союз писателей ограничился кратким некрологом в «Литературной газете», без персональных подписей и портрета, и не разрешил проведение гражданской панихиды в Доме литераторов. Вечер памяти Шенгели состоялся лишь через полтора года. Комиссия по литературному наследию во главе с С.И. Малашкиным не смогла добиться издания посмертной книги его стихотворений и поэм, составленной Н.Л. Манухиной, даже при содействии влиятельного И.Л. Сельвинского, высоко ценившего талант Шенгели, хотя и критиковавшего многие его произведения, включая «Эпический цикл».

На протяжении десятилетий Шенгели оставался на периферии читательского сознания как «второстепенный» поэт, переводчик «буквалист», неумный и неудачливый критик «великого» Маяковского и автор «заумных» работ по стиховедению. Посмертные публикации стихов были единичными и случайными, из переводов переиздавались лишь некоторые и не всегда лучшие. Поэтические произведения Шенгели начали активно печататься только в «перестройку». В 1988 г. вышел его первый посмертный сборник – книга поэм «Вихрь железный», в 1997 г. – «изборник» «Иноходец», более-менее полно, хотя и тенденциозно, представляющий его творчество.

Только с появлением настоящего издания читатель получает возможность узнать и оценить поэтическое творчество Шенгели во всей полноте, а с выходом биографии – познакомиться с историей его жизни. Остаются непереизданными и частично неизданными переводы Шенгели; ждет исследователя и издателя его наследие в качестве прозаика, стиховеда, историка литературы, критика. Когда всё написанное им будет опубликовано и доступно читателю, Георгий Шенгели займет место среди крупнейших русских поэтов и переводчиков XX века. Точнее, он давно занимает его – просто не все знают об этом.

Василий Молодяков

КОММЕНТАРИИ

ПОЭМЫ

С. 7. ***Поручик Мертвецов.** *КН.* 1922. № 5. Варианты строк. – *P2*, с пропуском ст. 116 (перешло в позднейшие переиздания). Варианты – ст. 38: «мелькнули» вм. «мелькнуло»; ст. 79, 86, 215: как в *КН.* – *Пл*; дата: 1922. Варианты строк. – *ИС.*

Автографы: 1) *Лул.* Л. 92–100; 2) ГЛМ. 2.2.1–9 – машинопись.

Тема партизанского движения в керченских каменоломнях в февралемарте 1919 г. более подробно раскрыта в поэме «Ушедшие в камень» (с. 112); ср. также:

В городе еще при вступлении немцев осталось много красногвардейцев, не успевших перебраться на Кавказ. Голодали, прятались. Тогда и было положено начало каменоломенному сиденью. Потом пришли добровольцы. Каменоломенный кадр возрос: бежали многие рабочие с металлургического завода, почти все обитатели Нахаловки, – замечательного внесоветского поселения у брошенных известковых печей, – изгнанные из своих дощатых хибарок шомполами добровольческой «стражи». А когда красные вели наступление на Акманай, каменоломенщики решили поддержать его с тылу. Добыли откуда-то два пулемета, винтовок и захватили было некоторые здания в городе. Перепуг у добровольцев был дьявольский. Но неожиданно прибыл из Новороссийска какой-то конный полк и подавил восстание. Силы были неравны. Что делалось. Расстреливали пачками. Поручик Мертвецов нескольких человек повесил за ноги и к шеям казненных привязал собак. Разбитые опять ушли в каменоломни. Всё

(Очерки белогвардейского тыла: Главы из романа-хроники Г.А. Шенгели «Черный погон». Публ. А.В. Маньковского // Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. С. 138). «*Тайны венценосцев*» – сериальное издание в 40 кн., включавшее романы различных авторов о личной жизни европейских монархов; выходило в 1910 г. в Петербурге как бесплатное приложение к журналу «Родина» (издатель А.А. Каспари). *Забродчик* – рыбак, ловящий рыбу неводом, волокушей и т.п. *Гамзей* (Гамзей Гамзеич) – черносотенец, по кличке Л.А. Тополева, члена «Союза русского народа», одного из участников убийства члена Государственной думы М.Я. Герценштейна. *Гочкис* (*фр.* Hotchkiss) – французский станковый пулемет.

С. 14. ***Девятьсот пятый**. Фрагменты: 1) Горнорабочий. 1925. № 44–45, 31 дек. – главка «Октябрь», под загл. «Октябрь 1905 года (Из поэмы “Девятьсот пятый”»); 2) Литературная газета. 1929. № 12, 8 июля – главка «Четвертое февраля», под загл. «Пятый год (из поэмы)»; 3) Звезда. 1930. № 8 – ст. 518–541, под загл. «Из поэмы “Пятый год”»; 4) *Пл*, под загл. «Пятый год: Отрывки из поэмы»; дата: 1924; главки без загл.

Автографы: 1) РГАЛИ. 4.119–150; ГЛМ. 2.4.1–30 – авторская книга (машинопись); помета: «Декабрь 1924. Москва»; отпечатано для *Лип*, ср. дневниковую запись от 7 марта 1955 г.: «Перепечатывал “905-й”; говорил об ее издании с т. Кореневым» (РГАЛИ. 106.9; Коренев Г.Е. – поэт, редактор издательства «Московский рабочий»); 2) РГАЛИ. 4.101–118 – черновой с правкой и нумерацией главков, без главки «Четвертое февраля»; на л. 101 помета синим карандашом: «1925.1/ХП»; на л. 116об., перед последней главкой, помета: «Нинке, чтоб любила и хвалила! Г. 9/ХП 25. День зубастого мороза»; 3) РГАЛИ. 6.2–3 – главка «Четвертое февраля», без загл.; помета: «16/ХI 27. Симферополь». Включено в *Лип*.

Впервые полностью: *ВЖ*.

Печ. по автографу 1, датируется по автографам 2 и 3 с корректировкой по письму А.С. Грину (см. ниже). «Посвящение», не вошедшее в окончательный текст, см. в разделе «Другие редакции и варианты».

17 ноября 1925 г. Шенгели сообщал А.С. Грину: «Я пишу сейчас и скоро кончаю большую поэму о 905 годе. Не халтуру, – для себя пишу. Выходит сносно. Задача – дать не историю, не социологию, но вкус эпохи» (РГАЛИ. Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 1). Ср. также: «я написал поэму “Девятьсот пятый”, которая не только мне кажется удачной. Мне было бы очень приятно прочесть ее у Вас во едину от суббот. Быть может, Вы не откажете в любезности включить ее в программу, а Ваш секретариат – прислать мне повестку о дне?» (письмо к Е.Ф. Никитиной от 17 декабря 1925 г. // ГЛМ. Ф. 135. Оп. 2. Ед. хр. 783. Л. 1); о чтении поэмы на заседаниях «Никитинских субботников» сведений нет. Вл. Никонов в рецензии на *Пл* замечает в связи с поэмой: «Как Пастернак, как Антокольский, Шенгели направляется в обход, чтобы подойти к революционной тематике от более привычного для него исторического материала. Он создает большой цикл, посвященный 1905 г. Но в этих стихах не удалось преодолеть холодноватости, недостает кипения человеческих чувств. Достаточно сравнить сцену севастопольской клятвы у Пастернака, полную лаконического, страстного динамизма, и вялый рассказ о том же у Шенгели» (Формула перехода // Книга и пролетарская революция. 1936. № 4. С. 103).

Новый год. *Ойяма* (Ояма) Ивао (1842–1916) – маршал Японии, в 1904 г. главнокомандующий японскими войсками в Маньчжурии. *Куропаткин* Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал от инфантерии, командующий Маньчжурской армией. «*Железка*» – карточная игра, то же, что баккара (см. примеч. к гл. XVII поэмы «Пиротехник», с. 631).

Четвертое февраля. 4 (17) февраля 1905 г. от бомбы, брошенной членом «Боевой организации партии социал-революционеров» И. Каляевым, погиб Главнокомандующий войсками Московского военного округа Великий князь Сергей Александрович.

Мукден. Шимоза – тринитрофенол (пикриновая кислота), особым образом заряжавшийся в японские бризантные снаряды (см. ниже) и наносивший значительные разрушения небронированным бортам и палубам; считается одной из основных причин сокрушительного поражения русского флота в Цусимском сражении.

Цусима. Старший флагман в небралгии стонет – Зиновий Петрович Рожественский (1848–1909), вице-адмирал, командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой в Цусимском сражении. **Младший умер от разрыва сердца** – Дмитрий Густавович фон Фелькерзам (1846–1905), контр-адмирал, командующий 2-го броненосного отряда эскадры; за три дня до сражения умер от инсульта на борту броненосца «Ослябя», на котором был поднят его флаг; командирам других кораблей о его смерти не сообщалось. **Бризантный разрыв** – разрыв бризантного снаряда, дающий большое количество разлетающихся во все стороны осколков; в данном случае речь идет о японских снарядах с секретным составом *шимоза* (см. выше). **Чрезмерно увлажнен пироксилин...** – влажность пироксилина в снарядах, использовавшихся 2-й Тихоокеанской эскадрой, была искусственно повышена более чем вдвое по сравнению с нормой (возможно, из-за угрозы самовозгорания), в результате даже при попадании снаряда в цель пироксилиновый заряд не взрывался. **Лиддит** – английское название тринитрофенола (см. выше *Шимоза*).

Броненосец «Потемкин». См. также одноименную драм. поэму (с. 381). **Тендровская коса** – остров у юго-западного побережья Черного моря; броненосец «Потемкин» прибыл к нему из Севастополя утром 13 (26) июня 1905 г. для проведения учебных стрельб.

Октябрь. Гремят «Известия Рабочих Депутатов» – в конце 1905 г. вышло 10 номеров газеты «Известия Совета Рабочих Депутатов петербургских фабрик и заводов», которые печатались в типографиях различных газет, захваченных «революционным порядком»; за №№ 7–10, отпечатанными в типографии принадлежавшей А.С. Суворину газеты «Новое Время» (Эртелев пер., д. 13), последовал арест Совета (см. далее в гл. «Декабрь»). **За манифестом и свинцом** – обнародованный 17 (30) октября 1905 г. Высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка, разработанный С.Ю. Витте по поручению Николая II в связи с непрекращающейся «смутой», в числе прочего предоставлял свободы совести, слова, собраний, союзов и неприкосновенность личности. **Предписывается пограм...** – антиправительственные манифестации с участием еврейского населения, прошедшие во многих городах черты оседлости в октябре 1905 г.

после опубликования манифеста, привели к массовой волне еврейских погромов.

Декабрь. Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) – московский генерал-губернатор (1905–1906), руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания.

- С. 40. **Искусство.** Автографы: 1) ГЛМ. 2.3.1–3 – машинопись; дата: 1926; 2) РГАЛИ. 5.5–8 – ранняя редакция, под загл. «Гамельнский вольтер»; помета: «18/IX 26 узнал случайно от С. Г. Гехта, что в каком-то эмигрантском журнале недавно появилась поэма Марины Цветаевой “Жрысолон”, являющаяся вариацией темы “Гамм<ельнского> Вол<ынщика>”!!! *Ideae nascuntur!*» (*лат.* идеи рождаются; поэма М. Цветаевой опубликована в нескольких номерах пражского журнала «Воля России» за 1925–1926 гг.).

Впервые: Октябрь. 2002. № 7; публ. В. Перельмутера.

Клайд – река на юге Шотландии, в устье которой, на берегу залива Ферт-оф-Клайд, расположен город Грйнок (см. далее).

- С. 45. **Пушки в Кремле.** *Н*, с подзагол. «Подражание Марку Тарловскому». Варианты – ст. 36: «гулом» вм. «гудом»; ст. 102: «Взлетел на звонницу и впрягся в канаты,»; ст. 138: «горнило» вм. «горнила». – *Пл.* Вариант – ст. 102: как в *Н*. – *ИС*.

Автографы: 1) *ЛлП*. Л. 178–183; в содержании под загл. «Пушкин <так!> в Кремле»; 2) РГАЛИ. 5.14об.–16об., без загл. В *Пл-набор* выклейка из *Н*, подзагол. вычеркнут автором.

Отклик на поэму М. Тарловского «Пушка» (1926), впервые опубл.: КН. 1927. № 3, затем включена в авторский сборник «Иронический сад» (1928). С поэтом и переводчиком Марком Ариевичем Тарловским (1902–1952) Шенгели познакомился в 1919 г. в Одессе. По какой причине в *Пл* был снят подзаголовок, неизвестно: дружба поэтов пошатнулась лишь около 1940 г., когда из-за серьезных разногласий по вопросам перевода Шенгели отказался от редактуры переводов Тарловского из Махтумкули (см.: *Биография*. С. 450–453). Несмотря на это, он неизменно ценил Тарловского как поэта, см. отклик на известие о его смерти 15 июля 1952 г., полученное от Н. Манухиной: «Ладе ничего не могу написать. Скажи ей, что я здесь всем, кому случится, читаю стихи Марка (это правда), – “Мышку”, “Столицу-идолопоклонницу”, “Слона” и пр. Всем нравится, и все спрашивают – где достать книги?» (письмо от 6 августа 1952 из Керчи // *Биография*. С. 453; в несохранившемся письме Н. Манухиной, видимо, содержалась просьба написать несколько слов ее близкой подруге, вдове Тарловского Екатерине Александровне, поэтессе и переводчице, известной под псевдонимом Лада Руст; упоминаются ст-ния Тарловского «Муза», «Москва» и «Последнее чудо», см.: Тарловский М. Молчаливый полет. М.: Водолей Publishers, 2009. С. 109, 68, 31). В предисловии к *Пл* Шенгели так охарактеризовал поэму:

Перечитывая мою книгу перед ее передачей издательству, я не мог не заметить, как в иных случаях тема стихотворения не полностью слушается мировоззрительного руля под натиском – скажу прямо – былой моей *атмистической* поэтики, трактовавшей образ как нечто самоудовлетворяющее.

Пример – поэма «Пушки в Кремле». Я вовсе не убежден, что «жребий всего, что есть в мире», статья «песней», как говорится в поэме. Возможность – не «жребий». Поэзия сама подчинена железной необходимости, сама служит тем или иным целям. Но, воспроизводя историю слитка меди в вещественной конкретности его превращений, я «не нашел» иной концовки, чем та, которая дана. Значит, не идейный вывод, т.е. не установление *правильной* концепции относительно данного комплекса фактов, влек меня, а чисто чувственное очарование звона, плавки, накала и грохота требовало фиксации; материал побеждал мастера; данность убила задание

(От автора. С. 3–4). *Маренго, Арколь и Ваграм* – места сражений (1800, 1796, 1809 гг.) между войсками Австрии и Франции под командованием Наполеона Бонапарта, завершившихся победой Франции. *Каронада*, каронада – короткая гладкоствольная чугунная пушка, находилась на вооружении Британского флота с 1770-х гг. до середины XIX в. *Вага* – брус или железный угольник, прикрепляемый к передней части орудийных передков (повозок). *Изложница* – форма для получения слитка из расплавленного металла. *Эър* – юго-восточный ветер. *Зефир* – западный ветер. *Австр*, аустер – южный или юго-западный ветер. *Борей* – северный ветер.

С. 50. * **Пиротехник**. Фрагменты: 1) *Пл*; 2) *ИС*.

Автограф: РГАЛИ. 6.51–87; ИМЛИ. 12.1–37 – авторская книга (машинопись).

Печ. по автографу. Подстрочные переводы эпиграфов взяты из *Пл*, где размещены непосредственно под текстами эпиграфов. Также из *Пл* заимствованы немногочисленные авторские подстрочные примечания (некоторые из них присутствуют и в автографе). Переводы эпиграфов, отсутствующих в *Пл*, принадлежат составителю и отмечены особо.

Поэма отчасти инспирирована устным отзывом В. Брюсова о сб. «Гонг», в котором он уподобил поэтику молодого Шенгели пиротехнике (см. в преамбуле к соотв. разделу, т. 1, с. 613; ср. упоминание об этом в неоконченной поэме «Разрешите мне, читатель...», с. 508 наст. т.). В одной из записных книжек (ГЛМ. 2.23.3) Шенгели наметил тему: «Равашоль – встречает Верлена» (по расположению относится к маю 1931 г.). В той же книжке в списке заглавий пяти поэм, запланированных к написанию или окончанию, последним значится «Равашоль»; справа от заглавия поздняя помета: «Есть! 9/II 33», относящаяся, видимо, к началу поэмы «Равашоль» (см.

с. 486), однако знаменитый террорист-одиночка отчасти послужил прототипом Аваланша, а эпизод встречи с Верленом использован в «Пиротехнике» (гл. IV: «В бистро»). 17 мая 1933 г. Шенгели прочел поэму на 560-м заседании «Никитинских субботников» (протокол заседания: ГЛМ. Ф. 357. Оп. 1. Ед. хр. 377), где она получила в целом благосклонные отзывы; в качестве недостатков отмечались обилие эпитафий, «из которых не все органически увязываются с содержанием» (С. Кржижановский), отрицание в авторских ремарках символичности образа Аваланша (Э. Левонтин; фр. *avalanche* – лавина) и то, что автор «всё сделал за читателя: всё отстрадал, всё отчувствовал; это вызовет пассивность читателя» (А. Дерман). В 1934 г. Шенгели включил поэму в рукопись нового сборника *Пл*, в предисловии к которому, продолжая мысль о неполном преодолении своей прежней поэтики (см. примеч. к поэме «Пушки в Кремле»), писал:

Другой пример – поэма «Пиротехник». В ней я сводил счеты с «Европой», десятилетия тяготевшей надо мною парадными заплатами своей культуры. Я отважился заглянуть во «внутренние покои». Я нашел там буржуа. Я размахнулся взорвать его руками моего Аваланша, анархиста, который сам буржуа, только мелкий и «взбесившийся». Что же, не знаю я, что лишь пролетарская революция может ликвидировать мир частной собственности? Знаю. Что Аваланши занимаются лишь вспышкопускательством, что они лишь *пиротехники*, что их акты не более чем фейерверк, что Агни, огонь, «поборающий тьмы», поворачивает к ним *смеющееся* лицо? Знаю. Но все-таки мой герой лишь анархист-одиночка, а не пролетарий, и действие поэмы происходит не в нашу, пропитанную нитроглицерином мировых войн и мировых революций эпоху, а в «захолустные» девяностые годы. Почему? Потому что, задумав ряд историко-революционных поэм, я чувствовал, что еще не смог бы с надлежащей конкретностью изобразить развертывание и реализацию революционной воли *класса*

(От автора. С. 4). Вл. Никонов в рецензии на *Пл* назвал «Пиротехника» «попыткой не только вырваться из некогда милого ему <Шенгели – В.Р.> мира, но и взорвать его», усмотрев основной недостаток поэмы в том, что «бунт Аваланша при полном сочувствии автора ограничен, направлен не против эксплуатации класса классом, а только против гниения старой культуры»; весьма некомплиментарно отозвался критик о стилистических особенностях поэмы:

Приподнятый пятистопный анапест придает поэме величаво-трагический колорит. Тяжеловесность ее усиливается словарем. Она переполнена доступными немногим ассоциациями, избытует иностранными словами. <...>

Но смесь полуиностранных и иностранных слов в таком количестве порой уже не передает местного колорита, напоминает лексикон мятлевской madame de Kourdukoff.

И даже контрасты остаются всё в том же кругу: «хлорозные эльфы», «синие скинии газа». Чтобы разбить эту дурную усложненность, поэт прибегает к принципу, которым в аналогичном положении пользуется П. Антокольский с тем же неуспехом: ткань омертвело го языка прорывается грубым вульгаризмом, резко прозаическим словом, подчас ругательством <...>. Эти выражения, диссоциирующие и с ритмическим строением, и со словесным окружением, не способствуют борьбе контрастов, а порою просто оскорбляют читателя <...> Думается, что это – такая же линия наименьшего сопротивления, как и школьническая аллитерация «гренадеры гранаты Гренады громят»

(Формула перехода // Книга и пролетарская революция. 1936. № 4. С. 102; см. также в преамбуле к разделу «Планер», т. 1, с. 649). А. Лейтес в отзыве на *Пл*, также отметив, что «лексика поэмы перенасыщена столь же изысканной, сколь и безвкусной терминологией, <...> “шикарными” словечками», резюмировал:

Автор, желая подчеркнуть, что он неодобрительно относится к своему герою Аваланшу, назвал его пиротехником. По сути же в роли пиротехника выступает и сам автор. В погоне за фальшивым блеском автор нагрузил поэму умопомрачительным количеством эпиграфов. <...> Сам текст переполнен псевдонаучной бутафорией, окололитературными реминисценциями, пропитан затхлой книжной пылью

(Литературное обозрение. 1936. № 11. С. 22). Даже А. Белецкий характеризует поэму скорее как неудачную:

Гипертрофия образности, нагнетание впечатления натуралистическими деталями, клопочущий внутри и вырывающийся наружу проклятиями гнев поэта заставляют невольно вспомнить инвективу Артюра Рэмбо «Париж заселяется снова» – образ буржуазного Парижа, «налаживающего жизнь» после разгрома Коммуны. Отдельным местам «Пиротехника» нельзя отказать в подлинной сатирической силе, и всё же справедливость требует признать, что перенесение приемов *лирической* сатиры Рэмбо в план большого – *фабульного* – стихотворения ослабило в целом впечатление, которое могла бы произвести поэма. Одиноко протестующий голос Аваланша не внушает нам непоколебимой уверенности в конечном торжестве «правды». Одиночество этого голоса снижает пафос заключительных слов его речи на суде

(Ис. С. 9–10). Следует отметить, что в «Пиротехнике» Шенгели впервые использовал композиционную модель, впоследствии примененную в поэме «Повар базилевса» и описанную в послесловии к ней: «все обстоятельства повествования, до мелких подробностей, правдивы как разрозненные факты и вымышлены как комплекс» (см. с. 647). *Этиграф 1* – из ст-ния «Клянись четой и нечетой...», № I в цикле «Подражания Корану» (1824). *Этиграф 2* – из ст-ния «В огне и холоде тревог...» (1911). *Этиграф 3* – источник не установлен.

I. Этиграф – из ст-ния «Пляска смерти» («Danse macabre»). *Мазагран* – коктейль из сладкого кофе со льдом и коньяком. ...*как тень Шамиссо* – аллюзия на новеллу немецкого писателя-романтика Адельберта фон Шамиссо (1781–1838) «Удивительная история Петера Шлемия» (1814), главный герой которой продал дьяволу свою тень за бездонный кошелек и из-за отсутствия тени был отвергнут окружающими. ...*уйдя в исключительный транс водолаза / (Перед кем щегольнула гиэна морская, мокой)* – аллюзия на перевод баллады Ф. Шиллера «Нырлящик» («Der Taucher», 1797), выполненный В.А. Жуковским под названием «Кубок» (1831): «И смертью грозил мне, зубами сверкая, / Мокой ненасытный, гиена морская»; мокой – акула.

II. Этиграф – из сонета «Золоченая вельнь» («Vélin doré»). *Опоек* – шкура телят возрастом до 3 месяцев. *Лоти* Пьер (наст. имя и фам. Жюльен Вио; 1850–1923) – французский офицер флота, автор экзотических романов. *Марокен* – тисненый сафьян.

III. Этиграф – из ст-ния «C'est à coups de canon qu'on rend le peuple heureux...» из сб. «Четыре ветра духа» (Les quatre vents de l'esprit, 1881); см. поэтический перевод: Гюго В. Избранные стихи / Пер. Г. Шенгели. М.: ГИХЛ, 1935. С. 296. *Сулла* Луций Корнелий (138–78 гг. до н.э.) – древнеримский военачальник, диктатор, оставшийся в истории как жестокий тиран. *Гармодий* – афинский тиранубийца (VI в. до н.э.).

IV. Этиграф – из ст-ния «Le ciel est, par-dessus le toit...» из сб. «Мудрость» (Sagesse, 1880); см. поэтический перевод: *Верлен*. С. 81.

V. Этиграф – из трактата «Физиология вкуса» («Physiologie du goût», 1825). *Катрвэнкю* – возможно, неологизм (фр. Quatre-vingt-culs), русским эквивалентом которого было бы нечто вроде «Восьмидесятижоп». *Ликей*, лицей – в древних Афинах гимнасий в роше близ храма Аполлона Ликейского; последователи учившего в Ликее Аристотеля получили прозвище «перипатетики» (*ερεχ. Περιπατητικοί*, те, кто прогуливаются), поскольку Аристотель любил обучать и рассуждать, прогуливаясь по роше. *Эльзевиры* – издания семьи Эльзевир, знаменитых голландских книготорговцев, издателей и печатников XVI–XVIII вв. *Альды* – издания XV–XVI вв. венецианской типографии Альдо-Мануччи и его потомков.

VI. Заглавие – площадь перед парижской ратушей Отель-де-Виль, где размещаются муниципальные органы власти. До конца XVIII в. на пло-

шадя проводились публичные казни: здесь стояли виселица, позорный столб, а в 1792 г. впервые была использована гильотина. С 1803 г. – Плошадь Отель-де-Виль. *Этиграф 2* – из ст-ния «Турнир короля Иоанна» (Les ras d'armes du roi Jean) из сб. «Оды и баллады» (Odes et ballades, 1826); см. поэтический перевод: Гюго В. Избранные стихи / Пер. Г. Шенгели. М.: ГИХЛ, 1935. С. 39. *Дейблер Луи* (1823–1904) – главный палач Франции в 1879–1898 гг., казнил не менее 259 человек, среди которых – Равашоль.

VII. Этиграф – из ст-ния «Все бегут» («Tout s'en va») из сб. «Возмездие» (Les châtements, 1853); см. поэтический перевод: Гюго В. Возмездие / Пер. Г. Шенгели. М.: ГИХЛ, 1953. *Кавеньяк Луи-Эжен* (1802–1857) – генерал, главный организатор расправы над рабочими во время подавления Июньского восстания 1848 г. *Баденге* – насмешливое прозвище Наполеона III по имени каменщика, в робе которого он в 1846 г. бежал из заключения в Гамской цитадели. *Мак-Магон Патрис де* (1808–1893) – маршал, президент Франции в 1873–1879 гг. *Пустяки, что когда-то поэт с развсроченным брюхом / Ткнулся носом в сусроб...* – прозрачный намек на то, что герой главки – Жорж Дантес (1812–1895), французский офицер и политик, смертельно ранивший на дуэли А.С. Пушкина.

VIII. Этиграф – из статьи «Кухня» («Cuisine») в «Словаре для беседы и чтения» («Dictionnaire de la conversation et de la lecture». Т. XVIII. 1835). *Там, на Марсовом поле...* – на указанном месте Всемирная выставка проходила в 1867 г.

IX. Заглавие – персонажи романа В. Гюго «Ган Исландец» (1823): Спигудри – сторож морга, Оглипиглап – его помощник. *Этиграф* – из ст-ния «Парижский ноктюрн» («Nocturne parisien») из сб. «Сатурнические стихотворения» (Poèmes saturniens, 1866). *Ипошли Тенардьё...* – отсылка к роману В. Гюго «Отверженные» (Les misérables, 1862): простолоудинка Фантина, вынужденно оставив свою дочь Козетту на попечение жестоких трактирщиков Тенардьё, устраивается на швейную фабрику бывшего каторжника Жана Вальжана, откуда ее выгоняют по доносу; впоследствии Вальжан, исполняя обещание, данное им случайно встреченной умирающей Фантине, берет на себя заботу о Козетте.

X. Этиграф – из ч. II трагедии «Фауст» (Faust, 1832). *Талебран-Перигор Шарль Морис де* (1754–1838) – министр иностранных дел Франции при трех режимах, мастер политической интриги, чье имя стало нарицательным для обозначения ловкого циничного дипломата. *Макадам* – дорога с щебеночным покрытием, названа по имени ее разработчика, шотландского инженера-дорожника Джона Макадама (1756–1836).

XI. Этиграф – из поэмы «Революция» («La révolution») из сб. «Четыре ветра духа» (Les quatre vents de l'esprit, 1881); см. поэтический перевод: Гюго В. Избранные стихи / Пер. Г. Шенгели. М.: ГИХЛ, 1935. С. 299. *Омбрель(ка)* – зонт от солнца. *Блонды* – кружево из шелка-сырца золотистого (естественного), а также белого или черного цвета. *Пуассардка* (фр.

poissarde) – торговка. *И под старую аркой, что видела бешенство Фронды...* – ворота в форме арки, ведущие на территорию больнично-тюремного комплекса Сальпетриер (см. далее); в ночь с 3 на 4 сентября 1792 г. Сальпетриер штурмовала толпа из рабочих кварталов, 134 проститутки было освобождено, 25 душевнобольных женщин, закованных в цепи, выволокли на улицу и убили. *Селитренный двор* (фр. Salpêtrière) – больница Сальпетриер в Париже, построенная во второй половине XVII в. на месте пороховой фабрики; возводилась по указу Людовика XIV как богадельня, служила приютом для душевнобольных, невменяемых, эпилептиков и т.п., позднее к ней пристроили тюрьму для проституток. *«Королева Помаре»*, *Ригольбош* – в авторских сносках в *ИС* эти персонажи характеризуются как «известные кокотки», хотя могут быть истолкованы и как душевнобольные, вообразившие себя, соответственно, королевой Таити и исполнительницей канкана. *Лефшош* – французский шпилечный револьвер, модель 1853 г. стала первым в мире армейским револьвером.

XII. Эпиграф – из «Метаморфоз» (VII, 271–274). *Кантариды* – препараты, содержащие кантаридин, ядовитое вещество шпанских мушек; использовались для усиления полового влечения. *Лазурный Экспресс* – ночной экспресс, курсировавший с 1886 г. между Кале и Французской Ривьерой; по цвету вагонов в обиходе (с 1920 г. официально) именовался «Голубой (синий) поезд» (фр. Le train bleu). *Целебес* – традиционное европейское название Сулавеси, одного из островов Индонезии.

XIII. Эпиграф – из ст-ния «Утренние сумерки» («Le crépuscule du matin»).

XV. Эпиграф – из трактата «Физиология вкуса» («Physiologie du goût», 1825).

XVI. Заглавие – чугунный мост через Сену, открытый в 1861 г.; назван в память о победе в битве при сардинской деревушке Сольферино, произошедшей 24 июня 1859 г. между объединенными войсками Франции и Сардинского королевства против австрийской армии; в 1961 разрушен, ныне на его месте стальной пешеходный мост, с 2006 г. носящий имя первого президента Сенегала Леопольда Седара Сенгора. *Эпиграф* – из поэмы «Революция» (см. примеч. к гл. XI). *«Тото»* (воен. арг.) – вошь. *«Вдова»* – гильотина.

XVII. Эпиграф – из трагедии «Гораций» (1639). *...верхнее «до» нам Кубелик бросает в глаза...* – в данном случае «до» четвертой октавы, верхний предел стандартного диапазона скрипки. *Кубелик* Ян (1880–1940) – чешский скрипач-виртуоз и композитор; гастролировал с 1898 г. *Батавская слезка* – капля расплавленного стекла, застывшая в холодной воде в виде шарика с длинным изогнутым хвостиком; выдерживает удары большой силы, однако мгновенно превращается в порошок, если отломить хвостик. *Две пятерки ~ против семи и туза* – описывается банковская карточная игра баккара (см. ст-ния «Зеленый стол», «Знаешь тайну баккара?..», т. 1,

с. 59, 472), цель которой – набрать комбинацию карт числом очков 9 или как можно ближе к 9-ти; семь и туз в сумме дают 8 очков, две пятерки – 0, т.к. десятки при счете отбрасываются. Не вполне ясно, почему далее идет речь о самоубийстве банкомета: по правилам, игрок имеет право скинуть подобную комбинацию и прикупать снова. *Лефаше* – см. примеч. к гл. XI.

XVIII. *Entre-mets*, антреме (*фр.* *entre* – между, *mets* – блюдо) – блюда, подаваемые между основными или перед десертом, задача которых – нейтрализовать или заглушить вкус предыдущего блюда; чаще всего это овощи (салаты, рагу) или выпечка.

XIX. *Этиграф 1* – из трактата «Физиология вкуса» («*Physiologie du goût*», 1825). *Этиграф 2* – из ст-ния «Разрушение» («*La destruction*»). *Растаквер*, растакуэр (*фр.* *rastaquouère*) – прожигатель жизни, авантюрист. *Сальнетриер* – см. примеч. к гл. XI. *Бисетр* – больница к югу от Парижа; задумывалась Людовиком XIII как госпиталь для инвалидов войны, открылась в 1642 г. как сиротский приют, одновременно служила как тюрьма, больница и приют для душевнобольных. *Муций*, Гай Муций Сцевола – легендарный римской герой; в 509 г. до н.э., схваченный при неудачной попытке убить осаждавшего Рим этрусского царя Ларса Порсенну, в знак неустрашимости положил правую руку на жертвенник и держал ее в огне, пока она не обуглилась, за что был отпущен на свободу и получил прозвище Сцевола (*лат.* *scaevola* – левша).

XX. *Этиграф* – из ст-ния «*La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse...*».

XXI. *Этиграф* – из ст-ния «*Mon Dieu m'a dit : Mon fils, il faut m'aimer. Tu vois...*» из сб. «Мудрость» (*Sagesse*, 1880). *Ласенер* Пьер-Франсуа (1803–1836) – преступник, автор песен и мемуаров, в которых изобразил себя как «жертву общества»; казнен за убийство своего сообщника и его матери. *Лувель* Луи-Пьер (1783–1820) – рабочий; казнен за убийство 13 февраля 1820 г. в Париже герцога Беррийского, сына наследника французского престола. *Пранцини* Анри (1857–1887) – авантюрист; казнен за убийство трех женщин. *Дейблер* – см. примеч. к гл. VI.

XXII. *Этиграф* – из поэмы «Революция» (см. примеч. к гл. XI). *Бурак* – наземное пиротехническое изделие в виде картонной гильзы, выбрасывающей вверх один или несколько *швермеров* – фейерверочных ракет, оставляющих зигзагообразный огненный след. *Агни* – индийский бог огня.

- С. 82. * **Гарм.** Фрагменты: 1) 30 дней. 1938. № 12 – ст. 623–719, под загл. «Боевой эпизод». Опечатка – ст. 681: «в плоть» вм. «вопл»; 2) *Ватан* – ст. 54–312, под загл. «Вступление к поэме».

Автографы: 1) *Панцирь*; ст. 277 пропущена, из-за чего ст. 276 («Столетний тысячу назад») ни с чем не рифмуется; 2) РГАЛИ. 7.41–52об. Помета: «Середина марта – 7 апр. 1937 г. Этой поэмой заканчивается: 1) двадцать пятый год моей работы над стихами; 2) сорок третий год моей жизни;

3) пятнадцатый год моего пребывания в Москве. Моя “Полтава” – есть!». Включено в *ЛиП*.

Впервые полностью: *ВЖ*.

Печ. по автографу 1; ст. 277 восстановлена по *Ватан*.

В основе сюжета – вторжение на территорию Советского Таджикистана отряда басмачей во главе с бывшим каратегинским беком Фузайлом (Фузайли) Максумом в апреле 1929 г. Возможно, одним из источников сведений послужила Шенгели книга Б. Лапина «Набег на Гарм: Хроника» (М.: Федерация, 1931).

Кунган, кумган – узкогорлый кувшин с носиком, ручкой и крышкой. *Антиклиналь* – складка пластов горных пород в виде выпуклого изгиба. *Джугара* – хлебный и кормовой злак рода сорго. *Тут Македонец вел фаланги* – см. примеч. к ч. 3 триптиха «Туркмения» (т. 1, с. 656). *Роксана* (342–309 до н.э.) – бактрийская княжна, жена Александр Македонского. *Уже плыл в Индию де-Гама* – первое путешествие Васко да Гама в Индию состоялось в 1497–1499 гг. *Голь-муск* – мускусная роза. *Мирав* – тот, кто ведает оросительной системой и порядком пользования водой в маловодных районах. *Чайрикер* – батрак, издольщик. *Сарбаз* – солдат-пехотинец. *Богадур*, багатур – почетный титул у монгольских и тюрских народов, присоединяемый к личному имени и означающий «герой», «доблестный воин»; в данном случае титул хана или эмира. *Байгуш* – нищий. *Зиндон*, зиндан – подземная тюрьма-темница. *Кала-и-хумб*, Калаи-Хумб – село в Таджикистане, в 1878–1920 гг. центр Дарвазского бекства Бухарского эмирата. *Йомуды*, соллары (салоры) – туркменские племена. *Арк* – древняя цитадель в Бухаре, оплот последних эмиров. *Аманулла* – Аманулла-хан (1892–1960), правитель Афганистана в 1919–1929 гг. *Мата* – хлопчатобумажная ткань. *Арча* – можжевелник. *Тал* – ива. *Мазар* – мавзолей святого. *Дивона*, девона (*фарс.* одержимый дэвами) – сумасшедший, юродивый. *Арбакеш* – водитель арбы, извозчик. *Клыч* – шашка. *Энвер* – Энвер-паша (1881–1922), османский военный и политический деятель, в 1921–1922 гг. один из руководителей басмаческого движения. *Аскер* – солдат. *Сурхоб* – река Вахш. *Богара*, Богарные поля – земли, чаще всего на подгорных равнинах и окраинах оазисов, на которых культуры возделываются без искусственного орошения (противоположность – *поливные*). *Пименов Павел Кузьмич* (1903–1929) – оренбургский казак; в 1925 г. принял ислам, в отряде Фузайла Максума был на положении второго начальника; расстрелян по приговору советского трибунала. *Кяфир*, кафир – неверующий, иноверец (с точки зрения мусульман). *Томаша* – представление с песнями и плясками. *Бача* – женоподобный юноша-танцовщик, занимавшийся проституцией. *Хауз* – искусственный водоем для чистой воды. *Улем*, алим – признанный авторитетный знаток различных аспектов ислама. *Анабазис* – военный поход по недружественной территории. *Бахши* – народный певец. *Камуфлет* – взрыв под землей, без образования воронки.

С. 112. * **Ушедшие в камень.** Новый мир. 1937. № 9; в конце текста дано «Объяснение местных и жаргонных слов и специальных терминов», частично использованное в примечаниях ниже. – *ИС*.

Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 262–292; РГАЛИ. 7.60–90 – авторская книга (машинопись); помета в конце: «18/V 1937, Москва»; 2) ГЛМ. 2.6.1–32 – машинопись с правкой, дата: «Май 1937»; редакция *ИС*, без финала; 3) РГАЛИ. 7.17–24.

Печ. по автографу 1, датируется по автографу 3.

См. сюжетно соответствующий поэме фрагмент романа-хроники «Черный погон» в примеч. к поэме «Поручик Мертвецов» (с. 622). *Этиграф* – из неизвестного ст-ния. ...*на горе музей, / Дсрически крeкрасный...* – Музей древностей на горе Митридат размещался в здании, возведенном для него по образцу античного храма; см. ст-ние «Порт Св. Иоанна» и примеч. к нему (т. 1, с. 152, 632). *Федько* Иван Федорович (1897–1939) – военачальник, в 1919–1920 гг. командующий различными подразделениями РККА в Крыму. *Гогенцоллерн* – Вильгельм II (1859–1941), последний германский император и король Пруссии. *Габсбург* – Карл I (1887–1922), последний император Австро-Венгрии, король Чехии и Венгрии (1916–1918). *В лесу Компъенском...* – 11 ноября 1918 г. в Компьенском лесу между Германией и Антантой было заключено соглашение о прекращении военных действий; премьер-министр Франции Жорж Клемансо в переговорах не участвовал. *Носке* Густав (1868–1946) – правый социал-демократ, военный министр республиканского правительства; в январе 1919 г. в Берлине под его руководством было жестоко подавлено т.н. Восстание спартакистов, намеревавшихся провозгласить советскую власть. *Кун* Бела (1886–1938) – основатель Венгерской коммунистической партии, которая 21 марта 1919 г. провозгласила Венгерскую советскую республику, павшую через 133 дня. *Лсуренс* Томас Эдвард (1888–1935), известный как Лоуренс Аравийский, в марте 1920 г. сыграл важную роль в возведении на сирийский трон арабского эмира Фейсала, будущего короля Ирака Фейсала I. *Лавров* Петр Лаврович (1823–1900) – социолог, философ, идеолог народничества; лавризм сыграл некоторую роль в подготовке первых эсеровских кружков в России. ...*где галеры / На якорь ставил Петр* – Петр I прибыл к берегам Керчи (находившейся в составе Османской империи) с первой русской эскадрой 18 (28) августа 1699 г. ...*пращур мой* – / *Сувров* – ср. в «Хронологической канве»: «Мой прапрадед по материнской линии, Чернявский, был екатерининским генералом и, по семейному преданию, приходился родственником Суворову, почему в моей поэме “Ушедшие в камень” я и дерзнул назвать последнего “мой пращур”» (РГАЛИ. 220.2). *Желябов* Андрей Иванович (1851–1881) – революционер-народник; в 1869 г. окончил с серебряной медалью Керченскую Александровскую мужскую гимназию; после убийства Александра II 1 (13) марта 1881 г. имя Желябова как одного из организаторов покушения было стерто с гимназической доски почета. *Винавер*

Максим Моисеевич (1863–1926) весной 1919 г. был министром внешних сношений Крымского краевого правительства. *Развинченные выходы лакея...* – намек на А.Н. Вертинского, в 1919–1920 гг. выступавшего на Украине и в Крыму, и на его песню «Лиловый негр». *Элои* – вымышленная гуманоидная раса из романа Г. Уэллса «Машина времени» (1895), потомки буржуазии, зависящие от живущих под землей *морлоков* – потомков рабочих. «*Цинка*» – ящик из оцинкованного железа для хранения и переноски боеприпасов. *Венцерада* – непромокаемый плащ из пропитанной олифой парусины. «*Нахаловка*» (Невенчанная горка) – условный район Керчи на северном склоне Митридата. *Мангалка* – переносная печка; обычно – ведро, обмазанное изнутри глиной, куда вставлены колосники, и с пробитым для поддувала боком. *Дыбенко* Павел Ефимович (1889–1938), революционер, военный деятель; в 1919 г. командующий советскими войсками в Крыму. *Карсабан* (*тур.* черная соха) – вспаханная под пар земля. «*отправят в штаб / Духонина*» – т.е. расстреляют; выражение распространилось после того, как генерал Н.Н. Духонин (1876–1917), отстраненный от должности Верховного главнокомандующего и объявленный врагом народа, был убит толпой революционно настроенных солдат и матросов.

- С. 137. **В дежурке.** Автограф: Собрание А.В. Маринина – машинопись с правкой.

Фрагмент: *Биография.*

Поэма написана в период сотрудничества Шенгели в литературно-художественном сборнике «Моя милиция» (М., 1939), в котором опубликован его очерк «Отступление ночи» об успехах Московского уголовного розыска. Отметим, что еще в 1924–1927 гг. Шенгели писал в газете «Гудок» судебные очерки под псевдонимом А. Трель (Автобиография. <1955> // Собрание А.В. Маринина). *Холодный сапожник* – сапожник, работавший с примитивными приспособлениями прямо на улице («на холоду»). *Циклотимик* – личность с многократной волнообразной сменой состояний возбуждения и депрессии.

- С. 146. **Сталин. Эпический цикл.** Фрагменты: 1) Киргизстан. 1943. Кн. 4, темы VIII и X; 2) Наш современник. 2006. № 3, публ. С.С. Куняева; темы IX (не полностью) и XI, без загл., разграничены строкой точек; 3) *Биография*; фрагменты тем I и IX.

Автографы: 1) ГЛМ. 1.14.1–104 – авторская книга (машинопись); 2) ГЛМ. 2.9 – авторская книга (машинопись), под загл. «Эпический цикл»; ранняя редакция; 3) ГЛМ. 2.8.1–149 – машинопись с правкой, под загл. «Эпический цикл»; ранняя редакция; 4) РГАЛИ. 9.2–24 – черновой; помета: «Конец!! 7/У 39. 19 ч. 32 мин. Москва. 2428 полных строк». Включено в *Панцирь* (темы IX–XII, XIV, XVIII) под загл. «Из “Эпического цикла”». Включено в *ЛуП* (темы I–VIII, XII–XV) под загл. «Эпический цикл (поэмы)».

Печ. по автографу 1.

О замысле цикла Шенгели упоминает в предисловии к *Пл*, характеризуя его как «ряд историко-революционных поэм» (см. в преамбуле к поэме «Пиротехник», с. 627); также в начале ст-ния «Поздно, поздно, Георгий!..» (т. 1, с. 276) речь явно идет об этой поэме. 29 мая 1950 г. в письме к Л.П. Берия Шенгели, прося ознакомиться с поэмой и «сообщить о ней И.В. Сталину, – если она покажется Вам достойной того», подробно изложил историю попыток ее опубликовать:

Закончив поэму, я предложил ее к изданию в Гослитиздат, возглавленный тогда т. Чагиным. Ознакомившись с поэмой, т. Чагин выразил сомнение в возможности ее напечатания ввиду того, что она очень сложна и «очень остра», особенно в первой главе, где я говорю о типичных для старого интеллигента идейных блужданиях, в конце которых безвозвратно кристаллизуется коммунистическое мировоззрение, и в предпоследней, где я «ворошу» судебные процессы вредителей. Т. Чагин сказал, что нужна предварительная санкция директивных органов.

Я обратился в Агитпроп ЦК. Тов. Поспелов, тогда возглавлявший это Управление, вызвав меня к телефону, высказался о поэме *крайне лестно*, оговорив, что желательны некоторые уточнения, и обещая вызвать меня для личной беседы. Последнее не осуществилось, ввиду ухода т. Поспелова в «Правду», – а спустя длительный срок меня пригласили в ЦК к одному из инструкторов (фамилии которого я не знаю). Этот товарищ повел со мною чрезвычайно странный разговор: «поэма трудна для чтения», «колхозник и рабочий ее не поймут», «поэма совсем не похожа на те, к которым мы привыкли», «слишком резко говорится о капиталистических странах», «автомобиль Форда не хуже наших», «ВКП сравнивается с организацией масонов» (?!?) и т. п. Вывод: «печатать пока нельзя, – работайте, упростите». Мне стало ясно, что этот товарищ мало что понял в поэме и явно был испуган, встретив непривычное по стилю, тону и манере произведение.

Вскоре началась война. В 42 г. <ошибка, в 1943 г. – *В.Р.*> мне удалось напечатать в альманахе «Киргизстан» две главы («Лицо вождя» и «Искусство восстания»). В этой связи интересен следующий случай: ко мне пришел курсант Фрунзенской летной школы Николай Смирнов, сказавший следующее: «Мы в школе читали вашу поэму, рассердились на вас за то, что в ней множество слов, которых мы не знаем, взяли словарь, разобрались, – и теперь полшколы знает вашу вещь наизусть». Это бесхитрое и, возможно, излишне любезное сообщение показало мне, что поэма, действительно рассчитанная на высокоинтеллигентного читателя, может дойти и до читателя среднего.

После войны я неоднократно разговаривал в Гослитиздате об издании поэмы. Но руководители издательства, тт. Чагин, Головенченко, Котов неукоснительно отвечали мне: «Подождем, пусть выскажется общественность»; «Пропустите через журнал» и пр. Явно было, что эти тт. не желают взять на себя ответственность. Я попытался обратиться в журнал «Октябрь», послав туда две главы («Пять шестых мира» – о капиталистическом мире и «Братство народов»); т. Санников вернул мне рукопись, сказав, что «сейчас не время для таких поэм» (!!) и что у меня есть «грубо натуралистическая строчка» (!!). Я хотел организовать чтение поэмы в Секретариате Союза сов<етских> писателей или в Секции поэтов, членом коей состою, но и т. Фадеев, и председатели Секции тт. Инбер и Щипачев не пошли мне навстречу: «Хорошо, хорошо, но сейчас все вечера заняты; поговорим потом». Совсем недавно я обратился к одному из секретарей, т. Суркову; ответ: «Хорошо, я скажу Щипачеву», – но прошел месяц, и ничего не было сказано...

Таким образом, поэма лежит омертвленной.

Причины?

Они просты.

Поэма такого тематического диапазона и столь концентрированная философски, да еще связанная с великим именем, по напечатании привлекла бы, вероятно, внимание носителя этого имени; и ход мыслей у глушителей поэмы, примерно, таков: «Если мы ее одобрим, заслушав, и напечатаем, а она не понравится, – будет нехорошо; если мы ее не одобрим, но автор добьется внимания свыше, и она понравится, также будет нехорошо; поэтому лучше ни одобрять ее, ни не одобрять, а отмалчиваться, делать вид, что этой поэмы нет». Тактика «перестраховки» и нежелания взять на себя ответственность налицо.

Между тем поэма могла бы прозвучать сильно и убедительно, особенно для зарубежного читателя (если бы ее перевели), ибо вопросы поставлены в ней во весь рост, остро и с привлечением богатого исторического материала; поэма эта не панегирик, а *исследование!*

(*Минувшее*. С. 280–282; исправлено по оригиналу: РГАЛИ. 108.1–2). К упомянутому П. Поспелову, в 1949–1952 гг. занимавшему пост директора Института Маркса-Энгельса-Ленина, Шенгели обратился в 1951 г. с просьбой о рассмотрении поэмы на базе Института (см.: *Биография*. С. 394–396). Ни то ни другое обращение последствий не имело. 13 марта 1952 г. развернутый отзыв о поэме дал в письме автору И.Л. Сельвинский:

С глубоким волнением прочитал Вашу поэму «СТАЛИН». Ощущение у меня очень сложное. С одной стороны – работа совершен-

но титаническая. Ничего подобного в нашей поэзии сегодня нет. Сравнить ее можно только с «ЛЕНИНЫМ» Маяковского, но она, конечно, абсолютно самостоятельная вещь. Читая отдельные места, особенно в конце поэмы, чувствуешь, что просто шерсть встает дыбом! Колоссальная эрудиция, огромная широта кругозора соперничают в поэме с каким-то чуть ли не библейским пафосом. Такое произведение должно было возникнуть. Страна вполне созрела для такой могучей оды.

Но наряду с этими гигантскими достоинствами поэма страдает однако чудовищным пороком, очень для Вас характерным. Порок этот заключается в невероятной старомодности стиля, отвергнутого еще Пушкиным и так и не вошедшего в русскую традицию. Получается впечатление, будто из гроба встал Жан Ришпен и заговорил по-французски о великой русской революции. Здесь сошлось всё: и александрийский стих, который и сам тяжел, а Вы еще утяжелили его enjambement'ами, и архаические обороты речи, уснащенные сплошь и рядом мифологией, и, наконец, невыносимые перечисления, перечисления, перечисления, в которых тонет и мысль и метафоры, и что также производит впечатление чего-то чуждого, не нашего, не современного. Стих этот пахнет нафталином. Он опрокидывает то важное и нужное, что автор хочет сказать. Отдельные великолепные афоризмы, отточенные сентенции, глубочайшие мысли, прорывающая панцирь музейности, западают в душу, тревожат ум, возбуждают, волнуют, поднимают к вершинам великой поэзии, но потом снова перечисления, перечисления.

Читать поэму трудно, местами просто мучительно. На кого она рассчитана? Злоупотребление ученостью таково, что эрудиция перерастает уже в обжорство терминологией, историческими ассоциациями, датами, именами, названиями, Тиринфами, Меандрами, Гесперидами, Гераклами «всех мастей». Иногда это доходит до дикой безвкусицы: «Категорический императив немецких, английских, белогвардейских пушек». Просто не верится, что это писал большой поэт, человек, который образование получил не как экзотику, а от младых ногтей. В силу всего этого Ваша глубокомысленная поэма (глубокомысленная – в самом подлинном смысле) становится... смешноватой. У автора возникает чудаковатая походка. Сравните со всем этим Вашу вставную главу, написанную от имени туркмена, – и Вы поймете, о чем я говорю. Глава эта композиционно не лезет в поэму. Чувствуется, что писал ее автор по совершенно другому случаю и лишь вмонтировал, но дело сейчас не в этом. Дело в том, что на ту же тему написано стихотворение пусть не новаторским, но по крайней мере таким стихом, который свойственен русскому языку и его поэтической культуре.

Вы, Георгий Аркадьевич, вероятно, со мной решительно не согласитесь, но таково мое впечатление от вещи. Вы загубили ее тем, что с самого начала не продумали стиха, который ляжет в основу Вашей поэтической речи. Получилось раздражающее противоречие между формой и содержанием. И это, к сожалению, непоправимо. Наша общественность такой поэмы не примет, даже если и не сразу разберется, в чем тут дело. Все будут кряхтеть и жаться, мямлить, что-то такое обещать, но поэма не глотается, понимаете? – не глотається, как переваренная печенка.

Как выйти из положения? Не знаю. Будь я издателем (в журнал ее невозможно), я бы ее издал, т.к. она всё же какой-то живой организм, а всё живое вправе требовать свободы. Но это организм уродливый. Есть такие океанские чудища с прекрасного цвета оперением и кошмарным туловищем.

Чтение Вашей поэмы глубоко расстроило меня. По той силе таланта, какую Вы на нее затратили, должна была получиться великая эпопея о великом времени. Но Ваше упрямство, презрение к новизне, брезгливость к опыту молодых жестоко Вам отомстили. Извините меня за резкость, но я очень сердит на Вас, потому что, кроме Вас, никто, повторяю, сегодня такой поэмы написать не в состоянии

(*Биография*. С. 397–400). 17 февраля 1953 г. Шенгели обратился к секретарю Сталина А. Поскребышеву с просьбой направить на обсуждение его работы «авторитетного товарища из Ваших сотрудников, который мог бы объективно оценить как самую поэму, так и дискуссию о ней» (*Биография*. С. 403). Под дискуссией подразумевалось обсуждение поэмы в секции поэтов Союза писателей СССР, намеченное на 25 февраля того же года, ср. дневниковую запись: «3 часа – чтение “Сталина”. Состоялось. Дружно изруган» (*Там же*). Отметим, что и после смерти Сталина Шенгели не оставлял попыток опубликовать поэму: в *ЛитП* она включена с изменением заглавия на первоначальное «Эпический цикл» и изъятием трех «тем», посвященных лично Сталину.

Тема первая: Личная. *Эпиграф 1* – из предисловия к 1-му изд. «Капитала» (1867). *Эпиграф 2* – из ст-ния «Кинжал» (1903). «*Описывай, не мудрствуя лукаво...*» – слова Пимена из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов» (1825). С его «*Восстаньем*» пламезарным – ст-ние Э. Верхарна «Восстание» («*La révolte*») вошло в его сб. «Города-спруты» («*Les villes tentaculaires*», 1895), полностью переведенный Шенгели; см. эпиграфы из него к Темам шестой и тринадцатой. ...*вползали в мой тупик, / Вдвоем, мои расстрелянные братья* – Владимир и Евгений Шенгели, офицеры Добровольческой армии, расстреляны в Крыму 6 и 14 декабря 1920 г. соответственно (Абраменко Л.М. Последняя обитель Крым. 1920–1921 гг. Киев, 2005. С. 303, 323). *Блуминг* – стан для предварительного обжимания сталь-

ных слитков в заготовки квадратного сечения (блумы). *Покровский Михаил Николаевич* (1868–1932) – историк-марксист, общественный и политический деятель, академик; во 2-й половине 1930-х гг. школа Покровского подверглась разгромной критике как «вредительская», его книги были изъяты из обращения.

Тема вторая: Неопровержимо о детях. *Этиграф 1* – одна из речей или статей Энтони Эшли Купера, 7-го графа Шафтсбери (1801–1885), английского политика и филантропа, выступавшего за отмену детского труда на фабриках и в угольных копях. *Этиграф 2* – из ст-ния «Гармония» из сб. «Кипарисовый ларец» (1910). ...в *Гернике фашистский каннибал / Такую же порцию бомбежкой растерзал* – в результате бомбардировки Герники немецким «Легионом Кондор» 26 апреля 1937 г. погибло, по разным подсчетам, от 120 до 2000 человек.

Тема третья: Пять шестых мира. *Этиграф 1* – неточная цитата из «Зимних заметок о летних впечатлениях» (1863). *Этиграф 2* – из работы «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.» (1850). *Бэф-буйи* – отварная говядина. В *бергсоновской durée* – одним из основных понятий философии Анри Бергсона является длительность, переживание времени как единства прошлого, настоящего и будущего.

Тема четвертая: Две евгеники. *Этиграф 1* – из «Капитала» (т. 1, гл. 23: «Всеобщий закон капиталистического накопления»). *Этиграф 2* – из ст-ния «Я пою электрическое тело» («I Sing the Body Electric») из сб. «Листья травы» («Leaves of Grass», 1855). *Футуроманифест болвана Маринетти* – «Манифест футуризма», опубликованный Филиппо Томазо Маринетти (1876–1944) во французской газете «Le Figaro» 20 февраля 1909 г. и положивший начало футуристическому движению. *Вотил другой маньяк, от люэса гния...* – Фридрих Ницше (1844–1900). *Вайтченел* – исторический район Лондона, в викторианскую эпоху место проживания самого бедного населения. *Веддинг* – рабочий район Берлина, известный как «красный Веддинг». *Лириан Клоз* (Клоуз, 1890–1968) – британская киноактриса, победительница конкурса красоты 1908 г.

Тема пятая: Война и они. *Этиграф 1* – из статьи «О национальной гордости великороссов» (1914). *Этиграф 2* – из т.н. «Плача об Уруинимгине», царе шумерского государства Лагаш (III тыс. до н. э.). *Петр Амьенский*, Петр Пустынный – монах-аскет, возглавивший Крестьянский крестовый поход в Святую землю (1096), который предшествовал Первому крестовому походу. *Фуггер* Якоб по прозвищу Богатый (1459–1525) – глава аугсбургского торгово-банкирского дома Фуггеров; оказывал значительную финансовую поддержку династии Габсбургов.

Тема шестая: Война и мы. *Этиграф 1* – из работы «Социализм и война» (1915). *Этиграф 2* – из ст-ния «Восстание» (см. примеч. к Теме первой). *Рах ротана* – период мира и относительной стабильности в Римской империи (27–180 гг.). *Есть на Востоке некий генерал* – Садао Араки

(1877–1966), в 1931–1934 гг. военный министр Японии, идеолог национализма (указано В.Э. Молодяковым).

Тема седьмая: В конце концов – партия. *Эпиграф 1* – из работы «Что делать?» (1902). *Эпиграф 2* – из ст-ния «Утопия» («L'utopie») из сб. «Буйные силы» («Les Forces tumultueuses», 1902). *Эргастул* – в Древнем Риме помещение (как правило, под землей) для содержания в цепях опасных или провинившихся рабов. ...*у трибунала Фэмы*, / *У дуба древнего* – речь идет о фемических судах (фемах), системе тайных трибуналов, появившейся в Вестфалии в конце XII – начале XIII вв.; наиболее часто проводились под сенью деревьев. *Сынки лойоловы* – последователи Игнатия Лойолы (1491–1556), основателя ордена Иезуитов. «*Якушкин обнажал / Цареубийственный кинжал*» – неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 10). Осенью 1817 г. на совещании членов тайного общества «Союз спасения» А.Н. Муравьев высказал мысль о необходимости устранения Александра I и предложил решить жеребьевкой, кому предстоит убить императора; И.Д. Якушкин заявил, что решился принести себя в жертву без жребия, однако на следующий день члены общества пришли к выводу, что смерть Александра I не принесет пользы государству. ...*нарядясь в названья дней недели / По красному календарю Бланки* – группы тайного республиканского «Общества времен года», основанного в 1837 г. Луи-Огюстом Бланки (1805–1881), подразделялись на недели и месяцы, члены общества носили названия дней недели и месяцев; общество прекратило существование после неудачного восстания 12 мая 1839 г. в Париже. *Союз Справедливых* – леворадикальная организация, предшественница социалистических и коммунистических партий мира, основанная в 1836 г. в Париже по инициативе немецкого портного и философа-утописта Вильгельма Вейтлинга (1808–1871). «*народовый ржонд*» (польск. Rząd Narodowy) – главный повстанческий орган власти во время Польского (Январского) восстания 1863 г. *Латифундия* – в Древнем Риме обширное поместье, специализировавшееся на экспортных отраслях сельского хозяйства и экономически зависимое от рабского труда. «*естественный закон*» («естественный порядок») – в представлении шотландского экономиста Адама Смита (1723–1790) рыночные отношения, при которых каждый основывает свое поведение на личных и корыстных интересах, в сумме образующих интересы общества. *Великий тяжкодум* – Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), с именем которого часто связывается понятие *триады* – трехступенчатого развития мышления (тезис – антитезис – синтез). *Фаланстера* (фаланстёр) – в учении утопического социализма Шарля Фурье (1772–1837) дворец особого типа, являющийся центром жизни самодостаточной коммуны (фаланги) из 1600–1800 человек, трудящихся вместе для взаимной выгоды.

Тема восьмая: Голос неотомщенных. *Эпиграф* – из «Песни о Соколе» (1899). *Гоплит* – древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин. *Статир* (статер) – монета, имевшая хождение в различных регионах Древней

Греции. *Астрагал* – игральная кость из позвоночной кости некоторых животных (овцы, слона и др.). *Савмак* – представитель скифской знати, организатор и руководитель государственного переворота в Боспорском царстве (108–107 гг. до н.э.); после его поражения власть над Боспором перешла к Митридату. Искусственную гипотезу о том, что Савмак был рабом, а переворот – восстанием рабов-скифов, выдвинул в 1932 г. академик С.А. Жебелев, подвергшийся в конце 1920-х гг. травле как неподходящий социальный элемент (Фролов Э.Д. Традиции классицизма и петербургское антиковедение // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 8. М.–Магнитогорск, 2000. С. 61–83. URL: <http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1407158801>).
...южным волнам смотр / С военных кораблей впервые делал Петр; На золотой доске тускнела вязь: Желябов – см. примеч. к поэме «Ушедшие в камень» (с. 634). *фра-Дольчино* (ок. 1250 – 1307) – итальянский проповедник, глава секты апостоликов, в 1304 г. поднявшей вооруженное восстание против властей; некогда считалось, что он предвосхитил идеалы Французской революции и социализма. *Гильом* – Гильом Каль, французский крестьянин, предводитель крестьянского антифеодального восстания, известного как Жакерия (1358). *Бол с Тайлером идут повергнуть Лондон в пламя* – речь идет о крестьянском восстании 1381 г. в Англии, также известном как восстание Уота Тайлера (1341–1381), возглавившего поход кентских крестьян на Лондон; в Блэкхите, предместье Лондона, сторонник Тайлера священник-радикал Джон Болл (ок. 1330 – 1381) прочел перед кентцами проповедь, которая легла в основу лозунга повстанцев. *Табсрутты* – радикальное крыло гуситов, религиозного движения, в 1420–1434 гг. воевавшего против власти Римской католической церкви в Королевстве Богемия; среди вождей табсруттов – Ян Жижка (ок. 1360 – 1424) и Прокоп Голый (ок. 1380 – 1434). Во всех автографах в этом месте: «Вот за Гуской и Прокопом» – контаминация имен Яна Жижки и родоначальника движения Яна Гуса (1369–1415). *Георгий Дожа*, Дьёрдь Дожа (1470–1514) – венгерский дворянин, предводитель крестьянского крестового похода против турок, превратившегося в антифеодальное восстание (1514). *Нена Сауб*, Нана Сагиб (1824–?) – индийский аристократ, возглавивший повстанцев при осаде Канпура (1857) в ходе Первой войны Индии за независимость (1857–1859), также известной как Восстание сипаев. *Тайпины поднялись...* – речь идет о Тайпинском восстании (1850–1864), крестьянской войне в Китае против маньчжурской империи Цин и иностранных колонизаторов. *Ямынь*, ямэнь – в имперском Китае резиденция местного чиновника. *Амангельды* – Амангельды Иманов (1873–1919), один из лидеров Среднеазиатского восстания против российских властей (1916).

Тема девятая: Проблема вождя. *Этиграф 1* – из «Лекций по истории философии» (опубл. 1833–1836). *Этиграф 2* – из ст-ния «Александр Великий» (1899). *Гильдебранд* – мирское имя папы римского (с 1073 г.) Григория VII. За отказ признать его папой отлучил от церкви императора Свя-

щенной Римской империи Генриха IV; поскольку из-за отлучения германская аристократия не признавала Генриха, он вынужден был отправиться в Каносский замок, где получил прощение Григория. Путешествие Генриха известно как хождение в Каноссу или Каносское унижение. *Ломброзовский музей* – Музей криминальной антропологии в Турине, основанный в 1898 г. психиатром-криминалистом Чезаре Ломброзо (1835–1909). *Тальма Франсуа-Жозеф* (1763–1826) – французский актер, реформатор театрального искусства. *Таммерфорс* (Тампере) – город в Финляндии, где в декабре 1905 г. на I съезде РСДРП Сталин впервые встретился с Лениным. *Думская Пятерка* – большевистская часть фракции РСДРП в Государственной думе IV созыва (1912–1917); изначально большевиков было шестеро, но в 1914 г. Р.В. Малиновский неожиданно скрылся за границу, за что был исключен из партии и обвинен в дезертирстве. *Мусаватист* – член азербайджанской националистической партии Мусават. *Дашнак* – член армянской социалистической партии Дашнакцутюн. *Бьюкенен Джордж Уильям* (1854–1924) – посол Великобритании в России в годы Первой мировой войны. *Ударники (в тылу) нашли черепа* – Ударные части Русской армии, формировавшиеся весной 1917 г. для прорыва обороны противника и поддержания боевого духа, изначально не имели единой формы и как знак различия носили на фуражках вместо кокарды «адамову голову» – череп со скрещенными костями. *Беролся Савинков за должность палача* – в июле 1917 г., вскоре после возвращения из эмиграции, Б.В. Савинков стал управляющим военного министерства при Временном правительстве, а 27 августа – военным губернатором Петрограда и и.о. командующего войсками Петроградского военного округа; через три дня подал в отставку из-за несогласия с изменениями в политике. *Смельчак безмозглый ~ в тарнопольский провал / Валил дивизии...* – речь идет об Июньском наступлении («наступлении Керенского») 1917 г., блестяще подготовленном, но провалившемся из-за огромных потерь в ударных частях и последовавшего падения дисциплины в войсках.

Тема десятая: Лицо вождя. Эпиграф – из поэмы «Медный всадник» (1833). *Меандр* – бордюрный орнамент из одинаковых прямоугольных сегментов, складывающихся в непрерывную линию. *Критий* (ок. 460 – 403 до н.э.) – афинский государственный деятель; в 404 г., по окончании Пелопоннесской войны, стал одним из членов проспартанской коллегии Тридцати тиранов, чье правление отличалось крайней жестокостью. *Кювье Жорж Лепольд* (1769–1832) – французский естествоиспытатель, натуралист; считается основателем сравнительной анатомии и антропологии. *Лафатер Иоганн Каспар* (1741–1801) – швейцарский писатель, поэт и богослов, своей теорией физиономики заложивший основы криминальной антропологии. *Занд Карл Людвиг* (1795–1920) – немецкий студент, в 1819 г. убивший писателя Августа фон Коцебу, который занимался травлей студенческих организаций; воспет А.С. Пушкиным в ст-нии «Кинжал» (1821). *Чолгош Леон*

(1873–1901) – американский анархист, убийца 25-го президента США Уильяма Маккинли.

Тема одиннадцатая: Слово возмездя. *Эпиграф 1* – из статьи «К критике гегелевской философии права» (1844); указание на Ф. Энгельса как соавтора ошибочно. *Эпиграф 2* – из ст-ния «Трибун» («Le tribun») из сб. «Буйные силы» («Les Forces tumultueuses», 1902); перевод В. Брюсова. *Фасетта*, фасет (нем. Facette, грань) – декоративный скос по краю зеркала, стекла или драгоценного камня. «*жить стало веселей*» – из выступления Сталина на Первом всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. *Пироп* – минерал из рода гранатов.

Тема двенадцатая: Искусство восстания. *Эпиграф 1* – из статьи «О лозунге Соединенные Штаты Европы» (1915). *Эпиграф 2* – из ст-ния «Во мраке» («Dans l'ombre») из сб. «Грозный год» («L'année terrible», 1872). *Андерсенов мат* – имеется в виду немецкий шахматист Адольф Андерсен (1818–1879), глава комбинационной школы. *Карпантье Жорж* (1894–1975) – французский боксер. ...*кровь на гальке Березани* – 6 (19) марта 1905 г. на острове Березань были расстреляны руководители восстания на крейсере «Очаков», в т.ч. лейтенант П. Шмидт. *Гочкис* – см. примеч. к поэме «Поручик Мертвецов» (с. 622).

Тема тринадцатая: Гражданская война. *Эпиграф 1* – из доклада ЦК на 1-м заседании IX съезда РКП(б) 29 марта 1920 г. *Эпиграф 2* – из ст-ния «Восстание» (см. примеч. к Теме первой). *Испытанный бомбист, эсеровский Печорин* – намек на Б.В. Савинкова. ...*великий маг халтуры* – намек на Л.Д. Троцкого.

Тема четырнадцатая: Философия машины. *Эпиграф 1* – из письма А.С. Суворину от 27 марта 1894 г. *Эпиграф 2* – из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». «*Путиами Каина*» – поэтический цикл М. Волошина; речь идет о входящем в него ст-нии под загл. «Машина» (1922). *Блерио* – самолет производства компании Blériot Aéronautique, основанной пионером авиации Луи Блерио (см. ст-ние «Блерио» и примеч. к нему, т. 1, с. 303, 667). *Телема* – Телемское аббатство в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», представляющее собою утопический идеал.

Тема пятнадцатая: Воскресшая земля. *Эпиграф* – из романа «Воскресение» (1899). ...*подлиповцев неискрупленный стон* – имеется в виду очерк из жизни бурлаков «Подлиповцы» (1864) Ф.М. Решетникова.

Тема шестнадцатая: Братство народов. *Эпиграф* – из международного пролетарского гимна «Интернационал» (1871). *Стэнли* Генри Мортон (1841–1904) – британский журналист, путешественник; в 1879–1884 гг., исследуя регион бассейна Конго, содействовал бельгийскому королю Леопольду II в захвате земель, в 1885 г. составивших «личное владение» короля – Свободное Государство Конго. *Китченер* Герберт (1850–1916) – британский военный деятель; 2 сентября 1898 г., командуя англо-египетским

экспедиционным корпусом, разгромил армию суданских повстанцев (махдистов) в сражении при Омдурмане (ныне пригород Хартума), в результате чего получил титул барона Хартумского и стал генерал-губернатором Судана. *Монтобан* – Шарль Кузен-Монтобан (1896–1878), французский военный деятель; в октябре 1860 г. на исходе Второй опиумной войны, английскими и французскими войсками под командованием Дж.Х. Гранта и Кузена-Монтобана соответственно был сначала разграблен, а затем разрушен дворцово-парковый комплекс Юаньминьюань (Старый летний дворец) в Пекине. *В Седане плюху съест...* – во время Франко-прусской войны Шарль Кузен-Монтобан занимал пост премьер-министра Франции с 9 августа по 4 сентября 1870 г. (всего 24 дня); вынужден был бежать в Бельгию после битвы при Седане 1 сентября 1870 г., в которой французские войска потерпели сокрушительное поражение, а император Наполеон III попал в плен. *Вальдерзе* – Альфред фон Вальдерзее (1832–1904), прусский генерал-фельдмаршал, в 1900 г. назначен командующим международными силами для подавления Ихэтуаньского (Боксерского) восстания; германские войска, не успев принять участие в сражениях, предприняли под командованием Вальдерзее несколько карательных экспедиций для усмирения повстанцев. *«герлен»* – духи французского дома парфюмерии Guerlain. *«Среди земных утех / Стремленье к знанию – сладчайшая из всех»* – на самом деле надпись гласит: «Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина и мусульманки» и расположена над входом в медресе Улугбека в Бухаре, а не в Самарканде. *Джеста*, жеста – разновидность эпической поэмы во французской литературе (XII–XIII вв.); самая знаменитая жеста – «Песнь о Роланде». *Турольдус*, Турольд – предположительное имя автора «Песни о Роланде». *Фитцджералд* Эдвард (1809–1883) – английский поэт, известный прежде всего поэтическими переложениями рубаи Омара Хайяма.

Интерлюдия: Проект письма. Главка является позднейшей вставкой (по содержанию и наличию фрагментов переводов из Махтумкули – не ранее 1944 г.). *Эпиграф* – неточная цитата из ст-ния «Служителю муз» (1907) из сб. «Все напевы» (1909). *«В стенах, где Хизр ходил...»* – из ст-ния Махтумкули «Птица счастья» в переводе Шенгели. *«в битве горячей во имя народа джигит...»* – из ст-ния Махтумкули «Различия» в переводе Шенгели.

Тема семнадцатая: На весах жизни. *Эпиграф 1* – из «Песни о Вещем Олеге» (1822). *Эпиграф 2* – из романа «Братья Карамазовы» (1879–1880). *Прокукиш* – в просоветской печати издательское название Всероссийского комитета помощи голодающим (ВК Помгол), образованное от фамилий его руководителей, в прошлом связанных с Временным правительством, – С.Н. Прокоповича, Е.Д. Кусковой и Н.М. Кишкина; комитет официально просуществовал с 21 июля по 27 августа 1921 г., распущен по требованию В.И. Ленина. *Шник царский, что засел сатрапом Туркестана...* – И.А. Зеленский (1890–1938), секретарь Среднеазиатского бюро ВКП(б) (1924–

1931), 1-й секретарь ЦК КП Узбекистана (1929–1931); в 1938 г. проходил одним из обвиняемых на процессе «антисоветского право-троцкистского блока», обвинялся, среди прочего, в сотрудничестве с царской охранкой. *Мразь в маске маршала...* – М.Н. Тухачевский (1893–1937); в 1937 г. проходил главным обвиняемым по делу «антисоветской троцкистской военной организации», обвинялся в организации военного заговора с целью захвата власти. *Трус на посту посла* – Н.Н. Крестинский (1883–1938), полпред СССР в Германии (1922–1930); в 1938 г. проходил обвиняемым по одному делу с И.А. Зеленским (см. выше), обвинялся, среди прочего, в связях с германской разведкой. ...*докторá, «волшебники и маги»* – врачи Л.Г. Левин (1870–1938), И.Н. Казаков (1891–1938) и Д.Д. Плетнев (1871/72–1941), на процессе «антисоветского право-троцкистского центра» (см. выше) обвинявшиеся во «вредительском лечении» М. Горького, приведшем его к смерти.

Тема восемнадцатая: В пространство и время. *Эпиграф* – из стиха «Во славу ветра» («A la gloire du vent») из сб. «Многоцветное сияние» («La multiple splendeur», 1906). *Сингалец*, сингалец – представитель народа, составляющего основное население Шри-Ланки (о. Цейлон).

- С. 243. **Повар базилевса.** Автографы: 1) ГЛМ. 2.28.1–46 – авторская книга (машинопись), дата: 23.III.1941 – 23.III.1946; 2) РГАЛИ. 10.18–26, 62–63об., 66, 71, 72, 79об.–83 – черновой.

Впервые: *Ин.*

В авторской книге вторая дата подправлена, дабы время работы над поэмой составило ровно пять лет. На самом деле, как следует из чернового автографа в записной книжке, работа шла со значительными перерывами. В марте-апреле 1941 г. были написаны главки I–III; вернуться к поэме Шенгели решил лишь в конце года, ср.:

Вчера я раскачался и написал стихотворение <<Одиночество» – *В.Р.*>; сегодня, возможно, напишу еще; хочу продолжать византийскую поэму, – и тут к тебе просьба: у меня остался непечатанным последний отрывок, начиная от «от жары невтерпеж ему стало» (весь разговор августы с базилевсом о Вардане) до конца. Там строк сто; это в маленьком коричневом блокноте. Сделай доброе дело: перестукай и пришли. Спешки нет, я могу продолжать и без этого, но хотелось бы иметь полный текст

(письмо к Н. Манухиной во Фрунзе от 25 ноября 1941 г. // РГАЛИ. 112.7). В середине декабря появились главки IV–V: «Продолжаю византийскую поэму, написал свыше 100 стр<ок>: смешно» (письмо к Н. Манухиной от 13 декабря 1941 г. // РГАЛИ. 112.15об.); ср. дневниковую запись от 14 декабря: «Писал визант<ийскую> поэму. За эти дни написано свыше 300 стр<ок>. Длинновато выходит и, боюсь, рыхло. Форгешихте кончилась

лишь сейчас (около 1200 стр.), а на гешихте столько не нужно. Ну – кончу, а там посмотрим» (РГАЛИ. 10.31 об.). Шенгели продолжил поэму (начало главки VI) в июле 1942 г. во Фрунзе, оправившись от сыпного тифа, затем в январе-феврале 1943 г. дошел до середины главки VIII. Последовал перерыв, длившийся более трех лет, и лишь в марте 1946 г. поэма была завершена в течение нескольких дней. За три дня до окончания работы Шенгели написал послесловие, возможно, в расчете на публикацию (в авторскую книгу оно, однако, не вошло):

Послесловие к «Повару базилевса»

Я не вполне уверен в моем праве поставить мое имя в титуле настоящей поэмы. Я, конечно, ее написал, но я ее не выдумал. Она представляет собою частично сокращенное, частично амплифицированное переложение одной весьма странной рукописи, найденной мною в бумагах моей бабушки, Марии Николаевны Дыбской, умершей в декабре 1914 г. в Керчи. Рукопись эта, к несчастью, не сохранилась: меня обокрали в Москве на Курском вокзале весной 1915 г., и с похищенным моим чемоданом бесследно исчезла и она. В протоколе, составленном у дежурного по вокзалу жандарма, в перечне похищенных вещей упомянута и эта рукопись; протокол, возможно, сохранился где-либо в архивах.

Рукопись представляла собою тетрадку в 1/4 писчего листа голубоватой бумаги верже, сшитую суровой ниткой, в тетрадке было 16 страниц; на некоторых листках имелись водяные знаки: фабричная марка и дата – примерно (точно не помню) 1785 г. Бумага была разлинована карандашом, с оставлением широких полей, и вся написана мелким красивым, «бисерным» почерком.

На полях кое-где были отдельные замечания, написанные частично тою же, частично другой рукой.

Текст был написан по-русски, правильным литературным языком и с безупречной орфографией (хотя встречалось «щастье» и «поцалуй»); однако в языке чувствовалась та «накрахмаленность», которая свойственна иностранцам, слишком тщательно изучавшим русские грамматики. – Прадед мой по материнской линии Николай Григорьевич Вускович-Кулев был по происхождению далмат, из Рагузы и приходился двоюродным братом тому «хитрому хорвату Кулисичу», о котором упоминает в своих «Записках» Ф.Ф. Вигель, служивший в 1825–26 гг. керченским градоначальником. Прадед родился в конце XVIII в. (кажется, в 1796 г.), и рукопись, если она значительно моложе своей бумаги, возможно, принадлежала ему; почерка его, к сожалению, я не знаю.

Что представлял собою текст рукописи: оригинальное ли произведение, перевод ли, пересказ, выписку – решить я не мог за от-

существом каких-либо данных. Заголовка никакого не было. Манера изложения весьма напоминала любую агиограмму (с житийной литературой я еще в детстве познакомился по Четьям-Минеям).

Содержание рукописи сводилось к нравоучительному рассказу о том, как в древние времена некий Вардан путем множества предательств и преступлений достиг византийского престола и возомнил себя повелителем мира, но был отравлен своим поваром, в результате чего его планы рухнули. Любопытно, что в конце рукописи, где выяснялась идея «рока» или «божьего промысла», почерком № 2 на полях было написано: «Это следовало бы помнить (или: «об этом следовало бы подумать») Наполеону Бонапарте». – Этого «Бонапарте» я помню с полной отчетливостью.

Впоследствии, изучая византийскую историю по Гиббону, Рансимэну, Диллю, Дюканжу, Кулаковскому, Успенскому, Васильевскому и др., я то и дело наткнулся на эпизоды, изложенные в рукописи, но убедился, что того комплекса событий, о котором говорилось в ней, в действительности не было. Так, был император Вардан-Филиппик, но он достиг престола и умер иначе. Император Юстиниан Ринотмет действительно был в изгнании в Крыму, но каллиграфией занимался не он, а другой базилевс. Проник в окошко императорского дворца при помощи жены, им же потом убитой, – Иоанн Цимисхий, а не Филиппик. Механические львы у трона были при Константине Порфирогенете. Письмо о том, что византийский император, не в пример прочим монархам, правит «свободными», писал папа Григорий Великий императору Фоке. Отбивался тяжелым крестом от убийц – и не в спальне, а в церкви – Лев Армянин. Был стащен с седла оленем и потом казнил спасшего его раба – Василий Македонянин, – и т.д. Словом, все обстоятельства повествования, до мелких подробностей, правдивы как разрозненные факты и вымышлены как комплекс. Повествование, таким образом, представляет собою любопытный и опирающийся на незаурядную осведомленность *экстракт* кровавой византийской истории, пронизанный интересной историографской идеей и насыщенный бесспорным гуманизмом. Автор брезгливо говорит о моральной низости «византизма» и иронически – о его схоластике и догматизме.

Мне показалось интересным воскресить, хотя бы в переработке, погибшее произведение неведомого автора (которым, может быть, был мой прадед), отразившее, возможно, свободолюбивый дух и ненависть к тирании, порожденные Великой французской революцией.

Я несколько усложнил и психологизировал фабулу, сделал немудреного трактирщика «здравомыслом» исторической драмы, связал, повинувшись любви к родному городу, действие с моею Керчью-Пантикапеей, – но постарался сохранить тот колорит жути и ужа-

са и то ироническое свободомыслие, которыми был насыщен источник моей поэмы.

18. III. 1946

(Ил. С. 503–505; исправлено по автографу: РГАЛИ. 10.77об.–79об.). Описанная в послесловии композиционная модель впервые использована Шенгели в поэме «Пиротехник» (см. с. 50). *Базилевс*, *василевс* – официальный титул византийских императоров с 629 г.; с начала IX в. до падения империи – *базилевс ромэев* (ερχ. βασιλεύς Ῥωμαίων, император римлян).

1. Под вечер хорошо у Босфэра, / Хорошо у Золотого Рога – в месте соединения Мраморного моря, пролива Босфор и впадающего в него залива Золотой Рог в VII в. до н.э. был основан город Византий, ставший впоследствии столицей Римской империи под названием Константинополь; от него восточная часть Римской империи получила название Византия. *Босфор Киммерийский* – Керченский пролив. *Не глядеть на грод у подножья, / А глядеть на азийский берег* – т.е. не на Пантикапей, а на Таманский полуостров. *Гермонасса, Фанагория* – древнегреческие города, основанные в VI в. до н.э.; в IV в. до н.э. вошли в состав Боспорского царства (Фанагория со временем получила статус второй после Пантикапея, «азиатской» столицы); городища, соответственно, в северной части станицы Тамань и рядом с поселком Сенной. *Острова Блаженных* (Элизиум) – в древнегреческих мифах острова на краю земли, где находят пристанище получившие бессмертие или смертные, чью жизнь судьбы загробного мира признали праведной. *Нимфей* – древнегреческий город, основанный в VI в. до н.э.; в V в. до н.э. вошел в состав Боспорского царства; городище – вблизи микрорайона Керчи Героевское, бывшего села Эльтиген; см. также в неоконченной поэме «Нимфея» (с. 463). *А в степи хазары кочуют* – Хазарский каганат захватил степной Крым в середине VII в. и сохранял контроль над ним до середины IX в. *А в Согдаёе готы засели* – готские племена появились в Крыму в III в., в правление Юстиниана I (527–565 гг.) сосредоточились в основном в южной, горной части полуострова примерно от Судака (Сугдаи) до Балаклавы, получившей название Готия. ...к *Фанагэрии / Подступали какие-то руссы* – в середине X в. киевский князь Святослав Игоревич совершил поход на Хазарский каганат, с которым, вероятно, связан переход под власть Киевской Руси города Тументархан (Таматарх, бывшая Гермонасса), получившего название Тмутаракань и ставшего столицей древнерусского княжества. *Архонтесса*, архонтисса – жена архонта, гражданского или военного высокопоставленного должностного лица. *Преполит* – возможно, то же что препозит, чиновник, заведовавший личными покоями императора, часто евнух. *Геронт* – член совета старейшин. *И собср вот построили новый* – храм Святого Иоанна Предтечи (см. примеч. к ст-нию «Порт Св. Иоанна», т. 1, с. 632). *Языческие трчат*

колонны / Из храма Деметры-дьяволицы – опорные мраморные колонны крестово-купольной части храма Иоанна Предтечи (VIII в.) специалисты относят к деталям более ранней базилики (VI в.); утверждение о том, что они были частью храма Деметры Пантикапейского акрополя, безосновательно. *Купол, говорят, над Софией / На цепи золотой подвешен* – ср.: «Огромный сфероидальный купол, покоящийся на этом круглом здании <соборе Святой Софии – В.Р.>, делает его исключительно прекрасным. И кажется, что он покоится не на твердом сооружении вследствие легкости строения, но спущенный с неба на золотом канате прикрывает это место»; в ином чтении: «но золотым <полу>шарием, спущенным с неба» (Прокопий Кесарийский. О постройках. Пер. с греч. С.Н. Кондратьева // Вестник древней истории. 1939. № 4. С. 210). *Тапробана* – остров Цейлон. *Где у зверя-индрика люди / Слушивают кожу-кряжу* – подобные представления о добыче корицы на Цейлоне остается счесть авторским вымыслом, тем более что индрик – животное славянской мифологии. *Там глава Иоанна Предтечи* – по преданию, глава Иоанна Крестителя была перенесена в Константинополь вскоре после ее обретения (по православной традиции, второго) в 452 г. в сирийском городе Емесе и находилась в специально выстроенном храме в Евдоме, пригороде Константинополя. *Там в порфирных палатах базилевса...* – ср.: «Порфира – это здание императорского дворца, четырехугольное с пирамидальной крышей; выходит оно к морю у пристани, в том месте, где находятся каменные быки и львы; пол его выложен мрамором, стены облицованы драгоценным камнем – не обычным и широко распространенным, а таким, какой прежние императоры привозили из Рима. Камень этот почти весь пурпурного цвета и по всей поверхности, как песчинками, усеян белыми крапинками. Благодаря ему, думается мне, и назвали наши предки это здание Порфирой» (Анна Комнина. Алексиада / Вступ. ст., пер., примеч. Я.Н. Любарского. М., 1965. С. 205); здание «издавна было предназначено для рожениц-императриц. Это здание было названо “Порфира», благодаря чему по всему миру получило распространение слово “порфирородный”» (Там же. С. 188). *Саккос* – просторная, расшитая одежда, обычно не сшитая по бокам. *Наварх*, наварх – командир соединения кораблей. *Киммерик* – древнегреческий город на западном склоне горы Опук, примерно в 50 км к юго-западу от современной Керчи. «*Наступиши на аспида и змия...* – Пс. 90:13.

II. Августа – женская форма титула римских императоров «август» (лат. *augustus*, священный, великий), употреблялась по отношению не только к императрице, но и к другим членам императорской семьи женского пола. *Халкидон* – город в византийской феме Опсикий, ныне район Стамбула. *Омир* – Гомер. *Друнгарий* – командующий императорским флотом. *Примикрий* – старшина коллегии (например, ремесленной). *Ктитор* – лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного храма или монастыря. *Скевофилак*, скевофилак – заведующий церковной утва-

рю. *Камень-безоар* – инородное тело из сваленных волос или волокон растений, образующееся в желудке животных, в основном жвачных; в древности безоару приписывалось свойство обезвреживать яды.

III. ...о новшествах опасных ~ *В пенье трисвятой аллилуйи* – во 2-й половине V в. антиохийский патриарх Петр Кнафей, последователь *монофизитства* (см. ниже), прибавил к молитве Трисвятое («Святый Боже, Святы Крепкий, Святы Бессмертныи, помилуй нас») слова «распныйся за ны», которые относят ее только к Богу-Сыну, утверждая монофизитскую мысль, что во Христе пострадало Божество, а не человечество; см. также в конце гл. VIII. *Далматик*, далматика – просторная расшитая туника с рукавами. *Дука*, дукс – наместник провинции. *Пресным хлебом заправляет причастье* – в православии византийской традиции в таинстве Причастия (Евхаристии) использовался квасной хлеб, у католиков латинского обряда – пресный. *Логофет* – управляющий каким-либо ведомством; великий логофет – глава правительства. *Хартуларий* – офицер, ведавший списками солдат фемы (ополчения) или тагмы (гвардии). *Ксмит дсменов* – должностное лицо, ведавшее землями. *Квестор* – высокая судебная должность. *Индикт* – номер года внутри 15-летнего периода, который использовался при датировке документов. *Магнаврский университет* – высшая школа в Магнаврском дворце, в которой велась подготовка чиновников, дипломатов, военачальников; просуществовала до падения Константинополя. *Влахерны* – северо-западный пригород, с 627 г. район Константинополя, известный прежде всего церковью Богородицы. *Монофизитство* – доктрина, постулирующая наличие в Иисусе Христе только божественной природы и отвергающая в нем природу человеческую; признана ересью всеми христианскими конфессиями. В данном контексте упоминание монофизитов некорректно: иконописцы, по словам августы, придают образу Спаса «человеческое выражение». *Срнат*, казула – торжественное облачение, схожее с далматикой (см. выше), но без рукавов. *Димитрий Солунский* – христианский мученик, наряду с Георгием Победоносцем один из самых почитаемых в православии воинов-святых. *Какосодигос* – одно из имен антихриста; в греческом и церковнославянском написании численные значения букв этого имени составляют число 666. *Димарх* – лицо, возглавлявшее один из димов (см. примеч. к гл. V). *Дальше всё пошло по порядку* – описывая возвышение Вардана, Шенгели использует титулы из византийских табелей о рангах разных периодов.

IV. *Гидрия* – керамический кувшин для воды. *Буза* – хмельной напиток из ячменя, овса, проса или кукурузы.

V. *Энарх* – градоначальник. *Монастырь Студита*, Студийский монастырь – самый значительный монастырь средневекового Константинополя; отметим, что волей автора именно он упоминается в слухах о явлении будущего императора (см. примеч. к гл. VII). *Димы* – политические партии, преобразованные из объединений спортивных болельщиков (партий

ипподрома), одна из основных социальных сил в крупных городах Византии; *димоты* – рядовые члены димов.

VI. Феодосий – младший брат императора Константа II (630–668); опасаясь соперничества, Константин принудил брата принять духовный сан, что лишало Феодосия права на трон, но, не удовлетвовавшись этим, в 660 г. приказал убить его. *За грехом малаккским застучал* – термин «малакия» (1 Кор 6:9) в различных трактовках может означать либо онаниста, либо пассивного гомосексуалиста. *Нобили*, нобилитет – в Римской республике сословие патрициев и богатых плебеев; здесь – в значении «аристократия».

VII. Номисма – основная денежная единица Византии (ок. 4,55 г. золота). *Симеон Столпник* (ок. 390–459) – христианский святой, аскет; известен тем, что провел 37 лет на столпе в посте и молитве. *На базаре я недавно услышал...* – в основе слухов предание о первом появлении в Константинополе будущего императора Василия I Македонянина, ср.: «Он проделал путь до царственного города, очутился у Золотых Ворот, вошел в них на исходе дня, приблизился к расположенному рядом монастырю святого мученика Диомида и, усталый с дороги, незаметно примостившись на ступеньках перед воротами, устроился отдыхать. В первую стражу ночи игумену монастыря привиделся во сне мученик Диомид, приказавший ему выйти к воротам, назвать Василия по имени и, если откликнется тот на его зов, привести в монастырь, позаботиться о нем, побеспокоиться о пище, крове, одеждах, дать и сделать ему все нужное, ибо помазан тот Богом на царство, отстроит и увеличит сей монастырь» (Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подгот. Я.Н. Любарский. М.: Наука, 1992); см. также в конце гл. XI.

VIII. Баллиста – стреломет. *Тестудо* – таран. *Кадисма*, кадисм (*церк.-слав.*) – дом блудниц. *Вот вчера старик обомшелый...* – в основе сюжета случай с императором Никифором II Фокой, описанный в «Обзрении истории» Иоанна Скилицы (см.: Лев Диакон. История / Пер. М. Копыленко. М.: Наука, 1988. С. 121). *Святой Хризостом* – Иоанн Златоуст. *Прибавлять еще «за ны распятый»* – см. примеч. к гл. III.

IX. Хризокерос (*ερεχ. χρυσόκερως*) – залив Золотой Рог. *Галата* – предместье, затем основной торговый район Константинополя. *Кучеляба* – чилибуха (рвотный орех), дерево рода Стрихнос, семена которого являются источником стрихнина.

X. Архимагир – главный повар. *Страшный чин вчера совершали...* – подразумевается псалмокатара (греч. Ψαλμοκατάρα, проклятие псалмами), чин, практиковавшийся в греческой Православной церкви, по крайней мере, в XIII–XVII вв.; подробно описан по источникам XVI в. в кн.: Алмазов А.И. Проклятие преступника псалмами (Ψαλμοκατάρα): К истории суда Божьего в Греческой церкви. Одесса, 1912.

XI. Мрамра – Мраморное море. *Олимп Азийский* – Малый Олимп (также Мизийский, Вифинский), самая значительная горная вершина хребта

Улудаг, была известна как место уединения православных византийских монахов. *Стратиот* – крестьянин, владеющий землей на условии несения воинской повинности. *Лабарум* – военный штандарт (вексиллум) с монограммой Иисуса Христа (хризмой) на конце древка и надписью на полотнище «Нос vince» (*слав.* Сим победиши); введен Константином Великим после того, как он, по преданию, увидел на небе знамение Креста накануне битвы у Мульвийского моста (312). *Некий македонянин Василий* – см. примеч. к гл. VII.

- С. 289. **Тайна кавторанга.** Автограф: ГЛМ. 2.9.1–11 – авторская книга (машинопись). Включено в *ЛиП*.

Впервые: Российский колокол. 2005. № 1; публ. М. Шаповалова.

Кавторанг – капитан 2-го ранга. *Вымбовки* – выемные деревянные или металлические рычаги для ворочанья ручного шпилья или стоячего ворота на судах. *Тизифона*, Тисифона – одна из эриний (фурий), мстящая за убийство. *Тифон* – великан, олицетворение огненных сил и испарений земли с их разрушительным действием.

- С. 302. **Эфемера.** Фрагмент: Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 140; ст. 1–4 строфы I.

Автографы: 1) ГЛМ. Ф. 135. Оп. 4. Д. 255. 17 лл. – авторская книга (машинопись), экз. № 3; дарственная надпись: «Милому давнему другу Дусе Никитиной в ее библиотеку книжных редкостей. Георгий. 13/II 47. Москва»; 2) РГАЛИ. 10.84об.–87; помета: «Написано в один присест». Включено в *ЛиП*.

Впервые: Арион. 2004. № 4; публ. М. Шаповалова.

...в «Дон Кихоте» / *Рыцарь какой-то есть* – Рыцарь Зеркал, вымышленный персонаж, под видом которого бакалавр Самсон Карраско намеревался одержать победу над своим односельчанином Дон-Кихотом и таким образом вернуть его в родное село. «*Ля ттит тонкинуаз*» (*фр.* «La petite tonquinoise», букв. «Маленькая тонкинка», «Тонкиночка») – популярная французская песня, написанная в 1905 г. композитором и певцом Венсаном Скотто; поется от лица военного, который заканчивает службу в Тонкине (Французский Индокитай; ныне Бакбо, исторический район Вьетнама) и возвращается во Францию, вынужденно расставаясь со своей любовницей по имени Мелаоли. *Боксерское восстание / Едва усмирено* – Ихэтуаньское (Боксерское) восстание подавлено в сентябре 1901 г. *Поэт Валерий Брюсов / Поэт про полдень Явы* – аллюзия на ст-ние В. Брюсова «Предчувствие» («Моя любовь – палящий полдень Явы...», 1894) из сб. «Chefs d'oeuvre» (1895). *Мусмэ* (*фр.* moumè, от *яп.* 娘, musume – дочь) – японская девушка или молодая женщина. *Сен-Пьер* – город, бывшая столица острова Мартиника; в 1902 г. почти полностью разрушен при извержении вулкана Мон-Пеле.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

С. 311. **Сальери**. Автографы: 1) ДП. Л. 32–49; 2) ГЛМ. 1.1.1–16об.; помета: «Написано в Харькове осенью 1918 г.».

Впервые: TSQ. 2002. № 1; публ. В. Перельмутера. URL: <http://sites.utoronto.ca/tsq/01/shengeli.shtml>.

С. 330. * **Нечаев**. Лава. 1920. № 1, с подзагол. «Драматические сцены». – Отд. изд.: Шенгели Г. Нечаев: Драм. поэма. Одесса: Изд. Губнарообраза, 1920. 40 с. (Ни один экземпляр издания не обнаружен.)

Автографы: 1) ДП. Л. 5–15; 2) РГАЛИ. 3.1–14; 3) РГАЛИ. 3.15–30 – машинопись с правкой. Печ. по автографу 1..

В обзоре журнала рецензент отметил: «Останавливает на себе внимание “Нечаев” Шенгели, написанный сильными, четко плавными стихами, отображающими с большой художественной силой страстную революционную фигуру Нечаева. Исторические сцены Нечаевской трагедии написаны мастерски, талантливо» (Известия Одесского ревкома. 1920, 12 июля. Подпись: А.Ф.). *Нечаев* Сергей Геннадиевич (1847–1882) – нигилист, революционер-террорист, лидер общества «Народная расправа»; см. о нем: Лурье Ф.М. Нечаев: Созидатель разрушения. М.: Мол. гвардия, 2001. Фрагменты неоконченной поэмы о нем см. в разделе «Незавершенное» (с. 488).

Сцена первая. *Алексеевский равелин* – западный равелин Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге; Нечаев был заключен в тюрьму равелина, Секретный дом, 28 января 1873 г. и содержался там до своей смерти от водянки 21 ноября 1882 г. *Которого в Женеве изловили...* – неточность: Нечаева задержали в Геттингене, предместье Цюриха.

Сцена пятая. Хотя Нечаев постоянно обсуждал детали своего освобождения с народовольцами, никаких реальных попыток к освобождению не делалось; свидетельств обсуждения побега с караулом не имеется.

Сцена шестая. *Еще одну попытку сделать* – до покушения 1 марта 1881 г., окончившегося гибелью Александра II, «Народной волей» были предприняты две неудачные попытки царевубийства: взрыв свитского поезда под Москвой 19 ноября 1879 г. и взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г. *Тихомиров* Лев Александрович (1852–1923) – общественный деятель, в молодости – народоволец; непосредственного участия в убийстве Александра II не принимал, однако, опасаясь ареста, эмигрировал; вернувшись в Россию в 1888 г., стал монархистом.

С. 342. **1871**. Отд. изд.: Шенгели Г. 1871: Драм. сцены в стихах. Одесса: Всеукр. Гиз, 1921. 28 с.

Автограф: ГЛМ. 2.1.1–25 – машинопись; дата: 1920. Включено в *ЛиП*.

Перифраз реплики Луизы из сцены второй включен как самостоятельное стихотворение в *P2* (см. т. 1, с. 148).

Сцена первая. *Мы подписали мир* – предварительный мирный договор в ходе Франко-Прусской войны был подписан Германией в лице О. фон Бисмарка и Францией в лице А. Тьера 26 февраля 1871 г. в Версале; окончательно мир был заключен 10 мая во Франкфурте-на-Майне. ...*земли / На север от Вогезов* – провинции Эльзас и Лотарингия. ...*еще при Сен-Прива* – 18 августа 1870 г. в битве при Сен-Прива – Гравелоте, к западу от Меца, французская Рейнская армия под командованием маршала Ф.А. Базена потерпела сокрушительное поражение. *Фавр* Жюль (1809–1880) – министр иностранных дел в 1870–1871 гг., представлял Францию на переговорах об окончательном мире во Франкфурте.

Сцена пятая. *Mont Valérien*, Мон-Валерьян – холм в Сюрене, западном пригороде Парижа, на котором в 1840-х гг. был построен одноименный форт – часть парижских укреплений, в 1871 г. сыгравший важную роль в борьбе против Коммуны. *Гласис* – небольшая пологая насыпь, покрывающая крепостной ров с внешней стороны. *Дарбуа* Жорж (1813–1871) – архиепископ Парижа (с 1863 г.); расстрелян коммунарами в тюрьме вместе с 63 другими заложниками.

Сцена седьмая. *Галифе*, Галифе Гастон де (1830–1909) – кавалерийский генерал; командовал бригадой версальских войск при защите Парижа от коммунаров.

- С. 363. **Доктор Гильотен.** Автографы: 1) ДП. Л. 16–31; 2) РГАЛИ. 3.105–128, 129–146 – машинопись с правкой (2 экз.).

Впервые: ДР. 2015. Вып. 61; публ. В. Перельмутера.

Сцена вторая. *Поль* – неточность (возможно, намеренная): сыновей Шарля-Анри Сансона (1739–1806) звали Анри (1767–1840) и Габриэль (1769–1792), к тому же в 1791 г., когда Гильотен предложил новый способ казни, оба они были уже слишком взрослыми для Первого причастия. *Бержерет*, бержеретта – стихотворение или песня пасторального характера в твердой форме, напоминающей рондо. *Жибе* – неточность: первым казненным на гильотине (25 апреля 1792 г.) был преступник Никола-Жак Пеллетье.

- С. 381. **Броненосец «Потемкин».** Отд. изд.: Шенгели Г. Броненосец Потемкин: Драм. поэма. М.: Красная новь, 1923. 92 с.

Ср в письме к М. Шкапской от 23 июня 1924 г. из Севастополя: «Здесь меня приняли с удивительным радушием и теплотой: здешние актеры и художники – помня мое заведование отделом искусств в 19-м году; моряки – за “Броненосец Потемкин”, который здесь ставили с огромным успехом» (*Минувшее*. С. 262). В дарственной надписи В. Брюсову поэма характеризуется автором как «слабые слова о сильных людях» (РГБ. Ф. 386. Книги. № 1464). Приводим текст послесловия «От автора»:

Броненосец «Потемкин» лишь в малой мере может претендовать на название исторической хроники: в поэме выдержана только общая последовательность событий, и то с большими опущениями и упрощениями (не упоминается о миноносце № 271, сопутствовавшем «Потемкину», о первом приходе в Констанцу, о взятии «Вехи» и пр.); исторических имен только два: Матюшенко и Вакуленчук; немало деталей вымышлено или относится к иным моментам первой, а иногда и Великой революции. Для автора потемкинская эпопея была как бы прообразом всего движения 1905 г. с его экономическими и психологическими предпосылками, и писательская заинтересованность автора устремлялась к живым людям, брошенным в революционный котел. Сложная амальгама индивидуального сознания и классового инстинкта; меха событий, раздувающие обыденную – в будни – личность в личность огромную; пересечение личных озлоблений и пристрастий с «операционными линиями» общественной, внеиндивидуальной борьбы – вот основа поэмы, смутно зыбившаяся в авторском замысле задолго до того, как автором был отыскан достаточно концентрированный цикл исторических фактов, в котором основа эта могла уместиться и, уместившись, облекшись мышцами, самому автору стать явной и отчетливо обрисованной.

История материализуется в людях; события заставляют их двигаться и говорить. Этим, с полной почти необходимостью, предугадывается форма именно драматической поэмы, позволяющая, не стесняясь театральными нормами, не отвлекаясь живописанием внешней обстановки, сосредоточить внимание на основном. Стих поэмы, конечно, должен быть «традиционным»: белым пятистопным ямбом, – и не из-за традиционности как таковой, но в силу того, что названный метр по словоемкости своей ближе всех прочих подходит к слогуударным константам русского языка, а его пятистопность, ритменная полнота дает возможность обойтись без красозвучия. Следует упомянуть, что в этом метре автор допускает долгие хорямбы и в мужских стихах пиррихизирование последней стопы.

Г.Ш.

Москва.

24 декабря, 1922 г.

Сцена первая. ...там памятник стоит ~ Тотлебен – анахронизм: памятник военному инженеру Эдуарду Ивановичу Тотлебену (1818–1884) установлен на Историческом бульваре Севастополя в 1909 г. *Четвертый бастион* (Мачтовый) – один из восьми бастионов, сооруженных в Севастополе во время Крымской войны, важнейшее укрепление Южной (Городской) стороны; в 1905 г. на его месте установлен гранитный обелиск. *Двадцать раз луна менялась...* – из ст-ния Е. Ростопчиной «Черноморским

морьякам» (1865); строфа была высечена на пьедестале памятника Нахимову, открытого на центральной площади Севастополя в 1898 г. и демонтированного в 1928 г. (ныне на его месте новый памятник Нахимову, открытый в 1959 г.). *Того*, Хэйхатино (1848–1934) – адмирал, командующий Объединенным флотом Японии в Русско-японской войне.

Сцена вторая. Место действия – Тендровская коса (см. примеч. к главе «Броненосец “Потемкин”») поэмы «Девятьсот пятый»).

Сцена четвертая. *Вы помните, что было в ноябре?..* – 3 ноября 1904 г. в Севастополе из-за возможных волнений портовых рабочих командующий Черноморским флотом вице-адмирал Г.П. Чухнин запретил все увольнение в город, чем спровоцировал стихийное массовое выступление матросов в Лазаревских казармах, подавленное к вечеру того же дня.

Сцена пятая. *...бомбою убили / Геродового* – старейший городской одесской полиции Павловский погиб вечером 14 (27) июня 1905 г. на Соборной площади от бомбы, брошенной из проезжающего экипажа в отряд казаков. *Каханов* Семен Васильевич (1842–1908) – генерал от кавалерии, командующий войсками Одесского военного округа с октября 1904 по август 1905 гг.

Сцена девятая. *Гочкис* – см. примеч. к поэме «Поручик Мертвецов». *Ожина* – ежевика.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

ПОЭМЫ

С. 447. Шумы раковин

* <Глава 1>. Камена. 1918. № 1. – P2.

Сюжетно соотносится со ст-нием «Домик» (см. т. 1, с. 183), вслед за которым помещено в P2. *Дюмон-Дюрви(й)ль* Жюль (1790–1842) – французский мореплаватель, океанограф; имеется в виду одно из русских изданий его многотомного труда «Путешествие вокруг света» (*Voyage autour du monde*, 1826–1828). *Ревун* – разновидность сирены.

Глава 2. Автограф: РГАЛИ. 3.53–54.

Морская прогулка. Автограф: РГАЛИ. 3.51–52; помета: «Ко 2-й главе».

Дед и Тоня. Автограф: РГАЛИ. 3.50; помета: «К III песни».

Отпрянув мачтами назад...». Автограф: РГАЛИ. 3.49.

С. 463. Нимфея. Автограф неизвестен. Копия: <Георгий Шенгели. Поэмы: В 2 т.> Машинописный сб.; сост. не указан // Собрание В.Э. Молодякова. Датируется по упоминанию в ст-нии «Ручке» (т. 1, с. 411).

Фрагмент: *Биография*.

Ср. в «Хронологической канве»: «Мой прапрадед по материнской линии, Чернявский, был екатерининским генералом и, по семейному преданию, приходился родственником Суворову, почему в моей поэме “Ушедшие в камень” я и дерзнул назвать последнего “мой пращур”. Чернявский участвовал в завоевании Крыма и получил во владение земли под Керчью – Чокрак и Эльтигень; в Эльтигени он построил усадьбу “Новая Нимфея” в память находившегося там древнего города, куда ошибочно Расин перенес действие своего “Митридата”» (*Биография*. С. 7–8). Ср. также: «Вас тянет в Коктебель. Поезжайте лучше в Эльтигень: 15 верст от Керчи, великолепное море, пляж, равного которому не сыщешь в природе, дюны, мелко, – и вода прогревается до 22–23°, разрушенная еще в Крымскую войну усадьба, старый парк. Исключительные закаты за соляными озерами, – и ни одного дачника. Я, мож<ет> быть, тоже поеду туда вытапливать душевную золотуху. А Коктебель – пусть остается на потребу невественным девицам и недамственным дамам вкупе с их пловцами и спортсменами» (Письмо к М. Шкапской от 17 марта 1924 г. // *Минувшее*. С. 253. Исправлено по автографу: РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 14). *Эпиграф* – из ст-ния «Сожженное письмо» (1824). 2. *Эпиграф* – из эпиграммы «На перевод Илиады» (1830). ...*добровольная могила / Разверзлась перед Митридатом пленным* – см. примеч. к ст-нию «Клик» (т. 1, с. 682). 3. *Эпиграф* – из ст-ния «К вельможе». 4. *Эпиграф* – из гл. 7 романа в стихах «Евгений Онегин». *Бузок (укр.)* – сирень. *Инкварты* – книги, напечатанные в четвертую часть листа. 7. *Венцерада* – см. примеч. к поэме «Ушедшие в камень» (с. 635).

- С. 469. **Наль**. Автографы: 1) *Иней*. Л. 37–45 – вступление и гл. 1-я; 2) РГАЛИ. 5.27об.–29об. – гл. 2-я; 3) РГАЛИ. 4.12–14 – вступление, гл. 1-я и начало гл. 2-й; дата: Лето 1922 (вступление), 29.III.1924 (после строфы XVIII гл. 1-й); 4) РГАЛИ. 3.89 – набросок начала гл. 2-й.

Вступление и гл. 1-я печ. по автографу 1 и датируются по автографу 3; гл. 2-я печ. по автографу 2 и датируется по особенностям почерка и чернил и расположению среди других текстов.

В письме к М. Шкапской от 10 апреля 1924 г. (*Минувшее*. С. 256) цитируются 4 строки, отсутствующие в автографах:

Ведь привлекает женский взор
Сквозь балов блеск, сквозь рынков толочь
Всегда какая-нибудь сволочь:
Кавалергард, лакей, актер...

По утверждению автора, «“Наль” – не автобиография, по фактам и свершениям, но что-то вроде протоколов “комиссии наблюдения за комиссией построения”» (письмо к М. Шкапской от 3 июня 1924 г. // РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 27об.). В то же время поэма, по крайней мере на момент

завершения 1-й главы, имела для Шенгели исключительное значение: «Ах, “Наля”! Все мои желчи, гнои и яды хочу в него выплюнуть, – чтобы начать четвертый десяток лет с пустой и от пустоты жадной до мира душой, – какой она был лет 15 назад. <...> Напишу “Наля”, б<ыть> мож<ет>, – помолодею; хотя, ради Бога, не подумайте, что “Наля” – автобиография» (письмо к М. Шкапской от 10 апреля 1924 г. // *Минувшее*. С. 256). Посылая М. Шкапской первую главу («пропагандируйте»), Шенгели писал: «<...> я закончил первую главу поэмы, которую обдумывал лет шесть, а писал два года, и воображал, что раскрыл такие глубины, такие глубины! А мне сказали, что это популяризация Фрейда! Но во второй главе я отомщу» (письмо от 2 апреля 1924 г. // РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 17). Попытки опубликовать поэму ни к чему не привели: «А ргрос: “Наля” из “Красной Нови” мне вернули; Воронский пришел в ужас: “Вы меня совсем резать хотите?!” Впрочем, тоже к черту!» (письмо к М. Шкапской от 10 апреля 1924 г. // *Минувшее*. С. 255); позднее Шенгели сообщал, что «Леженев, кажется, отваживается печатать “Наля”» (письмо от 4 августа 1924 г. // РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 39об.), однако в журнале И. Леженева «Россия» поэма также не появилась. Тем не менее, поэма удостоилась одобрительных отзывов на публичных чтениях: «Винавер <...> посетил литературный вечер в Союзе, где как раз я читал “Наля”, – и был в восторге. Сегодня он уверял меня, что иные строфы “Н<аля>” не отличить от Пушкинских!» (письмо к М. Шкапской от 10 декабря 1924 г. // РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 1. Ед. хр. 530. Л. 52). **Глава первая.** Об этом нам поведал Бельгий – возможно, аллюзия на автобиографический роман А. Белого «Котик Летаев» (1915; отд. изд. – 1922), где речь идет о младенческих годах. ... *Гостия* – евхаристический хлеб в католицизме латинского обряда. *Аре-бур* (фр. à rebours) – наоборот, навыворот; также игра наоборот, в поддавки. **Глава вторая.** *Эпиграф 1* – из ст-ния «Газетная» (1860-е).

- С. 483. **Коммуна (отрывки из поэмы).** Наша газета. 1926. № 63, 18 марта. *Эпиграф* – из ст-ния «Собачий пир» (La siçée, 1830) в переводе В. Бенедиктова.
- С. 486. **Равашоль.** Автограф: РГАЛИ. 3.48.
См. о замысле поэмы и предположительную датировку в примеч. к поэме «Пиротехник» (с. 626).
- С. 488. **Сергей Нечаев (отрывки из поэмы).** Автографы: 1) *ЛиП*. Л. 231–241; 2) РГАЛИ. 7.1–3об., 5–6об.; дата: 29.IV – 3.V.1936. Фрагмент этого комплекса текстов, не включенный автором в *ЛиП*, см. в Дополнениях под № <4>.
- 1. Затравленный дьячок* – неточность: отец Нечаева, Геннадий Павлович, был трактирным официантом. *Венгрия под натиском невзгод* – речь о революции 1848–1849 гг. в Венгерском королевстве, входившем в состав Австрийской империи. *Гёргей Август* (1818–1916) – главнокомандующий

венгерской революционной армией; 13 августа 1849 г., после отставки венгерского правительства, объявил о капитуляции и сдался в плен русским войскам. *Кошут* Лайош (1802–1894) – премьер-министр и президент Венгрии в период революции; после отставки правительства и передачи власти Гёргею эмигрировал вместе с соратниками в Турцию. *Паскевич* Иван Федорович (1792–1856) – генерал-фельдмаршал, командующий русскими войсками при подавлении Венгерской революции. *Кавеньяк* Луи-Эжен – см. примеч. к гл. VII поэмы «Пиротехник» (с. 630). *Эдгар* – Эдгар Аллан По, умерший 7 октября 1849 г. в Балтиморе, предположительно от злоупотребления алкоголем. *Лигейя* – главная героиня одноименной новеллы Э.А. По. *В приземистом, как мозг жандарма, равелине* – в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (см. примеч. к драм. поэме «Нечаев», с. 654). *Им оклеветанный задавлен будет «бес»* – дело об убийстве Нечаевым студента Иванова послужило прообразом сюжета романа Достоевского «Бесы» (1871–72), где сам Нечаев стал одним из прототипов Петра Верховенского. *Загоды* (светелчники) – владельцы помещения (светелки), сдававшие его в аренду фабрикантам для установки ручных ткацких станов и сами в нем работавшие.

II. Эпиграф – из ст-ния «Деревня» (1819). ...*в царственное ухо / Покой драгунская вдруг лягнет оплеуха, / Как было с Шевичем* – Шевичем в посылаемых на волю записках Нечаев именовал своего соседа по каземату М.С. Бейдемана, заключенного в Секретный дом за манифест против императора; Нечаеву же принадлежит легенда, согласно которой Александр II обесчестил сестру Шевича, и тот публично оскорбил императора, за что и поплатился свободой. *Чечотт* Оттон Антонович (1842–1924) – психиатр, организатор психиатрической службы Санкт-Петербурга. К возглавлявшимся им учреждениям Бейдеман, действительно лишившийся в заключении рассудка, отношения не имел: в 1881 г., после 20 лет в Секретном доме, он был переведен в Окружную лечебницу Всех Скорбящих в Казани, где и умер спустя 6 лет. ...*сто десять трупов Бездны* – в апреле 1861 г. во время подавления крестьянских волнений в селе Бездна Казанской губернии солдаты дали шесть залпов по безоружной толпе, убив 51 человека и ранив 77.

III. Эпиграф – из поэмы «Медный всадник» (1833). *Вобан* Себастьян Ле Претр де (1633–1707) – маршал Франции, военный инженер; по его проектам выстроено около 300 фортификационных сооружений, 12 из которых ныне включены в список Всемирного наследия. *Багинет* – штык. *Протазан* – разновидность копья. *Кригс-ваффенмейстер-обер* – старший оружейник. *Эскарп* – крутой внутренний откос рва в полевом укреплении. *Кордегардия* – помещение для караула крепостных ворот. *Там третьего Петра помадили в гробу, / Приладив локоны к продолбленному лбу* – некоронованного Петра III, умершего в 1762 г., похоронили в Александро-Невской лавре и перезахоронили в императорской усыпальнице лишь в 1796 г., одновременно с погребением его супруги Екатерины II, при этом Павел I соб-

стенноручно короновал прах отца (см. далее); версия о насильственной смерти Петра III не считается доказанной. *Тараканову со стайе крыс то-тили* – княжна Тараканова, самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, умерла в 1775 г. в Петропавловской крепости от туберкулеза, однако предание о том, что Тараканова погибла в своем каземате в 1777 г. во время наводнения, было чрезвычайно популярно, особенно после появления знаменитой картины К. Флавицкого (1864). *Фелица* – имя, ставшее нарицательным для Екатерины II после обнародования обращенной к ней одноименной оды Г. Державина (1782). «*Плешивый арлекин*» – Александр I, умерший в Таганроге от лихорадки; образ основан на строках А.С. Пушкина из набросков гл. X «Евгения Онегина» («Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щеголь, враг труда») и ст-ния «К бюсту завоевателя» («Таков и был сей властелин: / К противочувствиям привычен, / В лице и в жизни арлекин»). ...*слухи с ним ползли, / Что царь сбежал в Сибирь...* – одна из самых популярных легенд об Александре I гласит, что император, инсценировав свою смерть, вел отшельническую жизнь в Сибири под именем старца Федора Кузьмича. ...*всяя России кристав* – Николай I. *Чтоб ивиковы тут стенили журавли* – согласно легенде, древнегреческий поэт Ивик, смертельно раненный разбойниками на дороге, воззвал к пролетавшим мимо журавлям о мести; позже, увидев журавлей, убийцы выдали себя.

IV. Эписграф – из ст-ния «Москва» (1840). *Всей статью воплотя давыдовского «йсру»* – аллюзия на ст-ние Д. Давыдова «Бурцову. Призывание на пунш» (1804): «Бурцов, ёра, забияка, / Событыльник дорогой!» *Смоленская* – Смоленская икона Божией Матери.

V. «Ад» – засекреченный террористический кружок внутри революционного общества под руководством социалиста-утописта Николая Ишутина (1840–1879); общество действовало с 1863 г., ликвидировано после неудачного покушения на Александра II 4 апреля 1866 г., совершенного Д. Каракозовым, двоюродным братом Ишутина (см. далее). *Лефоще* – см. примеч. к гл. XI поэмы «Пиротехник» (с. 631). *И тут же в чуйке драной / Герой тарачится...* – Осип Иванович Комиссаров (1838–1892), крестьянин, шапочный мастер; 4 апреля 1866 г. оттолкнул руку Д. Каракозова во время покушения на Александра II, за что был возведен в потомственное дворянство. ...*Муравьев кровавый / Над Петербургом встал, как прежде над Вsrшавой* – граф Михаил Николаевич Муравьев-Виленский (1796–1866) руководил подавлением восстаний в Северо-Западном крае, прежде всего Польского восстания (1863), в апреле 1866 г. был назначен председателем Верховной комиссии по делу о покушении Д. Каракозова; в либеральных и народнических кругах получил прозвище «Муравьев-вешатель» или «Муравьев-палач». ...*шеф / Новоназначенный – сыскной гурман Шувалов* – граф Петр Андреевич Шувалов (1827–1889) занимал должность главного начальника III отделения в 1866–1874 гг.

<Дополнения>

- С. 497. <1>. Автограф: РГАЛИ. 5.23об., под загл. «Нечаев», текст перечеркнут; дата – по расположению в блокноте.
- С. 497. <2>. Автограф: РГАЛИ. 5.24., текст перечеркнут; дата – по расположению в блокноте. Попытка разработать сюжет фрагмента <1> другим размером и без рифмы.
- С. 498. <3>. Автограф: РГАЛИ. 3.33–33об., под загл. «Сергей Геннадьевич Нечаев». Используются строки фрагмента <2>.
- С. 500. <4>. Автограф: РГАЛИ. 7.4–4об.

С. 502. **Два брата**. Автограф: 9.37об. Включено в *Лит.*

Еще недавно гроб стоял... – речь идет об Илье Николаевиче Ульянове, умершем 12 (24) января 1886 г. в Симбирске. *Покушенье на царя!* – покушение на императора Александра III было запланировано Террористической фракцией партии «Народная воля» на 1 (13) марта 1887 г., но было предотвращено, а организаторы и участники арестованы. *В шестую годовщину / Того...* – т.е. покушения на Александра II, организованного той же «Народной волей» 1 (13) марта 1881 г.

С. 506. **Пестрый фараон**. Автограф: РГАЛИ. 10.53, текст перечеркнут.

Заглавие позднее использовано для одного из разделов сборника «Панцирь».

С. 508. **«Разрешите мне, читатель...»**. Автограф: РГАЛИ. 9.34–35об.

Фрагмент (4 ст. со слов «Ах, закаты!...»): Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 102.

Судя по особенностям автографа, в 1944 г. Шенгели довел поэму до ст. «Назовем его Мурадом...», затем возвращался к ней в 1945–1946 гг. (до ст. «Сесть в вагон второго класса...») и в 1952–1953 гг. (остальной текст). *Этиграф* – из ст-ния «Фонарики» (1904) из сб. «Στεφανος, Венок» (1906). *Пиротехника!.. Мне Брюсов это слово как-то кинул* – см. в преамбуле к сб. «Гонг» (т. 1, с. 613). *Camerado* – слово, придуманное У. Уитменом и употреблявшееся им как обращение к близкому другу; здесь, судя по контексту (и по аналогии с испанским «camarada»), означает «товарищ». *Разрешается же Пристли ~ выворачивать года!* – аллюзия на пьесу Дж.Б. Пристли «Время и семья Конвей» (Time and the Conways, 1937), в которой действие I и III актов происходит в 1919 г., II акта – в 1937 г. *Месмер* Франц Антон (1734–1815) – немецкий врач и целитель, создатель учения о «животном магнетизме», известном как месмеризм. *«текели-ли»* – в романе Э.А. По «Повествование о приключениях Артура Гордона Пима» (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, 1838) такой крик издавали огромные белые птицы и чернокожие дикари при виде белого цвета. *Мантегацца* Паоло (1831–1910) – итальянский врач, автор книг популярного характера «Фи-

лософия удовольствия», «Физиология любви», «Физиология боли» и др. *Демавенд* – см. примеч. к ст-нию «Ода к Персии» (т. 1, с. 695). *Жорж Дандэн* – персонаж комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668); крылатой стала его фраза «Ты этого хотел, Жорж Данден!» в значении «сам виноват».

С. 515. **Карфагенская бритва.** Автограф: РГАЛИ. 10.103–105.

Брусский газ – легкая шелковая ткань, изготовленная в Бруссе (ныне Бурса, Турция). *Кюрасо*, кюрасао – ароматный ликер из винного спирта. *Пеликан* Борис Александрович (1861–1931) – частный поверенный, монархист; занимал пост Одесского городского головы в 1913–1917 гг. *Кулинич* – см. в послесловии к «Повару базилевса» (с. 647).

С. 518. «**“О доблестях, о подвигах, о славе”...**». Автограф: РГАЛИ. 11.12–12об.; помета: «Начато – в другой тетради – в 45 г.».

Прокопий – Прокопий Кесарийский (ок. 500–560), византийский писатель; один из его трудов – памфлет «Тайная история» («Historia arcana»). *Гастелло* Николай Францевич (1907–1941) – военный летчик; героически погиб, протаранив на подбитом самолете немецкую механизированную колонну. «*L'amor che move il sole e l'altre stelle*» – заключительная строка каждой из 3-х частей «Божественной комедии» Данте (перевод М. Лозинского).

С. 521. **Примигений Телегин.** Автограф: РГАЛИ. 8.58–62; дата – по архивной раскладке.

С. 526. **«Квартирка-скворешня...».** Автограф: РГАЛИ. 8.65–66.

Впервые: Простор. 1995. № 4–5; публ. В. Молодякова. Фрагменты (строфы I, II): Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 222, 282; ст. 1–4 строфы II в измененном виде: Там же. С. 129.

Валлот <т>он Феликс (1865–1925) – швейцарский художник и график. ...*флот в Бизерте / На мертвый якорь встал* – речь идет о Русской эскадре, соединении из 126 судов, участвовавших в ноябре 1920 г. в Крымской эвакуации; в декабре 1920 – феврале 1921 гг. эскадра перешла в порт Бизерта в Тунисе, тогда французской колонии, где оставалась до официального расформирования в ноябре 1924 г. после признания Францией Советского правительства.

С. 529. **Фьоренца миа.** Автограф: РГАЛИ. 8.70.

С. 530. **«Итак – онегинской строфой...».** Автограф не обнаружен. Копия Н. Манухиной: Собрание А.В. Маринина – машинопись.

Впервые: Лит. учеба. 2005. № 1, под загл. «Поэма о двухголовом человеке»; публ. М. Шаповалова.

Локуста – римская отравительница. «*Раз я по кладбищу бродила...*» – неточная цитата из ст-ния «Женщина» (1914). «*Хвалебный гимн отцу миров*» – из гл. 8 романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. *Трегуб*

Семен Адольфович (1907–1975) – критик, автор книг о В. Маяковском и Н. Островском; ср. эпиграмму А. Безыменского: «Известно, что критики глупы и грубы, / Они однобоки, двулики, трегубы» (323 эпиграммы / Сост. Е. Эткинд. Париж, 1988). «*выть на Волгу*» – обыгрывается строка из ст-ния Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858): «Выдь на Волгу: чей стон раздается...» *Рабис* – профсоюз работников искусства.

С. 542. **Севастополь.** Автограф: РГАЛИ. 11.9–9об. Включено в *ЛилП* под загл. «Севастопольцы».

Эпиграф – из ст-ния «Солдатская песня о Севастополе» (1869).

С. 544. **Тень Пугачева.** Автограф: РГАЛИ. 11.14.

С. 546. **Богатыри Невы.** Автограф: РГАЛИ. 11.16об.–17.

Впервые: *Биография*.

Ср. дневниковую запись от 5 ноября 1954 г.: «Прорвало! Начал писать “Богатырей Невы”; пока 23 стиха; вышло крепко; давай, боже» (*Биография*. С. 490). Во 2-й части фрагмента речь идет о Бадаевских складах, сгоревших 8–10 сентября 1941 г. в результате налетов германской авиации. *Заглавие* – обыгрывается строка из ст-ния М. Лермонтова «Бородино» (1837): «Богатыри – не вы!» *Эпиграф* – из него же.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

С. 547. **Серпы.** Фрагменты: 1) *Кл.* 1918. № 2/3 – монолог Пророка из акта II («Свинцовая раскалена печать...»). Опечатка – ст. 17: «богатства неисчислимых царств»; 2) *Кл.* 1918. № 6/7 – акт III.

Автографы: 1) РГАЛИ. 58.15–18, по старой орфографии. В акте II на месте монолога Пророка помета: «Свинцовая раскалена печать... (и т.д. – монолог)»; 2) РГАЛИ. 58.8–14 – ранняя редакция, по старой орфографии: три сцены, первая из которых переработана в акт III.

Опубл. фрагменты печ. по тексту публикаций, остальной текст – по автографу 1.

Тоффана, аква-тофана – ядовитый напиток.

С. 556. **Пугачев.** Автограф: РГАЛИ. 58.2–5; текст второй сцены перечеркнут.

С. 562. **Император Крэбб.** Автографы: 1) РГАЛИ. 4.4–4об.; 2) РГАЛИ. 4.5 – ранний вариант, текст перечеркнут; рядом набросок нового варианта с заменой размера на бесцезурный шестистопный ямб.

С. 565. **Великий маэстро.** Автографы: 1) РГАЛИ. 4.6–6об., 7, 10–10об. (архивная раскладка спутана); 2) РГАЛИ. 4.10–10об. – набросок сцены первой, текст перечеркнут.

Датируется по особенностям почерка и чернил и по упоминаниям в письмах к М. Шкапской.

- С. 570. **Каменный гусь.** Автограф: РГАЛИ. 4.95–97; помета: «Каменный гусь / Имбродоли в эпизодах / Задумана 3 мая/20 апр. 1924 г., в день, когда мне исполнилось 30 лет».

Приложение

- С. 576. **Приключения капелек.** Автографы: 1) ГЛМ. 1.10.1–9 – машинопись с правкой; нижний слой текста – первоначальный вариант под загл. «Приключения капельки»; 2) РГАЛИ. 6.37–46 – черновой.

Единственный случай обращения Шенгели к литературе для детей, которое в 1920-е гг. у многих писателей носило вынужденный характер. Публикация не состоялась: «<...> со сказками, вероятно, ничего не выйдет: в Госиздате не приняли (антропоморфизм: у капли есть голова, и она разговаривает, – а этим идиотам, очевидно, нужен зооморфизм, по их образу и подобию), Мандельштам, которому я послал ее же, – ничего не пишет. Б<ыть> м<ожет>, Вы спросили бы у него по телефону, как обстоит дело: есть надежда?» (письмо к М. Шкапской от 16 февраля 1925 г. // *Минувшее*. С. 271).

- С. 581. **Месть Калиостро.** Копия: РГАЛИ. Ф. 1399. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 1–13 – машинопись.

Впервые. *ДР*. 2011. Вып. 46; публ. В. Перельмутера.

Автограф, местонахождение которого на данный момент неизвестно, представлял собою машинопись, сшитую в тетрадь; на с. 1 было напечатано: «Эдуард Багрицкий и Георгий Шенгели. “Влюбленного рука, или Месть Калиостро”. Пьеса в 1 действии», ниже от руки: «Написано летом 20 г. в Одессе. Багрицкому полностью принадлежат заключительные куплеты, сюжет мой, текст слагали вместе, сидя за столом, я записывал. Г. Шенгели. 1938, 29.X, Москва» (Александров Р. Возвращение «Калиостро» // *ДР*. 2011. Вып. 47. С. 255–256). В сентябре 1921 г. водевиль репетировался в драматическом кружке Государственных производственно-художественных мастерских в Одессе:

Решено было <...> просить Багрицкого принять участие в его постановке. К всеобщему удовольствию, он согласился не только руководить постановкой, но и сыграть роль Калиостро.

<...> Я получил роль одного из друзей Ибрагима. Это дало мне счастливую возможность встретиться с Багрицким на сцене.

Со второй репетиции все исполнители уже знали наизубок свои роли и, с увлечением придумывая возможно более эффектные ми-

зансены и смешные трюки, иногда до слез хохотали над собственными выдумками. Совершенно неистощимую изобретательность проявлял Багрицкий. Не отставал от него и исполнитель роли Ибрагима – Игорь Вускович, один из самых юных и одаренных учеников Художественно-производственных мастерских.

Еще интереснее репетиции становились тогда, когда Багрицкий начинал играть всерьез и, казалось, действительно перевоплощался в Калиостро. Его глаза сверкали, он ходил по сцене какой-то особой, скользящей походкой. Перед нами был маг и волшебник. На сцене его огромный поэтический темперамент легко переключался в актерский.

Благодаря участию Багрицкого репетиции «Мести Калиостро» доставляли всем огромное удовольствие, и мы не торопились с выпуском спектакля. А когда речь зашла о премьере, случилось то, чего мы никак не предвидели: Багрицкий вдруг перестал ходить на репетиции. Мы попробовали репетировать без Багрицкого, но с его уходом и сама пьеса, и всё придуманное нами как-то потускнело, перестало увлекать нас, и мы бросили, не доведя до конца с таким удовольствием начатую работу

(Данилов Н.И. «Месь Калиостро» // Эдуард Багрицкий: Воспоминания современников. М.: Сов. писатель, 1973. С. 78–79). В мае 1939 г. водевиль шел в Московском театре эстрады и миниатюр (фотографии с поясн. надписями Шенгели: РГАЛИ. 367.1–8; пьеса датируется 1921 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ

Поручик Мертвецов	7
Девятьсот пятый	
Новый год	14
Девятое января	17
Четвертое февраля	19
Мукден	21
Цусима	22
Броненосец «Потемкин»	25
Октябрь	28
Ноябрь	33
Декабрь	35
Искусство	40
Пушки в Кремле	45
Пиротехник	
I. Улица, они и он	50
II. Вымирающая профессия	52
III. Глава правительства	53
IV. В бистро	55
V. Он недурно живет	56
VI. На Гревской площади	57
VII. Не будем его называть	59
VIII. Всемирная выставка	60
IX. У Спиагудри и Оглипиглапа	61
X. Ей тоже надо	62
XI. Воскресный отдых	64
XII. Чистая наука	67
XIII. Утро трудового дня	68
XIV. Чистая работа	69
XV. Бессонница с выводами	71
XVI. Мост Сольферино	72
XVII. Переход количества в качество	74
XVIII. Entre-mets	75

XIX. Ему позволили поговорить	76
XX. Право последней ночи	78
XXI. Как дуновение ветра	79
XXII. Искусство потешных огней	80
Гарм	82
Ушедшие в камень	112
В дежурке	137
Сталин. <i>Этический цикл</i>	
Тема первая: Личная	146
Тема вторая: Неопровержимо о детях	152
Тема третья: Пять шестых мира	154
Тема четвертая: Две евгеники	160
Тема пятая: Война и они	163
Тема шестая: Война и мы	167
Тема седьмая: В конце концов – партия	172
Тема восьмая: Голос неотомщенных	178
Тема девятая: Проблема вождя	181
Тема десятая: Лицо вождя	189
Тема одиннадцатая: Слово вождя	192
Тема двенадцатая: Искусство восстания	195
Тема тринадцатая: Гражданская война	199
Тема четырнадцатая: Философия машины	205
Тема пятнадцатая: Воскресшая земля	209
Тема шестнадцатая: Братство народов	215
Интерлюдия: Проект письма	221
Тема семнадцатая: На весах жизни	233
Тема восемнадцатая: В пространство и время	238
Повар базилевса	243
Тайна кавторанга	289
Эфемера	302

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

Сальери	311
Нечаев	330
1871	342
Доктор Гильотен	363
Броненосец «Потемкин»	381

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

Поэмы

Шумы раковин.....	447
Нимфея.....	463
Наль.....	469
Коммуна (<i>отрывки из поэмы</i>).....	483
Равашоль.....	486
Сергей Нечаев (<i>отрывки из поэмы</i>).....	488
<Дополнения>.....	497
Два брата.....	502
Пестрый фараон.....	506
«Разрешите мне, читатель...».....	508
Карфагенская бритва.....	515
«О доблестях, о подвигах, о славе...».....	518
Примигений Телегин.....	521
«Квартирка-скворешня...».....	526
Фьоренца миа.....	529
«Итак – онегинской строфой...».....	530
Севастополь.....	542
Тень Пугачева.....	544
Богатыри Невы.....	546

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

Серпы.....	547
Пугачев.....	556
Император Крэбб.....	562
Великий маэстро.....	565
Каменный гусь.....	570

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приключения капелек (<i>Сказка</i>).....	576
Мечь Калиостро.....	581
Другие редакции и варианты.....	591

<i>В. Молодяков. Георгий Аркадьевич Шенгели:</i>	
биографический очерк	607
Комментарии	622

Шенгели Г. А.

Ш47 Стихотворения и поэмы / Сост., подгот. текста, комм. В.А. Резвого, биограф. очерк В.Э. Молодякова. – Т. II. – М.: Водолей, 2017. – 672 с.

ISBN 978–5–91763–353–4

ISBN 978–5–91763–355–8 (Том II)

Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) – один из крупнейших русских поэтов XX века, выдающийся переводчик и ученый-стиховед, остается не оцененным по достоинству прежде всего из-за отсутствия сколько-нибудь полного и качественного издания его поэтического наследия. В настоящее собрание, ориентированное на максимально возможную полноту, включены все выявленные к настоящему времени поэтические произведения Шенгели, часть которых публикуется впервые. В основу издания положены прижизненные публикации и материалы из государственных архивов и частных собраний, прежде всего рукописи поэта. Раздел «Другие редакции и варианты» отражает работу автора над текстами, порой продолжавшуюся десятилетия. Издание снабжено подробным текстологическим, историко-литературным и реальным комментарием, вводящим в научный оборот много новых источников и сведений.

Во второй том включены все известные поэтические произведения Шенгели «крупных жанров», включая незавершенные. Впервые полностью публикуется «Эпический цикл» (1937–1939). Биографический очерк В.Э. Молодякова содержит основные сведения о жизни поэта и основан на его книге «Георгий Шенгели: биография» (М.: Водолей, 2016).

ББК 84(2Рос=Рус)6

УДК 821.161.1

Шенгели Георгий Аркадьевич

Стихотворения и поэмы

Том II

В оформлении обложки использована литография
К.Ф. Богаевского «Звезды» (1922)

Технический редактор *А. Ильина*

Подписано в печать 10.02.17. Формат 60x90/16. Бумага офсетная
Печать цифровая. Печ. л. 42. Заказ №

Издательство «Водолей»
127254, г. Москва, ул. Гончарова, 17-А, кор. 2, к. 23
Официальный сайт: <http://www.vodoleybooks.ru>
E-mail: info@vodoleybooks.ru

Отпечатано: ПАО «Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (499) 322-38-30

